ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 49 2014

В НОМЕРЕ:

РИТА БАЛЬМИНА
АСЯ ВЕКСЛЕР
ЮЛИЯ ВИНЕР
ПОЛИНА ВИТМАН
НАТАЛИЯ ГОНЧАРОВА-КАНТОР
СЕМЁН ГРИНБЕРГ
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ
АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ
КОНСТАНТИН КИКОИН
КОНСТАНТИН КРАВЦОВ
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ
СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ
МАРИНА МЕЛАМЕД
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
АЛЕКС ТАРН
ВЛАДИМИР ФРОМЕР
И ДРУГИЕ

N49



JERUSALEM LITERARY REVIEW

כתב-עת ירושלמי

2014'49

От всей души поздравляем со славными датами наших замечательных авторов –

Татьяну Алексееву

Александра Варакина,

Александра Медведенко,

Виктора Панэ,

Михаила Сипера,

Михаила Фельдмана!

Многая лета! Многая книги!

Редакция «Иерусалимского журнала»

10805

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



ИЕРУСАЛИМ

49 2014

Иерусалимский журнал, № 49, 2014
Журнал современной израильской литературы на русском языке
В Интернете: magazines.russ.ru/ier/ и antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей
Творческое объединение «**Иерусалимская антология**»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор), **Зеэв Гейзель, Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Виктория Райхер, Дина Рубина, Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**
Художник: **Сусанна Черноброва;** Веб-дизайн: **Карина Пастернак**
Корректура: **Бина Смехова, Галина Культиасова, Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера:
Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн, Виктор Гопман, Григорий Гордин, Владимир Попов, Илан Рисс

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке

משרד התרבות והספורט

Министерство культуры и спорта

10 805

ירושלים

Иерусалимский муниципалитет

Фонд
«Русский мир»

Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2014. All rights reserved
Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**
E-mail: jerusalemreview@gmail.com Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322
OCR Давид Титиевский, август 2019 г., Хайфа

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Семён Гринберг

ИЗ ПОСЛЕДНИХ КАРТИНОК

* * *

Спектакль кончается. Последние картинки.
Не Гоголь, не Шекспир и даже не Уайльд.
Здесь пайки раздают, и то не всем подряд,
А не английские тартинки.

Да, помню, был Уайльд, зачитанный такой,
В изданьи Саблина, где афоризмы, парадоксы…
Теперь, с утра, обув не шлёпанцы, а кроксы,
Я стал другой.

И, наконец, подумал о душе,
И взялся почитать Наполеона.
Как он искал вокруг, где пятая колонна,
И сам искал, и с помощью Фуше.

Но не нашёл. И подошёл к окну.
Снаружи мой сосед сопровождал жену,
Заметно ожидающую сына.
Он помахал, и я в ответ ему.
А мимо люди шли, и дети, и машины.

2012

* * *

На последних ступенях у самого входа в каньон,
У стеклянных дверей, отразивших меня многократно
Посреди толкотни из идущих туда и обратно,
Там охранник внимательно, я бы сказал аккуратно,
Осмотрел и сказал, типа, вынь да положь телефон.
А трамвай постоял без меня и утёк в мусульманский район.

Этот день был особый. Вчера поломался шарав,
А сегодня сосед колдовал из курей, баклажан и кольраби,
И позвал: «Посмотри, дорогой!», это как бы «Попробуй, хабиби!»
И держал за рукав.

А у Старого города, там, где германский фонтан,
«Как дела?» – проходя, уронил господин,
А вокруг кто идёт, кто сидит, кто вообще возлежит на газоне.
Здесь дорога начало берёт на Хеврон,
А пока что-то деется на небосклоне.
Будет дождь. Приготовь капюшон.

* * *

Он ищет, где бы встать, глядишь и припаркует,
Забравшись целиком на узкий тротуар
И заслонив стекло, где Зингер до сих пор
Машинками торгует.

И я там был. И подошёл араб.
Он спрашивал пройти к муниципалитету.
Весь следующий час я раздавал советы,
И многих просветил – и мужиков, и баб.

Засим, смирив восторг, биющий через край,
И кинув остальных, посередине Яффо
Протиснулся в трамвай,
Подвинув невзначай
Двух дюжих харедим, как два железных шкафа

* * *

А на улице нашей дома как дома,
Пусто место, где будет стоять синагога,
Только лунный осколок лишился ума –
Чуть не полдень, а этот на небе висит,
И за мной, отставая всего на полшага,
Долгополый хасид.

Он так резво проследовал мимо меня,
Оглядел не без гонора, как у поляка.
В Посполитой живала и наша родня,
Но война разметала и тех и других…
Я смотрел на проворные эти шаги,
На летящие фалды его лапсердака.

2013

* * *

Саше Лайко

Мой друг смотрел в окошко на Берлин
Берлин – это немецкая столица.
В Москве «Берлин» – шикарный ресторан,
А здесь не так, совсем иные лица,
Здесь тоже пьют, хотя и заграница,
Но наливают каждый в свой стакан.

Итак, он наблюдал через стекло,
Как басурмане шли на тротуаре.
Прошёл мужик, распиливать бабло,
За ним жена, держащая весло,
За ней катилась девочка на шаре.

Семья прошла и больше никого.
Тогда он приподнялся и легко
Снял с вешалки московское пальто,
Спеша, как говорится, сделать ноги
По улице, где припаркованы авто,
Мимо окошка собственной берлоги.

* * *

Светловолосая хозяйка бультерьера
И чёрный господин – бородка и усы –
Болтали недалече от Машбира,
Там, где «Талита куми» и часы.

Все плечи упомянутой блондинки
Были укрыты шкурою песца,
И локоны, похожи на пружинки,
Качались на щеках её лица.

А что до февраля, судите сами,
Пролился дождь водою питьевой,
И город голубыми небесами
Отметился над каждой головой.

* * *

Сосед же мой – по-прежнему майор,
У них в полиции не изменилась форма,
А где-то к девяти и я бреду во двор
Под бугенвилию, и это тоже норма.

И в общем, фараон давно не видит сны
Про годы голода, и годы изобилья,
Природа ждёт зимы, потом весны,
Орёл над городом летит, считая крылья.

Что поменялося за семь последних лет?
Под джипами сидят совсем другие кошки,
И цены подросли, понятно и ежу.
Посколь на Яффо неопознанный предмет,
По тесным улочкам в автобусе кружу,
Заглядывая вскользь в открытые окошки.

* * *

Тот эскулап был дядя честных правил.
Когда и он не в шутку занемог,
Хотя лечить врача противу правил,
Он сам себя в «Макор Барух» доставил,
И всё шутил: «Сапожник без сапог».

Отсель его направили в «Адассу»,
Откуда прямиком свезли в Гиват-Шауль.
Я помню до сих пор его гримасу,
Как улыбался, подавляя боль…
Он собирался к дочери в Одессу.

Есть место меж Элени а-малька
И главным домом почты-телеграфа.
Мы говорили там, и он пошёл по Яффо,
И всё махал рукой
Издалека.

2014

* * *

Что рассказать про яблоневый сад,
Где две-три яблони, лимоны и гранат,
И травы и цветы под кровлей бугенвилей?
Здесь можно поболтать с дремучим стариком,
И он поведает про то, как пастухом
Служил у самых, что ли, царственных фамилий.

Реб Эльханон, так кличут старика,
И вправду пас овец известного кибуца,
На севере, там, где Ярден-река.
Они и без него до сей поры пасутся.

И были времена, когда степной шакал
И чёрти кто ещё за ними поспевал
На расторопных лапах.
А он такую жизнь однажды променял
На нескольких дерев солодострастный запах.

* * *

«Давным-давно, когда я, скажем, жил в Китае,
В дни похорон усатого вождя…»
Он помолчал, как бы припоминая,
И продолжал, немного погодя.

Мы слушали его, не отрываясь,
А он рассказывал, что был заметно мал,
Когда отправился, «ничуть не сумлеваясь,
На жмурика глядеть в Колонный зал».

Конечно, не в Китае, а в России,
Он пёр туда за совесть и за страх,
И был раздавлен без анастезии
Недалеко от Троицы в Листах.

Про этот Пурим русского злодея
Вовсю тогда судачила молва.
Потом его сложили в мавзолее...
Как всё ж таки волнительны слова –
Россия, Лета, Лорелея!

* * *

Из Белоомута автобус по пути
До самой Ждановской, скажу, такая скука.
Одна отрада осенью – сойти
В Непецино, купить косицу лука.

А в электричке сразу задремать.
Проклюнешься ещё до шума городского.
Да что рассказывать, что нового такого?
Всё те же Кратово, Ильинская, Красково...
Я их пообещал не забывать.

И завтрак на траве, и дом, и палисад,
И ту же суматоху на перроне,
И всякие слова, что люди говорят,
И плавающий перчик в самогоне.

* * *

И были облака, и гром гремел из туч.
С Исаком Бабелем переходили Збруч
У Сретенских ворот у памятника бабы.
Ещё там был известный «Букинист».
Теперь я далеко от этих мест,
Спасибо, Крупская припомнилась хотя бы.

Да, мало ли кого забыли на Руси!
Сегодня у кого бы ни спроси,
Всё больше Михалков, Есенин, даже Быков.
Мне говорил знакомый меломан
Про Битлов, про «Сиреневый туман»,
А под конец исполнил «Гоп со смыком».

О, Русь! Скажи, жена иль не жена?
Вопросов всё же полная сума.
И чья жена? Какого-нибудь Блока.
Или совсем другому отдана?
А был ли мальчик-то у Клима Самгина?
Зато грядёт великий свет с востока.

* * *

Догорали остатки короткого зимнего дня,
Два кубанских казака неспешно седлали коня.
И один ускакал, а другой посмотрел и остался,
И ещё один в майке с латинскою надписью LOVE
Ниоткуда явился,
Наверное, срок отмотав.
Вслед за сим я поднялся
И вышел из зала в фойе,
Кто бы не удивился,
У каждого дело своё.
До России далече,
Говорят, там казачий устав,
Мол, прохожим на плечи
Не кидается век-волкодав.
И вообще с полубанки
Разливается тишь-благодать,
Даже славных ребят на Лубянке
У железных ворот не видать.

* * *

Е. Ф.

Те письма старые, бумажные листы
Никто за раритет не почитает,
Случайно, коли сможет, почитает
Про как меняли звёзды на кресты.
Так полустёртое на сгибах письмецо
Годится, разве, перед сном накрыть лицо.

С тех пор поди лет десять миновало,
Но имена знакомые – родня,
Поймёшь ли, что Елена написала?
«У нас (то есть, у них) опять гебня».

* * *

Сегодня день, и завтра, и в четверг,
Не отличить, который ближе к телу.
На днях один знакомый Розенберг
Посетовал: «Сажают не по делу».
Я постоял, послушал и пошёл.
Понятно, кто лицом не подошёл,
Это, когда клиент не вышел рожей.
– А, если вышел рожей, но не той?
– Я кожей, кожей чувствую!
– Вы тоже?
– Нет, я не при делах, я понятой.

Что говорить, красивы вечера,
И упоительны на Яузе закаты,
Сходящие с небес на эту глухомань.
На трейлер, со двора ползущий за ворота,
На люд, поблизости от Богородских бань.

* * *

Вообще, вы будете смеяться,
Но демон был и у меня.
Он походил на тунеядца,
Весёлый, пальчиком маня,
Он, что ни день, давал советы,
Такого типа, например:
«Любите живопись, поэты!»
И звал синицу – зензивер.

И говорил не «есть», а «кушать»,
«Облéгчить», а не «облегчи́ть»
И мог зашедшего послушать,
Что называют, залечить.
Он толковал об Ювенале,
А то про женщину в песках
И на качающемся стуле
Сидел в сандалях и носках.

* * *

В Музеон Исраэль на одной из картин,
Где французскими буквами – «Хаим Сути́н»,
А по-русски читается «Су́тин»,
Намалёвана красная туша быка,
А вокруг неё, я бы сказал, облака,
Словом, замысел Хаима смутен.

В этот пасмурный день было всё не по мне.
Ненароком подслушав чужой разговор,
Где один говорил не «они», а «оне»,
А другой не «её», а «ея»,
Я стоял и глядел на картину в упор
И не понял вообще ничего.

Мне б уйти хоть куда, хоть в нечаянный сад,
Где людей никого, и животные спят,
И деревья стоят при луне.
Сколько слов я бы мог не слыхать, не сказать
У цветного пятна на стене.

* * *

Дверь в темноту была отворена.
Над нами возлежала на покое,
Так близко, что легко достать рукою,
Довольно-таки полная луна.

Внезапно словно лопнула струна,
Как будто театр и Чехов, всё такое...
И кто-то встрепенулся: «Что такое?»
Хотя понятно было, что война.

Потом не в лад запели петухи,
Потом собаки выли возле вади,
И кто-то обронил про тяжкие грехи,
И кто-то: «Помолчите, Бога ради!»

* * *

На перекрёстке Яффо и Кинг Джордж
Был магазинчик Маяяна Штуба.
Где я когда-то джинсы покупал.
Сандали были там, ремни из натуральных кож,
Короче, всё для паба или клуба.
Лет двадцать минуло, я вновь туда попал.

Теперь и магазин зовут по-русски «Зоя»,
Да, и внутри хрусталь, браслеты – всё другое.
Играет музыка у входа в этот рай.

Сказать по правде, здесь и ближе к Бен-Иегуде
Мне любо всё и так родимы люди.
Звеня, меж столиков лавирует трамвай,
Минуя горы яств на одноразовой посуде.

Юлия Винер

ДЛЯ СПИНЫ ПОЛЕЗНО

Лилия Геннадьевна и Семен Моисеевич жили между собой хорошо. Не то чтобы как-то особенно хорошо, но вполне прилично. Иначе говоря, нормально, не хуже других. То есть ничего из ряда вон неприятного между ними, как правило, не случалось.

Того, что называется словом «любовь», между ними давно не было, но оба инстинктивно чувствовали, что они идеально подходят друг другу, сложились, как те самые две половинки, которых упорно и обычно тщетно ищут разборчивые люди романтического склада. Все выпуклости и вогнутости, все бугорки и впадинки безупречно вошли друг в друга, так что вместе они образовали законченное, нерасщепляемое округлое целое. Им было удобно и безопасно друг с другом, и жизнь не пугала их, хотя и не восхищала.

И сами они были люди совсем неплохие. Вполне порядочные, говорилось даже – в высшей степени порядочные, хотя не ясно, как распределить порядочность по степеням. Однако факт, что они никогда ничего не украли (Семен Моисеевич иногда шутил лукаво: а если на тротуаре лежит кошелек и никто не видит? Лилия Геннадьевна на юмор не поддавалась и отвечала сердито: ах, как смешно!), никого серьезно не обманули, не предали, не подсидели, и уж конечно, никого не убили.

И политически они были вполне корректны, то есть более или менее индифферентны, хотя, разумеется, всецело за мир. По-настоящему они войны не боялись, так как войны настоящей не знали. Для Второй мировой были молоды, афганская происходила далеко и их не коснулась (дети – девочки), а все прочие мировые стычки вообще не ощущались из Москвы как реальная опасность. Прожив полжизни в столичном городе, далеком от всех границ, они и в новой стране выбрали себе для проживания столицу, и хотя здесь границы были на расстоянии дачной поездки в прежнем их существовании, привычное ощущение отдаленности от любых опасных событий на юге ли или на севере прочно сохранилось и здесь, они и здесь не верили, что это может их затронуть.

И во всех прочих отношениях они были политкорректны, хотя и не применяли к себе этого выражения. Все это входило у них в понятие порядочности. Они не осуждали вслух гомосексуалов и не презирали дефективных. Никогда не говорили о неграх или азиатах «черножопые», о японцах – «косоглазые», даже арабов не называли арабушами, а слово «еврей» только Семен Моисеевич научился, хотя с трудом и поздно, произносить вслух. Лилия же Геннадьевна, будучи лишь женой еврея, в прежней жизни вообще никогда не позволяла себе произносить это слово, да и в новой, невзирая на среду обитания, предпочитала заменять деликатным «он не... ну, это». Короче, порядочная интеллигентная пара.

В результате больших денег у них не водилось, но на приличную жизнь всегда хватало и в России, а потом и в Израиле, куда

они уехали как раз вовремя. Не слишком рано, когда это было трудно и требовало даже как бы некоего героизма, но достаточно рано, чтобы воспользоваться щедрыми еще льготами для новоприезжих. Достаточно поздно, чтобы успеть приватизировать и продать свою московскую квартиру, но и достаточно рано, чтобы не захлестнула их последовавшая вскоре волна свежих ревнителей Сиона.

И квартиру они сумели купить, и на работу устроились. И детей вырастили удачных, двух дочерей, одна замужем в Германии, а вторая учится в Штатах, где, скорее всего, и останется. А здесь они родили даже третьего ребенка, сына, и тоже очень удачного, только к концу школы он вдруг взбрыкнул и заявил, что пойдет сперва в армию, а в университет – потом. Но родители надеялись, что сумеют его переубедить.

Работа и у нее, и у него была постоянная, с приличной зарплатой, инженеры-электронщики и врачи-рентгенологи везде ценятся. Так что с какой стороны ни посмотри, жизнь у них была благополучная и безопасная. Тот факт, что малая страна, в которой они теперь жили, все время находилась в состоянии войны, удручал их, разумеется, но, пока сын еще доучивался в школе, не тревожил и течению жизни не мешал.

Когда же дочки разъехались, а сын ушел-таки в солдаты, стало ясно, что квартира для родителей велика. Лилия Геннадьевна, убирая ее, начала тяжело задыхаться, жаловалась на усталость и какие-то боли. А детям, особенно любимчику Тошке, очень скоро понадобится свое жилье, у него девушка, кажется, серьезно. Денег же на покупку никак не хватит. Решено было свою четырехкомнатную продать, купить для себя двушку, а на остальные деньги с помощью банковской ссуды купить квартиру мальчику.

И сразу встал вопрос: что брать с собой на новое место жительства?

Обстановка у них всегда была хорошая, добротная и здесь, и там, они оба любили все добротное и не жалели усилий, чтобы обзавестись. Это их сближало.

Главным предметом их гордости была большая библиотека, половина была унаследована Лилией Геннадьевной от родителей, а остальное – многотомные собрания сочинений, приобретенные по подписке. На чтение всего этого времени не хватало, но на покупку книг супруги тоже не жалели ни усилий, ни денег, так как знали, что книги являются главным украшением интеллигентной квартиры. Прочую обстановку, справедливо рассуждали они, собираясь в новую страну, мы и там купим, еще и получше прежней, а вот книги русские там не купишь. Так что книги помимо немногих самых нужных предметов быта и составляли тогда основной их багаж.

Новая квартира постепенно наполнялась новыми хорошими вещами, сперва самыми необходимыми, потом менее необходимыми, но вроде бы полезными. К этому времени Семен Моисеевич начал в шутку называть жену «шопинговая наркоманка», на что она отвечала: ну и дурак. Но Семен Моисеевич и сам замечал, как по мере наполнения квартиры вещами растет у обоих чувство уверенности и защищенности.

Но теперь всего было слишком много.

Мелькнула, правда, у Семена простая идея: отобрать Лиле, себе и Тошке нужную одежду, ну, из хозяйства все необходимое, основную мебель, компьютер, телевизор, диски... А остальное – сказать грузчикам: пакуйте все подряд и делайте, что хотите. Хотите – себе оставьте, хотите – на помойку везите. А самим налегке перебираться на другую квартиру. Вот бы...

Но эту соблазнительную идею Лилия Геннадьевна отвергла немедленно. Как это – выбросить? Столько лет наживали, столько сил и денег на это положили – и бросить? Ну вот, например, это. Сейчас оно вроде не нужно, но как только выбросишь, наверняка сразу и понадобится, по закону подлости. Хватишься – ан нету, заново покупать. Или вот это. Самим точно не нужно, но когда Тошка женится? Его жене очень даже будет кстати. А это и это – совсем не нужно, но вещи хорошие, новые, сгодятся на подарки кому-нибудь ко дню рождения – всё экономия денег. А вот это? И это? И это... Вещи не отпускали хозяев, держали, не позволяли распоряжаться собой, как те намеревались.

Но главной проблемой оказались книги. Семен Моисеевич совсем про них забыл, так привык за все эти годы, что вообще не замечал. И не прикасался к ним никогда, уж очень не было в них никакой нужды в повседневном быту. Стеллажи стояли плотными рядами вдоль целой длинной стены в гостиной, да еще в коридоре два шкафа. И как красиво смотрелась многоцветная мозаика их корешков на фоне белой стены! Лучше всякого ковра.

Красиво-то красиво, но в новой маленькой квартире ни одной свободной стены не будет. И куда их теперь? Сложить в коробки и... – а коробки эти куда? Совершенно некуда.

До того хотелось Семену поскорее развязаться и переехать, что он сказал, не подумав:

– А знаешь, Лилёнок? Да ну их к черту, эти книги! Мы что, читать их все будем? Отбери себе десяток-другой, а остальное сдадим в русскую библиотеку, и дело с концом. На кой они нам?

Лилия Геннадьевна побледнела и взялась за грудь.

– На кой? На кой? – она начала задыхаться. – Как ты мог такое сказать?

Семен ссорился с женой редко и нежестко, серьезных поводов для ссор, как правило, между ними не возникало. Не хотелось ему ссориться и на этот раз. Он сказал примирительно:

– Да я та́к сказал, чего ты так уж...

– Чего я? А того, что это единственное, что осталось у меня от моего папы! Забыл?

– Ну почему забыл, нет, конечно...

– Никогда я не жила в квартире без книг! И теперь не хочу. Квартира без книг – это знаешь что? Обыкновенная мещанская конура. Ты в такой хочешь жить?

– Да я что... Ты, главное, не переживай так. Опять сердце схватит.

– Нет, ты скажи, ты хочешь, чтоб мы жили в такой квартире?

– Лилёнок, да почему же не жить? Квартира и квартира. Мы-то с тобой кто такие? Как раз и есть обыкновенные мещане, да еще совкового разлива...

– Ну, знаешь ли! – Лилия Геннадьевна опустилась в кресло и всем телом отвернулась от мужа. – Лично я совком никогда не бы-

ла. Тридцать лет с тобой живу и не знала, что живу с совком. Хорошенькое дело!

Семен чувствовал, что ссора склонна развиваться, и ее необходимо остановить в зародыше. Он подошел к жене, поцеловал ее в затылок и сказал со смешком:

– Ладно, ты у нас не совок, а лопатка. Как тебе такой расклад?

Но жена на шутку не отреагировала, проговорила, не оборачиваясь:

– Что ж, ты, может, и совок. А я выросла в семье настоящих русских интеллигентов. И эти книги – их культурное наследие. Но тебе-то на русское культурное наследие наплевать. Да оно и неудивительно.

– Почему наплевать? Почему на... – с жаром начал Семен Моисеевич. Вдруг остановился и спросил недоуменно: – И почему неудивительно?

Тут до него дошло. Впервые за всю совместную жизнь его деликатная жена попрекала его нерусским происхождением. Проклятые книги. Он пробормотал:

– Лилё... Лиля, ты что такое говоришь? – и быстро ушел на кухню.

Лилия Геннадьевна тоже вовсе не хотела ссориться с Семеном Моисеевичем. То, что она сказала, вырвалось помимо воли, за недостатком убедительных аргументов. Она тут же спохватилась и пошла вслед за мужем. Объясняться, впрочем, она не собиралась, надеясь, что все как-нибудь само затрется и забудется. К тому же лучшая защита, как известно, атака, поэтому она сразу заговорила напористо:

– А если ты с самого начала видел, что там не будет места для книг, зачем торговался? Зачем вообще покупали?

– Но, Лиля, квартира-то хорошая, – грустно ответил Семен, не глядя на жену. – «Лиля...» Плохой знак. – И тебе ведь тоже понравилась.

– Мало ли что понравилась...

– И место хорошее, и цена терпимая, и все рядом, и супер, и банк, и автобусов много...

– Обо всем-то ты, Сеньчик, подумал, и о супере, и об автобусах, только обо мне не подумал.

– Да я именно о тебе и думал. Как тебе за покупками, и вообще.

– За покупками... – усмехнулась Лилия Геннадьевна. – Сеньчик ты мой заботливый.

Семен видел, что Лилия Геннадьевна просит прощения, да он и сам хотел бы простить и забыть, но сердце отчаянно щемило, и он против воли прошептал:

– Подумать только, что все это время, все эти годы ты...

– Все эти годы я жила с тобой, и заботилась, и ухаживала, и угождала, как могла! – гневно выкрикнула Лилия Геннадьевна. – И не городи огорода на пустом месте!

– На пустом месте...

– Да, на пустом! Мы обсуждаем важный вопрос, а ты со всякой ерундой!

– Да, конечно, – сухо согласился Семен Моисеевич. – Разумеется, ерунда. Продолжим обсуждение важного вопроса. Вот кста-

ти: ведь ты сама со мной все время ходила и смотрела, а тоже не подумала про свои любимые книги.

На это Лилии Геннадьевне нечего было возразить, и она просто заплакала. И не только из-за книг она плакала, и не оттого, что Семен выходил победителем в споре. Так нерушимо скреплявший их цемент дал трещину, и пробила эту трещину она сама.

Семен сперва удивился – когда это она плакала последний раз? Потом все-таки стало ее жалко.

– Да чего ты, ей-богу! Чего уж тут реветь. Ну, придумаем что-нибудь.

– Да мне... мне бы хоть немного еще пожить по-человечески... – плакала Лилия Геннадьевна.

Она не жалела слез, надеялась, что Семен Моисеевич испугается, обеспокоится и забудет ее глупые слова.

– Чего немного, мы с тобой еще как поживем – ого-го!

– Хоть немного... Что осталось... – невнятно проговорила Лилия Геннадьевна и стала вытирать слезы.

Семен на невнятное не обратил внимания, но собственное «ого-го» отвлекло его от нехорошей мысли и подхлестнуло его творческую энергию. Он с ходу придумал, что делать.

Никуда пока не переезжая, наняли прежнюю свою большую квартиру у нового хозяина, а купленную маленькую отдали внаем – удивительное дело, даже разница в помесячной плате оказалась не так уж чувствительна, тем более Семена как раз повысили в должности, с соответственным повышением зарплаты. Наняли на два года, тем временем вернется Тошка, купит себе квартиру и поможет с переездом. И главное, возьмет к себе часть книг...

Лилия Геннадьевна поначалу нарадоваться не могла, как Семен хорошо придумал – и почему только сразу не сообразили? Хвалила его, всячески замазывала свою недавнюю неловкость, даже разрешила Семену выбросить несколько книжек, какие понеказистее, потрепанные. Впрочем, потрепанных книжек Лилия Геннадьевна отроду в доме не держала, и Семен потихоньку вынимал время от времени две-три книжки с темными, невидными корешками, так что Лилия и не замечала их исчезновения.

О роковых словах ни он, ни она не поминали. И так пошла у них прежняя хорошая жизнь, и даже очередная война, случившаяся на юге летом, не слишком их обеспокоила. Это происходило далеко, а за Тошку они не волновались, поскольку он служил в разведцентре и в боевых операциях не участвовал.

Но через некоторое время Лилия Геннадьевна начала тревожиться. Два года пролетят быстро, и проблема книг снова встанет во весь рост. Семен легкомысленно предположил, что Тошка возьмет себе половину. А со второй половиной что делать? И кто сказал, что Тошка возьмет? Зачем они ему? Читать по-русски его научили, но кроме своих компьютерных книжек он ничего не читает ни на каком языке. А для украшения жилья... он и дома-то стеснялся перед своими друзьями, что у родителей все книжки по-русски. По ночам Лилия Геннадьевна просыпалась с тревожным чувством, что на ней лежит какая-то невыполненная – и невыполнимая – обязанность, она вспоминала про книги, в ушах начинали больно отдаваться удары сердца. Тут же вспоминались и те самые несча-

стные слова, и она старалась поскорей зарыться обратно в сон. Но и утром она просыпалась с тем же беспокойным чувством и потом весь день ходила в угнетенном настроении.

– Так что сделаем, Сеньчик? – начала она спрашивать мужа.

– Придумаем, придумаем, – бодро отвечал Семен.

А сам не знал, что и придумать.

Придумал, однако. Но сразу жене сказать поопасался, выяснил сперва, что, да где, да сколько стоит. И тогда только приступился к Лилии Геннадьевне:

– Лилёнок, нам ведь не обязательно немедленно все устраивать в новой квартире, правда?

– В каком смысле?

– Можно обустроить спальню и кухню, переехать, а потом уж постепенно расставлять все по своим местам.

– Конечно, так и сделаем.

– Смотри, что я нашел. Сдается отличное подвальное помещение, совсем близко от нашей новой квартиры, десять квадратных метров, и не очень дорого. Можно сложить там временно часть вещей...

– И книги? Книги тоже туда?

– Ну да, а когда устроимся...

– А книги тем временем будут гнить в сыром подвале?

– Зачем же гнить, там совершенно сухо и тепло, я проверял.

И опять Лилия Геннадьевна заплакала. Ей опять хотелось ткнуть его носом в его небрежное отношение к культуре (только не говори «русской», твердила она себе), но она теперь боялась и плакала от этой невозможности.

Вот странно, подумал Семен Моисеевич, никогда она плаксивая не была... И главное, было бы из-за чего! Ему и хотелось бы ее пожалеть, только теперь что-то мешало.

– Лиля, да брось ты, ну, не хочешь – другое что-нибудь придумаем...

Но ничего другого он придумать не мог. А она чуть не каждый день стала спрашивать – как услышит, что пока еще не придумал, так сразу в слезы. Измучился Семен Моисеевич, жалел жену все меньше, а книги проклял в душе горьким проклятием.

А вскоре Семену Моисеевичу ничего больше и не надо было придумывать.

Лилия Геннадьевна умерла. Видно, не случайно сделалась она в последнее время такой чувствительной. В медицинские подробности ее смерти входить не стоит, скажем только, что она умерла от сердечной болезни, быстро и без особых для себя мучений. И от плотной теплой оболочки, укрывавшей Семена Моисеевича со всех сторон, отпала важнейшая часть. Округлое нерасщепляемое целое превратилось в корявый обломок, прикрытый только квартирой и вещами.

Семен Моисеевич дожидался сына, который вот-вот должен был демобилизоваться из армии. Тошка приезжал на похороны Лилии Геннадьевны (девочки приехать не смогли), отсидел с разорванным воротом рубашки положенную траурную неделю и все

время плакал, так как очень был привязан к матери. Но когда отец попросил помощи с книгами, солдатик злобно плюнул и сказал:

– Да слышать я о них не желаю. Делай, что хочешь.

– Мама ими так дорожила... – укоризненно заметил Семен Моисеевич.

– Вот-вот. Она ими дорожила, они же ее и убили.

– Ну что ты такое говоришь, – возмутился Семен Моисеевич. – Как это книги могли ее убить!

Однако мысль эта застряла в сознании Семена Моисеевича. Постоянное беспокойство сильно действует на больное сердце. И он говорил себе, что единственное хорошее, что получилось от смерти Лилии Геннадьевны, это что она больше не будет беспокоиться из-за книг. И книги эти – как бы он с ними ни поступил, Лиля никогда не узнает и не огорчится. А сам он избавится от занозы, воткнутой ему в душу из-за тех же книг.

Семен Моисеевич верил, что отгоревал смерть Лилии Геннадьевны, все-таки больше года прошло. Не забыл, нет, и никогда не забудет, но той тоски уже не было, одна печаль. Он даже завел кое-какие отношения с бухгалтершей у себя на работе, хотя понимал, что ничего похожего на прежнее у него уже не будет ни с кем.

Но отношения не заладились. Он пригласил женщину к себе домой, рассказал о грядущем переезде. Когда он упомянул проблему книг, она рассмеялась:

– Да зачем они тебе? Хочешь читать – заведи электронную книжку, никакого места не занимает. А книги – только пыль от них и теснота. Вывезти их на какой-нибудь развал, и все дела. А то и просто на помойку.

– Да, наверно, – согласился Семен Моисеевич, и внутри у него что-то больно дернулось. – Вот только... жена моя покойная очень их любила. Тревожилась за них, может, от того и умерла.

– Вот видишь, одни беды от них. А вообще, Семен, давай договоримся: я тебе не рассказываю про своего первого мужа, а ты мне – про свою покойную жену.

– Хорошо, – уязвленно согласился Семен Моисеевич. – Рассказывать не буду. А думать про нее можно?

Женщина пожала плечами:

– Дело твое.

И как-то Семену Моисеевичу расхотелось развивать с ней отношения.

Итак, срок найма кончался, пора было освобождать помещение. Семен Моисеевич стоял посреди квартиры, глядел по сторонам и впервые подумал про себя, как в жизни никогда не думал: несчастливый я человек! Квартира была большая, вещей в ней было много. А радости мало. Вещи нужно было разбирать и паковать. Ситуация располагала к философии, к некоему подведению итогов.

Вот уже и старость на подходе, а ничего мне в жизни толком не удалось. Даже вон Лилька, взяла да померла. И дети разбежались. Одни вещи остались, все при мне.

Да что вещи. А завалы бумаги – письма, документы, фотографии. Следовало бы разобрать, разложить по папкам, по альбо-

мам, надписать. Может, Тошка когда-нибудь заинтересуется, или будущие внуки... Говорят, правда, что дети после смерти родителей в основном выбрасывают все фотографии и письма. Не глядя. Зачем тогда, спрашивается, люди все это собирают и хранят? Да и то подумать, если каждое поколение будет хранить и свое, и предков, это же пуды, никакого места не хватит. Так что же, не трудиться? Захочет Тошка выбросить, пусть так кучей все и выбрасывает...

Семен представил себе, как вся его жизнь в картинках валяется вроссыпь на свалке. Н-да. С другой стороны, меня к тому времени уже не будет, чего стесняться. Да ведь и смотреть никто не будет.

Нет, так не пойдет. Начнешь перебирать, начнешь вспоминать – никогда не кончишь. И нечего отлынивать, надо приниматься за вещи.

И взгляд его неумолимо упал на полки с книгами. Красивыми они ему уже не казались.

Из всех сотен книг он прочел, может быть, десятка два, да и то давно уже. Теперь и тем более не до чтения. Разве что потом когда-нибудь, на пенсии, на отдыхе... «Пенсия» представлялась ему в туманном, отдаленном будущем как некий райский уголок, бесконечно-длинное свободное время, когда можно будет ничего не делать, вволю спать, ходить в гости, ездить на море, ну и почитать что-нибудь от скуки. Для этого отобрать несколько на небольшую полочку, а остальное...

В русскую библиотеку книги уже не брали – сказали, у нас и так завал. Шесть целых библиотек по завещанию привезли, некому разбирать. То же и в русском книжном магазине.

Значит, взять себе несколько, а остальное просто...

Всё, звоню грузчикам. На свалку, да, на-свал-ку!

И опять что-то больно дернулось внутри. Сразу вспомнилось, как радовалась Лилька каждому новому то́му, как расставляла их, любовно подбирая по расцветке обложек, как была довольна и горда, когда гости рассматривали и хвалили ее библиотеку. «И вы все это прочли?» – почтительно спрашивали гости. «Ну, не все, но большую часть», – скромно отвечала Лилия Геннадьевна. А Семен помалкивал, но тоже был доволен.

И вот теперь надо от них отделаться, так же, как и от многого другого, на что некогда уходило столько жизненных сил. А ведь это, подумал Семен, и есть вещественный результат всех наших с Лилей трудов. Доказательство того, что мы были, жили и работали на этой земле. Ну, правда, дети – тоже доказательство. Но с уходом жены, казалось ему, и они отдалились еще больше, чем прежде. Им еще только предстояло доказывать, что они были и жили, этим и занимались усиленно, каждый по-своему.

Рука Семена Моисеевича лежала на телефоне – звонить грузчикам. Лежала и не двигалась. Он представлял себе комнату без книг. Какой простор, сколько места для... Для чего? Уйдут книги – уйдет окончательно из его жизни Лилька. Ей теперь, конечно, все равно. Но и теперь она не простит ему и бросит его навсегда. Он осознал вдруг, что все это время, уже отгоревав и успокоившись, жил с невидимым ее присутствием и чувствовал себя в безопасности. И его ужаснула ничем не прикрытая пустота стоявшей перед ним жизни. Только теперь он, корявый обломок былого округлого

целого, ощутил то, чего не знал никогда прежде – страх перед этой жизнью. Его даже вроде как холодом опахнуло.

Это она сердится, суеверно подумал Семен Моисеевич и пробормотал вслух:

– Да ладно, не буду, не буду!

И тут же натужно посмеялся сам над собой – в маразм впадаешь, Сеньчик? Звони давай, чего ждешь?

И позвонил.

Грузчики приехали, упаковали в аккуратные одинаковые коробки отобранные Семеном Моисеевичем вещи и все книги и отвезли на новую квартиру. «А всё остальное, – сказал он грузчикам, можете взять себе, или что хотите». «И кровать оставляете? – недоверчиво спросил один из парней. – Я бы себе взял». «Ну и бери», – сказал Семен Моисеевич. А про себя прибавил для Лилии Геннадьевны: не нравится? Ну, извини, хоть что-то я все-таки сделаю по-своему.

Когда Тошка демобилизовался, Семен Моисеевич уже вполне устроился на новом месте. И был рад, когда Тошка попросился у него пожить.

– Эта комната твоя, – сказал он сыну, входя с ним в бóльшую комнату, предназначенную служить гостиной. – Если не один будешь спать, диван можно разложить.

– Ух ты, папа, какой ты либеральный!

– Ты уже большой мальчик.

– А ты где?

Семен Моисеевич ввел сына в свою спальню. Это была совсем маленькая комнатка, три четверти которой занимала широченная, роскошная кровать, накрытая ковром, в прежней квартире лежавшим в салоне.

– Во кла-асс! – восторгнулся Тошка. – Царское ложе!

Он с размаху бухнулся на постель и охнул:

– У тебя там камни под матрасом, что ли? Как ты на этом спишь?

– Не камни, а доска. Для спины полезно.

Что там под доской, он Тошке не сказал.

Да Тошка и не спросил.

Семен Моисеевич помнил, как в школе в ночь перед экзаменом клали учебник под подушку, чтобы голова нечувствительно впитывала оттуда знания. А теперь, думал он с удовлетворенной ухмылкой, все мое тело впитывает. Русское культурное наследие впитывает... Но тут же устыдился своего цинизма. И в виде извинения сказал про себя: ты уж не сердись, Лиленок, вдоль стен никак было нельзя, но ведь не выбросил же!

Ему теперь всегда было жалко Лилию Геннадьевну, и те глупые слова он давно ей простил.

Ася Векслер

ПОЧТИ ПРИПЕВ

* * *

Скелета нет в моём шкафу.
За парой дверец – тьфу-тьфу-тьфу –
всего лишь место для одежды.
А тот, ничейный, встрял в строфу.
Не реагирует на *фу*.
Беспочвенны надежды.

Прощу бедняге произвол:
веков пятнадцать он провёл,
землетрясеньем умерщвлённый,
во тьме, где прах, песок и ржа,
горшочек с золотом держа
под рухнувшей колонной.

Копилка есть нутро земли.
В раскопках рядом с ним нашли
следы молельни, абрис кладки
(театрик, но и некий дом
увеселительный – а в нём
из-под руин – остатки

фривольных текстов на полах,
укромных лож там-сям в углах;
серьгу, осколки без разбору).
Догадки – большей частью вздор.
Но если был он сутенёр,
красотки дали дёру!

Геологический разлом
у нас под боком, под жильём.
Тряхнёт – и прирасту к листочку,
с привычной ручкой заодно.
На ней есть надпись – CASINO.
Меня там не стояло. Но
везение на бочку!

ШАКАЛЫ

Колкий кустарник – место их сна и побудок.
Плюс-минус час-полтора от исхода суток –
это и есть устойчивый промежуток

их марш-броска: снизу вверх по склонам,
чёрно-лилово-сизым, лунно-зелёным,
к тёмным задворкам, к живностью населённым

крайним домам. Как не здесь и в стужу,
кошку, собаку не выпускай наружу –
не ровен час... Надрывают душу

звуки поживы: истошный ор, подголоски –
проводы в царство мёртвых наследуют недоростки.
Издали скажут: «Надо бы их по шёрстке», –

будто узрев ручную куницу кисти да Винчи,
а не окрестных особей, вряд ли трусливых нынче,
чующих запах крови, поднаторевших в линче.

Издали возразят: «Случай предельно ясен.
Стая невинна. Растерзанный был опасен».
Эй, вдалеке! О чём вы? Не надо басен.

Будет восход от эритроцитов красен.

МЕЖДУ «ПРИВЕТ» И «ПОКА»

Улыбка. Спокойный взгляд. Независимый вид.
О том, что всё у него путём,
«Вашими молитвами», – говорит,
безотносительно к ней, да и к нему, похоже.
Но риторика не исключает сбой.
Та, чьими молитвами, мысленно видит перед собой
молящихся, вдруг кивая в ответ: «И моими тоже.
Хочу, чтобы здесь было всё в порядке
и совсем не болела бы голова».
И сквозняк, может статься, подхватывает слова –
такие же лёгкие на подъём,
как россыпи их в остатке.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

В предыдущей, питерской части жизни,
сколько и где в другой ни кружись, ни-
чего за давностью лет не пропало.
Центростремительна крепость Петра и Павла.

Я рисовала внутри неё и с обратной,
кронверкской стороны, а поздней – с парадной;
видела из жилья и дворцовых окон
её ангела вровень с просветом сквозь сизый кокон.

Даёт себя знать отрезанная пуповина.
Там родилась я наново, когда вблизи равелина
съезжала по крыше к черте – думала, неминучей.
Но верхолазку с этюдником помиловал случай.

Кто б сказал, куда унесёт пунктир, заменивший точку.
Через полвека и полземли, отрабатывая отсрочку,
помню: как тамошние соседки – Павловна и Петровна,
крепость сама по себе немногословна.

Разве что видом своим окликнет, сомкнув параллели,
панораму надводную острова Сан-Микеле –
протяжённость наружных стен,
причал и вход в середине –
особенно в январе, с приближением к годовщине –

и отзовутся за одного из тех, кто жили-были,
хвойно-лиственные купола, кипарисовые шпили.

* * *

До интернетного гула и вала
в книгах знакомцы анфас.
А на просторе «Журнального зала»
хватишься их как-то раз –

вряд ли найдёшь. Помня с ходу их строчки
с голоса или с листа,
скажешь, что мало родиться в сорочке:
надо бы чуть не до ста

уцелевать в ней, не ветхой, а кроме
этого, с ней в унисон
диву даваясь, жить на переломе
всё изменивших времён.

ОДИНОКИЙ ПАСТУХ

...И тут звонит мобильник. На *алло*
ответом тишина, а дальше – голос
индейской флейты, пробующей звук.
Мелодией, встающей на крыло,
последнее сомненье поборолось,
и взмыл напев, отбившийся от рук.

Край облака. Альпийский пояс Анд.
Сновидческий полуразмытый контур.
С нуля, когда не с чистого листа,

раздольного звучанья вариант
кружит для слуха, как для зренья – кондор,
а кондор даже грифу не чета.

Но вряд ли выход – музыку привлечь
в союзницы; не говоря ни слова,
сквозь сумерки слать больше, чем привет,
когда не может обнадёжить речь,
будь сбивчива она или толкова:
пастух свободен, а пастушка – нет.

* * *

Вот какая мне дана
благодать:
на ночь глядя, у окна
постоять;
в полутьме напополам
с тишиной
оставлять дневной бедлам
за спиной.

А в окне, что от стены
до стены,
часть нагорной стороны –
глубины,
где сверкают и горят,
как парят,
тьмы огней – за рядом ряд –
в тьмы карат.

Так прилёг бы на холмы
Млечный путь
от надмирной кутерьмы
отдохнуть.
Так взошли бы семена
среди мглы,
текст молитвы, письмена
Каббалы.

Ярче ярких – к знаку знак –
из долин
поднялись наверх зигзаг,
серпантин.
Не ослепнув, не прочтёшь,
сколь ни стой,
свиток огненный, чертёж
золотой.

На отшибе дом в тени,
на краю.
Повезло мне на огни,
говорю,
на расширенный маршрут
долгим днём
и дары двух-трёх минут
перед сном.

* * *

Над виртуальной ссылкой комментарий:
«Ох эти немцы! Ну и мастера!»
Тем и завлёк свой брат гуманитарий.
А ты и рад: расслабиться пора.
На мониторе шкафчик антикварный.
Он в двести лет имеет вид товарный.

Само собою, современник Гёте
и Шиллера, он изготовлен до
Хрустальной ночи, лагерей и гетто;
их миновав, не помнит ли он то,
чего не замолить, хоть будь безгрешен,
благополучен и уравновешен?

На видео к нему подносит ключик,
спиной к вам стоя, тот мастеровой,
что посвящён в секреты штучек-дрючек:
выпрыгивает ящичек живой
с отскоком вбок. Что ж, переймём науку
В ней главное – успеть отдёрнуть руку,

не то, как при ожоге, возглас жалкий.
Я оценю сноровку и взгляну
на мебель нашу, эти ёлки-палки
без прошлых тайн, без крена в старину.
А впрочем, разговор небеспредметный:
вон ящичек почти что незаметный.

Не только профессионал – любитель,
я думаю, легко его найдёт.
Но можно посочувствовать: грабитель
пошарит взглядом, пальцы пустит в ход.
А там – счета: одни, другие. Кстати,
два верхние нуждаются в оплате.

САНДРЕЛЛИ

Дальше и невозвратнее тех, кто в нетях,
но и оттуда не потеряв из виду,
в непредставимых когда-то десятилетьях
ты, не избыв прижизненную обиду,

в снах молчалив. Вроде бы где-то в Риме
часть галереи, в которой некто Сандрелли –
только что было подсказано это имя –
хочет как раз теперь говорить о деле.

Видимо, ты тут свой, хоть не верховодишь.
Если вдруг я ко двору, то с твоей подачи.
Действие развивается. Ты уходишь.
Я ожидаю. Надо же, не иначе

как вышеназванный С. объявляет: «Плата
общая на двоих, так что каждый в доле;
евро по курсу иены». Много иль маловато,
было бы поздно тратить, вдвоём тем боле.

Стоило обернуться – светлеют своды,
светится-манит выход в пространство сада.
Зелень травы, желанный глоток свободы –
и то ли флигель, то ли фрагмент фасада.

Вижу тебя в одном из высоких окон –
вот где аукнулись дальние параллели.
Угол, наклон холста сквозь стеклянный кокон.
Пусть же благоволит к тебе твой Сандрелли.

Это – стоп-кадр с побудкой. В краю нагорном
выглядел бы гуманней тот поединок.
Здесь, поручая труд, мой заказчик в чёрном
шутит, что ждёт двоих: Машиаха и картинок.

Ночь переждав, хамсин в новую вступит фазу –
по одному иссушит за стеблем стебель.
Благодарю, что снишься, не побывав ни разу
здесь, где твоя невидаль; или твоя небыль.

ОГЛЯНУВШИСЬ

Погостив, укладываю чемодан.
Поспешает времечко на часах.
А хозяйка дома, держа стакан,
останавливается, молчит в дверях.

Нездорова, вовсе немолода
(тень вдовства за ней, перемена стран),
говорит: «А я уже никогда
свой не буду складывать чемодан».

Что тут скажешь? Многое – не навек.
Преходящесть – это почти припев.
Вот и лестница – мимо люстры вверх –
ни при чём, прощание проскрипев.

Я уеду перебредать своё.
Неширокий переступлю порог.
Стану меньше сетовать на жильё:
кто стеснён, тот менее одинок.

И скажу я что-нибудь в свой черёд
гостье будущих, отдалённых лет,
если, взмыв, продержится самолёт,
а закат помедлит, сходя на нет.

ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ: 28 ФЕВРАЛЯ 1633

Взяв ту же книгу много лет спустя,
скользнуть по оглавленью; шелестя
страницами, не находить цитату;
зато, придя к другому результату,
гул времени избыть, как шум дождя.

На вклейке – замок… Где-то там внутри
подросток, оглядев календари,
открыл один из них; отметил день,
когда родился он, Мишель Монтень,
латиницей; помедлил, видя три

ивритских буквы: алеф, далет, рейш
(за ними – то ли дверца, то ли брешь;
разверзшаяся до истоков даль).
Итак, адар (адар и есть февраль);
последний день зимы, её рубеж

(преддверье *мартовских календ* – ему
так объяснили, судя по всему).
А что до послесловия, толкова
речь об отце; о матери – полслова:
след опыта, что унесён во тьму.

Владимир Фромер

ПУТЬ ВОИНА*

ХРОНИКА ПЕРВАЯ

Хуан Австрийский одержал при Лепанто решительную победу. Почти весь неприятельский флот был уничтожен. И хотя турки благодаря распрям среди союзников довольно быстро оправились от этого разгрома, господство на море они утратили. Мы же сегодня если и вспоминаем о сражении при Лепанто, то лишь потому, что в нем участвовал автор одной из самых великих книг, которые когда-либо были написаны.

Ницше утверждал, что образ Дон Кихота льстит самой человеческой природе. «Все, что есть серьезного и страстного в человеке, все, что взывает к человеческому сердцу, – писал Ницше, – все это проявление донкихотства».

После выхода первой части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» в Европе сразу заинтересовались личностью автора удивительной книги. В Париже испанского цензора Маркеса Торреса, только недавно подписавшего к печати второй том романа, один из французских дворян спросил:

– Да кто же он такой, этот Сервантес?

Торрес, бывший военный, по-солдатски четко ответил:

– Старик, солдат, идальго, бедняк.

– Как? – изумился француз. – Значит, такого человека Испания не возвеличила и оставила прозябать в нищете?

Торрес только пожал плечами, а француз после паузы добавил:

– Впрочем, если его заставляет писать нужда, то дай Бог, чтобы он никогда не жил в достатке, ибо своими творениями он, сам будучи бедным, обогащает весь мир.

В достатке Сервантес никогда не жил, а до смерти ему в то время оставалось чуть меньше года. Про него говорили, что он поэт и не знает цены деньгам. Но Сервантес прекрасно знал цену деньгам, раз их всегда не хватало. Однако он никогда не ценил деньги выше своей чести. Уже в старости он сочинил хартию, которую Аполлон якобы даровал поэтам. Первый ее параграф гласит: если поэт утверждает, что у него нет денег, то ему следует верить на слово и не требовать от него клятв.

Он любил музыку, вино и женщин, но в любви не был счастлив. Женщины причинили ему много горя – особенно в молодости. Известно ведь, что женщины любят тех, кто их презирает, и презирают тех, кто их любит. Женат он был дважды, и оба раза неудачно. До нас дошел его горький афоризм: «Законная жена – это петля, которая, будучи раз одета на шею, превращается в гордиев узел».

---

* Первая часть книги «Хроники времен доблестного идальго Мигеля де Сервантеса Сааведра». Журнальный вариант.

Он был сильный, красивый человек, Мигель де Сервантес Сааведра. У него было сердце, вмещавшее всю полноту жизни, и взгляд, проникавший в глубины человеческой души. Его превосходство ощущали все, кому доводилось иметь с ним дело. Очень многим это не нравилось, и Сервантесу помогали мало и скудно на его тернистом пути.

История его жизни опровергает сладкозвучное вранье латинского эпикурейца, уверявшего Августа и всех нас, что поэты – трусы. Сервантес долгое время был солдатом, и римское изречение «жить – значит воевать» относится к нему в полной мере. Рядовым солдатом участвовал он в диких военных турнирах, на которые был так щедр бурный XVI век.

Тот факт, что он доблестно сражался за интересы церкви под знаменем лучшего католического полководца своего времени, заставляет предположить, что они были ему дороги. Истинный испанец, он был верным сыном католической церкви и за верность ее знамени перенес тягчайшую пытку пятилетнего плена в Алжире.

Что можно добавить? Вернувшись из плена, много пил. Считался чудаком и бессребреником, имел внебрачных детей, терпел вечные скандалы в семье – за неумение жить по-человечески заплаканная жена обзывала его «придурком и блаженным».

Впрочем, все в мире зиждется на силе равновесия. Судьба щедро наградила Сервантеса всевозможными талантами, но удачливости и богатства не было среди ее даров. В «Декамероне» Боккаччо есть новелла о судьбе мессера Руджери де Фиджованни. Этот рыцарь доблестно служил испанскому королю. Король же, раздававший направо и налево замки, города и поместья своим приближенным, никогда не награждал мессера Руджери. Такая неблагодарность обидела рыцаря, и он отправился искать счастье в другом месте. Но король вернул его с дороги и сказал так: «Мессер Руджери! Если я многих наградил, а вас – нет, хотя они не идут ни в какое сравнение с вами, то не потому, чтобы я не почитал вас за доблестнейшего рыцаря, достойного великих милостей, – у вас иной удел, а я тут ни при чем. Сейчас я вам это докажу».

Король привел рыцаря в большой зал, где стояли два запертых сундука, и сказал: «Мессер Руджери! В одном из этих сундуков находится моя корона, скипетр, все мои драгоценности, а в другом – земля. Выбирайте любой, какой выберете, тот и будет ваш. И тогда вы поймете, кто не ценил вашей доблести – я или ваша судьба».

Мессер Руджери выбрал один из сундуков, и в нем оказалась земля... В этой новелле нетрудно увидеть параллель с жизнью Сервантеса.

«Не было в моей жизни ни одного дня, когда бы мне удалось подняться наверх колеса фортуны: как только я начинаю взбираться на него, оно останавливается», – писал Сервантес, находясь уже на пороге вечности, усталый, но не побежденный в изнурительной борьбе с превратностями жизни.

«Слышал я, – говорит хитровато-простодушный оруженосец Дон Кихота, – что судьба – это баба причудливая, капризная, всегда хмельная и вдобавок слепая; она не видит, что творит, и не знает, ни кого унижает, ни кого возвышает».

По отношению к Сервантесу эта баба оказывалась особенно причудливой и капризной и решительно не желала знать, кого она так упорно преследует.

Как роман становится великим? Этого никто еще толком не объяснил. Здесь явно присутствует некая тайна. Худой, нелепый идальго, горделиво восседающий на своей кляче, возведший глупую деревенскую прачку в ранг прекрасной дамы, постоянно попадающий в унизительные и комические ситуации, вдруг самым неожиданным образом становится в мировой культуре идеалом благородства и величия духа. Роман, который автор создавал как пародию на рыцарское чтиво, по странной иронии судьбы стал одной из самых глубоких и серьезных книг в мировой литературе.

Замученный кредиторами и нищетой, однорукий больной Сервантес писал своего «Дон Кихота» в тюрьме. Возможно, поэтому плавное течение романа движется от отчаяния к надежде, от надежды к смирению. Мягкий юмор, печальный смех, трагикомические ситуации и внезапная мудрая серьезность составляют его фон. Пусть опасности надуманы, пусть вместо драконов ветряные мельницы, вместо прекрасной дамы прачка с натруженными руками, вместо боевого коня жалкая кляча. Все это не важно. Важно лишь то, что благородство, отвага, душевная красота и рыцарство Дон Кихота были подлинными.

Рядом с тощим Дон Кихотом трясется на своем позитивном осляке его жирный оруженосец Санчо Панса, не прочитавший в жизни ни одного романа, но волею Сервантеса попавший в самый великий из них. Какая изумительная пара: высокая, преисполненная трагизма духовность и простодушно-лукавый народный дух.

Литературный шедевр Сервантеса, пропитанный поэзией пыльных дорог и постоялых дворов, возрос на почве, сдобренной навозом пасторальных и рыцарских романов. Но его «Дон Кихот» был не только противоядием от литературы подобного рода, но и ностальгическим прощанием с ней. Такой человек, как Сервантес, не мог не сожалеть о том, что эпоха рыцарства миновала. Замысел Сервантеса не допускал воспевания чудесного, но оно должно было там присутствовать, как тайна в детективных романах.

Удивительнее всего, что Дон Кихот реализовал-таки свою безумную идею, навеянную чтением рыцарских романов. Он, как и задумал, стяжал себе бессмертную славу и почет, оставаясь при этом всего лишь дискурсом, повлиявшим на развитие западной культуры.

* * *

Мигель де Сервантес Сааведра родился в 1547 году, предположительно 29 сентября, поскольку это день святого Мигеля. Он был четвертым ребенком в бедной, но знатной семье идальго. Кроме него в семье были две дочери, Андреа и Луиза, и сын Родриго. Генеалогическое дерево Сервантесов по отцовской линии прослеживается вплоть до крестовых походов. В испанских средневековых летописях не раз упоминаются рыцари из этого рода, храбро сражавшиеся с неверными под католическими знаменами. Но постепенно этот славный род пришел в упадок.

Уже дед Мигеля, Хуан Сервантес, был сугубо штатским человеком и занимался юридической практикой в Кордове. В зрелые годы он перебрался в городок Алькала-де-Энарес, в двадцати милях от Мадрида, где потерял все свое состояние, пустившись в финансовые спекуляции.

Родриго Сервантес, отец Мигеля, тугой на ухо лекарь, отличался слабым здоровьем и был в постоянном поиске заработка, чтобы хоть как-то прокормить большую семью. Всю жизнь мечтал он выбраться из бедности, но так и остался обедневшим идальго, в роду которого вместо пиастров и дублонов сохранились лишь рыцарские предания о славных деяниях предков.

Леонора Кортинас, мать Мигеля, происходила из семьи крещеных евреев. Вдумчивые исследователи творчества Сервантеса обратили внимание на то, что в знаменитом романе имеются многочисленные заимствования из каббалы и талмуда. Тут уж не обвинишь в использовании недостоверных источников. Впрочем, это всего лишь косвенное свидетельство принадлежности семьи Сервантеса к «новым христианам». Не существует каких-либо документов на сей счет, и вряд ли они будут когда-либо найдены.

Но есть в жизни и судьбе Сервантеса нечто такое, что заставляет нас не сбрасывать со счетов подобную возможность. Это его изгойство, неприкаянность, космополитическая открытость мышления.

Кроме того, не следует забывать, что евреи – народ Книги, и для них естественно видеть реалии жизни сквозь призму книжного теоретизирования. В этом смысле трудно назвать испанским то фанатичное упорство, с каким Дон Кихот утверждает почерпнутые из книг понятия о справедливости среди мерзостей окружающей жизни.

Семья Сервантеса долго скиталась в поисках заработка из города в город: из родного городка Алькала-де-Энарес в Кордову, а затем в Мадрид, который представлял собой тогда не очень удачное сочетание узких и грязных улиц. Но это рыночное местечко, ставшее по воле короля Филиппа II центром полумира, быстро развивалось. Отсюда Испания управляла Бургундией, Лотарингией, Брабантом, Фландрией и сказочно богатыми землями за океаном.

Семья ютилась некоторое время в открытой всем ветрам лачуге, а потом Родриго в поисках благополучия перевез ее в веселый портовый город Севилью.

Как и каждый мальчишка, Мигель мечтал о приключениях, но он, конечно, и вообразить не мог, сколько их заготовила для него судьба.

Несмотря на нужду, отец сумел дать Мигелю приличное образование. Десятилетним подростком поступил он в колледж иезуитов, где находился четыре года. А потом пять лет провел в Мадриде, в школе одного из лучших испанских педагогов того времени, дона Хуана Лопеса де Ойоса, ставшего впоследствии его крестным отцом в литературе. Высокий, седой, с аккуратно подбритой бородкой и живыми глазами, де Ойос выглядел моложе своих шестидесяти лет. Он полюбил своего юного ученика, восхищался его способностями и первыми литературными опытами, но, к его огорчению, Мигель предпочел военную карьеру. Из иезуитского колледжа он вышел с убеждением, что вера – это щит, дарованный человеку, дабы уберечь душу от дьявольских козней. С годами его вера свелась к четкому постулату: где дух Господен – там свобода. А свободу, как и жизнь, нужно защищать, чего бы это ни стоило.

Уже будучи в школе де Ойоса, он писал отцу: «Истинный христианин – это человек, осознавший себя как личность. Мусульмане не

приемлют Христа потому, что они отвергают личное бытие и стремятся к растворению в универсальности».

Как-то беседуя со своим учителем, Мигель сказал:

– Войны между религиями продолжаются уже не одно столетие. Но когда-нибудь грянет последняя война, и поскольку наша религия самая верная, она, безусловно, победит.

Де Ойос печально улыбнулся:

– Ты не прав, сынок. Последняя война будет не между религиями, а между человеческим разумом и человеческим безумием. От ее исхода будет зависеть судьба человечества. Ареной сражений станут сердце и душа каждого человека. – Он помолчал и добавил: – Как же хочется верить в победу разума в этой войне.

Школа де Ойоса – двухэтажное продолговатое здание – была расположена в самом центре Мадрида, рядом с церковью Сан-Педро-эль-Вьехо, построенной на месте бывшей мечети. Ее колокольня была переделана из минарета. Фасад церкви выходил на площадь Вилья, где возвышалась епископская капелла – единственное готическое здание в городе. Совсем рядом находились два дворца – один в мавританском, а другой в ренессансном стиле. Это был самый красивый район Мадрида и любимое место вечерних прогулок Мигеля, уже тогда отличавшегося редкой свежестью восприятия и свободой от предрассудков, столь распространенных в средневековой Испании. Наделенный от природы мощным интеллектом, он сохранил независимость суждений в тех областях, где влияние авторитетов чувствуется особенно сильно – в теологии, литературе и искусстве.

Мигель много писал, пробуя себя во всех жанрах, но постепенно желание литературного признания сменилось мечтами о военной славе. Его страна воевала, защищая истинную веру, и он хотел в этом участвовать. Еще подростком он брал в Севилье уроки фехтования у старого ландскнехта, друга отца, и довольно прилично владел старинным клинком с узким лезвием, доставшимся ему в наследство от прадеда Мануэля, воевавшего с османами еще в прошлом веке.

Довольно рано его с мучительной и невыносимой яркостью стали посещать грезы о женщинах. Он избавлялся от почти неодолимого томления физическими упражнениями. Занимался гимнастикой, бегал на длинные дистанции, доводя себя до такого изнеможения, что мгновенно засыпал, как только голова касалась подушки. Ничто не казалось Мигелю таким кощунственным и постыдным, как соединение мутных грез с прозрачным и светлым чувством, которое он испытывал к единственным женщинам, окружавшим его в детстве: к матери и к сестрам.

Мигелю нравились все женщины. Он не разделял их на красивых и некрасивых, плохих и хороших. Всех считал совершеннейшими созданиями божьими. Он не имел присущего многим мужчинам инстинктивного знания о том, как осаждается и завоевывается женское сердце. Не знал, что бывают такие женские сердца, к которым ведет одна-единственная тропинка – их уязвимое место, как пята у Ахиллеса. Но неизмеримо больше таких, к которым ведут тысячи тропинок, и для того чтобы владеть ими, нужно знать тысячи разных

способов. Победа над первыми – высший триумф обаяния и находчивости. Но для завоевания вторых и удержания над ними власти необходимо обладать талантом особого рода, ибо тут приходится защищать крепость, сражаясь у тысячи бойниц. Такого таланта у Сервантеса не было, и в его произведениях не встретишь глубоких женских характеров, что отнюдь не умаляет его гениальности.

В своих блужданиях по городу Мигель часто заходил в одну из церквей, чтобы побыть наедине с Богом. Вера и благочестие были для него в то время так же естественны, как дыхание. Божий дом, который он избрал для себя, назывался Санта Мария. Это была небольшая церквушка, расположенная на маленькой площади с чахлой растительностью. Свет врывался сюда через просторный сверкающий купол. Переступая ее порог, Мигель чувствовал странную легкость и особую ясность мысли. Нигде ему не было так небесно-легко и свободно, как здесь. Он любил постоять в центре светлого круга, прежде чем отойти к одному из боковых алтарей для молитвы. Скамей в этой церкви не было. Молились на древнем полу из мрамора и порфира.

Однажды, когда он уже собрался уходить, молившаяся в углу дама вдруг подняла голову, и он увидел глаза цвета аквамарина и чувственные губы. Невысокие брыжи элегантно окружали головку с каштановыми вьющимися волосами. Эта дама показалась Мигелю божественно-прекрасной, и он поспешил удалиться.

Но на следующий день в тот же час он увидел ее коленопреклоненной на том же самом месте. Вскоре он уже знал, что она приходит в эту церковь два раза в неделю, всегда в одно и то же время, и молится в правом углу у алтаря около получаса. Теперь каждый раз он молился в пяти шагах от нее, но сосредоточиться на молитве уже не мог.

Она не показывала виду, что чувствует его обожающие взгляды, а может, действительно не замечала их, занятая своими мыслями.

Как-то раз он попытался выяснить, где живет прекрасная незнакомка, и, когда она вышла из церкви, последовал за ней. Внезапно она оглянулась, и Мигель увидел смеющиеся глаза. Мужество покинуло его. Он низко поклонился, а когда поднял голову, она уже исчезла в путанице переулков. Больше она в церкви не появлялась.

Прошло несколько недель. Эта женщина посещала его во снах каждую ночь, и с каждым разом была все прекраснее. Он утратил вкус к жизни. Мало спал. Стал небрежно относиться к занятиям. Его прогулки по Мадриду заканчивались теперь далеко за полночь. Он появлялся на самых мрачных улицах, не заботясь о разбойничьем сброде, грабящем в таких местах одиноких прохожих. Он ничего не боялся, к тому же клинок его прадеда был при нем.

Однажды Мигель забрел в какой-то двор, примыкавший к площади Вилья, где находился очаровательный домик всего в три окна шириной, с лоджией на втором, последнем этаже. Было пусто и тихо. Он поднял глаза и вдруг увидел среди цветов лоджии ее дивное лицо. Ему стало холодно и душно, он почувствовал, что вот-вот упадет. Тем временем лицо там, наверху, исчезло. Мигель подумал, что это был всего лишь сон наяву, пожал плечами и решительно направился к выходу. Уже на улице его догнала женщина, одетая как

служанка, и сказала, как говорят о чем-то обыденном: «Пожалуйста, идите за мной, сеньор. Моя госпожа ждет вас».

Он последовал за ней, поднялся по узкой темной лестнице на второй этаж. Служанка исчезла, а Мигель оказался в маленькой прихожей лицом к лицу с той, которая занимала все его мысли. Она была в цветном красивом халате с широкими рукавами.

– Я часто видела вас в церкви, – сказала она, – и решила, что стоит познакомиться с таким усердным в вере молодым человеком.

У нее оказался низкий, очень спокойный голос. Он с трудом понимал, о чем она говорит, потому что смотрел на ее шевелящиеся губы, изгиб которых занимал его больше произносимых слов.

– Вы очень добры ко мне, сеньора, – с трудом произнес Мигель. Она улыбнулась, и по ее лицу промелькнуло выражение легкой чувственной прелести. Ему сразу стало легко и свободно.

– Входите же, – сказала она и ввела его в комнату, где находились несколько кресел старинной работы, туалетный столик и большой диван с золотистым покрывалом. На стене висели две картины фламандских живописцев. Впрочем, ему было сейчас не до интерьера. –Садитесь, – сказала она, указав на одно из кресел и удобно устроившись на диване. – Вы всегда такой мрачный?

– Не знаю, не думал об этом, – произнес Мигель растерянно. Дама вновь чарующе улыбнулась. Он подробно рассказал, как страдал, когда она исчезла, и вот нашел ее и видит в этом перст судьбы, а не случайность, потому что случайностей не бывает.

– Вы моя прекрасная дама, я хочу служить вам и ничего не прошу взамен, хоть и сознаю, что этого недостоин, – закончил Мигель и робко посмотрел на нее.

– Я несколько иначе представляла себе своего паладина, – сказала она серьезно, но ее глаза смеялись.

Они поговорили еще некоторое время о разных пустяках. Она расспрашивала о том, как он жил до сих пор, чем занимался. Сообщила, что ее зовут Джинна, но никаких других сведений о своей прекрасной даме ему получить не удалось.

– Вы не должны пытаться что-либо узнать обо мне, дон Мигель, если хотите иногда навещать меня, – сказала она. – Кто меньше знает, тот лучше спит.

Внезапно в ее глазах появилось такое неописуемое выражение, что даже он, никогда еще не знавший близости с женщиной, все понял – и испугался. «Может, лучше уйти», – мелькнула мысль, но было уже поздно.

– Сядьте рядом со мной, – произнесла Джинна.

То, что было потом, он вспоминал, как чудесный сон. Теплые мягкие губы, предельное напряжение всех сил, неимоверно долгое головокружительное падение в бездонный колодец и внезапное осознание того, что все, чем он жил до сих пор, не представляет больше никакой ценности. В какое-то мгновение ему казалось, что у него вот-вот разорвется сердце, и он подумал, что это, быть может, лучшая из смертей.

Джинна разрешила ему навещать ее раз в неделю в определенный час, и он теперь жил от свидания до свидания. Он так ничего и не узнал о ней. На все его вопросы она отвечала: «А зачем

тебе это знать? Живи сегодняшним, а завтра будет завтра. Разве тебе плохо со мной?»

Ему было хорошо, и даже слишком. Но и в лучшие их минуты его не оставляло тревожное чувство. Он понимал, что состояние почти абсолютного счастья, в котором он сейчас находится, есть результат необычайного стечения обстоятельств и что неотвратимый конец уже близок.

Наступил день, когда он, явившись в назначенный час, узнал, что она уехала. Куда – выяснить не удалось. Как метеор, промелькнула она в его жизни и исчезла. Мигель потом часто думал, что если бы он не знал, что означает близость этой женщины, то ему было бы легче ее забыть...

От душевной боли он заболел, метался в бреду, повторяя ее имя. Дон Ойос трогательно ухаживал за ним. Когда Мигель стал выздоравливать, он ощутил потребность поделиться своим горем и рассказал учителю все...

Дон Ойос долго молчал, теребя бородку. В его глазах появилось выражение далекой насмешки, сменившееся тревогой.

– Я слышал об этой женщине, – произнес он наконец. – Это Джинна Торрес, известная куртизанка. Вот уже два года она находится под покровительством герцога Альбы. Ни один мужчина не смеет приблизиться к ней, потому что перейти дорогу герцогу Альбе – это... ну, все равно что войти в клетку с голодным тигром. Черт возьми, сынок, тебе повезло. Страшно подумать, что было бы, узнай герцог Альба о вашей связи.

Мигель почувствовал себя так, словно пропасть разверзлась под его ногами. Пройдет много времени, и он напишет своему брату Родриго: «Прочность любви проверяется несчастьем. Так костер тем ярче светит в ночи, чем гуще окружающая его тьма».

* * *

– Пора тебе приниматься за дело, сынок, – сказал однажды дон Ойос. – В Мадриде находится сейчас доверенное лицо святого отца кардинал Джулио Аквавива. Хоть у него и красная шапка, но это совсем еще молодой человек. Всего года на три постарше тебя. Я когда-то имел честь учить его классической латыни. Более способного ученика у меня не было. Даже ты, Мигель, с ним не сравнишься.

– Я всегда говорил, что вы переоцениваете мои способности, – улыбнулся Мигель.

Учитель сердито посмотрел на него и продолжил:

– Святой отец послал его сюда, чтобы выразить нашему королю соболезнование в связи со смертью инфанта.

– Вы говорили мне, что государь не очень-то скорбел по поводу этой утраты, – заметил Мигель.

– Ну да. Но это неважно. Приличия ведь должны соблюдаться. Так что король Филипп принял его преосвященство, но, представь себе, заговорил с ним по-испански, а этого языка Аквавива не знает.

– Ну и что было?

– А то, что кардинал чуть было не сгорел от стыда и теперь вот решил учить испанский. Он попросил срочно найти ему учителя, и я, разумеется, порекомендовал тебя.

– Вы очень добры. Но у меня ведь нет опыта преподавания. Боюсь, что его преосвященство будет разочарован.

– Не говори ерунды, Мигель. Ты отлично справишься. Завтра ровно в десять утра кардинал примет тебя.

– Вы его хорошо знаете, учитель? Он хороший человек?

– Очень хороший. Беда лишь в том, что он неизлечимо болен чахоткой и дни его сочтены.

– Так зачем ему потребовался испанский язык? – спросил пораженный Мигель.

– Я расскажу тебе одну историю. За день до казни Сократа его навестил один из друзей. Он очень удивился, застав в тюрьме учителя музыки, который принес с собой лиру и обучал Сократа новой песне. «Как, – воскликнул потрясенный друг, – ты завтра умрешь, а сегодня тратишь время на какую-то песню?» «Дорогой мой, – сказал Сократ, – когда же я выучил бы ее, если не сегодня?»

На следующий день ровно в десять секретарь в черной сутане пригласил Мигеля в кабинет кардинала Аквавивы. Это было просторное помещение, расположенное на верхнем ярусе небольшой виллы, стены которого были украшены гобеленами. В промежутках между ними в стены были вделаны полки с книгами и рукописными свитками. Напротив просторного окна находился письменный стол с мраморной чернильницей, перьями и бумагой.

Кардинал полулежал в удобном кресле с высокой спинкой. Колени его были прикрыты пледом. Изможденное болезнью худое лицо старило Аквавиву, но изумительной ясности и выразительности глаза заставляли забыть о его немощи.

– Приблизьтесь же, – сказал кардинал, с любопытством разглядывая юношу. – Ваш ректор, почтеннейший маэстро Ойос, о вас самого лестного мнения.

– Дон Ойос очень добр ко мне, ваше преосвященство, и склонен преувеличивать мои скромные способности.

– Он сказал, что вы пишите и стихи и прозу и что лучшего учителя испанского языка мне не найти.

– Я ужасно боюсь разочаровать вас, ваше преосвященство.

– Если я приму вас на службу, то вам придется покинуть Испанию. Хочу также предупредить, что ваше место в моей канцелярии будет более чем скромным. Ну, что-то вроде пажа при королевском дворе. Вас это устроит?

У Мигеля радостно забилось сердце:

– Вполне, ваше преосвященство, я буду счастлив последовать за вами в Италию.

Вскоре кардинал со своей свитой возвратился в Ватикан, и Мигель оказался под одной кровлей с наместником святого Петра.

Впрочем, это, разумеется, преувеличение, потому что в Ватиканском дворце свыше тысячи комнат, а значит, столько же кровель.

Сначала Джулио Аквавива брал у Мигеля уроки каждый день. Он оказался исключительно способным учеником, но быстро уставал. Лицо покрывалось каплями пота, и режущий кашель разрывал грудь. Как жалел и как любил его Мигель в эти минуты...

Постепенно уроки становились все реже, но жалованье Аквавива платил своему учителю регулярно и часто находил повод, чтобы его увеличить. Мигель мог теперь помогать своей семье и был почти счастлив.

Тем временем здоровье его господина продолжало ухудшаться. Тяжелый кашель все сильнее мучил его, и на белоснежном платке, который он подносил ко рту во время особенно сильных приступов, теперь оставались алые пятна. Было ясно, что линия жизни кардинала Аквавивы неуклонно сокращается. Впрочем, сам он относился к своей болезни с невозмутимостью стоика и однажды сказал поразившую Мигеля фразу: «Страх перед смертью – это результат неосуществившейся жизни».

Уроки испанского почти совсем прекратились, но Аквавива не собирался отказываться от услуг Мигеля. Он был с ним неизменно кроток и приветлив, а иногда после урока задерживал его у себя для дружеской беседы.

Ум и познания этого человека казались Мигелю безграничными. Он расспрашивал его обо всем на свете и на все получал четкие ответы. Возвращаясь в свою комнату, Мигель записывал их разговоры.

Как-то раз Мигель спросил его о том, может ли человек общаться с Иисусом. Аквавива ответил: «Иисус – это не только Бог, но еще и личность. Для того чтобы общаться с ним, нужно самому стать личностью».

А однажды, когда за окном было сыро и темно и кардинал, похожий на больную птицу, сидел у камина, закутанный в теплую шаль, Мигель задал ему вопрос, над которым размышлял уже давно:

– Почему среди учеников господа нашего Иисуса Христа, которых он сам выбирал, один его предал, другой от него отрекся, третий в нем усомнился? Неужели он не мог предвидеть этого заранее, он, для которого сердца людские были как раскрытая книга?

– Потому что когда Иисус выбирал учеников, он был человеком. А тебе ведь известно, что люди несовершенны. Совершенен только Бог. Но он тогда не был Богом.

Аквавива вдруг рассмеялся и спросил:

– Как ты думаешь, Мигель, почему Господь не уничтожает дьявола и тем самым все зло в мире? Ведь он всемогущ.

– Потому что даже дьяволу Господь дает шанс исправиться, – сразу ответил Мигель.

Кардинал удивленно посмотрел на него:

– Прекрасный ответ. Мне такое и в голову не приходило. Кстати, я давно хотел тебе кое-что сказать. Я знаю, Мигель, ты любишь многое подвергать сомнению. Но всегда помни о том, что сомнение – это граница нашего сознания, и переступить ее может только слепая вера.

Из письма Мигеля де Сервантеса его брату Родриго: «Вот уже почти два года нахожусь я в Риме. Сначала этот город мне совсем не понравился, и, если бы представилась такая возможность, я бы без колебаний из него уехал. Чтобы почувствовать Рим, нужно время. Его очарование и таинственное обаяние действуют не сразу, а овладевают душой медленно и постепенно. Сегодня я привязан к нему, как к живому существу, и уже не представляю себе жизни в

каком-либо другом месте. Я рад, что ты поступил на королевскую военную службу. Не сомневаюсь, что тебе, с твоими способностями, обеспечена блестящая военная карьера».

* * *

Настало время, когда кардинал Аквавива, чувствовавший себя все хуже и хуже, совсем перестал брать уроки. Но он не захотел отпустить Мигеля и продолжал платить ему жалование. У Мигеля появилась масса свободного времени, и он тратил его на прогулки по Риму, все больше проникаясь атмосферой Вечного города.

Однажды он отправился на прогулку поздно вечером, спрятав под черным плащом свою шпагу, – в ночном Риме опасность подстерегает одинокого прохожего на каждом шагу.

Он прошел мимо гробницы императора Августа, вокруг этого огромного строения сгрудились узкие переулки и глухие тупики – идеальные места для засад и убийств. Рим мрачен здесь. Сквозь красные кирпичи стен проступают пятна сырости и разрушения. Мигель любил древние кварталы, заброшенные памятники, упавшие колонны, обвитые виноградными лозами, и тут же рядом новые дома с античными обломками в их стенах. Рим – город контрастов, придающих ему особый характер. Этим он отличается от остальных городов.

Мигель шел по улице Рипеттта, когда услышал шум яростной схватки. Он бросился вперед и в свете полной луны увидел четверых бретеров, напавших на одного человека, который искусно защищался. Он отражал удары умело и ловко, не отступая ни на шаг, с удивительным хладнокровием, как если бы находился в фехтовальном зале.

– Держитесь, синьор, я иду к вам на помощь, – крикнул Мигель, обнажая свой клинок.

Нападающие оказались не из трусливых. Двое из них сразу же повернулись к нему. Мигель, не имевший в дуэлях никакой практики, но хорошо усвоивший теорию, дрался отчаянно. Шпага оцарапала плечо, но и сам он ранил одного из нападавших. Впрочем, ситуация оставалась, и он отступил, прижавшись спиной к стене и с трудом успевая парировать удары.

– Теперь я иду к вам на помощь, – услышал Мигель звучный голос, и незнакомец, которому он помогал, сбоку обрушился на его противников. Не приняв боя, они обратились в бегство и скрылись в темноте.

Мигель увидел два лежащих на земле тела и спросил:

– Они мертвы?

– Можете в этом не сомневаться, – ответил незнакомец. – Но я должен поблагодарить вас. Вы вовремя пришли мне на помощь со своей твердой рукой и славной шпагой.

– Вы так великолепно сражаетесь, что, думаю, справились бы и без меня.

– Откуда вы узнали, кто я такой?

– Я и сейчас этого не знаю, – сказал Мигель.

– Тогда ваше мужество делает вам честь вдвойне.

Разговаривая, они вышли на площадь. Здесь горели два факела, воткнутые в кольца, вбитые в стены двухэтажных домиков слева и справа, и Мигель смог, наконец, рассмотреть человека, с которым его свела судьба. Он был среднего роста, уверенный и спокойный, чувст-

вовались в нем привычка повелевать и равновесие ловкости и силы. Бросалась в глаза изящная небрежность во всей фигуре.

– Вам полагается разъяснение, – сказал незнакомец. – Напавшие на меня люди – это наемные убийцы, подосланные неким герцогом, приревновавшим меня к своей жене. Должен признаться, не без оснований. Этот герцог – неприятный тип, и я передал ему привет, оставив засос на ее прелестной шейке.

Мигель растерялся и не знал, что сказать.

Вдруг послышался лязг оружия, и из темноты возникли несколько всадников.

– Слава Богу, ваше высочество, сказал один из них. – Мы получили известие о том, что ваша жизнь в опасности, и бросились вас искать.

– Вы должны были сделать это раньше, Диего, – ответил незнакомец и повернулся к Мигелю.

– Ваше высочество… – с трудом произнес он, потрясенный.

– Ну да. Я дон Хуан Австрийский. А как вас зовут, храбрый молодой человек?

– Мигель.

– Просто Мигель?

– Мигель де Сервантес Сааведра.

– Я запомню.

ХРОНИКА ВТОРАЯ

Священная лига, в которую входил Ватикан, готовилась к масштабной войне с Османской империей. Турки, уже захватившие Кипр, одерживали победу за победой. Сервантес понимал, что если их не остановить, то погибнет все, чем он дорожит в этом мире. И хотя перспектива военной славы прельщала Сервантеса, его мощный интеллект хоть и не сразу, но переключился на нравственный аспект происходящих событий.

Тем временем по всей Италии слышался лязг оружия и звучали патриотические речи. На верфях Генуи ускоренными темпами строили галеры. На римских площадях испанские офицеры производили смотр новобранцев.

Когда же король Филипп назначил своего брата Хуана Австрийского верховным главнокомандующим союзным флотом, то и в Италии, и в Испании последовал всплеск пассионарной энергии. Со всех сторон в Рим стекались добровольцы. Студенты отложили в сторону книги и пошли в армию. Все надежды находящегося под угрозой христианского мира связывались теперь с доном Хуаном, имя которого после победы над морисками окружал особый ореол. Мигель был рад. Он видел этого человека в деле и знал ему цену.

В атмосфере всеобщего ликования и решил Мигель, что его место в армии, но он понимал, что без свидетельства о чистоте крови военная карьера ему не светит. В Испании, в силу исторических причин, даже у самых рьяных защитников истинной веры могли обнаружиться изъяны в происхождении. Самые знатные семьи и те часто имели евреев среди своих предков, что тщательно скрывалось. Это сегодня испанская семья гордится, если происходит от марранов. Ведь это означает, что родословная такой семьи насчитывает свыше пятисот лет.

«Срочно вышли бумагу, свидетельствующую о чистоте моей крови», – пишет Сервантес отцу. Возможно, Сервантесу-старшему пришлось дать взятку чиновнику, чтобы не всплыло еврейское происхождение матери Мигеля. Так или иначе, требуемый документ был выдан.

Сервантес записался во флот и получил назначение в базирующуюся в Мессине эскадру.

Был ясный осенний день, когда он пришел попрощаться с кардиналом Аквавивой. Ночью прошел дождь, пропитавший свежестью воздух. Кардинал, закутанный в пуховый плед, сидел у распахнутого в сад окна. Он еще больше сдал за последнее время. Заострились черты изможденного лица, на котором, словно пробившись откуда-то изнутри, появилось выражение искренней радости, когда он увидел гостя.

– Я отправляюсь на войну и пришел поблагодарить вас, ваше преосвященство, за то, что вы были так добры ко мне, – сказал Мигель.

– Садись сюда, напротив меня, чтобы я видел твое лицо, – произнес Аквавива. – Отличная погода, не так ли? Воздух такой свежий, что мне легче дышится. Ты замечал, Мигель, как мало нужно человеку для счастья? Иногда для этого достаточно всего лишь вырвать больной зуб.

Кардинал помолчал, потом грустно улыбнулся:

– Итак, Мигель, ты все-таки решил стать воином. Хочешь сражаться за нашу святую веру. Это, конечно, похвально, но мы ведь с тобой уже говорили о том, что человеческая жизнь является частью божественного предопределения. А если так, то задача человека понять, чего от него хочет Господь, и выполнить его волю. Уверен ли ты, Мигель, что верно понял, чего Он хочет от тебя?

– Думаю, что да, ваше преосвященство.

– А я вот в этом сомневаюсь. Знаю, что ты будешь хорошим солдатом. Но хороших солдат много. У тебя иная судьба. Твое поприще – это мир искусства. Лишь там ты сможешь достичь истинного величия. Станешь великим поэтом, например. Военные подвиги забываются, а подлинная поэзия бесценна, потому что имеет неограниченный срок годности. Ведь истинная ценность жизни – это время. Кстати, Мигель, ты обедаешь со мной сегодня. Я вижу, ты совсем отощал из-за своих романтических переживаний.

– Благодарю за честь, ваше преосвященство. Вы, разумеется, правы, и в дальнейшем, если Господь сохранит мне жизнь, я посвящу ее искусству. Оно ведь карает зло, а жизнь с этим не справляется. Но мы с вами теперь не скоро увидимся, и мне бы хотелось исповедаться перед вами.

– Я внимательно тебя слушаю, Мигель.

– В последнее время меня одолевают сомнения. Я стал задумываться над тем, для чего человеку нужна вера. Иногда мне кажется, что люди нуждаются в ней, чтобы им жилось и умиралось легче, и поэтому не следовало бы превращать ее в тяжкое бремя всякими запретами. И пусть бы монахи и священники жили, как все люди, увлекая их на путь истинный не словами, а личным примером. Трудились бы в поте лица своего, добывая хлеб насущный и разделяя печали и радости бедняков. И еще я сомневаюсь в том, что Господу угодно, чтобы людей сжигали на кострах в его честь, даже если это еретики.

– То, что ты говоришь, это ересь, – нахмурился Аквавива. – Царство божье должно воцариться в душе человека, а не на земле.

– Я знаю это, ваше преосвященство, и мне очень хочется, чтобы вы избавили меня от сомнений.

– Сомнение – это граница нашего сознания. Переступить ее может лишь слепая вера. Господь возвратит мир и покой твоей душе, но не пытайся понять умом то, что можно постичь только сердцем.

– Благодарю вас. Я обдумаю все, что вы мне сказали.

– Ты ведь помнишь историю о том, как папа Лев первый спас Рим, заставив Атиллу повернуть вспять свои войска?

– Конечно, помню. В этой поразительной истории есть нечто загадочное. Я однажды видел во сне, как это было. Огромное войско гуннов у стен Рима. Кажется, что город уже ничто не может спасти. Но вот из римских ворот выходит босой старик, опираясь на посох. Атилле, встретившему его у входа в свой шатер, он говорит: «Приветствую тебя, бич божий!» Он беседует с Атиллой несколько часов, а потом возвращается в Рим. Атилла же приказывает своей армии отступить. Меня всегда интересовало, что мог сказать папа этому дикарю. Чем он подействовал на его воображение. Как сумел заставить отказаться от богатой добычи и уйти того, кому принадлежит похожая на удар меча фраза: «Там, где ступают копыта моего коня, трава не растет».

– Закрой окно, Мигель, холодно становится, – попросил Аквавива, кутаясь в плед, и, помолчав, продолжил: – Нам известно, что говорил вождю гуннов святой отец. Он сам записал свой разговор с Атиллой, и эта запись хранится в наших архивах. А сказал он примерно следующее: «Ты, Атилла, победил почти всю вселенную и достиг высшей степени человеческих возможностей. Но я прошу тебя совершить самый великий подвиг и победить самого себя. Только тогда ты достигнешь истинного величия и уподобишься Богу, который милует смиренных и покорных».

Ты хочешь знать, к чему я тебе это рассказал? Ты, Мигель, тоже должен научиться побеждать самого себя. Лишь тогда ты сможешь выполнить свое предназначение в этой жизни.

* * *

Битва при Лепанто была последним сражением гребных флотов в мировой истории. Парусные корабли к тому времени существовали уже давно – именно на них Колумб пересек Атлантику. Но для боя парусники не очень годились – искусство парусной навигации было освоено позднее. Против боевых галер не мог устоять ни один из них. Но если у древних греков и викингов гребцами были сами воины, то в средневековой Европе – каторжники и военнопленные.

Галера представляла собой легкое узкое быстроходное судно длиной в сорок семь метров. Длина каждого весла – пятнадцать метров. На каждое весло приходилось по пять гребцов. На больших галерах их общее число доходило до двухсот пятидесяти. Гребцами были преступники – для чего и было введено специальное наказание – ссылка на галеры. Чтобы обеспечить нужное количество гребцов, судьям было велено приговаривать к каторжным работам на галерах даже самых отпетых злодеев.

По сравнению с галерами самые мрачные тюрьмы выглядели курортами. Галерные рабы были обречены на ужасающую жизнь.

Прикованные цепями к гребным скамьям, они оставались там днем и ночью, в жару и в непогоду, всегда под открытым небом, в грязи и паразитах. Они получали бобовую похлебку и тридцать унций хлеба в день. При этом от них требовалась тяжелейшая работа – от десяти до двадцати часов на веслах. Если кто-то ослабевал от голода или болезни, его выбрасывали за борт.

Вооружение галер состояло из пяти-шести орудий, установленных обычно на носу. Солдаты, входившие в состав экипажа, имели мушкеты и аркебузы, но пользовались также и арбалетами. Низкие мелкосидящие галеры не могли противостоять непогоде, поэтому управление ими требовало большой осторожности.

Недостатки галер должны были компенсировать тяжелые суда – галеасы. В 1571 году в союзническом флоте их было всего шесть, и все они были построены на венецианских верфях. Эти плавающие крепости по своей огневой мощи намного превосходили галеры. Каждый галеас имел десять тяжелых носовых орудий в два яруса и восемь кормовых, кроме того, по бортам устанавливалось много легких пушек, общее количество орудий могло доходить до семидесяти.

* * *

Союзнический флот собирался медленно. Венецианская эскадра и галеры его святейшества уже около двух месяцев крейсировали у Мессины. Было там и несколько испанских судов, но основные испанские силы во главе с главнокомандующим Хуаном Австрийским еще не подошли. Венецианскими галерами и галеасами командовал адмирал Себастьян Вениеро, а судами папистов – адмирал Марк Антонио Колонна. Вениеро был старым морским волком, многое повидавшим в жизни, его трудно было чем-либо удивить. Живой и подвижный, он выглядел моложе своих семидесяти лет. Не отличаясь особыми талантами, он был упрям и храбр.

Адмирал Колонна – доверенное лицо папы – больше всего ценил осторожность и не любил проявлять инициативу.

А дон Хуан не спешил. Сначала он задержался в Генуе, где проводил время в увеселениях. Потом целый месяц находился в Неаполе, где было еще веселее. Турниры и балы сменялись церковными торжествами. Король Филипп прислал своему полководцу украшенный алмазами жезл. Устроенный по этому случаю пир продолжался двое суток. Потом три дня готовилась церемония освящения знамени Лиги. Ну и так далее. Поводов для веселия хватало.

На эскадрах в Мессине ничего этого не знали. Экипажи кораблей редко отпускали на берег, потому что в переулках и тавернах веселого портового города дело всегда кончалось кровавой дракой между итальянскими и испанскими матросами. Итальянцы не выносили испанцев из-за их высокомерия.

Экипажам кораблей приходилось нести утомительную службу. Корабли постоянно требовали ухода. Нужно было смолить, конопатить, в кровь обдирать руки на такелаже, заниматься упражнениями в стрельбе и фехтовании.

А дона Хуана все не было.

Сервантес жил теперь на борту «Маркезы» – среднего размера галеры. Полтораста солдат спали здесь в кубрике таком низень-

ком, что не каждому удавалось встать в полный рост. Люди тут не мылись неделями, вонь стояла жуткая, но Сервантес, хоть и не сразу, к этому привык.

Командовал «Маркезой» капитан Диего Урган, тучный служака с вечно багровым лицом, свидетельствующим о склонности к возлияниям. Он был добродушен и справедлив. Его любили. Каждое обращение к своему экипажу он начинал словами: «Я вам вот что скажу, господа солдаты».

Скромного ватиканского юношу трудно было узнать. Он возмужал, окреп, отпустил усы. Глаза весело смотрели из-под железной каски. Сначала ему приходилось скверно. Его сослуживцы, в основном всякий сброд, укрывшийся под военным знаменем от карающей длани правосудия, с ненавистью почуяли личность тонкой душевной структуры. Каждый день ему приходилось доказывать, что раздавать тумаки он умеет не хуже них. Он усвоил их жаргон, их манеру поведения, покорил умением рассказывать различные истории и добился того, что его признали своим в этой грубой среде, стали считать славным малым и хорошим товарищем. Лишь одна его слабость раздражала их. Сервантес много читал. Несколько томиков всегда были у него под рукой. Особенно дорожил он «Записками о галльской войне» Юлия Цезаря в кожаном переплете – прощальным подарком кардинала Аквавивы, с дарственной надписью на титульном листе: «Cognosce te ipsum!» – «Познай себя!». Он никогда не расставался с этой книгой, хранил ее у себя под подушкой.

Однажды, когда Сервантес спустился в кубрик после работы, его встретило странное молчание. Он сразу почуял неладное. Когда же бросил взгляд на свою койку, то у него потемнело в глазах. «Записки» Цезаря лежали на подушке – мокрые. От них остро пахло мочой. Сервантес задрожал от гнева. Он знал, кто это сделал.

На этой галере служил Андреас – огромный детина из Андалузии. Он возненавидел Сервантеса из-за его пристрастия к чтению. Видел в этом какой-то вызов себе. У него были кривые ноги и огромные руки, волосатые, как у обезьяны, один глаз сильно косил. Виски были покрыты редкими рыжими волосами. На затылке выделялись несколько шишек, крупных, как каштаны. Его звериная неукротимая сила так и перла наружу. Он помыкал всеми. Разговаривал всегда на повышенных тонах и, не задумываясь, пускал в ход кулаки. Не проходило вечера, чтобы он не избил кого-нибудь. Его ненавидели и боялись. К тому же Андреас не расставался с огромной окованной железом дубиной. Мечи и шпаги он презирал.

Сейчас он лежал на своей койке, заложив руки за голову, и с вызовом смотрел на Сервантеса. Несмотря на брезгливость, тот взял обесчещенную книгу двумя пальцами и тихо спросил: «Это ты сделал, мерзавец?» Не дожидаясь ответа, швырнул ее прямо в ухмыляющуюся рожу. Листы разлетелись по всему кубрику. Андреас, взревев, вскочил на ноги – и сильно ударился головой о низкий потолок. Мгновенно воспользовавшись этим, Сервантес схватил его дубину, лежащую у койки, и обрушил на голову врага. Андреас рухнул, взмахнув руками. Со всех сторон раздались крики восторга. Все поздравляли Сервантеса так, словно он совершил великий подвиг. Потом пришедшего в себя Андреаса избили и вышвырнули на палубу, где он еще долго выл, жалуясь небу на несправедливость судьбы.

* * *

24 августа вся Мессина была на ногах. Ночью в порт вошла эскадра главнокомандующего. Город украсился разноцветными флагами, весело трепетавшими в лучах восходящего солнца. Набережная была покрыта пурпурным бархатом. Прибывший с доном Хуаном папский нунций собственноручно освятил каждый корабль. Присланные понтификом щепки с голгофского креста были распределены по корабельным командам. На флагманской галере развевалось знамя Девы Марии. Флаг лиги, освященный самим папой, было решено поднять в день решающей битвы.

В четыре часа пополудни начался смотр флота. Все команды были выстроены на палубах, и корабль главнокомандующего медленно проплыл мимо них под грохот пушек, являя всем своим великолепием суть испанского боевого изящества.

Дон Хуан Австрийский находился на капитанском мостике под золотой сенью адмиральского штандарта. По левую его руку, но немного позади стояли покрытый черной броней Марк Колонна и одетый в серебристую мантию венецианского адмирала Себастьян Вениеро. По правую руку, но тоже позади стоял Александр Фарнезе, друг дона Хуана и член королевского дома.

Но все смотрели только на главнокомандующего. Его прекрасное с тонкими чертами лицо было озарено внутренним светом. Мягкие светлые волосы развевались вокруг юной головы. Декоративный панцирь из серебра ослепительно сверкал в лучах сицилийского солнца. Из шейной брони изящно выбивались похожие на белые розы искусно нагофрированные брыжи. В руке полководец держал освященный папой жезл. С шеи на броню спадал орден Золотого руна. Дон Хуан стоял неподвижно, как статуя. Нелегко было выстоять так всю церемонию. Солдаты и матросы приветствовали его неистовыми криками восторга. Теперь никто не сомневался в грядущей победе. Разве можно проиграть сражение, если вами командует полубог.

Но у дона Хуана было немало проблем, осложнявших ему жизнь. Его молодость, самоуверенность, надменная снисходительность и отсутствие опыта в морском деле раздражали командующих эскадрами. Особенно напряженные отношения сложились у него с венецианским адмиралом Себастьяном Виниеро, считавшим унизительным для себя находиться в подчинении у желторотого юнца – пусть даже и королевского брата. К тому же между венецианцами и испанцами издавна существовало соперничество на море. Венеция, считавшая Восточное Средиземноморье своей вотчиной, с подозрением отнеслась к появлению там крупных испанских морских сил. Венецианцев мучила мысль, а вдруг они там и останутся. Так что дон Хуан имел основания настороженно относиться к венецианскому союзнику. К тому же Венецианская республика, скаредность которой была общеизвестна, плохо снарядила свою эскадру. Адмирал Виниеро был вынужден считать каждую копейку и испытывал острую нужду не только в солдатах и матросах, но и в продовольствии. Дон Хуан это прекрасно знал.

– Мне доложили, что ваша эскадра безобразно снабжена припасами, – сказал принц адмиралу Виниеро. – Разумеется, у моего короля достаточно средств, чтобы обеспечить всем необходимым и

своего союзника. Но я, клянусь Мадонной, и не подозревал, что Венецианская республика так обнищала.

Адмирал побагровел, но проглотил эту колкость. А куда денешься, если в трюмах венецианских галер уже сдохли с голоду последние крысы.

В тот же день по приказу дона Хуана на венецианские корабли было погружены все необходимые припасы. Кроме этого, на них перешли четыре тысячи испанских солдат. Они должны были гарантировать выполнение венецианскими капитанами приказов главнокомандующего. Это вызвало ссоры, драки и даже поножовщину между испанцами и венецианцами. Но все успокоилось после того, как зачинщиков подобных безобразий дон Хуан велел повесить. За добрым нравом и веселым характером главнокомандующего все почувствовали железную волю и твердую руку.

Пока союзники собирались, турки не сумели воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы уничтожить их флот по частям. Вместо этого капудан-паша Али зачем-то предпринял рейд вдоль Адриатики, разоряя и грабя принадлежащее Венеции далматинское побережье. Потом осадил крепость Корфу, где встретил отчаянное сопротивление. Гарнизон крепости, вдохновляемый митрополитом Спиридонием, не только отбил все приступы, но и потопил артиллерийским огнем несколько галер. Турецкому флоту пришлось бесславно отступить, и он взял курс на Коринфский залив.

Туда же медленно из-за тихоходных галеасов двинулся и флот союзников. У Эпира флот догнал корабль-гонец, который привез известие о захвате турками Кипра и падении Фамагусты.

По приказу капитана Диего Ургана на палубе «Маркелы» были выстроены все сто пятьдесят человек экипажа.

– Я вам вот что скажу, господа солдаты, – начал капитан. Его добродушное лицо было краснее обычного. Было видно, что ему трудно говорить, но события были красноречивее слов. – Кипр захватили неверные. Фамагуста пала. Ее сдавшиеся в плен защитники, которым обещали жизнь, были зверски убиты. Турки не пощадили ни женщин, ни детей. Особенно страшной оказалась участь доблестного коменданта Фамагусты Брагандино – с него живого ободрали кожу. Вот, господа солдаты, каковы ваши враги. Да не будет жалости в вашем сердце. Разите их, убивайте их, как бешеных собак, – закончил капитан Урган.

Весть о чудовищном злодеянии потрясла всех. Солдаты клялись отомстить. Сервантес шатался, когда все расходились. У него невыносимо болела голова. Он перегнулся через борт, и его стошнило. С трудом дошел он до кубрика и бросился на ложе. Лихорадка воспламенила кровь. Зубы стучали. Когда пришли остальные устраиваться на ночь, он бился, как в припадке падучей, бредил и кричал:

– Месть господня! Все к оружию!

Из-за его криков никто не мог заснуть. В конце концов его вынесли из кубрика и положили на мешки под лестницей, где оставался небольшой свободный уголок. Люк был открыт, и туда проникал свежий воздух. Он перестал метаться и заснул.

7 октября утром на востоке показался турецкий флот, построенный в боевой порядок у входа в Коринфский залив. Здесь и разыгралось самое кровопролитное морское сражение из всех происхо-

дивших с начала нашей эры. Свое название оно получило от города Лепанто, находившегося в тридцати милях оттуда.

Погода была хорошая, ясная. Дул легкий ветер, морской бриз был незначителен. Дон Хуан приказал выстроить весь флот развернутым фронтом в длинную линию, причем фланги немного выдавались вперед. Левым флангом, примыкавшим к отмелям у берега и состоявшим из 63 галер, командовал венецианец Агостино Барбариго. Правым флангом, выдававшимся в открытое море и состоявшем из 64 галер, командовал генуэзец Андреа Дориа.

Главнокомандующий с 37 кораблями стоял в центре и имел при себе адмиралов Вениеро и Колонну, с их крупными флагманскими кораблями. Дон Хуан был невысокого мнения об их способностях и считал, что они не смогут эффективно командовать флангами.

Такое построение соответствовало обычному боевому порядку, но дон Хуан ввел в него две особенности, обеспечившие союзникам победу, а ему славу выдающегося флотоводца. Он выдвинул вперед перед центром все шесть галеасов, чтобы использовать их артиллерийскую мощь уже при приближении неприятеля. Второе новшество заключалось в том, что позади центра он поставил в резерве 35 галер под командованием маркиза де Санта Круза. Таким образом, вопреки установившейся традиции, центр был крепко усилен и состоял из трех линий.

Флот капудан-паши Али наступал обычным турецким строем в виде широкого полумесяца. Правым крылом командовал Александрийский паша Мухаммед Сирокко, левым – итальянский ренегат Улуг-Али, берберийский пират, прославившийся своими разбоями, ну а центром командовал сам Али.

Берберийские легкие суда уже давно следили за передвижениями христианского флота. Лихой корсар Кара-Ходжа, выкрасив свой галиот черной краской, ночью дерзко проник в самую середину союзнического флота и пересчитал суда. Но галеасов, стоящих в отдалении, он не заметил.

Капудан-паша Али созвал военный совет на флагманском корабле. Флотоводец выглядел величественно. Его седая борода была аккуратно подстрижена. Смуглый профиль напоминал хищную птицу. Зеленый тюрбан, на котором сверкал изумрудный полумесяц, был надет на стальной шлем.

Турецкие капитаны также были в боевом облачении. Большинство из них советовали капудан-паше воздержаться от сражения.

– Уже осень, и не стоит нам рисковать сейчас, – настаивал Улуг-Али. – Подождем до весны, как следует подготовимся и тогда уж обрушимся на них всей мощью.

Его поддержал и второй флагман Мухаммед Сирокко:

– У гяуров мушкеты и аркебузы, а у нас только луки, – заметил он.

Но капудан-паша был непоколебим:

– Я обещал султану, да умножит Аллах его могущество, уничтожить весь флот гяуров и клянусь бородой пророка, что это сделаю. По сведениям лазутчиков, у них не так уж много сил. К тому же, пока их аркебуза выстрелит один раз, наш лучник успеет выпустить тридцать стрел. Преимущество на нашей стороне, и мы будем атаковать. Все. Совет окончен.

Дон Хуан не спал уже двое суток, обдумывая план предстоящего сражения. Он вникал в каждую мелочь, старался не упустить ни малейшей детали. Ведь любой, даже самый незначительный просчет мог привести к тяжелым последствиям. В канун битвы он принял важное решение. Капитанам было приказано снять цепи со всех христианских гребцов и раздать им оружие. На флагманском корабле он объявил об этом сам.

– Я знаю, – сказал он, – средь вас есть отпетые негодяи и убийцы. Но сегодня день очищения. Папа дарует вам всем отпущение грехов. Вы теперь свободные люди, так докажите же, что вы заслуживаете такой милости.

Они плакали и целовали ему руки.

Тем временем заканчивались последние приготовления. Палубы посыпали песком, чтобы не скользить по крови. Солдаты молились. Некоторые писали близким прощальные письма.

Солнце было уже в зените, когда главнокомандующий со своим секретарем Хуаном Сото на легкой шлюпке провел смотр готовому к сражению флоту.

– Наш главнокомандующий – Христос! – кричал он стоящим на палубах экипажам. – Сегодня наш день, и он принесет нам победу! От имени папы я дарую вам отпущение грехов!

Слова главнокомандующего тонули в криках восторга. Людьми овладело возвышенное чувство. Вчерашние враги обнимались, прощая друг другу былые обиды.

Вернувшись на флагманский «Реал», дон Хуан приказал поднять над грот-мачтой знамя Священной лиги и огромное распятие. В руке главнокомандующий сжимал меч с крестообразным эфесом, на лезвии которого был выгравирован его девиз: «Только вперед!».

– Под сенью этого распятия мы сегодня или победим, или обретем вечный покой, – сказал он своему другу Александру Фарнезе.

– Знаешь, хотелось бы все-таки победить, – ответил тот, застегивая кирасу. – На покой всегда успеется.

Огромный турецкий флот медленно и тяжело двинулся в атаку. Туркам тоже нужна была только победа.

– Живым я обещаю полные карманы золота, а о мертвых позаботится Аллах! – объявил турецкий главнокомандующий. – Гурии в райских кущах достойно встретят моих храбрых львов.

Когда турки приблизились, они издали жуткий, леденящий кровь крик.

Христианский флот двигался молча.

Сервантес очнулся, когда лучи полуденного солнца обожгли ему лицо. Была странная тишина. Галера стояла неподвижно. Лихорадка покинула его, но слабость осталась. Он встал, взял меч и доспехи и, шатаясь, поднялся на палубу. И все стало ясно. Два флота готовились к бою. «Маркеза» находилась почти в центре, и то, что он видел, было похоже на детскую игру, увеличенную до невероятных размеров. Повсюду у бортов, плечом к плечу, шлем к шлему, стояли солдаты, как на параде. Сверкали щиты и броня. Лучи солнца преломлялись на обнаженных мечах.

А впереди во всем своем варварском великолепии медленно приближался вражеский флот. Искрились на солнце тройные киле-

вые фонари. Золотой и серебряной вязью мерцали на бортах изречения пророка. Весь флот переливался дикими красками Азии. Всюду на палубах теснились войска в украшенных перьями тюрбанах, с кривыми саблями, пиками, топорами. У многих были луки и стрелы. Над турецкими галерами развевались белые с золотом стяги Блистательной Порты.

Их адмиральский корабль, находившийся в центре, был выдвинут немного вперед. Сервантес увидел на его палубе под зеленым знаменем немолодого уже человека в тюрбане и серебристых доспехах. В руке он держал увенчанный полумесяцем жезл. Он смотрел на флагманский корабль христиан, туда, где стоял дон Хуан в ослепительном покрытом золотом панцире.

Сервантес понял, что это и есть капудан-паша.

Чья-то рука легла на его плечо. Он повернул голову и увидел своего капитана.

– Ты что, парень? Куда тебе сражаться. Ты же еле на ногах стоишь. Возвращайся в кубрик! – сказал Диего Урган.

Сервантес отрицательно покачал головой:

– Святая дева Мария даст мне силы, – с трудом произнес он.

Послышался сильный голос священника. Всем отпускались грехи. В это мгновение все сорок тысяч бойцов на двухстах кораблях преклонили колени, внимая своим священникам. Но вот прогремел пушечный выстрел с флагманского корабля. Это был сигнал к бою. Началось.

* * *

Турецкие корабли атаковали по всему фронту под звуки труб и грохот барабанов. В центре они сразу же напоролись на плотный огонь галеасов. Несколько галер были разнесены в щепки, а остальные замедлили ход. Артиллеристы галеасов сосредоточили огонь на турецком флагмане. Ядра сметали все с его палубы. Но капудан-паша стоял на капитанском мостике, спокойный и невозмутимый. Его пример вдохновил турок, и они продолжили наступать, несмотря на потери.

Не столь успешно для союзников развивались события на флангах, где турки засыпали их галеры дождем стрел.

На левом фланге турецкий командующий Мухаммед Сирокко сумел втиснуться между береговыми отмелями и венецианскими галерами, взяв их в клещи. Турецкие галеры сцепились с венецианскими в абордажном клинче. Начался жестокий рукопашный бой. Успех попеременно сопутствовал то одной, то другой стороне.

На правом фланге дела у союзников обстояли хуже. Там перед началом атаки командующий флангом Улуг-Али объявил своим капитанам:

– Я всего лишь такой же пират, как и вы, а потому сражайтесь, как умеете, и Аллах вас не оставит.

Улуг-Али, обладавший большим опытом, заметил ошибку своего «коллеги» Андреа Дориа, слишком широко расставившего свои галеры, и прорвал редкую линию генуэзцев, захватив в абордажном бою несколько судов. Сам же Улуг-Али атаковал флагман мальтийского ордена. Отчаянно сражавшиеся рыцари были перебиты все до

единого. В плен их не брали. Им отрубали головы, которые укладывали в заранее приготовленные корзины, чтобы потом предъявить султану как свидетельство своей доблести. Плененную флагманскую галеру под восторженные вопли потащили на буксире в тыл.

Но на этом стратегические способности Улуг-Али были исчерпаны. Вместо того чтобы развивать успех и обрушиться на центр союзников с боку, его пираты стали азартно гоняться за галерами мальтийцев, своих заклятых врагов. Так собака бросается в погоню за кошкой, не обращая внимание на окрики хозяина.

– Мы не успокоимся, пока поганые головы собак-мальтийцев не окажутся на наших пиках! – вопили пираты.

Дон Хуан, вовремя заметивший кризисную ситуацию на правом фланге, ввел в бой свой резерв. Маркиз де Санта Круз со всеми своими галерами атаковал суда Улуг-Али и отбил мальтийский флагман. Увы, вместо людей там были обнаружены лишь наполненные головами корзины. Инициатива на этом фланге перешла к союзникам.

Но судьба сражения должна была решиться в центре. Там, как писал один из участников великой битвы, «вершилось нечто такое кровопролитное и ужасное, что море и огонь слились в единое целое».

Дым орудий шести галеасов затемняет небо. Турки несут большие потери. Кажется, еще немного – и они дрогнут. Но Али находит решение. Тихоходные галеасы не могут маневрировать. Он приказывает обойти их и устремиться прямо на галеры врага. Вскоре плавучие бастионы остались позади, и их ядра уже не долетали до турок.

– Ну а теперь вперед, мои крокодилы! – призвал капудан-паша своих капитанов. – Всемилостивейший Аллах с нами! Смерть гяурам! Победа уже близка!

Эскадры Али и дона Хуана сошлись в страшном грохоте, который покрывал тысячеголосый пронзительный вопль «Алла акбар!».

«Маркеза» находилась в самом центре сражения, позади флагманского «Реала». Сервантес стоял, прислонившись спиной к мачте. Сердце билось все сильнее, кровь все быстрее текла по венам, жилы напряглись до предела. Сервантес почувствовал, что силы возвращаются. Он может сражаться. Грохот канонады, треск снастей, стоны раненых – все это слилось в один сплошной гул. Музыка боя.

Раздался оглушительный треск ломающихся весел. Борт вражеской галеры ударился о борт «Маркезы». Турки пошли на абордаж. Они лезли на палубу. Все бросились туда рубить и колоть. Атакующих сбрасывали в море. Падали туда и испанцы. Борьба продолжалась и в воде. Враги тонули вместе, сплетясь в смертельных объятиях.

Но вот атаку отбили. Несколько минут освободившийся корабль покачивался на волнах. Сервантес смог перевести дыхание. Он рубил и колол вместе с остальными. Его меч в крови. Вдруг раздался мощный крик «Viva Cristo!». Его подхватывают десятки голосов. Капитан Урган с безумной смелостью атакует высокую раззолоченную галеру с алым штандартом на высокой мачте – флагман Александрийского паши. Это его он хочет взять на абордаж.

Но «Маркеза» невысока. Турки отбрасывают нападавших и по абордажным доскам сами устремляются на ее палубу. Начинается исступленное и дикое побоище. Сервантес разит мечом во все сто-

роны. Он уже ничего не чувствует и сражается автоматически. Рядом с ним вдруг появляется голова наказанного им недавно Андреаса. Он вооружен своей дубиной, оказавшейся в его руках страшным оружием. С огромной быстротой вращает он ее над головой, словно это тростинка. Он бьет направо и налево, проламывая головы, разбивая лица. Все пространство вокруг него покрыто телами. Узнав Сервантеса, он кричит ему: «Славная резня! Лучше не бывает!» – и скалит зубы в ухмылке. Сервантес рад, что его признал этот скот. Ведь сегодня все испанцы братья. Андреас сеет вокруг себя смерть и ужас, пока метко пущенная стрела не впивается в его горло.

Взаимное ожесточение давно перешло все мыслимые пределы. «Святая матерь Божья!» – стонет раненый испанец. «У Бога нет матери, собака!» – кричит турок, добивая его кривой саблей. И тут же сам падает на него под ударом меча Сервантеса.

Вдруг в его левую руку вгрызается боль. Раздробленная пулей, она повисает плетью. Но не левая рука, а правая сейчас важна. Это ведь она держит меч. Он продолжает сражаться. Он больше не чувствует ни усталости, ни боли. На душе легко и спокойно. И тут две пули почти одновременно поражают его в грудь. Одна из них расплющилась о кирасу, но вторая впивается в тело. «Вот и все», – успел подумать Сервантес, опускаясь на палубу и теряя сознание.

А сражение продолжалось с небывалым накалом. В хаотическом неразборье дон Хуан сумел точно определить, где находится галера капудан-паши, и повел свой «Реал» прямо на нее. Первые же турецкие ядра снесли грот-мачту «Реала». Распятие тяжело рухнуло в воду. Ужас пронесся над испанскими кораблями. Неужели Христос их покинул? Смертоносный залп всех орудий «Реала» обрушил на палубу турецкого флагмана шквал огня и метала. Корабли с резким стуком ударились бортами.

– Аркебузиры – на нос! – скомандовал дон Хуан.

Солдаты мгновенно исполнили приказ. Пули расчистили дорогу абордажному отряду. С поразительной быстротой были переброшены мостики. Дон Хуан, увлекая за собой людей, ринулся на палубу турецкого флагмана. Воцарился дикий хаос, в котором топоры и мечи поднимались и опускались в сумасшедшем темпе. Воины скользили и спотыкались на заваленной трупами и ослизлой от крови палубе.

Дон Хуан сражался так, словно в него вселился сам дьявол. Он появлялся повсюду и то колол, то рубил, нагибался, уклоняясь от топора, наносил удары, и все это с такой стремительностью, что замахнувшийся саблей противник опускал ее уже мертвым. Рядом с ним рубился верный Фарнезе.

Турки упорно сопротивлялись, но, несмотря на отчаянную доблесть, солдаты личной гвардии дона Хуана оттеснили их к борту и всех перебили. Резко пропела труба, возвещая победу.

– Вот и все, – сказал Фарнезе, подойдя к другу. – Капудан-паша сбежал от нас. Этот сукин сын закололся кинжалом, чтобы избежать плена.

Дон Хуан обернулся, и Фарнезе увидел его страшный облик. Шлем сбит на бок, кираса прогнулась от сабельных ударов, руки покрыты кровью, лицо посерело от пыли и копоти. Зато глаза сияли радостью победы. Вскоре отрубленная голова капудан-паши

взметнулась вверх на высокой пике, вызывая ужас у турок и ликование у их врагов.

Пример «Реала» воодушевил испанцев. Теперь они решительно шли на абордаж, где сказывалось превосходство испанской пехоты, считавшейся тогда лучшей в мире.

Разбиты были турки и на правом фланге, где до этого имели перевес и теснили галеры Барбариго. Метким выстрелом из мушкета был убит турецкий командующий правофланговой эскадрой Мухаммед Сирокко. В довершение к этому сразу тридцать турецких галер сели на мель. Никто из турецких капитанов не знал, как быть дальше.

– Аллах отступился от нас, – кричали турки, прыгая за борт.

– Хвала Иисусу! Мы одержали великолепную победу! Ну и отпразднуем же мы ее сегодня вечером! – воскликнул командующий правым флангом Агостино Барбариго – и рухнул мертвым на палубу. Стрела, выпущенная лучником с тонущей турецкой галеры, впилась ему прямо в глаз. Но это уже ничего не могло изменить. Разгром турок был полным. В четыре часа пополудни все закончилось.

Правда, на левом фланге Улуг-Али сумел оторваться от наседавших на него судов Андре Дориа и ушел с двадцатью галерами. Победители, утомленные тяжелейшим сражением, его не преследовали. Нужно было хоронить павших и подсчитывать потери.

Каковы же итоги этой грандиозной битвы? Турки потеряли свыше двухсот галер, 25 тысяч убитыми и 3,5 тысяч пленными. Потери союзников были гораздо менее значительными: всего 15 потопленных галер, 8 тысяч убитых и 10 тысяч раненых.

Сервантеса принесли в лазарет.

– Сразу на стол, – сказал покрытый кровью хирург, пробуя пальцем заточку пилы.

– Не отрезайте руку, – прошептал раненый еле слышно, но хирург услышал его:

– Кисть придется укоротить, иначе подохнешь, понял?

Сервантес опять потерял сознание.

Рассказывают, что в день сражения при Лепанто над Ватиканом вдруг прозвучал раскат грома. Папа Пий V жестом прервал своего казначея, докладывавшего ему о финансовых проблемах, и подошел к окну. Ни облачка не было в безмятежном небе. Папа обернулся к собеседнику с сияющим лицом и сказал: «Сейчас не время для дел. Надо возблагодарить Господа. Наш флот только что одержал славную победу».

И папа поспешил в свою личную капеллу.

Ну а официальная весть о победе при Лепанто достигла Рима только через две недели.

ХРОНИКА ТРЕТЬЯ

Весть о победа при Лепанто привела в состояние экстаза весь христианский мир. Папа Пий V лил слезы радости. Ему уже мерещился христианский Иерусалим.

Престарелый Тициан вновь взялся за кисть и написал картину «Испания спасает религию». На полотне он изобразил победоносную

Испанию в виде воительницы с копьем и щитом, на котором красуется герб короля Филиппа II.

Что же касается самого Филиппа, то он с подчеркнутым равнодушием отнесся к известию о разгроме турецкого флота его сводным братом. Королю сообщили об этом во время вечерни. На его бесстрастном лице не отразилось ничего. Он не произнес ни единого слова и знаком велел продолжить богослужение. На следующий день придворные услышали от него странное высказывание: «Дон Хуан очень отважен. Может быть, даже слишком! Чрезмерная отвага не менее вредна, чем чрезмерная осторожность». Что это означало – одобрение или осуждение, так никто и не понял.

Но разгром при Лепанто не подорвал могущества Блистательной Порты. Нимб полумесяца померк лишь на короткое время. Священная лига не сумела должным образом воспользоваться плодами своей победы. Между союзниками начались раздоры. Операции в Средиземном море проводились без четкого плана и всегда с недостаточными средствами. Поднятый кулак обрушивался так медленно, что противник с легкостью избегал удара.

Полученный благодаря Лепанто выигрыш во времени был растрачен впустую.

Султан Селим II, узнав о поражении, закрылся на трое суток в своем серале, где утешался обильными возлияниями, но потом взял себя в руки и сделал вид, что поражение не так уж и огорчило его.

«Гяуры ловко обрили мне бороду, – сказал султан, – но велика ли потеря, если она вскоре отрастет. К весне у меня будет новый флот, даже более могущественный, чем прежний. К тому же я уверен, что враги наши перегрызутся между собой еще до нашего вмешательства».

Селим знал, что говорит. Союзники перегрызлись, а строительство нового громадного флота было к весне закончено.

* * *

Сервантеса лечили в барачном госпитале Мессины. Грудь зажила сама, но его рукой местные эскулапы занялись с энтузиазмом. Под их ножами она превратилась в бесчувственный неподвижный обрубок.

Наркоза в те времена не было. Перед тяжелыми операциями больных поили до бесчувствия. Но Сервантес не желал даже на минуту терять контроль над собой. Он отказался от алкоголя и терпел жуткую боль, глядя, как ножи кромсают его руку. Рядом с ним умирали люди, но его железный организм выдержал все.

Выздоровление затянулось на несколько месяцев. Позади госпиталя находился маленький садик. Скамеек в нем не было, но Сервантес, когда смог передвигаться, часто приходил туда и устраивался на большом отполированном солнцем и дождями камне. Здесь он мог читать и размышлять в полном одиночестве.

Он знал, что есть люди, которые рождены на свет, чтобы в одиночестве идти по жизни. Это не плохо и не хорошо. Это судьба. Он считал себя одним из таких людей, но своим одиночеством не тяготился, ибо видел в нем эквивалент независимости.

Участие в великой битве закалило его душу. Лихорадка, которую он преодолел громадным усилием воли, больше не возвращалась.

Он так близко видел смерть, что почти сроднился с нею и верил, что получил жизнь в подарок в тот день ужасной резни. И во второй раз он чудом избежал смерти в этой больнице, где царили такие условия, что из каждых пяти раненых выживал только один.

Чувство жизни никогда не бывает таким сладостным, как после тяжелой болезни, и теперь он, видевший смерть во всем ее неистовстве, любил жизнь как никогда прежде. Больничный духовник раздобыл ему Плутарха в латинском переводе, и Сервантес читал и перечитывал этого несравненного мастера.

Капитан Урган часто навещал своего солдата, интеллектуальное превосходство которого он признавал безоговорочно, хотя и сам происходил из знатной и образованной семьи.

Однажды он пришел больницу в прекрасном настроении.

– Ну, дон Мигель, – сказал он, сияя от радости, – я говорил о вас с главнокомандующим. Рассказал ему о ваших заслугах.

– О каких заслугах вы говорите, дон Диего?

– Не скромничайте, дон Мигель. Вы с изумительной отвагой сражались, будучи тяжело больным. Если это не геройство, то я тогда вообще не понимаю, что означает это слово. Но это еще не все. Знаете, что произошло дальше? Дон Хуан, слушавший меня с явным безразличием, оживился, когда я произнес вашу фамилию: «Мигель де Сервантес Сааведра? – переспросил он. – Я его знаю. Однажды он оказал мне услугу. Передайте ему, что я навещу его в больнице, а пока вручите ему вот это». Тут принц выгреб из кармана все свои наличные деньги и передал мне. Возьмите этот кошелек, Мигель. Здесь ровно пятьдесят дукатов.

Изумленный Сервантес не знал, что сказать, а капитан Урган продолжил с шутливой укоризной:

– Ах, дон Мигель, дон Мигель, вы знакомы с доном Хуаном и скрыли это от меня?

– Да какое там знакомство, – смущенно произнес Сервантес. – Просто я случайно проходил мимо, когда на него напали какие-то негодяи, и помог ему в меру моих скромных сил. Вот и все. Впрочем, он так искусно владеет шпагой, что вполне справился бы и без меня.

Капитан Диего Урган был потрясен:

– Боже мой, дон Мигель, – произнес он, не скрывая волнения, – вы пришли на помощь принцу, когда на него напали убийцы? Так вот что я вам скажу. Теперь ваше будущее обеспечено. Дон Хуан не из тех людей, которые забывают сделанное им добро.

– Не надо преувеличивать, дон Диего, – улыбнулся Сервантес.

Дон Хуан сдержал свое обещание. В сопровождении небольшой свиты полководец неожиданно для всех появился в госпитале. Изумленные пациенты и персонал встретили его восторженно. Дон Хуан поблагодарил раненых за проявленную в бою доблесть и пообещал выдать всем денежную награду. Когда улегся ажиотаж, он выяснил, где находится Сервантес, и направился в сад.

– Никого сюда не допускать, – распорядился принц. – Я хочу побеседовать с этим человеком наедине.

Сервантес, как обычно, сидел на камне и читал Плутарха.

Увидев гостя, он вскочил и от неожиданности уронил книгу. Дон Хуан быстро нагнулся и поднял ее. Взглянув на обложку, сказал:

– Это ведь моя любимая книга. Я всегда вожу ее с собой, куда бы ни бросала меня судьба. Рад вас видеть, дон Мигель. Капитан Урган рассказал мне о ваших подвигах. Он говорит, что вы самый храбрый солдат в моей армии.

– Не исключено, но только после вас, ваше высочество, – ответил оправившийся Мигель. – Ваше посещение – большая честь для меня.

Дон Хуан продолжал рассматривать книгу.

– Знаете, дон Мигель, я никогда не был в Греции, а ведь это колыбель цивилизации, – сказал он. – Греция видится мне как задумчивая Афина, опирающаяся на свое копье. До нее никому не удавалось добиться союза мудрости и оружия.

– Греция искала истину, а нашла независимость искусства и духа, – ответил Сервантес. – Она также научила человека не пресмыкаться перед тиранами.

Дон Хуан внимательно посмотрел на собеседника, сел на камень и жестом предложил ему сделать то же самое.

– Склад вашего ума похож на мой, – произнес он после короткого молчания. – Думаю, мне с вами будет приятно беседовать и в дальнейшем.

Голос дона Хуана звучал чарующе. В нем отражался его характер. Он был ласковым и обаятельным, когда его обладатель разговаривал с женщинами и симпатичными ему людьми. И он же бывал жестким и повелительным, когда нужно было внушить кому-то повиновение.

– Но перейдем к делу, дон Мигель. Вы потеряли руку и, конечно же, должны распрощаться с военной службой. Я у вас в долгу и возвращаю его. Вот конверт. В нем письмо моему венценосному брату с просьбой содействовать вашей карьере в Испании.

Дон Хуан протянул Сервантесу конверт.

Сервантес с поклоном взял его и сказал:

– Вы очень добры ко мне, ваше высочество. Но я не хочу покидать армию, пока вы ею командуете и творите историю. Я ведь потерял только часть левой руки. К ней можно привязать щит. А правая, слава пречистой деве, может держать меч, как и раньше, и он еще послужит вам.

– Не мне, а нашей святой вере, – поправил его Дон Хуан. – Вот когда я стану королем, а я им обязательно стану, то призову вас к себе на службу.

* * *

Время шло, а союзники ни на шаг не продвинулись к своим целям. Правда, дон Хуан со всеми своими силами попытался навязать морское сражение новому турецкому флоту, которым теперь командовал Улуг-Али, возведенный султаном Селимом за свое удачное бегство в звание капудан-паши. Со своими двумястами галерами новый капудан-паша расположился в Наваринской бухте под защитой мощных береговых батарей.

Дон Хуан со своей эскадрой блокировал ее и стал ждать выхода турецкого флота. Он был уверен, что устроит туркам новое Лепанто. Но хитрый Улуг-Али не доставил ему такого удовольствия, и все кончилось тем, что флот Священной лиги разбежался по своим базам, так ничего и не добившись. Да и сама Лига вскоре распалась.

Бывший ее душой папа Пий V умер, а никчемная венецианская сеньория отказалась от войны до победного конца и сочла за лучшее заключить с султаном сепаратный мир. Причем сделано это было втайне от союзников. Кипр, бывший яблоком раздора, и другие отнятые у венецианцев владения остались за турками, а кроме того, Венеция заплатила султану триста тысяч дукатов контрибуции.

Так началось падение когда-то могущественной морской республики. Правящие Венецией прижимистые купцы хорошо разбирались только в торговле и заботились лишь о выгодах текущего момента. Они не обладали ни искусством, ни энергией, необходимыми для успешного ведения войны.

Испания же войну продолжала, но уже не на Востоке, а в Африке, где для того, чтобы уничтожить осиные гнезда пиратства, нужно было завоевать Тунис и Алжир.

– Сначала захватим Тунис, а укрепившись в нем, совершим победоносный поход на Алжир. Вся северная Африка станет нашей, – предложил тогда еще живому папе Пию V Дон Хуан.

Папа с радостью согласился. «Надо преобразовать Тунис в христианское королевство, а королем поставить нашего славного дона Хуана», – написал он Филиппу.

Но испанского монарха это предложение отнюдь не обрадовало. Он уже давно относился к заносчивому сводному брату с подозрением. Прежде всего, Филипп отдал предусмотрительное распоряжение по своим канцеляриям, чтобы при переписке никто не именовал дона Хуана Австрийского «высочеством», а только «превосходительством». Это был болезненный удар по самолюбию принца. Но король Филипп знал, что делает. Ведь его сводный брат являлся фактически наследником престола. После смерти дона Карлоса у Филиппа других наследников не было. Расчищать братцу-бастарду дорогу к испанской короне Филипп не желал.

У него был свой план, как обезвредить дона Хуана, оставаясь в рамках приличия. Однако необходимости спешить с этим король пока не видел и до поры до времени продолжал использовать славу и таланты брата в своих интересах.

Он дал согласие на тунисскую операцию, и дон Хуан вместе со всем своим флотом отправился из Мессины в Тунис.

7 октября 1573 года войска дона Хуана высадились на тунисском берегу. Тунис и Бизерта были взяты без единого выстрела – берберийские гарнизоны ушли без боя. Вся операция продлилась меньше недели. Принц стал обустраиваться на земле, где намеревался создать свое королевство. Ведь сам папа пожаловал королевский титул победителю при Лепанто. Вот только королевства не было. Теперь он создаст его здесь, на том самом месте, где когда-то находился Карфаген, так долго и не без успеха боровшийся с Римом за власть над миром. Он верил, что его королевство превзойдет Карфаген в славе и величии. Ведь до сих пор фортуна была неизменно милостива к нему. Он не ведал неудач, не знал поражений. Правда, король Филипп в последнее время портил ему жизнь, как только мог, изводил мелочными инструкциями и придирками, не упускал возможности его унизить. Нелегко будет убедить венценосного братца признать за ним королевский титул. Но дон Хуан был самоуверен и полон надежд. А между тем его звезда уже закатывалась.

Он начал с того, что укрепил стратегически важную крепость Голету и разместил там небольшой, но сильный гарнизон под командованием своего преданного соратника Педро Пуэртокаррера. Не успел дон Хуан освоиться на новом месте и наметить план дальнейших действий, как пришла депеша из Эскориала. Король велел дону Хуану отправиться в Неаполь и там ждать дальнейших распоряжений.

Делать было нечего. С нелегким сердцем стал он готовиться к поездке в Неаполь, хотя, конечно, не мог предвидеть, что никогда больше в Тунис не вернется. Впрочем, у него еще теплилась надежда, что братец Филипп уступит настоятельным просьбам папы и признает за ним титул короля Туниса.

Последний свой вечер в Тунисе он провел в обществе Сервантеса. Они стояли на холме, усыпанном обломками щебня и мрамора. Внизу на море была легкая зыбь, и до них доносился мерный рокот волн. Была середина осени. Дул прохладный ветер. Солнце уже село, и сумерки медленно вступали в свои права.

– Этот холм называется Бирса, – нарушил молчание Сервантес, – по-финикийски: «бычья шкура».

– Я хорошо знаю историю пунических войн, но про Бирсу не слышал. Это название что-нибудь означает? – спросил дон Хуан.

– Да. Оно связано с основанием Карфагена. Этот город возник благодаря Элиссе, вдове финикийского царя Сихея (в римской традиции Дидона). Вдовой Дидону сделал ее родной брат Пигмалион, зарезавший Сихея прямо у алтаря, сразу после бракосочетания. Пигмалион объявил себя царем Тира, а Дидона, спасая свою жизнь, бежала вместе со своими приближенными в Северную Африку. Здесь в те времена существовало Нумидийское царство. Вот она и попросила местного царя продать ей немного земли для поселения. Царь отказал – он, мол, не торгует землей родины. Но Дидона не отступилась. «Продай хотя бы клочок земли размером со шкуру одного быка», – продолжала она упрашивать. Царю не хотелось прослыть негостеприимным. К тому же трудно отказать красивой женщине в такой пустяковой просьбе. Подумав, он согласился на необычайную сделку, считая, что в любом случае невелика будет потеря. Ну и, конечно, ему было любопытно, что будет делать финикийская царица с таким, на его взгляд, бесполезным приобретением. Но Дидона славилась не только красотой, но и умом. Она приказала забить самого большого быка, какого только можно было найти, разрезала его шкуру на очень узкие полоски и обнесла ими весь этот холм. И, конечно же, царь, покоренный умом финикийки, дал ей то, что она просила. Нестандартное мышление и тогда ценилось высоко. Вот на этом месте, на холме Бирса, где мы сейчас стоим, и был впоследствии построен Карфаген.

– Забавная история, – сказал дон Хуан. – Да, бывают женщины настолько умные, что им вполне можно было бы доверить управление государством, если бы не одно обстоятельство.

– Какое?

– Они непременно передадут власть такому любовнику, которому я бы не доверил даже управление свинарником. Но вернемся к Карфагену. Как известно, по решению римского сената город подлежал полному уничтожению. Он был превращен в огромный костер, который горел 17 суток. По его территории провели плугом борозду в знак того, что это место проклято. Его даже засыпали морской солью.

– Здесь и сегодня трава не растет, – вставил Сервантес.

– Ну да. Вот меня и интересует, откуда такая ненависть. Ведь Карфаген четко выполнял мирные договоры с Римом. Это Рим всегда находил предлог для возобновления военных действий. Ни с одним из побежденных народов римляне не обошлись так жестоко. Я понимаю, разница менталитетов. Карфагеняне – торговцы, ремесленники, землевладельцы. Они считали, что лучше жить в мире, чем воевать. У них даже и войска-то не было. Когда надо было воевать, они набирали наемников. Когда наступал мир – их распускали. Ну а в Риме наоборот. Там военная служба считалась первейшей обязанностью граждан. Вся история Рима – это история войн. Для Карфагена же войны были нежелательны, ибо они разрушали торговлю. То, что победителем в этой борьбе станет Рим, было ясно с самого начала, несмотря на весь талант Ганнибала. И все-таки не совсем понятно, почему римляне с такой злобой уничтожили уже поверженного противника. Карфаген – ладно. Но они ведь истребили всю пуническую культуру. Сожгли книги. Разрушили исторические памятники. Это-то зачем? Конечно, у карфагенян была изуверская религия. Они своих первенцев приносили в жертву Молоху. Правда, нам это известно только из римских источников. Историю ведь всегда пишут победители.

Сервантес, внимательно выслушавший этот монолог, хотел было сказать дону Хуану, что он сам поступил с морисками так, как римляне с карфагенянами, но вовремя остановился. Между начальником и подчиненным всегда существует грань, которую переходить не следует. Вместо этого он произнес:

– Вы совершенно правы, ваше высочество. Историю пишут победители. Мы вот уже на протяжении сотен лет смотрим на карфагенян римскими глазами: они, дескать, жадные, лукавые, вероломные. Мстительные изуверы, приносившие в жертву собственных детей. Латинское выражение fides punica – «пунийская верность» – стало клеймом, которым награждали самых отпетых лжецов и предателей. О том, какими же в действительности были карфагеняне, нам не узнать уже никогда. И все-таки не вся карфагенская культура была уничтожена. Самая важная часть ее сохранилась, и ее плодами мы пользуемся до сих пор.

– Что вы имеете ввиду?

– Сельское хозяйство. Именно оно было источником богатства и могущества Карфагена. Накануне решающего штурма, положившего конец существованию города, римские легионеры получили приказ не щадить ничего и никого, но сохранить 28-томный труд крупнейшего карфагенского специалиста по сельскому хозяйству Магона. Легионеры приказ выполнили. Энциклопедия Магона – единственное, что уцелело из сокровищ карфагенского книгохранилища, тогда самого крупного в мире. Римляне перевели этот труд на латинский язык и присвоили. Совершенную по тем временам сельскохозяйственную систему Карфагена они объявили своим собственным изобретением, и она еще не один век служила победителям. Ну а истинных создателей системы нужно было не только уничтожить, но и оболгать, что и было сделано с большим искусством: fides romano. Римская верность.

Пока беседовали, стало совсем темно. На небе возникли гирлянды крупных звезд. Появились огни и на испанских кораблях в бухте.

– Знаете, дон Мигель, – нарушил дон Хуан затянувшееся молчание, – когда я стану королем Туниса, то отстрою Карфаген на том самом месте, где он находился когда-то. В моем королевстве соединятся достоинства Рима и Карфагена, но не будет их пороков. В нем воцарится справедливость и людей не станут сжигать на кострах.

– Очень хорошо, ваше высочество. Я всегда считал, что еретик не тот, кто восходит на костер, а тот, кто поджигает его.

– У вас глубокий и свободный склад ума, дон Мигель. Когда я стану королем Туниса, вы будете рядом со мной.

Они не знали, что им не суждено больше увидеться. Их судьбы в тот вечер разошлись навсегда.

* * *

В мае 1574 года эскадра, где служил Сервантес, отправилась в Геную пополнять запасы продовольствия. Никакого продовольственного товара на генуэзских складах не оказалась, и эскадра провела в Генуе в бездействии целую зиму.

Что же касается дона Хуана, то на него обрушились сразу два удара. Его покровитель папа Пий V скоропостижно скончался, а король Филипп категорически отказался признать брата-бастарда королем Туниса. «У нас и так хватает королевств, – написал дону Хуану Филипп. – Еще одно в Северной Африке нам вовсе ни к чему».

Король приказал принцу отправиться в Ломбардию, где свирепствовали шайки разбойников, и навести там порядок. Напрасно в ответном письме дон Хуан умолял брата поспешить с отправкой подкреплений тунисскому гарнизону. Филипп ответил, что Испания переживает сейчас финансовый кризис и нет никакой возможности выделить что-либо для Туниса.

Тем временем султан Селим тщательно подготовился к реваншу.

11 июля 1574 года огромная турецкая эскадра под командованием капудан-паши Улуг-Али, состоявшая из 240 боевых кораблей с семьюдесятью тысячами солдат, неожиданно для всех возникла у берегов Туниса. Небольшой гарнизон крепости Голета был обречен, несмотря на героизм ее защитников. В сентябре крепость пала. Испанцы потеряли Тунис, а вместе с ним и всю Северную Африку – уже навсегда.

Султан не отказал себе в удовольствии и пригласил на торжество по случаю победы венецианского посла в Стамбуле. Посадив его рядом с собой и угощая шербетом, Селим II не без ехидства сказал:

– Вы отрезали мне бороду при Лепанто, а я отрубил вам руку в Тунисе. Борода уже отросла, а вот рука ваша не отрастет никогда.

Посол дипломатически ответил:

– При чем тут мы, ваше величество? Мы к испанским делам уже давно не имеем никакого отношения. У Венецианской республики с Блистательной Портой мирный договор и торговые связи. Поэтому я от имени сеньории Венеции поздравляю вас, ваше величество, с победой.

Дон Хуан пытался что-то предпринять для спасения своего несостоявшегося королевства. Он вывел из Палермо в море все свои галеры, но сильнейший шторм заставил его эскадру укрыться в порту Трапани, где ее блокировал турецкий флот. Дон Хуан стал гото-

виться к прорыву, но тут пришла весть о том, что в Тунисе все кончено. Пришлось ни с чем возвращаться в Палермо.

Пройдет много лет, и Сервантес подробно опишет в «Дон Кихоте» тунисскую трагедию:

Султан, горько оплакивавший потерю Туниса, с присущим всему его роду коварством, заключил мир с венецианцами, которые желали этого еще больше, чем он, а в следующем семьдесят четвертом году осадил Голету и форт неподалеку от Туниса – форт, который синьор дон Хуан не успел достроить...

Пала Голета, и пал форт, в осаде коих участвовало семьдесят пять тысяч наемных турецких войск да более четырехсот тысяч мавров и арабов, согнанных со всей Африки, причем это несметное войско было наделено большим количеством боевых припасов и военного снаряжения и располагало изрядным числом подкопщиков, так что довольно было каждому солдату бросить одну только горсть земли, чтобы и Голета, и форт были засыпаны. Первою пала Голета, слывшая дотоле неприступною. Пала не по вине защитников своих, которые сделали все, что могли и должны были сделать, а потому, что рыть песок, как показал опыт, в пустыне легко...

Из множества мешков с песком турки соорудили столь высокий вал, что могли господствовать над стенами крепости, осажденные же были лишены возможности защищаться и препятствовать обстрелу с высоты...

Пал также и форт, однако туркам пришлось отвоевывать его пядь за пядью, ибо его защитники бились до того яростно и храбро, что неприятель, предприняв двадцать два приступа, потерял более двадцати пяти тысяч убитыми. Из трехсот защитников, оставшихся в живых, ни один не был взят в плен целым и невредимым – явное и непреложное доказательство доблести их и мужества, доказательство того, как стойко они оборонялись. Свидетельство того, что никто из них не покинул своего поста.

Был взят в плен комендант Голеты дон Педро Пуэртокаррера. Он сделал все от него зависящее для защиты крепости и был так удручен ее падением, что умер с горя по дороге в Константинополь, куда его угоняли в плен.

Турки отдали приказ сравнять Голету с землею (форт находился в таком состоянии, что там уже нечего было сносить). Чтобы ускорить и облегчить работу, они с трех сторон подвели под нее подкоп, но что до сего времени казалось наименее прочным, то как раз и не взлетело на воздух, а именно – старые крепостные стены. Все же, что осталось от новых укреплений, воздвигнутых Фратино, мгновенно рухнуло.

Грустны и печальны были последние годы жизни дона Хуана. Он хотел властвовать, ибо знал, что не успокоится, пока не обретет собственного королевства. Неутоленное честолюбие опустошало душу. Подстегиваемый тщеславием, он метался, теряя связь с реалиями жизни. Он вынашивал удивительные по наивности и безрассудству планы. Мечтал о вторжении в Англию, о том, как он освободит Марию Стюарт, которую королева Елизавета держала в заточении, и женится на ней. А не выгорит это дело – не беда. Почему бы ему не

предложить руку и сердце самой Елизавете? Избалованный женщинами, дон Хуан считал, что ни одна из них ни в чем ему не откажет.

Король Филипп, окруживший дона Хуана своими шпионами, знал о каждом его шаге. Прежняя сердечность в его отношениях с братом сменилась ледяной холодностью. В это время характер дона Хуана начинает портиться, и в нем все чаще проявляются такие черты, как эгоизм, мелкое тщеславие и чрезмерное самолюбие.

В 1576 году Филипп неожиданно назначил дона Хуана штатгальтером мятежных провинций в Нидерландах, доведенных коварством и жестокостью герцога Альбы до открытого возмущения. Усмирение этих провинций было уже невыполнимой задачей, но дон Хуан, хоть и знал это, принял новую должность с радостью. Он уже изнывал от безделья.

Король Филипп велел брату отправиться в Нидерланды немедленно. Он не хотел видеть в Мадриде победителя при Лепанто, популярность которого так раздражала его. Но дон Хуан, переживший много горьких разочарований, больше не желал быть королевской марионеткой. Он явился в Эскориал и буквально заставил короля себя принять.

Встреча братьев была официальной и сухой. Филипп ни разу не вышел за рамки этикета и не сказал брату ни одного доброго слова. Он лишь пожаловался на то, что безрассудные действия герцога Альбы разожгли в Нидерландах такой пожар, который теперь очень трудно погасить.

– Но я верю, что победитель при Лепанто с этим справится, – в голосе короля явно прозвучала ирония. – Ты будешь получать от меня подробные инструкции, как и что нужно делать.

– Это, разумеется, хорошо, – холодно ответил дон Хуан, – но мне нужны будут не инструкции, а деньги и солдаты.

– Это будет зависеть от наших финансовых возможностей, – сказал Филипп и встал, давая понять, что разговор окончен.

– Нидерланды теперь для Испании почти что труп, и я понимаю, что моя задача заключается в том, чтобы принять их последний вздох, – сказал дон Хуан и направился к выходу.

Сразу же возникла проблема, как добраться до места назначения. Туда можно было попасть только морским путем, а на море хозяйничали англичане и гезы. Дон Хуан долго не раздумывал. Он выкрасил волосы, отпустил бороду и, взяв пистолеты, шпагу и хорошего коня, поехал через враждебную Францию в одиночку.

Он скакал день и ночь, его ноги одеревенели, но слез он с взмыленного коня уже в Брюсселе.

Ситуация в мятежных провинциях оставляла желать лучшего. Своему брату он написал жестокую правду: «Мы почти потеряли Нидерланды. Ваши подданные недовольны, ваши слуги месяцами не получают жалование. Отовсюду несутся жалобы. Но больше всего чувствуется недостаток в людях: нет людей ни для крупных должностей, ни для министерских постов. У меня такое впечатление, что мой король уже смирился с утратой Нидерландов».

Дел у нового штатгальтера хватало, а тут еще в Брюсселе неизвестно откуда возникла мать дона Хуана, та самая «насмешница и плутовка», которую он не знал и не помнил. Располневшая с годами, она превратилась в вульгарную и неприятную особу, требовав-

шую почестей и денег. Сгоравшему со стыда дону Хуану с трудом удалось спровадить ее в Испанию.

В Брюсселе дон Хуан сразу же оказался во враждебном окружении. Агенты принца Оранского и королевы Елизаветы регулярно возбуждали недовольство против испанцев, используя для этого любые средства. Находясь в почти безвыходной ситуации, принц сумел добиться успеха там, где это казалось невозможным. Бельгийцы оценили его благородство и умеренность после того, как он обнародовал свой «Вечный эдикт» (Edictum perpetuim) в феврале 1677 года, провозглашающий такие меры по умиротворению провинций, как вывод испанских войск, терпимость к протестантской ереси и созыв Генеральных штатов.

Южные провинции (современная Бельгия), признали его наместником, но вождь Северных провинций Вильгельм Оранский с этим не согласился, потому что не верил в благие намерения испанцев.

Дон Хуан еще одерживал победы, его удачливость еще не совсем оставила его. Ему казалось, что над его головой по-прежнему сверкает звезда Лепанто, и действительно, она, уже затянутая тучами, иногда вновь появлялась во всем блеске. Король Филипп не присылал ему подкреплений, не давал денег. Дон Хуан отправил в Мадрид своего друга и помощника Эскобедо с письмом, в котором умолял Филиппа не бросать его на произвол судьбы. «Государь, пришлите хотя бы немного денег и солдат, и клянусь вам, что я покончу с мятежом в считанные дни», – заверял он.

Король ответил презрительным молчанием. Более того, верный Эстебадо жизнью заплатил за свою преданность опальному принцу. Он был тайно убит в Мадриде по приказу короля, но дон Хуан так и не узнал об этом.

В дополнение ко всем неприятностям у него начались проблемы со здоровьем. Он писал своей сестре герцогине Пармской: «Мне шесть раз пускали кровь, но я еще не поправился. Мне уже более тридцати. Я чувствую, что жизнь подходит к концу. У меня нет ничего, кроме усталости да маячащей впереди смерти. Я в отчаянии и, как безумный, мечтаю стать отшельником. Я ничего не понимаю в том, что здесь происходит. Здешние люди не думают ни о Боге, ни о спасении души. Все их мысли о банковских выгодах и торговле».

Где уж дону Хуану, первому рыцарю и Дон Кихоту разваливающейся империи, было понять психологию нарождающейся буржуазии.

Тем временем мятежники, перехватившие инициативу, обложили его со всех сторон. Положение ухудшалось с каждым часом, но он еще раз показал, на что способен затравленный лев. Он собрал в кулак все свои силы, прорвал окружение и овладел двумя важными крепостями: Намюром и Шарльмоном. Развивая успех, он в январе 1578 года наголову разбил нидерландские войска под командованием Вильгельма Оранского. После этой победы он захватил всю Фландрию и стал готовиться к походу на Амстердам. Но тут с горечью пришлось ему признать, что его сил для такого предприятия явно недостаточно.

Зато силы его врагов многократно увеличились. На помощь Вильгельму Оранскому прибыли протестантские войска из Германии, Англии и Франции. Дон Хуан, имевший в своем распоряжении

всего лишь семнадцать тысяч солдат, потерял возможность наступать и мог только обороняться. Под Рименаном он потерпел первое в своей жизни поражение и стал отходить к французской границе.

– Бывает, что победа не самое главное. Наше поражение – навоз будущего успеха, – попытался утешить друга Александр Фарнезе.

– Да, но одна лишь победа чего-то стоит, – ответил дон Хуан.

В довершение бед войско поразила чума. Духовник дона Хуана рассказал, что принц, ставший к этому времени глубоко верующим человеком и превративший военный лагерь в большой монастырь, лично ухаживал за больными, утешал их, пока не заболел сам.

Уже умирающего, его вынесли из чумного лагеря и положили на ложе рядом с высокими деревьями. Сумрак ночи постепенно сгущался. На черном небе не было ни одной звезды. Вокруг пылали костры – считалось, что их дым отгоняет заразу. Кроны деревьев вздрагивали и звонко гудели от порывов ветра. Два факела, поставленные у изголовья, лизали тьму золотистыми языками. Позвали духовника. Дон Хуан приобщился святых тайн и соборовался.

– Падре, – спросил он духовника, – вправе ли я, не имевший на этом свете места, где мог бы преклонить голову, желать беспредельности небес?

С этими словами отлетела душа его, и ответа он уже не услышал.

* * *

Жизнь в Генуе Сервантесу не нравилась. Солдат в этом городе, как, впрочем, и в других городах Италии, не любили. Жалование им платили редко и скупо. Новых походов не предвиделось. Солдаты разбрелись по городу, угрюмые и злые. Они хвастались своими военными подвигами, презирали местных жителей, скандалили в пивных и приставали к женщинам. Их не за что было любить.

Сервантес после долгого перерыва стал получать вести из дому. Радостного в них было мало. Младшая сестра Луиза ушла в монастырь. Мигель помнил застенчивую девочку в выцветшем платье и не мог представить ее в черной одежде монахини.

Старшая сестра Андреа неоднократно меняла мужей и давно уже не жила с родителями. Не существовало больше и родительского дома в Алькала, который Сервантес так часто вспоминал. Его продали за долги. Брат Родриго служил в армии, как и Мигель, но о его судьбе ничего не было известно.

Родители переехали в Вальядолид, где отец получил работу писца в конторе какого-то стряпчего. Сервантес, как мог, помогал старикам, но был не в состоянии обеспечить им безбедный закат жизни, и это мучило его.

Поскольку его полк бездействовал, Сервантес без труда выхлопотал себе продолжительный отпуск и отправился в Рим. Он купил по дешевке старую клячу, ставшую много лет спустя прообразом Росинанта, и поехал по Via Appia в сторону вечного города. На пятый день к вечеру в золотистом летнем мареве возникли перед ним купола римских церквей.

Он медленно ехал по улицам, которые так хорошо помнил. Только теперь он понял, как не хватало ему мудрых наставлений кардинала Аквавивы, с какой радостью он встретится с ним.

Сервантес оставил лошадь в конюшне, расположенной у входа в Ватикан, и отправился в цитадель католической веры. А вот и знакомый дворец. Его ворота почему-то гостеприимно распахнуты. Он устремился вверх по знакомой лестнице. Навстречу ему шли монахи, с любопытством оглядывающиеся на покрытого пылью однорукого солдата. Вот наконец и они, апартаменты Аквавивы. Он робко постучался.

– Вы кого-то ищете, господин солдат? – спросил возникший привратник.

– Я хотел бы встретиться с кардиналом Аквавивой, – сказал Мигель.

– Он умер два года назад. Это был святой человек. Если бы вы знали, как скорбел весь город, когда его не стало.

– Блаженство небесное было ему уготовано, – дрогнувшим голосом произнес Сервантес.

– Amen, – сказал привратник.

Больше ничто не удерживало его в Риме. Настало время возвращаться в свой полк, в Геную. Он продал за гроши свою лошадь, сдал шпагу и щит в военный обоз, поместил скудные пожитки в небольшой кожаный мешок, засунул за пояс кинжал и пистолет и отправился в путь пешком. Шлем, как котелок, болтался за его плечами. Попутные телеги подбрасывали его в нужном направлении. Он не спешил. Обедал и ночевал в небольших гостиницах, которых было немало вдоль дороги. Здесь все было дешево. Большая кружка вина стоила всего одно сольдо.

На десятый день пути он прошел Тоскану, переправился через Арно и двинулся дальше, в сторону моря. Взошла луна, а он продолжал идти до тех пор, пока серебристая дорога не привела его в местечко с полуразрушенной стеной. Это был город Лукка, мирный и тихий, окруженный зелеными холмами с каштанами и виноградными лозами. Крестьянские дворы раскинулись здесь в полной беспечности. Было видно, что этот край уже давно не опустошала война.

Он устал и проголодался. Улицы города были пустынны в этот час. Он заметил, что за закрытыми ставнями одного из домов мерцает свет. Над дверью висела выцветшая от солнца вывеска гостиницы. Он долго стучался, прежде чем ему открыла дверь миловидная молодая женщина с испуганным лицом и свечкой в руке. Сервантес учтиво представился и попросился на ночлег.

– Мне боязно впустить вас, господин солдат. Вы ведь испанец?

– А разве испанцы пользуются в этих местах дурной репутацией?

– Мы люди мирные и опасаемся военных, – уклончиво ответила она, но, поколебавшись, пригласила его войти и проводила на верхний этаж, в небольшую уютную комнату.

– Не могли бы вы принести мне хлеба и бутылку вина? – попросил он.

Вино оказалось прохладным, а хлеб вкусным.

Давно уже Сервантес не спал в такой чистой и мягкой постели. И неудивительно, что ему всю ночь снились хорошие сны. Он их, правда, не запомнил, но радостное чувство не покидало его потом целый день.

Утром хозяйка подала ему на завтрак сыр, свежий хлеб, яичницу и молоко. Он намеревался сразу после трапезы отправиться в

путь, но, внимательно посмотрев на хозяйку, решил задержаться здесь еще на некоторое время.

Да и куда спешить? Его нигде не ждут. Уже шесть лет носит его нелегкая по свету, а чего он добился? Денег как не было, так и нет. Избавить своих стариков от нужды он не в состоянии. Военная карьера ему не светит, несмотря на покровительство дона Хуана. Его единственное достояние – это рекомендательное письмо принца королю Филиппу. Благодаря такой протекции он, возможно, станет капитаном. Чтобы обычным путем добиться капитанского звания, надо десять лет проходить в прапорщиках. А он до сих пор всего лишь простой солдат.

«Фортуна раз в жизни приходит в дом к каждому человеку, – записал он в дневнике, – но когда она приходила ко мне, то меня не было дома. Наверно, я в это время сидел в таверне». Мечтал он когда-то и о литературной известности. Маэстро Ойос верил в него, восхищался его стихами. Как давно это было...

Он остался в этой гостинице на день, потом еще на день. Каталина – так звали хозяйку – стала выделять его из числа других постояльцев. Когда она смотрела на него, на ее губах появлялась едва заметная улыбка, а в восхитительных черных глазах смущение. Он узнал, что ей всего двадцать четыре года, но она уже вдова. Ее муж ушел на заработки во Фландрию и там погиб при невыясненных обстоятельствах.

Однажды он увидел ее плачущей. Она вытирала стол в гостиной, и слезы текли по ее лицу.

– Что с вами, – спросил Сервантес, – могу ли я чем-нибудь помочь?

– Ах, господин солдат, – ответила она, – здесь уже два месяца живет один ландскнехт из Богемии. Мало того что эта свинья жрет и пьет за двоих и ничего не платит. Сегодня он попытался затащить меня в свой номер и изнасиловать. Я еле вырвалась. Он сказал, что убьет меня, если я не уступлю ему.

– Ну, этой беде можно помочь, – успокоил ее Мигель.

Пять минут спустя он вежливо постучался в номер богемца.

– А, ты все же пришла, крошка. Входи, – услышал он хриплый голос и открыл дверь.

Крупных габаритов рыжий богемец сидел за столом. Его камзол с позументами был расстегнут. Перед ним стояла бутылка, к которой он успел уже основательно приложиться. Он уставился на незваного гостя маленькими заплывшими глазками.

– Кто вы такой, черт побери?

– Это неважно. Важно лишь то, что вы немедленно соберете свои вещи, заплатите хозяйке все, что задолжали, и уберетесь отсюда.

Богемец рассмеялся. Ему показалось забавным, что этот калека смеет ему угрожать. Но смех застрял у него в горле, когда Сервантес вынул из-за отворота куртки правую руку, в которой был пистолет. Его черное дуло глядело богемцу прямо в лоб.

– Не советую испытывать мое терпение, – сказал Сервантес. – Сейчас оно находится в моем указательном пальце на курке. А ну встать, богемская свинья!

Богемец поднялся с побледневшим лицом. Он оказался жалким трусом, как и предполагал Сервантес, знавший эту породу людей. Через десять минут он покинул гостиницу, предварительно расплатившись с хозяйкой.

– Как мне благодарить вас? – спросила Каталина, глядя на него с обожанием.

– Поужинайте сегодня со мной, – сказал Мигель.

В эту ночь он узнал, как она прекрасна и добра. Впервые за долгое время он почувствовал себя счастливым. Прекрасны были ее нежность, ее шепот, тепло ее тела и запах волос.

В состоянии радостного покоя прожил Сервантес в гостинице еще две недели. Казалось, он обрел, наконец, благополучие. Хорошее жилье, хороший стол и хорошая женщина. Что еще нужно солдату?

Каталина была счастлива и светилась внутренним светом теплоты и женственности. Однажды она спросила, как о чем-то само собой разумеющемся:

– А когда мы поженимся?

Он понял, что должен принять решение. Он мог обрести жену, дом и скромный достаток. А почему бы и нет?

Но задав себе этот вопрос, он уже знал ответ. У него иная судьба. Ему не суждено стать трактирщиком и полноправным гражданином этого симпатичного города. Это не для него.

Он обнял Каталину и сказал:

– Спасибо за все. Я знаю, ты любишь меня. Но зачем тебе нищий солдат-калека? Ты еще найдешь свое счастье, и прошу тебя – не удерживай меня!

– Когда? – спросила она почти беззвучно.

– Завтра утром.

Она заплакала горько и безутешно.

* * *

В середине августа Сервантес был уже в Генуе. Он зашел в свою казарму, сбросил вещевой мешок и только тогда заметил, что на его кровати лежит, заложив руки за голову, какой-то рослый детина, не потрудившийся даже снять ботинки. Подобных вещей Мигель не терпел. Кровь бросилась ему в голову.

– А ну-ка встать, сукин сын! – приказал он.

Детина лениво повернул голову:

– Если я сукин сын, то и ты тоже.

Потом стремительно вскочил и бросился его обнимать. Тут Сервантес узнал своего брата Родриго.

– Все, Мигель, – сказал Родриго, когда схлынула волна первой радости, – мы ведь больше не расстанемся, правда?

– Я хочу оставить военную службу и вернуться домой, – произнес Сервантес.

– Я поеду с тобой.

– Но ты ведь уже прапорщик. Ты еще можешь сделать военную карьеру.

– Еще десять лет тянуть лямку? Благодарю покорно.

– Хорошо, тогда поедем вместе.

Братья всю ночь провели в портовом кабачке и переговорили обо всем на свете. Родриго хоть и служил дольше Мигеля, но в военных операциях почти не участвовал и не мог похвастаться чем-то особенным. Рассказ же Мигеля о битве при Лепанто и о рекомендательном письме дона Хуана королю Филиппу его потряс. Он бережно взял

письмо из рук брата и торжественным голосом прочитал: «Солдат, доныне безвестный, но достойный всеобщего почтения благодаря своей доблести, разумности и безупречному поведению».

– Тебя ждет великое будущее, Мигель. Король даст тебе полк, – произнес он убежденно.

– Я совсем в этом не уверен, – улыбнулся его энтузиазму Мигель.

Прапорщик Родриго был похож на своего брата чертами лица, но выше его и крупнее. Он с детства относился к Мигелю с благоговением, находил несравненными его ум и подвиги и ни разу не усомнился в том, что его брат великий человек.

В сентябре 1575 года испанский галеас с красивым название «Эль Соль» держал путь на родину, стараясь не удаляться от французских берегов, чтобы не сделаться добычей берберийских пиратов. Внезапно наперерез старому невооруженному галеасу, приспособленному для перевозки грузов, вылетела неизвестно откуда взявшаяся черная галера с красной полосой вдоль борта. На ее мачте развевалось зеленое знамя пророка. Это были алжирские корсары – бич Средиземного моря.

Капитан галеаса побледнел и перекрестился. Он сразу понял, какая грянула беда. Отчаяние овладело всеми находившимися в тот момент на палубе обреченного судна. Тяжелый галеас значительно уступал пиратской галере в скорости, и спасения не было.

Мигель и Родриго стояли на юте и широко раскрытыми глазами смотрели, как приближается неумолимая сила, от которой нет защиты.

– Вот он, голубочек сизый, – усмехнулся Мигель. – Я ведь чувствовал, что этим кончится. Зря ты отправился со мной, Родриго. Я ведь рожден под несчастливой звездой и знаю, что неудачи будут преследовать меня до конца жизни.

– Брось, Мигель. Сам дон Хуан воздал тебе должное, – сказал Родриго, пытаясь сохранить спокойствие. – Но как же нам быть? Может, возьмемся за шпаги?

– А что толку? На нашем галеасе нет солдат. Что мы сможем одни, кроме как с честью погибнуть? К тому же после Лепанто какой из меня воин? Я могу сражаться разве что пером.

– Которое стоит любой шпаги.

– Возможно, брат. Я и сам думал, что Господь лишил меня левой руки для вящей славы правой. Но, кажется, я был слишком самоуверен, а Господь, как видишь, карает за это.

– Но что же делать, Мигель? Смотри, они уже совсем рядом.

– Ничего, – пожал плечами Сервантес.

ХРОНИКА ЧЕТВЕРТАЯ

Сервантес не раз вспоминал потом тот миг, когда на палубу их корабля ринулись пираты.

Всех сразу закружил людской водоворот, и едва Мигель успел крикнуть Родриго, чтобы тот не сопротивлялся, как потерял его из виду. Все куда-то бежали, кричали, женщины рыдали. Никто даже не пытался сражаться. Те немногие, у кого было при себе оружие, так и не посмели им воспользоваться.

На Сервантеса бросились сразу несколько пиратов. Кулак врезался ему в живот – он сложился пополам и словно провалился во тьму. Сверкнула молния и пересекла глаза широкой красной полосой – это его ударили чем-то тяжелым по затылку. Его схватили за волосы и заставили подняться. Прямо перед ним замаячило искаженное зверской гримасой лицо широкоплечего пирата в алом тюрбане. Увидев, что перед ним калека, пират презрительно сплюнул в сторону. Потом грязной волосатой лапой попытался открыть ему рот, чтобы проверить зубы. Сервантес изо всей силы пнул его ногой в промежность. Тот с воплем рухнул на палубу, но сразу вскочил и бросился на Сервантеса.

– Оставь его, – приказал гортанный голос. – Продолжай работать.

Как сквозь мутное стекло, увидел Сервантес на капитанском мостике коренастого тучного человека с круглым одутловатым лицом и с тростью в руках.

Недовольно ворча, корсар отступил. Но Сервантесу это не принесло облегчения. Сразу несколько пиратов схватили его, связали ноги и руки и, как тушу, оттащили в сторону, где уже находилось много людей в том же положении, что и он. Женщин здесь не было. Их держали отдельно. Тут Сервантес увидел, наконец, Родриго. У него тоже были связаны руки и ноги, но, в отличие от брата, его не били и он выглядел спокойным. Родриго улыбнулся ему, и Сервантес ответил улыбкой. Разговаривать пленникам запретили.

Он вновь увидел вожака пиратов, который, заметно прихрамывая, прогуливался по палубе, вертя в руках свою трость. От его проницательности не ускользнуло и то, что пираты при приближении этого человека почтительно замолкали.

Обратил Сервантес внимание и на гребцов, попавших в плен христиан-бедняков, за которых никто не мог заплатить выкуп.

Превращенные в рабов, эти люди приковывались к веслам до конца жизни, которая, к счастью, была недолгой. Они быстро умирали от непосильного труда и болезней. Тела их выбрасывали за борт.

Сервантес заметил, что у некоторых гребцов не было ушей, а у некоторых – носов или одного глаза. Все они были жертвами жестокости Дали-Мами, капитана пиратского судна, грека по происхождению и бывшего христианина. Этот ренегат, став корсаром, превратился в ужас Средиземного моря. О его свирепости ходили легенды. Рассказывали, что однажды он в приступе ярости отрубил руку одному из гребцов и стал избивать ею всех подряд. Вскоре пленников, как тюки, перетащили по сходням на разбойничий корабль и сложили на палубе. Прошел мелкий дождик. Пробилось из-за туч и ушло к горизонту солнце. Наступила прохладная ночь, и прямо над головой замерцали крупные звезды. Корабль легко и быстро плыл на юг, держа курс на Алжир. Ни еды, ни воды им не дали. Родриго поместили где-то в другом месте. Рядом с Сервантесом лежал иезуитский священник, полушепотом читавший молитвы. «Этот в рабстве не засидится», – подумал Сервантес. Он знал, что иезуитский орден не оставляет своих в беде. Через пару месяцев его выкупят. На лиц духовного звания у пиратов существовали тарифы, которые обычно не нарушались.

Утром пленников стали бесцеремонно обыскивать. У них отбирали все – от кошельков до носовых платков – и складывали в огромный мешок. Бумаги и документы помещали в особый ящик.

Сервантес смотрел, как пират вертит в руках конверт с драгоценным письмом дона Хуана Австрийского, и у него вдруг сжалось сердце от нехорошего предчувствия.

На завтрак каждому выдали сухарь, несколько оливок и немного теплой воды. Вскоре всех развязали, но велели оставаться на местах. А потом произошло то, чего опасался Сервантес. К пленникам подошел тощий высокий пират с серебряной серьгой в ухе и спросил:

– Кто здесь Сервантес Мигель?

Сервантес встал на ноги.

– Идем. Раис хочет видеть тебя.

Дали-Мами сидел один в небольшой каюте, стены которой были увешаны инкрустированным серебром оружием, и что-то записывал в свою тетрадь.

– Садитесь, дон Мигель, – приветливо сказал хромой корсар. – Я знаю, что вы важная птица. У меня еще никогда не было пленника с рекомендательным письмом к самому могущественному королю неверных. Да не от кого-нибудь, а от самого дона Хуана, храбрейшего из гяуров. Я думаю, вы у нас не задержитесь. Вы ведь наверняка какой-нибудь знатный гранд. Две тысячи дукатов – и вы свободны. Уверен, что для вас это сущие пустяки.

– Никакой я не гранд, – угрюмо сказал Сервантес. – Я всего лишь простой солдат. В бумагах, которые вы у меня забрали, есть документ об этом. Мои родители бедны. У меня нет богатых друзей. У меня нет ничего. Я нищий. Почему бы вам не потребовать за меня сокровища царя Соломона? Результат будет тот же.

– Я не понимаю, почему вы так упрямитесь. Не стал бы дон Хуан писать своему королю о простом солдате. Вы что, дураком меня считаете? За вас заплатят ту сумму, которую я прошу, и ни дукатом меньше, – сказал Дали-Мами голосом, утратившим свою мягкость.

– Я считаю вас не дураком, а упрямым ослом, раз вы не хотите понять очевидных вещей, – произнес Сервантес, решивший любой ценой покончить с этой дурацкой ситуацией.

Глаза Дали-Мами злобно сузились. Он вскочил с места. Сервантес стоял, ко всему готовый. Но корсар перевел дух и вдруг засмеялся.

– Вот вы себя и выдали, дон Мигель. Разве простой солдат посмел бы так разговаривать со мной? Вы человек, привыкший повелевать. Думаю, вы еще не оценили в полной мере свое положение. Подумайте. Время у вас есть. А пока с вами будут обращаться как со знатным пленником. Вы можете свободно передвигаться по всему судну.

Он хлопнул в ладоши, и в каюте бесшумно возник темнокожий нубиец.

– Али, дай этому человеку мяса и бутыль вина! – к Дали-Мами вернулось прежнее благодушие. – И помните, дон Мигель, я не всегда так покладист. Еще раз назовете меня ослом – и я вас убью, хоть и себе в убыток.

С большим куском мяса, завернутым в какую-то тряпку, и бутылкой вина Сервантес отправился разыскивать брата и нашел его под канатной сеткой у рулевой рубки.

– О Мигель, – воскликнул Родриго, увидев дары Дали-Мами, – ты действительно великий человек, если сумел раздобыть здесь такие вещи. Неужели тебе их дал этот мерзкий корсар? Но я ничуть не удивляюсь тому, что он оценил тебя по достоинству. Я рад...

– Подожди радоваться, – прервал брата Мигель и передал ему свой разговор с капитаном пиратов. – Ты же понимаешь, что за меня никто не заплатит такой фантастической суммы.

– Почему не заплатит? – удивился сохранивший врожденный оптимизм Родриго. – Ты стоишь гораздо большего, Мигель. Напишешь дону Хуану – и все устроится.

Сервантес лишь грустно усмехнулся. Ему не хотелось разрушать наивные иллюзии брата.

Мясо оказалось вкусным, а вино – отменным.

– Откуда вино на этом судне? – поинтересовался Родриго. – Ведь их пророк запретил употребление алкогольных напитков.

– Оно из личного погреба Дали-Мами, – усмехнулся Сервантес. – Не думаю, что он держит его для угощения пленных испанских дворян. Судя по его красному носу и мешкам под глазами, этот корсар не разделяет точку зрения Мухаммеда на алкоголь. Он ведь когда-то был христианином и, вероятно, еще не забыл былые привычки.

– Но что же нам теперь делать, Мигель?

– Не падать духом. И помни, что свободен лишь тот, кто умеет быть свободным и в рабстве. Можно потерять все: имущество, деньги, власть, работу. Любимую женщину, наконец. Но нельзя допустить утраты двух вещей: внутренней свободы и чувства собственного достоинства. Ибо это единственно важное из всего, что имеет человек. Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Понимаю, – сказал Родриго.

* * *

В древности Северную Африку населяли воинственные племена берберов. Затем она попала под власть финикийцев, создавших здесь могучее государство Карфаген. Они торговали, строили, обрабатывали землю и приносили жертвы своему Ваалу до тех пор, пока не ввязались в войны с Римом, в результате чего исчезли с исторической арены. После Пунических войн вся Северная Африка оказалась под властью Рима и стала его основной житницей.

Закат Рима все изменил. Непобедимые в прошлом легионы были отозваны на защиту западных границ трещащей по швам империи, а Нумидию – так тогда называлась территория современного Алжира – захватили племена вандалов. Спустя столетие их сменили византийцы, а в V веке под зеленым знаменем пророка Мухаммеда сюда вторглись арабы. Началось победное шествие ислама, распространившегося далеко за пределы Африки. Ислам овладел Испанией, ставшей жемчужиной создаваемой им новой цивилизации. А затем на африканской земле возникли секты принявших ислам номадов, которые ворвались в Северную Африку из восточных пустынь, истребляя и топча все на своем пути. Было уничтожено и самое передовое по тому времени сельское хозяйство.

Тогда и возник Алжир – пустынная скалистая страна у моря. А за морем находились цветущие земли – богатая добыча для обосновавшихся здесь поджарых волков ислама. История африканского разбойничьего государства началась.

Вскоре алжирские корсары уже господствовали в Средиземном море, наводя ужас на всю Европу. Быстроходные пиратские галеры и

стремительные фелуки с косыми парусами набрасывались на торговые суда, как гончие псы. От них не было спасения. Не довольствуясь морским разбоем, они опустошали побережье Испании и Италии, грабили прибрежные села и даже города и всегда возвращались в свое алжирское логово с богатой добычей.

История сохранила имена многих прославленных пиратов, превосходных моряков, ярких личностей, но только один из них по праву считается великим. Речь идет о Хайреддине Барбароссе, прозванном Бичом Средиземноморья.

Четверо сыновей было у гончара Якова, албанца православной веры, проживавшего со своим многочисленным семейством на острове Лесбос, родине поэтессы Сапфо. Настоящее имя Хайреддина, самого младшего из братьев, было Хызыр. Когда турки захватили остров, старший брат Арудж – его христианское имя неизвестно – и младший Хызыр перешли в мусульманство и нанялись на пиратское судно простыми матросами. Оба брата быстро выделились отвагой и беспощадностью. Хызыр, ставший Хайреддином, хоть и был умнее и прозорливее брата, но безоговорочно признавал его лидерство.

Арудж взбунтовал команду, захватил корабль, стал его капитаном и быстро прославился как самый грозный корсар Средиземного моря. Заключив договор с эмиром Туниса, он получил в аренду остров Джерба, где создал базу для своего пиратского флота, терроризировавшего все порты средиземноморского побережья. Темпераментный, отважный и выносливый, Арудж выделялся особого рода аморальной бесшабашностью и был похож на хоть и кровожадного, но по-своему привлекательного зверя.

В 1516 году настал его звездный час. Мавританский князек Селим-ат-Туми, подружившийся с Аруджем, захватил при его помощи Алжир и объявил себя эмиром всей Северной Африки. Селим настолько ему доверял, что часто приглашал в свой бассейн позагорать, поплавать и вообще расслабиться. Все шло хорошо, пока однажды Арундж не задушил его прямо в воде, после чего провозгласил себя повелителем Алжира под именем Барбаросса. Так его называли из-за огромной огненно-рыжей бороды, которую он всячески холил и лелеял.

После ряда неудачных столкновений с силами императора Карла V на суше и на море Арудж Барбаросса оставил Алжир на своего брата Хайреддина, а сам отправился с небольшим отрядом к марокканскому султану просить о помощи. Настигнутый испанцами на реке Саладо, он успел переправиться на ту сторону и мог спастись, но увидев, как отважно сражаются его люди, вернулся к своему отряду и погиб в неравном бою.

После гибели Аруджа эмиром Алжира и предводителем средиземноморских пиратов стал Хайреддин. У него тоже была рыжая борода, хоть и не такая роскошная, как у Аруджа, а посему и он принял имя Барбаросса. При нем пиратский промысел был поднят на столь профессиональный уровень, что в Европе чуть ли не с ностальгией стали вспоминать о его брате.

Сохранился портрет Хайреддина Барбароссы работы безымянного итальянского художника. На нем изображен человек с лохматыми бровями, аккуратно подстриженной рыжей бородой и крупным носом. Его нижняя губа, слегка выдвинутая вперед, придавала всему лицу пренебрежительное выражение. Он был среднего роста и обладал

исключительной силой – на вытянутой руке мог держать двухгодовалую овцу. Его храбрость, хладнокровие и ловкость сочетались с магическим влиянием на окружающих. К тому же он был удачлив. Даже самые отчаянные его предприятия неизменно заканчивались успехом. Ум, прозорливость и трезвый расчет обеспечили ему славу лучшего флотоводца своего времени.

Хайреддин Барбаросса не был ни злым, ни мстительным, хоть иногда и испытывал приливы неумолимой холодной жестокости. Проницательный ум подсказал ему, что Алжир не удержать без покровительства османов, и он, как на ладони, преподнес Северную Африку в подарок турецкому султану Сулейману Великолепному. Султан с радостью принял дар, ибо давно уже решил использовать алжирских пиратов в борьбе с Испанией и Венецией за господство в средиземноморском регионе.

Осенью 1532 года он пригласил знаменитого пирата к себе в Стамбул, провел наедине с ним несколько часов и был очарован его проницательным живым умом и обаянием. В Алжир Хайреддин Барбаросса вернулся капудан-пашой (командующим всем османским флотом) и бейлербеем Северной Африки. Он не подчинялся никому, кроме султана и Аллаха.

Сулейман Великолепный был неплохим психологом. Он сразу понял, что этот человек никогда не станет предателем и сумеет претворить в жизнь его самые сокровенные замыслы. И Барбаросса всецело оправдал доверие своего повелителя. Его победы превратили Турцию в величайшую морскую державу своего времени. Султан же испытывал к своему флотоводцу истинную привязанность и снисходительно относился к таким его маленьким слабостям, как пристрастие к хорошему вину и красивым женщинам.

За всю свою долгую жизнь Хайреддин Барбаросса не проиграл ни одного сражения. Он регулярно одерживал победы над испанцами, императорскими флотилиями Карла V, генуэзцами, мальтийцами и даже над флотом Великолепной сеньоры (Венеции) – сильнейшим в то время.

Почувствовав, что его одолевает старость, Барбаросса отказался от власти и поселился в Стамбуле, где султан разрешил ему построить на берегу Босфора роскошный дворец. Там он и умер в 1546 году и был похоронен в мечети, специально для этой цели воздвигнутой у самого моря. Даже десятки лет спустя входящие в стамбульский порт корабли пушечной пальбой отдавали должное его памяти.

После смерти Барбароссы Алжиром много лет управляли так называемые «короли» из числа пиратской аристократии. Они назначались султаном и именовались по-разному: «дей», «ага», «паша», но народ величал их «королями».

По своей сути Алжир был выгодным торговым предприятием, где торговали человеческими жизнями и награбленным добром. Здесь ничего не производилось, и прекратись пиратский промысел, его население умерло бы от голода. Это пиратское гнездо по своей специфике напоминало Запорожскую сечь, находившуюся на периферии Восточной Европы и неоднократно беспокоившую Османскую державу своими набегами.

В год битвы при Лепанто Алжир насчитывал сто двадцать тысяч жителей и тридцать тысяч рабов.

* * *

Сервантес, участвовавший лишь на море в борьбе христианских держав Европы с турецкой экспансией, имел весьма смутное представление об удивительном алжирском феномене. Лишь оказавшись в рабстве, понял он, что Алжир – это не только осиное гнездо пиратов и скопище всякого сброда, но и красочное воплощение богатой восточной фантазии.

Внешне Алжир являл собою большой каменный лабиринт с домами-коробками и переплетением зловонных переулков, где под яростным местным солнцем жили десятки тысяч отчаянных людей, не боящихся ни Бога, ни дьявола.

Сойдя на алжирский берег, Сервантес почувствовал себя как в гигантском вертепе, расположенном у подножия Вавилонской башни. Его поразило дикое смешение рас и народностей. Здесь люди говорили на каком-то особом жаргоне, составленном из всех мыслимых языков и наречий. Здесь в людском муравейнике все слилось в общей сутолоке и невообразимом хаосе: арабы и евреи, греки и турки, мусульмане и христиане. Тут и там мелькали рабы – садовники или ремесленники богатых хозяев. Особо выделялись купцы, торгующие самыми разнообразными товарами. У моря ни на миг не прекращались работы. Там строились и оснащались пиратские галеры руками христианских рабов.

Но основной достопримечательностью Алжира был невольничий рынок Бадистан, расположенный у самого моря рядом с большой мечетью. Сюда стекался человеческий товар со всего мира. Сюда привели и пленников Дали-Мами. Несколько человек, в том числе Сервантеса и Родриго, отвели в сторону.

Тяжелые думы овладели Сервантесом, когда он окинул взором этот берег, принадлежавший когда-то Испании. Всего несколько десятилетий назад здесь развевалось гордое кастильское знамя. Потом под натиском ислама Северная Африка была утрачена христианами. Император Священной римской империи Карл V попытался отбить у неверных хотя бы ее часть, но его флот был сильно потрепан бурей, и экспедиция завершилась провалом.

Много лет спустя Сервантес писал: «В тот день, когда я прибыл побежденным на этот берег, ставший оплотом пиратов, я не мог удержаться от слез. Не знаю, каким образом неожиданно для самого себя я почувствовал, что лицо мое в слезах. Мысленному моему взору представилась река, откуда снялся с якоря великий Карл, распустив по ветру свое знамя. Представилось и море, которое, завидуя великому предприятию и славе императора, показало себя сердитее, чем когда-либо».

Постепенно рыночная площадь перед мечетью заполнилась шумной толпой, вбиравшей все новые потоки людей, устремившихся сюда из узких грязных переулков. Здесь всё смешалось в пестром водовороте: смуглые берберы, в плащах из верблюжьей шерсти, с бритыми головами, покрытыми платками, повязанными черными плетеными шнурами, и чернокожие нубийцы, дети пустыни, наготу которых скрывали лишь повязки на бедрах. Спокойные, как их верблюды, арабы в длинных белоснежных джалобеях и мавры в ярких одеждах, восседающие на украшенных разноцветными попонами ухоженных

мулах. Высокомерные, ни при каких обстоятельствах не теряющие чувства собственного достоинства турки – и местные евреи в черных джабах. И, конечно же, повсюду виднелись янычары в бёрках – белых войлочных колпаках с висящим сзади куском материи, напоминающей по форме рукав султанского халата. Охранники в длинных зеленых туниках и войлочных тюрбанах следили за порядком.

Пока не начались невольничьи торги, купцы выставили лотки со своими товарами. Здесь продавались фрукты, сладости, пряности, украшения и драгоценности. Перед глазами мелькали шелка, жемчуга, тюрбаны, женские руки с браслетами, темные еврейские халаты и белоснежные туники. Невольников поместили в длинном сарае, у которого вместо передней стены была завеса из верблюжьей шерсти.

Торги еще не успели начаться, как вся толпа пришла в волнение. С криком «Дорогу! Дорогу!» к базару продвигались шесть рослых нубийцев с бамбуковыми палками в руках, которыми они прокладывали путь сквозь толпу. Вслед за ними верхом на молочно-белом муле ехал Гассан Вениciано, король Алжира, в белом бурнусе из шелковой ткани, в желтых туфлях и в феске, обмотанной белым тюрбаном. Его окружал отряд янычар с обнаженными саблями.

– Да умножит Аллах твое могущество! Да пребудет с тобой благоволение господина нашего Мухаммеда! – льстиво кричала толпа.

Но кричали не все. Гассана ненавидели за его холодную сладострастную жестокость и за бешеный нрав, ужасавший даже янычар. Он предпочитал не вешать людей, а сажать их на кол. Однажды он увидел рабов и решил, что они трудятся слишком медленно. «Отрезать всем уши!» – последовал приказ. Будучи в веселом настроении, Гассан велел привязать окровавленные ушные раковины ко лбам этих несчастных и заставить их плясать возле его дворца на площади Дженин.

Сейчас Гассан отвечал на приветствия толпы, как подобает человеку, истинно набожному и благочестивому.

– Мир вам, правоверные из дома Пророка, – время от времени произносил он.

Вступив на рынок, король приказал слуге швырять монеты ползающим в пыли нищим, ибо сказано в Коране, что те, кто не подвластны жадности и расходуют свое имущество на пути Аллаха, процветут, ибо им удвоится.

Наружность у Гассана была совершенно разбойничья. Он был высокий, худой, неестественно бледный, со скудной рыжеватой бородой, изрытым оспой лицом и светлыми глазами. Впрочем, его уважали за дикую храбрость, которая так же не имела границ, как и его зверства. Он вырос в Италии в католической семье. Получил при рождении имя Андретта. Став ренегатом, превратился в одного из самых жестоких людей своего времени.

Таков был человек, с которым однорукому рабу Мигелю Сервантесу предстояло вступить в смертельно опасную схватку.

* * *

Глухие удары гонга возвестили о начале торгов. Толпа у ворот расступилась, и в образовавшийся проход медленно и величественно вступил высокий худой человек в белоснежной одежде и в

шелковом шафранового цвета тюрбане с изумрудом. Это был дадал – распорядитель торгов. За ним следовал его помощник, бледно-желтый евнух с приковывающим взгляд ожерельем из драгоценных камней на шее. В облике дадала, в его узком аскетичном лице было что-то завораживающее, и когда замер шум голосов, все происходящее стало напоминать жреческое священнодействие.

Дадал постоял минуту как бы в забытьи, глядя прямо перед собой темными глазами, и стал медленно нараспев читать молитву:

– Во имя Аллаха милостивого и милосердного, сотворившего человека из сгустка крови! Царствие Его вечно на небе и на земле! Он создает и убивает, и власть Его надо всем сущим. Он – начало и конец, видимый и невидимый, всеведущий и всемудрый.

– Аминь! – выдохнула толпа.

Дадал хлопнул в ладоши. Верблюжья завеса раздвинулась, открывая сарай, забитый невольниками. Их было человек триста. Торговля велась шумно, крикливо. Турки, иудеи, берберы и мавры тщательно осматривали товар, щупали плечи, ноги, проверяли зубы.

Сервантес с болью в сердце наблюдал за происходящим. Особенно жалел он молодых невольниц. Их обычно покупали отталкивающего вида старики, дабы потешить свою угасающую похоть. Тем временем вывели на торги очередную невольницу, юную гречанку. Сервантес вздрогнул. Ему еще не доводилось видеть столь совершенное воплощение женской красоты. Платье из грубого полотна не могло скрыть красоты гибкого тела. Кожа поражала своей белизной. Глаза напоминали темные сапфиры. Крупные слезы медленно текли по ее лицу, что лишь придавало ему очарование.

Красота умиротворяет людей, и все в безмолвии смотрели на это чудо. Гречанка неподвижно стояла посреди базара, залитого палящими лучами солнца, и дадал принялся расхваливать ее достоинства.

– Взгляните, каким царственным изяществом в благоволении своем наделил Аллах этот греческий цветок. Посмотрите, как благородна ее осанка, как дивно сверкают ее чудные глаза. Вглядитесь в прелесть ее лица, подобного сияющей луне. Начальная цена сто дукатов. Кто даст больше?

– Сто пятьдесят, – сказал тучный левантийский купец по имени Юсуф, щелкнув пальцами.

– Это слишком мало, – дадал взял руку гречанки и поднял ее вверх, – посмотрите на эту руку. Она ведь белее слоновой кости.

– Да простит Аллах мою расточительность, – ввязался в торги худой, как афганская борзая, турок, которого звали Сулейман, известный торговец драгоценностями. – Но она уже стала усладой моих очей. Я наставлю ее на путь истинной веры и сделаю звездой своего гарема. Даю за нее триста дукатов.

– Четыреста, – невозмутимо произнес левантиец.

– Это безумие, – стал сокрушаться турок, – но я не отступлю перед этим жирным, наполненным ветрами левантийским пузырем. Четыреста пятьдесят дукатов!

– Клянусь бородой пророка, ты ответишь за это оскорбление, отец нечистот, – крикнул левантиец. – Пятьсот!

– О Аллах! – невольно воскликнул дадал, воздев руки к небесам.

– О Аллах! – эхом вторила толпа.

Но на этом торги еще не закончились. В дело вмешался сам властелин Алжира.

– Даю за эту жемчужину, волею Аллаха возникшую в греческом навозе, семьсот дукатов, – сказал король Гассан. – Что скажешь, дадал?

– Она твоя, о повелитель правоверных, – ответил изумленный дадал и склонился в почтительном поклоне.

Двое прислужников схватили девушку и потащили к белому мулу, на котором восседал Гассан. Впавшая в состояние прострации, она не сопротивлялась.

Вдруг какой-то худощавый смуглый человек, возникший неизвестно откуда, одним прыжком оказался рядом с гречанкой и вонзил лезвие кинжала в ее сердце. Вскрикнув, она упала к его ногам. Удар был нанесен рукой столь сильной и твердой, что девушка вряд ли успела что-либо почувствовать. Убийца швырнул кинжал на землю и спокойно стоял, скрестив руки на груди. Это произошло так неожиданно, что все оцепенели.

– Схватите его, – раздался хриплый голос Гассана.

Янычары выполнили приказание. Владыка Алжира был вне себя. Его светлые глаза налились кровью, но голос звучал спокойно.

– Кто ты?

– Жених этой девушки. Пираты захватили ее, когда меня не было рядом с ней. Я прибыл сюда, чтобы спасти ее. Больше я ничего не скажу.

– Скажешь. Аллах поможет развязать твой поганый язык. С тебя с живого кожу сдерут.

– Глупец, – улыбнулся этот человек и с печальной и безнадежной гордостью показал на тело невесты, – чего мне теперь бояться?

По знаку Гассана его увели янычары.

После окончания торгов Сервантеса отвели в баньо – так называлась тюрьма, поместили в сырую, темную, пахнувшую гнилью камеру и заковали в цепи. Он понял, что это сделано, чтобы заставить его добиваться получения двух тысяч дукатов, назначенных за его освобождение.

Неожиданно для себя он ощутил нечто вроде душевного спокойствия. Запертая дверь отделяла его от жестокой мерзости внешнего мира. Вот только тьма угнетала его. Он не выносил тьму. Она высасывала его волю. Камера была круглой. Он знал, что все, кого сажают в круглые камеры, где не на чем остановить взгляд, сходят с ума. Но надо держаться. Пережить это, вот и все. Пережить хоть как-нибудь, как неизлечимо больные или умирающие с еле тлеющей, но неистребимой волей к жизни. Надо уподобиться огоньку во мраке ночи.

Чтобы отвлечься от печальных мыслей, Сервантес стал размышлять о четвертом Евангелии, написанном Иоанном Богословом, любимым учеником Христа, который на тайной вечере, прислонившись к груди Его, спросил: «Господи! Кто предаст Тебя?»

Он думал о том, что сложный образ Христа получился в четвертом Евангелии таким убедительным и близким, потому что Иоанн воспринимал его как личность, способную любить и страдать, и лишь затем как воплощение божественной сути.

Вспоминал он и некоторые фразы, превращающие четвертое Евангелие в образец высокой поэзии: «...потому что еще не пришел

час Его...», «Может ли бес отверзать очи слепым»?», и преисполненную печали мольбу: «Да минует меня чаша сия!», и обращение к Иуде: «Что делаешь, делай скорее...»

Уже под утро забылся он тяжелым сном, который, однако, не продолжался долго. Разбудило его чье-то прикосновение. Он вскочил и увидел перед собой улыбающегося Дали-Мами с неизменной тростью в руках.

– Хорошо спали, дон Мигель? Я понимаю, что в Мадриде на ложе под балдахином вам спалось бы лучше. От вас зависит, как скоро вы сможете вернуться к прежним привычкам.

Он протянул руку, и его телохранитель подал ему легкую цепочку, выкованную наподобие запястья.

– Носите эту цепочку на ноге, дон Мигель. Как видите, она скорее украшение, чем наказание. Надеюсь, что ночь, которую вы провели в этом месте, вразумила вас. Теперь вы знаете, как мы можем с вами обращаться. Ну к чему вам страдать в каменном мешке с тяжелым железом на теле? Напишите письма кому угодно: друзьям, родственникам. У кого-то наверняка окажется доброе сердце и тугой кошелек. А пока развлекайтесь себе спокойно здесь, в Алжире.

* * *

Приобретенные на рынке невольники были своего рода капиталовложением, а капитал должен приносить прибыль. Поэтому рабов отдавали внаймы за два-три дуката в месяц. Считалось большим счастьем, если раб попадал в дом к иудею, где ему было гарантировано хорошее отношение и не применялись телесные наказания. Именно такое везение выпало Родриго, которого приобрел за три дуката в месяц еврей-ювелир.

Сервантес нашел брата во внутреннем дворике небольшого увитого плющом дома. Родриго поливал цветы, беспечно насвистывая. Братья обнялись.

– Мой хозяин, – сказал Родриго, – пожилой одинокий вдовец. Очень добрый и мудрый. Если все иудеи такие, то они вовсе не собаки, а хорошие люди. Его предки жили в Испании, и он хорошо знает наш язык. А вот и он сам.

К ним подошел ювелир Абрахам Каро. На вид ему было лет шестьдесят. Среднего роста, худой, с окладистой начавшей седеть бородой, одетый в черное платье, он был похож на духовное лицо. Его большие черные глаза светились умом и проницательностью.

– Ваш брат много рассказывал о вас, – сказал он на безупречном кастильском. – Я думаю, нам с вами будет приятно беседовать.

Вскоре их встречи стали для Сервантеса праздником. Ему казалось, что этот человек знает все на свете.

– Сказать вам, почему вы так стремитесь к свободе? – спросил он Сервантеса. – Потому что у вас нерастворимая душа. На нее не действует разъедающая кислота неволи.

Однажды он произнес:

– Сердце – это сосуд. Если не заполнить его любовью к Богу, то сатана заполнит его любовью к грехам.

Он так стал доверять Сервантесу, что однажды показал ему свою коллекцию драгоценных камней. Он знал о своих любимцах все и го-

ворил о них, как о живых существах. Пояснял, какую шлифовку придал тому или иному камню ювелир, как определить на глаз, сколько в нем каратов и какова его стоимость.

– Знаменитые алмазы, – говорил он, – имеют свою судьбу. Их владельцы не раз испытывали на себе влияние заключенных в них сил. Один из таких алмазов славился тем, что приносил несчастье его обладателям. Им владели поочередно одиннадцать индийских князей. Все они плохо кончили. Одному выкололи глаза, одного отравили, двоих утопили в собственном бассейне, троих зарезали, двоих задушили, одного сбросили с башни замка.

– Это десять, – заметил любящий точность Сервантес.

– Последнего родной сын уморил голодной смертью. Алмаз сейчас у него. Он понимает, что обречен на гибель, но ни за что не расстанется со своим сокровищем. Просто сидит в своем замке и ждет убийц каждый день, каждый час. Ждет их и наследник, которому не терпится завладеть роковым камнем.

– История, конечно, красивая, – заметил Сервантес, – но не очень убедительная. Возможно, каждый из этих князей сумел возбудить ненависть народа или зависть близких. Чего не бывает. Но даже если это выдумка – то все равно здорово. Никогда не перестану удивляться силе человеческого воображения.

– Оно, положим, не сильнее человеческой алчности, – усмехнулся Абрахам. – Все эти погибшие знали, что в их злоключениях виноват алмаз, но не в силах были с ним расстаться.

– Ваш рассказ, вероятнее всего, красивая сказка, – задумчиво сказал Сервантес. – Но в Бургундии был герцог Карл, прозванный Смелым. Он постоянно враждовал с одиннадцатым Людовиком. Этот Карл никогда не расставался со своим драгоценным камнем. Считал, что он приносит ему счастье. Брал его с собой во все походы и битвы. Так вот, Карл Смелый погиб в бою под стенами крепости Нанси, которую осаждал. Простой лотарингский воин сошелся с герцогом в бою и с легкостью одолел его – несравненного мастера клинка. Что же оказалось? Суеверный герцог умудрился потерять свой алмаз перед самым боем. Так что мы называем суеверием, хотел бы я знать?

– Ну да, – задумчиво сказал Абрахам. – Человек алчен. Он не понимает, что каждый отправится на суд божий с пустыми руками. Когда Александра Македонского несли к месту погребения, то его руки свободно свисали по обе стороны носилок. Такова была его воля. Царь хотел, чтобы все видели, что он уходит из этого мира с пустыми руками.

ХРОНИКА ПЯТАЯ

Неожиданные удары судьбы, на которые так удобно списывать невзгоды, не таят в себе загадок. Их последствия очевидны и предсказуемы. Истинное величие духа проверяется способностью действовать даже в безвыходной ситуации, когда человек, уже понимая, что положение безнадежно, все равно пытается его изменить. Жизнестойкость высшей пробы – это не только умение не сломаться в любой ситуации, но и готовность начать все с самого начала, не позволив неудачам сломить себя.

Такими качествами и обладал Сервантес. Попав по иронии судьбы в ранг особо привилегированных невольников, он видел, как от подобострастно-льстивого отношения турки резко переходили к угрозам и истязаниям, если узник по каким-либо причинам не оправдывал их надежд на богатый выкуп. Далеко не каждый мог вынести такие испытания, не уронив своей чести. Многие принимали ислам, чтобы избавиться от мук. Сервантес не осуждал этих людей за малодушие, зная, как тяжелы были их страдания. Но, будучи убежденным католиком, переживал при виде почестей, которые оказывались вчерашним рабам, предавшим свою веру.

Впрочем, турки редко позволяли христианским узникам переходить в ислам, ибо нуждались в рабах больше, чем в неофитах. Плоть ценилась дороже души.

Пиратский Алжир был средоточием религии. Здесь на относительно небольшом пространстве сгрудились сто малых и шесть больших мечетей, но перед властью золота вера отступала на второй план. Ведь за счет несчастных рабов, отупевших от голода и мук, жил разбойничий город и каждый его обитатель.

Жила пиратская элита в роскошных загородных виллах с прохладными садами и водоемами.

Жили муллы, кади, муфтии и имамы.

Жили янычары в своих казармах-монастырях.

Жил весь торгующий, шьющий, кующий, жарящий и пекущий ремесленный люд.

Жили блудницы в цветистых одеяниях, бряцающие дешевыми жестяными украшениями.

Жили иудеи, нашедшие здесь приют после изгнания из Испании и выделявшиеся черным одеянием на фоне красочно живописных одежд Востока.

Среди обитателей этого жестокого мира, где все продавалось и покупалось, свободно разгуливали монахи-тринитарии – члены «Ордена пресвятой Троицы», созданного еще в 1198 году специально для выкупа пленных христиан из мусульманской неволи. Сбор освободительных пожертвований был их основной задачей.

С течением времени Сервантес счел для себя выгодным не опровергать миф о своем положении в испанском обществе. Теперь он оставлял на видном месте свои письма к воображаемым знатным покровителям, где обсуждал с ними возможности выкупа. Дали-Мами докладывали об этом, и он терпеливо ждал свой куш, понимая, что из Испании в Алжир не так-то просто доставить две тысячи дукатов. Разумеется, письма эти никуда не отправлялись. Родителям же Мигель сообщил, что с ним все в порядке, и просил ни о чем не беспокоиться, ибо он обязательно найдет способ вызволить из плена и себя, и Родриго. Он не знал, что его брат, несмотря на строжайший запрет, уже давно написал им правду. «Со мной-то все хорошо, – говорилось в его письмах, – а вот Мигеля необходимо вызволить как можно скорее. Вы там, в Испании, и понятия не имеете, насколько ужасно баньо, в котором его содержат».

Отец семейства, глухой врачеватель Родриго де Сервантес, его робкая жена Элеонора, дочь-монахиня Луиза и вторая дочь, легкомысленная, постоянно менявшая мужей и любовников Андреа, пришли в ужас. Разыгравшееся воображение рисовало им жуткие карти-

ны мучений, которым подвергаются Мигель и Родриго в алжирском плену. По ночам матери снились кошмарные сны о том, как ее дети, покрытые потом и кровью, прикованные к веслам на галерах, изнемогают под ударами бичевщиков. Утешительные письма Мигеля семья приписывала его гордости и нежеланию их тревожить.

Мать почти ослепла от слез. Отец резко сдал и с трудом ходил. Энергичная Луиза обивала все пороги, умоляя о вспомоществовании. Андреа перестала покупать платья и украшения и берегла каждый реал, который получала от любовников. Семья писала петиции, обивала пороги королевских канцелярий, питалась одним только хлебом и луком. Было продано все, что только можно было продать. Кое-что удалось скопить, но этого была такая жалкая сумма, что смешно было о ней говорить.

Сервантес ничего этого не знал. Жилось ему в целом неплохо. Одиночество не тяготило его. У ворот Баб-эль Уед, с другой стороны крепостной стены, в тени высокого старого кипариса он нашел укромное место для размышлений. Отсюда он мог видеть море, которому был обязан и лучшими, и худшими мгновениями жизни. Здесь зрели его мысли, которые он записывал в тетрадь в сафьяновом переплете – подарок Абрахама Каро. Заносил он сюда и свои стихи, совсем не похожие на те, которые сочинял в далекой юности. Но некому было их прочесть, некому оценить. Ушли прежние амбиции, исчезло тщеславие. Не было рядом ни маэстро Ойоса, восхищавшегося каждой строкой любимого ученика, ни всегда спокойного и благожелательного кардинала Аквавивы. Он знал, что в Испании расцветает могучая литература, знал, каким успехом пользуются в Мадриде театральные представления. Ему казалось, что и он мог бы занять почетное место на пиршестве Мельпомены, если бы не судьба, отрезавшая его от творческой жизни. Стихи сочинялись легко, и какое-то время он был доволен. Но однажды, перечитав их, вырвал листы, на которых они были записаны, и пустил по ветру. «Жалкая риторика, не более того», – подумал он с горечью. Тем не менее вскоре Сервантес сочинил большую поэму о сражении при Лепанто, выдержавшую его придирчивый критический анализ, и воспрянул духом.

Живым своим умом Сервантес быстро оценил агрессивную сущность ислама и понял, какая опасность грозит христианской цивилизации. Политика, на его взгляд, играла второстепенную роль в борьбе двух религий, где слабейшей оказывалась христианская. Не только своей судьбой был озабочен Сервантес. Он хотел, чтобы Испания – самая могущественная из христианских держав – сделала выводы из успехов ислама и мобилизовала свои ресурсы на борьбу с этим растущим злом. Но что мог сделать он, раб, закованный в цепи, без малейшей надежды на скорое освобождение?

Сервантес об этом не думал. Для него жить означало действовать. Его нравственный авторитет среди христианских невольников рос изо дня в день.

Он ободрял и утешал слабых, делился с ними последними крохами, помогал своим товарищам всем, чем только мог.

Историограф Алжира, современник Сервантеса доминиканский монах Гедо с лаконизмом, придавшим его труду особый колорит, описал издевательства, которым подвергались христианские пленные на алжирской земле. Без пафоса и эмоций поведал он о палоч-

ных ударах, наказаниях плетьми, пытках голодом и жаждой и других истязаниях. Сервантес, наблюдавший все это изо дня в день, не мог смириться с таким унижением людей. Максималист во всем, он мечтал не только об освобождении узников, но и о том, чтобы отнять власть у их мучителей. Целыми днями обдумывал он проекты всеобщего возмущения пленных, и постепенно его дерзкие планы перестали казаться ему химерой. В своих мечтаниях он уже видел великую армию восставших рабов, а себя – новым Спартаком.

С присущей ему решимостью шел он к намеченной цели, вооруженный лишь своим терпением, умом и энергией. Для начала он сплотил вокруг себя ядро из нескольких знатных испанцев, бывших офицеров королевской армии, людей отважных и непоколебимых, постоянно устраивавших заговоры, ненавистных ренегатам и терпимых турками лишь потому, что те надеялись получить за них солидный куш. Эти гордые люди жили своей обособленной жизнью в сфере идей и понятий, разделяемых только ими, и с презрением относились и к своим тюремщикам, и к реалиям алжирской жизни. Хоть и не сразу, но это маленькое тесно сомкнутое элитное общество признало лидерство простого солдата Сервантеса.

Особенно близко сошелся Сервантес с доном Бертраном де Сальто-и-Кастильо. Этот знатный мадридский дворянин стал известен всей Северной Африке после того, как повторил подвиг римского полководца Регула. Оказав своему хозяину какую-то услугу, Дон Бертран испросил у него разрешение на кратковременную поездку в Испанию, дабы проститься с умирающим отцом, поклявшись именем Девы Марии, что вернется обратно. Свое обещание он выполнил.

Это был человек худощавый, эмоциональный, несколько суетливый из-за переполнявшей его энергии, напоминавший быстрыми движениями и настороженным взглядом птицу с невзрачным оперением и яркими глазами. Он никогда не снимал с шеи пестрого шарфа, прикрывавшего багровый рубец, охватывавший горло подобно ожерелью. Дон Бертран был взят в плен при осаде крепости Галета, где проявил такие чудеса отваги и испортил туркам столько крови, что их предводитель Мехмет-паша приказал его повесить. Впрочем, Мехмет-паша соизволил вначале побеседовать со столь доблестным воином.

Он разъяснил дону Бертрану, что если тот вступит в ряды правоверных и посвятит способности, дарованные ему Аллахом, утверждению истинной веры и истреблению врагов ислама, то его ожидают слава, богатство и почести. В противном же случае его душа будет отдана шайтану.

Дон Бертран отказался принять ислам, и Мехмет-паша тут же велел вздернуть его на возвышающемся у входа в военный лагерь платане. «Этот платан и сейчас стоит перед моими глазами, – со смехом рассказывал дон Бертран. – Один сук его торчал так, словно нарочно вырос для этой цели. На шею мне накинули петлю и выбили из-под ног какую-то хреновину. И представляете, дон Мигель, когда я уже был на пути к райскому блаженству, этот сук вдруг возьми да и обломись. Я, красный, как рак, с вывалившимся языком и выпученными глазами, шлепнулся на землю, а Мехмет-паша сказал: “Аллах не захотел смерти этого гяура. Разве я могу не уважить его волю?”»

* * *

Сервантес сидел на своем любимом месте в тени старого кипариса у крепостной стены. На море была легкая зыбь, и сверкающее в безоблачном небе солнце уже начало уходить к линии горизонта. Рядом с ним пристроился на старом ящике дон Бертран и курил кальян. Здесь, в Алжире, он пристрастился к этому занятию.

– Я вчера искал вас, дон Бертран, – сказал Сервантес. – Хотел почитать вам кое-что, но вы, вероятно, были у своей мулатки. Той самой, у которой не зад, а откровение.

– А что здесь еще делать, как не заниматься любовью? – смущенно усмехнулся дон Бертран. – Любовь ведь это единственное в природе, где нет предела ничему, даже силе воображения. И знаете, что я думаю, дон Мигель? Никакое заключение не может превратить человека в раба, если он внутренне свободен и способен любить. Вас же я, признаюсь, не всегда понимаю. Здесь так много женщин, а вы не обращаете на них внимания, словно у вас сердце из камня.

– Это продажные женщины, дон Бертран. Меня они не интересуют.

– Все женщины продажны, дон Мигель. Я, например, не вижу разницы между ласками блудницы и светской красавицы.

– Значит, вы считаете, что прекрасных дам, тех, чьи взоры непреклонны, не существует?

– Я этого не говорил. Каждая женщина может стать и блудницей, и прекрасной дамой. Это уж как получится. А вообще-то, жизнь – дар настолько щедрый, что полностью искупает все горечи, которые она нам преподносит. Что вы об этом думаете, дон Мигель?

– Я жизнь люблю, хоть это и глупое чувство, – усмехнулся Сервантес. – Разве не глупо упрямо желать и дальше волочить ту ношу, которую так хочется сбросить с плеч? Но по жизни нужно проходить, как по канату, натянутому между двумя пропастями, – осторожно и стремительно.

Сервантес замолчал, глядя на море, где багровый диск уже начал погружаться в воду. Дон Бертран хлопотал над своим кальяном.

– Ваше отношение к женщинам, дон Бертран, не отражает благородства вашей души и недостойно вас, – прервал молчание Сервантес. – Рыцарь без прекрасной дамы – это не рыцарь. Женщины олицетворяют красоту жизни, без которой немыслимо искусство. И знаете, за что я больше всего ненавижу ислам? За то, что он превратил женщин в рабынь. Ведь рабыня может родить только раба. Вот почему для меня ислам – это религия рабов.

– Тут я с вами согласен, дон Мигель. В нашей вере определено, что должно принадлежать Богу, а что – кесарю. У нас существует граница между светским и духовным. А ислам вмешивается во все сферы жизни. Если победит ислам, то всему конец. И вашей любимой поэзии тоже. Повсюду воцарится такая скука, что человечество умрет от отвращения к самому себе.

– Мы, христиане, хотим постичь истину, а мусульмане довольствуются тем, что она существует, – сказал Сервантес. – Их вера основана на слепом послушании. Но разве наша святая церковь не требует от нас того же?

– Оставим эту тему, дон Мигель, а то сами не заметим, как превратимся в еретиков, – засмеялся дон Бертран. – Давайте лучше помечтаем. Что вы будете делать, когда вернетесь в Испанию?

– А вы?

– Я женюсь на родовитой и богатой синьоре, у меня будет куча детей. Стану жить в свое удовольствие и много путешествовать. А эти войны меня уже так достали, что я никогда больше не обнажу меча – клянусь пресвятой Девой. А вы, Дон Мигель, чего будете добиваться? Что вами движет? Желание славы? Тщеславие?

– То, о чем вы говорите – тщеславие, слава, – это все следствие неуверенности в себе. Я всего лишь поэт, то есть человек, страдающий от хронической неудовлетворенности, наделенный слишком пылким воображением, чтобы довольствоваться тем, что у него есть. Я знаю, что существует цель, к которой всегда буду стремиться, но не знаю, что она из себя представляет. Полоса моих неудач была и будет шире моей жизни. Ведь поэт – это существо, чья ось пересекается с осью мироздания под углом к осям других людей. Поэтому он видит и чувствует то, что от других сокрыто. Ему не прощают, что он не такой человек, как все, а значит, обрекают на одиночество. А ведь он надеется преодолеть собственные комплексы, обрести себя и начать жить, как все нормальные люди. Вот только надежде этой никогда не осуществиться.

– Боже, какую мрачную картину вы нарисовали, дон Мигель. А я-то думал, что поэтический дар – это от Бога. Но если все так, как вы говорите, то лучше уж быть сапожником, чем поэтом.

– Я тоже так думаю, – сказал Сервантес.

* * *

В двенадцати днях пути от Алжира находился принадлежавший Испании город Оран. Кратчайшая дорога туда лежала вдоль морского побережья и тщательно охранялась. В Оран нужно было пробираться извилистыми обходными тропами, то отклоняясь глубоко к югу, то возвращаясь к берегу и опять отклоняясь. Это могло занять недели три. Правда, еще ни одному смельчаку не удалось преодолеть этот путь, где монотонный ландшафт пустыни сменялся труднопроходимыми горными ущельями, а вокруг хозяйничали разбойничьи шайки.

Сервантес разработал план, как попасть в Оран. «Там, – говорил он товарищам по несчастью, – мы расскажем о мучениях наших единоверцев здесь, в Алжире, и вернемся сюда вместе с испанскими солдатами, чтобы освободить их всех».

Разумеется, задуманное предприятие было смертельно опасным. Вот уже сорок лет в Алжире регулярно происходили возмущения христианских рабов, считавших, что лучше умереть свободными людьми, чем жить в неволе. Мучительная смерть стала уделом многих из них. Их имена составили целый мартиролог, который Сервантес знал наизусть.

Прежде чем пускаться в путь, необходимо было найти проводника. К весне Сервантес нашел одного. Это был уже немолодой тощий субъект смешанной турецко-португальской крови, с лицом землистого цвета и кривым носом, сдвинутым набок ударом чьего-то мощного кулака. Тело его было покрыто многочисленными шрамами, а спина

так исполосована плетью, что казалось, будто ее прикрывает сетка. Уже более двадцати лет он обитал в этих краях и знал не только каждую скалу в огромной пустыне, но и все оазисы алжирского юга. Сервантесу сразу не понравились его глаза, похожие на черных жуков, да и весь облик этого человека не внушал доверия, но другого не было.

Аслан – так звали проводника – вызвался привести в Оран одиннадцать беглецов за плату в десять дукатов с каждого. «Потом, – сказал он Сервантесу на ломаном испанском, – я все это брошу и обзаведусь своим хозяйством». Что именно он собирался бросить и о каком хозяйстве говорил, так и осталось неясным. Все беглецы дали Аслану долговые расписки, тут же исчезнувшие в его лохмотьях.

Они долго шли по каменистым впадинам и руслам высохших ручьев, держа курс на юго-запад. Бешеное солнце выжигало глаза. Нигде не было и следа какого-нибудь оазиса, где можно было бы освежиться и отдохнуть. Постепенно напряжение становилось невыносимым для скудно подкрепляемых пищей и водой людей. Сервантес шел сразу за проводником, шагавшим быстро, тренированным шагом, как ходят пилигримы и легионеры. В правой руке его была суковатая палка, с которой он никогда не расставался. От Мигеля не отставали его брат Родриго и дон Бертран. Остальные беглецы растянулись в длинную цепочку.

На шестой день пути у них кончились припасы, но как раз тогда они вышли к небольшому селению с жалкими хижинами, расположенному в низине, где имелся колодец, рядом с которым паслись овцы. Их никто не охранял. В хижинах тоже никого не было.

– Где мы? – спросил Сервантес Аслана. – Что это за местность и почему здесь нет никого, кроме овец?

– Эта местность называется Теннет-эль-Хад, дон Мигель, и живут здесь свирепые кабилы, – ответил проводник. – Сейчас все племя находится в священной долине, где приносит жертвы своим богам. Это в дне пути отсюда. Овец трогать нельзя. Иначе они убьют нас всех.

– Да, но у нас ведь кончились припасы, – сказал Сервантес.

– Ну возьмите ягненка. Кабилы подумают, что его сожрал шакал.

Развели костер в небольшой впадине у скалы. Смола на кедровых ветках трещала под натиском пламени, наполняя воздух приятным ароматом, к которому вскоре присоединился запах жареного мяса. Изголодавшиеся испанские дворяне ели жадно и некрасиво, как простолюдины, чавкая и облизывая пальцы. Насытившись, беглецы сразу же забылись тяжелым сном. Проснулись они от истошного вопля итальянского купца Джованни. Как выяснилось, у него украли кожаный мешочек с алмазом, который он раздобыл неизвестно где, сохранил ценой неимоверных усилий и носил на голой груди, никогда не снимая.

– Тщательно осмотри место, где ты спал, – посоветовал ему Родриго.

– Давайте всех обыщем, – предложил дон Бертран.

– Не надо никого обыскивать, – сказал Сервантес, – алмаз украл Аслан. Разве вы не видите, что он исчез?

Тут только все заметили отсутствие проводника. Как потом выяснилось, Аслан знал об алмазе Джованни, и ему, разумеется, нужен был этот алмаз, а не липовые расписки. Улучив удобный момент, он срезал мешочек с груди спящего купца – и был таков.

Отчаяние овладело людьми, которых бросили посреди пустыни, без еды и оружия, в шести днях пути от Алжира и в пятнадцати от Орана. Они кричали, звали Аслана, суетились, натыкались друг на друга, как слепые котята, не знали, что же теперь делать.

– Я заменю Аслана и поведу вас дальше, на запад, вслед за солнцем, которое не даст нам сбиться с пути. Через две недели будем в Оране. Не нужно возвращаться назад, – увещевал их Сервантес.

Но мужество уже покинуло беглецов. Возвращение в Алжир по знакомой дороге казалось им предпочтительнее пути в неведомое, где их подстерегали бог весть какие невзгоды.

«За добровольное возвращение нам простят побег», – выкрикнул кто-то, и это решило дело. Стараясь не смотреть на Сервантеса, восемь человек изъявили желание вернуться в Алжир.

– Ну и черт с вами, – сказал им Родриго, – вдвоем мы с братом быстрее дойдем до Орана.

– Втроем, – поправил его дон Бертран.

Сервантес молчал. Если бы он был один, то не колебался бы ни секунды, но ответственность за брата и Дона Бертрана сделала его благоразумным.

– Придется вернуться и нам, сказал он со вздохом и вновь принял командование: – Мы захватим с собой овцу и много воды, чтобы не сдохнуть в пустыне от голода и жажды.

– А кабилы? – спросил кто-то.

Сервантес лишь пожал плечами.

– И еще одно, – сказал он, прежде чем группа пустилась в обратный путь. – Когда мы вернемся, валите все на меня.

Путь назад оказался более трудным, чем ожидалось. Последние два дня они ничего не ели. Их туфли растрескались и окрасились кровью. Они отупели от лишений. У каждого муки тела заглушили беспокойство мысли. Однажды группа привлекла внимание бродячих собак. Они бешено лаяли, иногда окружали их, но напасть так и не решились. В конце пути кончилась вода, жажда навалилась на них всей тяжестью, и им было уже все равно, что с ними станется.

Они вошли в Алжир, когда солнце, раскалившее каждый камень, стремительно уходило за горизонт, и муэдзины по всему городу начали созывать правоверных в прохладу мечетей.

В конечном итоге все оказалось гораздо лучше, чем могло быть. Поскольку пропавший товар сам покаянно вернулся к своим хозяевам, с ним обошлись с предельной гуманностью. Каждый беглец получил несколько ударов палкой, и на этом все закончилось. К тому же приняли во внимание, что зачинщиком и организатором всего дела был Сервантес. Восемь из десяти беглецов назвали его своим вожаком. Ему единственному присудили наказание в виде трехсот палочных ударов, что было равнозначно мучительной смерти.

Но Дали-Мами не привел в исполнение приговор. Вместо этого он приказал заковать однорукого пленника в ручные и ножные кандалы и не выпускать из баньо вплоть до особого распоряжения. Сервантес сидел в своем углу и тихо позвякивал железными веригами. Дали-Мами навещал узника каждый день и, постукивая тростью по его кандалам, произносил увещательные речи, сетуя на неблагодарность своего раба. На пятый день по его приказу с Сервантеса сняли все оковы, двери темницы распахнулись, и все стало как прежде.

* * *

Время шло, надежда на скорое освобождение таяла, и узниками постепенно овладевало чувство безысходности. Для Сервантеса же неудачи ничего не значили. Они лишь укрепляли его волю к борьбе. Он видел, что происходит с его товарищами, и делал все, чтобы вдохнуть в них мужество и надежду. Не теряя зря времени, приступил он к организации нового побега, но нашелся предатель, выдавший его замысел еще в подготовительной стадии. Дали-Мами и на сей раз ограничился лишь словами. Он сказал: «Берегитесь, дон Мигель, мое терпение не безгранично».

А тут еще Абрахам Каро уехал в Турцию по каким-то своим делам, и Родриго перевели на общественные работы. Голый до пояса, как и прочие рабы, он копал землю под жалящими лучами солнца в том месте, где турки решили воздвигнуть новый бастион.

– Уже скоро, Родриго, уже скоро, – сказал Сервантес брату, желая подбодрить его.

Родриго лишь улыбнулся в ответ. Его веру в возможности Мигеля ничто не могло поколебать. Но Сервантес оказался прав. Вскоре из Мадрида в Алжир прибыли двое монахов-тринитариев с выкупными деньгами за дона Бертрана и тремястами дукатами, собранными семьей Сервантеса.

Мигель расстроился. Он понимал, сколько лишений и горя вытерпели его родные, чтобы собрать такую сумму, и опасался, что теперь им грозит нищета. К тому же этих денег могло хватить только на выкуп Родриго. Но его брат об этом и слушать не хотел.

– Эти триста дукатов – первый взнос за тебя, Мигель. Я без тебя никуда не уеду, – твердил он упрямо.

– Послушай, малыш, – сказал Сервантес, – ты должен вернуться домой. Мне нужно, чтобы ты был там. Я боюсь, что наша семья осталась без средств к существованию. Тебе придется позаботиться о ее благополучии. А обо мне не беспокойся. У меня есть новый план – на сей раз безупречный. Через три месяца буду и я на свободе. Обещаю.

С большим трудом ему удалось уговорить Родриго уехать.

Вслед за Родриго покинул Алжир и дон Бертран.

– Я найду средства, чтобы выкупить вас, Дон Мигель, – пообещал он Сервантесу при расставании.

– У меня другой план, – ответил Сервантес. – Я организую побег целой группы узников. Это не так уж сложно. Нужно только, чтобы через три месяца присланный вами корабль принял нас всех на борт в условленном месте.

Когда Сервантес подробно изложил дону Бертрану свой замысел, тот сказал:

– Ах, дон Мигель! Дон Мигель! Вечно вы заботитесь о других и никогда о себе. Но через три месяца корабль будет там, где вы сказали. Даю слово.

В трех милях от Алжира, между холмами и морем, находился земельный участок, принадлежащий пирату Ясину, который все не мог решить, что с ним делать. Почему-то именно здесь земля была покрыта обильной растительностью, в основном кустарниками и карликовыми деревьями. Поскольку собственность надо охранять, Ясин

держал тут сторожем одного из своих рабов. Эту синекуру получил некий Жан из Наварры, неграмотный матрос с захваченного пиратами судна, беспечный недалекий малый. За него некому было заплатить выкуп, что обрекало его на рабство до конца жизни. Когда Сервантес изложил Жану свой план, тот с радостью согласился выполнить отведенную ему роль, несмотря на связанный с этим риск. Свобода манила и его. На этом участке находилась довольно большая пещера, покрытая разросшимися кустами, – естественное убежище, созданное самой природой. Жан углубил ее, расширил и сделал пригодной для приема беглецов.

А потом в Алжире каким-то странным образом стали исчезать рабы. Каждую неделю недосчитывались то одного, то другого. Самые тщательные поиски не давали результата. Их словно земля поглотила. Впрочем, так оно, в сущности, и было. Все они укрылись в пещере Жана, где свободно могли поместиться около двадцати человек. Сервантес строго-настрого запретил им покидать убежище до наступления темноты.

А в Алжире рвали и метали. Даже янычары были поставлены на ноги и рыскали повсюду. Подозрение, разумеется, пало на Сервантеса, но тот разгуливал по городу с самым простодушным видом, как всегда, что-то писал и вообще был на виду.

Судно дона Бертрана ожидалось в условленном месте в конце сентября 1578 года. К этому сроку необходимо было завершить все приготовления. Сервантес был доволен, ибо дела шли прекрасно, и самое главное, убежище не было раскрыто.

Возникла, однако, проблема с продовольствием. Слишком уж большие опасности связывались с регулярными походами в город, где беглецов не переставали искать. Каждый боялся взять на себя эту обязанность. И у всех отлегло от сердца, когда молодой флорентинец по прозвищу Дорадор, то есть золотильщик, добровольно вызвался каждые два дня совершать рискованные вылазки за провизией. Никто толком не знал, что собой представляет этот красивый молодой человек с простодушно-наивными голубыми глазами, но весь его облик внушал доверие.

Освобождение могло произойти в один из дней от 25 до 30 сентября – так Сервантес рассчитал с доном Бертраном. К этому сроку все было готово. Сервантес, за которым неусыпно следили, покинул город последним. Теперь их было пятнадцать человек в пещере. Оставалось только ждать и надеяться.

Корабль, точно призрак, возник в назначенном месте лунной ночью 3 октября, когда всякая надежда была уже потеряна. Это был маленький люггер, походивший скорее на большую лодку, чем на корабль, с такой незначительной осадкой, что мог причалить к самому берегу. Условный знак был тут же подан. Беглецы упали на колени, простирая к судну руки. Многие плакали. Им казалось, что они уже слышат плеск весел. На форштевне уже можно было различить силуэт шкипера. Беглецы столпились у самой воды. Каждому не терпелось поскорее взойти на борт и почувствовать себя в безопасности.

– А где же Дорадор? – спросил вдруг Сервантес.

Как раз в это мгновение послышался шум, выкрики и топот ног. Из темноты возник Дали-Мами с целым отрядом янычар. Их вел Дора-

дор в красивом белоснежном тюрбане. Он находился рядом с Дали-Мами, который явно наслаждался открывшейся перед ним картиной. Судно, с которого заметили янычар, медленно удалилось. Это был полный крах.

– Будь ты проклят, иуда, – сказал Мигель Дорадору. – Предательство не принесет тебе пользы. С этого дня ты и года не проживешь.

Так оно и было. Не прошло и года, как Дорадор, презираемый всеми, даже турками, наложил на себя руки. Никто так и не узнал, что толкнуло этого человека на путь предательства, почему он буквально в последнюю минуту выдал своих товарищей.

– А ты не проживешь и недели, – выкрикнул впавший в ярость Дали-Мами. – Мне надоело тебя щадить. Я прикажу повесить тебя, а твоим сообщникам отрубят левую руку, чтобы они стали похожими на своего главаря. И пусть они проклинают тебя до конца своих дней.

– К чему вам портить товар себе в убыток? – спокойно ответил Сервантес. – Эти люди ни в чем не виноваты. Это я уговорил их бежать. Ни один человек не отважится на побег после моей смерти, и вам это отлично известно. Повесив меня, вы решите все свои проблемы.

Дали-Мами хотел что-то сказать, но осекся, махнул рукой и уже спокойным голосом приказал отвести всех в город.

«Когда жизнь подходит к последнему рубежу, она похожа на портрет, которому недостает завершающего мазка. Портрет почти готов, и вопрос лишь в том, останется он в чьей-нибудь памяти или же исчезнет без следа», – записал Сервантес в своей тетради некоторое время спустя. После последней неудачи он впервые почувствовал, что смертельно устал и потерял веру в свою звезду. Ему ничего не удавалось, словно какое-то проклятие довлело над ним.

Правда, наказание и на этот раз оказалось не таким суровым, как можно было ожидать. Власти ограничились тем, что всех беглецов, включая и Сервантеса, перевели на тяжелые работы, где они трудились над возведением укреплений от зари до зари. Жизнью поплатился лишь Жан из Наварры. Его подвесили за ноги, и собственная кровь медленно задушила несчастного.

«Я, и только я повинен в гибели этого человека», – подумал Сервантес, и у него заледенело сердце.

Прошло две недели, и Дали-Мами велел привести к себе мятежника, предварительно сняв с него оковы.

– Надеюсь, вы образумились, дон Мигель, сказал он благожелательно. – К вашему сведению, я уже давно знаю, что вы простой солдат и что назначенная мной цена за вашу свободу – это вздор. Но знаю я также и то, что вы человек необычайный, отмеченный перстом Пророка. И хотя вы этого еще не осознали, но в вас живет дух истинного мусульманина. Так покоритесь же воле Аллаха и примите ислам. Такие люди, как вы, нам нужны. Поверьте мне, вас ждут великие почести.

Сервантес молчал.

– Ну что вас так тянет в Испанию? Ваш король? Он вас не знает. Ваших заслуг никто не оценил. В битве при Лепанто вы проявили чудеса храбрости – и остались простым солдатом. Ваш Бог? Тот самый, который был трижды предан собственным учеником и умер жалкой

смертью? Какой же это Бог! Именно теперь судьба дает вам шанс, дон Мигель. Не упустите же его.

– Зачем нужен вам я, калека? – поинтересовался Сервантес.

– Один из наших величайших корсаров Хорук Барбаросса был одноруким, как и вы, что не умалило его доблести. Примите ислам, дон Мигель, и раис Гассан-паша даст вам корабль. У вас будет всё, о чем только можно мечтать. Ну же, дон Мигель, соглашайтесь.

– Не могу, ибо не верю я ни в вас, ни в вашего Бога.

– Хорошенько подумайте, дон Мигель. А пока я возвращаю вам ваши привилегии.

* * *

Месяцы шли, складывались в годы. Сервантес жил, как и прежде, в относительно вольготных условиях. Его никто не заставлял работать. В баньо его камера ничем не отличалась от обычной комнаты. Там были стол, перо, бумага и даже шкаф для одежды. У него появился постоянный заработок. Крупнейший торговый дом Балтасара Торреса имел теперь в Алжире своего представителя купца Онофре Эскарке. Сервантес помогал ему вести деловую переписку.

Но мерзости окружающей жизни по-прежнему заставляли кровоточить его сердце, а тоска по свободе изнуряла душу. Он видел, как его единоверцев морили голодом, унижали, изнуряли на непосильной работе. Ему разрешали свободно ходить по всему Алжиру, и он все чаще встречал людей с отрезанными носами или ушами. Это были христиане, наказанные за приверженность к своей вере. За ним давно перестали следить, и одиночный побег, вероятно, удался бы ему. Но он, как и раньше, мечтал о том, чтобы освободить многих.

Постепенно у Сервантеса созрел замысел нового побега – уже четвертого по счету. Онофре Эксарке настолько попал под влияние своего однорукого секретаря, что согласился помочь ему. Специально для Сервантеса торговым домом Торреса было снаряжено судно, которое без труда могло принять на борт большое количество беглецов. В сентябре оно прибыло к алжирскому побережью и встало на якорь у мыса Матифу, в одной миле от разбойничьего города.

Сервантес решил действовать в завершающий день мусульманского праздника Рамадан, когда с наступлением темноты прекратится долгий пост и начнется великое пиршество. А потом пресытившиеся мусульмане толпами повалят в мечети, выкрикивая священное имя пророка сальными от медового теста губами. Тогда будет совсем не трудно уйти из города и собраться в условленном месте, у подготовленных заранее лодок, которые и доставят их на корабль.

Сервантес так тщательно все рассчитал, что осечки быть не могло. Но уже в который раз роковую роль сыграло предательство – качество, столь чуждое натуре Сервантеса, что он никогда его не учитывал в своих расчетах.

Шестьдесят человек согласились бежать вместе с ним. Лишь он один знал их имена. Все они должны были собраться в заранее договоренном месте, получив от него условный знак. Увы, они его так и не дождались.

Сервантеса предал бывший доминиканский монах Бланко де Пас, каким-то образом проведавший о его плане. К счастью, предатель

знал о готовящемся побеге лишь в самых общих чертах и, кроме Сервантеса, не мог никого выдать.

Этот человек с землистым цветом лица, большим брюхом и тонкими ногами вызывал чувство инстинктивной неприязни у каждого, кто имел с ним дело. У него были водянистые бегающие глаза и наводящий тоску гнусавый голос. К тому же от него всегда дурно пахло – возможно, из-за какой-то кожной болезни, за что он и получил прозвище Вонючий. Его так называли прямо в глаза, и он не обижался. Один лишь Сервантес относился к нему с ровным доброжелательством, что лишь возбуждало его злобную зависть. Вонючий люто ненавидел Сервантеса за то, что тот пользовался всеобщим уважением и непререкаемым авторитетом, и ждал лишь удобного случая, чтобы его погубить. Пронюхав о готовящемся побеге, предатель донес на Сервантеса правителю Алжира.

Друзья, а у Сервантеса они были повсюду, успели предупредить его об этом, и он поспешил в контору купца Онофре Эксарке. Узнав о том, что случилось, тот едва не получил сердечный приступ.

– Я погиб, – простонал он, закрыв лицо руками. – Этот изверг Гассан прикажет с меня живого кожу содрать.

Просочившиеся сквозь пальцы слезы блестели на его бороде.

– Да не убивайтесь вы так, дон Онофре, – сказал Сервантес, жалостливо глядя на него. – Я вас не выдам, клянусь пресвятой Девой. Я никого не выдам.

– Вы не знаете, что говорите, дон Мигель. Есть вещи, которых не в состоянии вынести ни один человек. Вы назовете мое имя, когда вас начнут поджаривать на огне или когда станут вырезать ремни из вашей спины.

– Надеюсь, что до этого не дойдет.

Он сам не знал почему, но его не покидала странная уверенность в том, что ему не суждено погибнуть в этом разбойничьем государстве. Тем не менее Сервантес отлично понимал, что произойдет, когда он окажется в лапах кровожадного Гассана. Ему нужно было время, чтобы разобраться в себе, и он укрылся в самом центре города, у своего товарища Диего Кастелано, который жил здесь уже много лет и успел обзавестись женой и детьми. Тот поместил его в погребе, где хранились овощи. Оставшись один, Сервантес долго всматривался в себя, как в глубокий колодец, пытаясь уяснить, ради чего же его так долго хранила судьба, но ничего не увидел там, в глубине.

По утрам ему приносили еду на целый день. Однажды утром, когда он завтракал, до него донесся зычный голос глашатая, и он услышал свое имя:

– Разыскивается беглый раб Мигель Сервантес, повинный в тяжких преступлениях. Тот, кто предоставит ему убежище, будет казнен.

Приподнялась дверь наверху погреба, и он увидел встревоженное лицо своего приятеля. – Не беспокойся, Диего, – произнес Сервантес. – Я ухожу...

Стражники схватили его, как только он вышел на улицу, и со связанными руками и петлей на шее привели во дворец короля Алжира. Гассан Венециани восседал на большой желтой подушке у одного из трех фонтанов своего обширного двора. Одет он был в бурнус из тонкой ткани, а феску на его голове, обмотанную бело-

снежным тюрбаном, украшал большой изумруд. Рядом с ним стоял Дали-Мами с неизменной тростью в руках. Сервантес заметил и Вонючего, затаившегося в тени арки, – и отвел глаза. Ему противно было даже взглядом прикоснуться к этому человеку.

Гассан Венециани внимательно оглядел мятежного раба и перевел взгляд на Дали-Мами:

– Это о нем ты мне все уши прожужжал? Какой же он тощий. Я-то думал, что речь идет о каком-то здоровяке, а в этом хлюпике едва душа держится.

И обратился к Сервантесу.

– Значит, ты, наглец, хотел похитить у нас шестьдесят рабов и тем самым причинить нам убытки на многие тысячи дукатов?

– Да, я, – спокойно ответил Сервантес.

– Итак, ты признаешь свою вину?

– Нет. Стремление к свободе – естественное право каждого человека.

– Ты хочешь, чтобы я вырвал твой дерзкий язык? Но сначала ты назовешь мне имена всех шестидесяти негодяев, а потом расскажешь, кто зафрахтовал для вас корабль. Ну! Говори же!

Сервантес молчал, но была в этом молчании непреклонность, которую Гассан сразу почувствовал.

– Ну, раз ты сам этого желаешь, – пожал он плечами и подал знак.

Неизвестно откуда возникли три фигуры в зеленой одежде и в черных тюрбанах, с какими-то странными инструментами в руках. Они схватили Сервантеса, сорвали с него одежду и опрокинули на каменные плиты лицом вниз. Он понял, что решающий час настал, и начал молиться своей покровительнице деве Марии, ожидая первой волны боли.

Но ничего не произошло. Сильные руки подняли его на ноги, и он услышал хрипловатый голос Гассана:

– Ты так слаб, что умрешь под пыткой. А я пока не хочу тебя казнить. Я пощажу тебя, если ты назовешь имена виновных. Ты ведь их назовешь?

– Назову, – сказал Сервантес, не узнавая собственного голоса. – Это четверо знатных испанцев. Они находятся в Мадриде.

– Имена!

– Герцог Альба Гарсия Аловарес де Толедо, гранд Дон Фернандо де Сильва и Гонгаса, гранд Дон Педро Антонио и Бомон, а также первый министр королевского двора дон Хименс Антонио де Лейса, – произнес Сервантес бегло и с такой убежденностью, что ему трудно было не поверить.

И вдруг произошло неожиданное. Владыка Алжира стал смеяться. Его тело колыхалось в такт издаваемым им звукам. Засмеялся и Дали-Мами. Подобострастно захихикали слуги и даже палачи.

– Теперь я вижу, что ты мало мне о нем рассказывал, – обратился Гассан к Дали-Мами. Я его покупаю у тебя, этого раба. Четыреста дукатов. Идет?

Дали-Мами наклонил голову в знак согласия.

– А ты, Вонючий, сослужил мне хорошую службу, – обратился к предателю Гассан Венециани. – За это тебе полагается награда.

Он вынул из-за пояса червонец и швырнул его на плиты.

– Возьми его своей грязной лапой, и чтоб я тебя больше не видел. И еще ты получишь горшочек масла. Целый горшочек масла, – повторил Гассан Венециани, смакуя каждое слово, как бы удивляясь своей щедрости.

* * *

Почему Гассан Венециани пощадил Сервантеса, что заставляло этого изверга испытывать нечто вроде мистического страха перед непокорным рабом, – так и осталось загадкой. По-видимому, нравственное величие этого испанца приводило в смятение низкую душу владыки Алжира, порождая в ней чувство недоумения перед чем-то недоступным его пониманию. Пройдет много лет, и Сервантес напишет в «Дон Кихоте»:

«Один только пленник умел ладить с ним - это был испанский солдат Сааведра. С целью освободиться из неволи он прибегал к таким средствам, что память о них будет долго жить в том краю. И, однако, Гассан-Ага никогда не решался не только ударить его, но даже сказать грубое слово, а между тем все боялись – да и сам он не раз ожидал, что его посадят на кол в наказании за постоянные попытки к бегству».

Став рабом Гассана Венециани, Сервантес потерял большинство своих привилегий. Новый хозяин держал его в дворцовом плену, под большой аркой, где подушки и покрывала обеспечивали минимальные удобства, а специальное кожаное покрытие защищало от солнца и дождя. Сервантес был посажен на серебряную цепь – очень длинную, что позволяло ему достаточно свободно прогуливаться по двору. Ему разрешалось писать и читать.

Кровожадный тигр, пощадивший плененного льва, не боялся никого на свете кроме страшного однорукого, которого он мог отправить на тот свет единым словом. Гассан признавался, что он спокойно спит только когда знает, что этот «однорукий испанский леопард» находится под надежной охраной.

Не исключено, что властитель Алжира видел в своем пленнике своеобразный талисман. Однажды у него вырвалось во время праздничной трапезы после Рамадана: «Не погибнет Алжир, корабли его, рабы и добро его, пока находится в моем дворце однорукий».

Свобода пришла, когда Сервантес уже перестал надеяться. В Алжир прибыл сам Хуан Хиль – главный прокуратор доминиканского ордена. После изнурительных переговоров, ему удалось выкупить около сотни христиан. Дороже всех обошелся ордену Сервантес, ибо Гассан, не желавший расставаться со своим «леопардом», запросил за него тысячу дукатов, причем сетуя, что и это будет ему в убыток. Хуан Хиль предложил семьсот, но Гассан и слушать не хотел о том, чтобы снизить цену. Казалось, что сделка не состоится, но в последний момент нашелся человек, согласившийся выложить недостающие триста дукатов. Это был алжирский еврей Абрахам Каро.

24 сентября 1580 года Мигель Сервантес отплыл в Испанию. Пять лет и один месяц провел он в алжирской неволе. На душе у него было безрадостно, но надежда, живущая в сердце каждого человека, уже начала расправлять свои крылья.

Анатолий Добрович

ДВА ВЕРЛИБРА

ПРОБА САМООПИСАНИЯ

Сущностные характеристики:

Я принадлежу к *царству* Животных,
подцарству Многоклеточных,
и в этом подцарстве – к *разделу* Двустороннесимметричных
(с несимметричными прошу не путать!).

Здесь я отношусь к *типу* Хордовых, *подтипу* Позвоночных,
к *группе* Челюстноротых, *классу* Млекопитающих.
Есть в этом классе *отряд* Приматов, и да, я оттуда –

из *подотряда* Обезьян, *секции* Узконосых
(с широконосыми не смешивать!).
Мое *надсемейство* – Высшие узконосые, т. е. Гоминоиды,
а *семейство* называется – Гоминиды,
и в нём мой *род* – Человек. Я из *вида*
Человек разумный (ну что вы!
не похваляюсь разумом – такова таксономия).

Я в значительной мере (проверка затруднительна)
принадлежу к *расе* Семитов
и внутри этой расы – к *народу* Евреев. Обладаю

уникальным Генотипом (ну что вы!
не в смысле моей исключительности,
а имея в виду всего лишь
единичное сборище генов). Этот Генотип

сформировал мой *Соматотип* и мой *Психотип*. Оба
в среде, куда меня вбросили (не испросив, понятно, согласия),
в немалой степени определили то,
что можно назвать моим *Характером*,
(или, если угодно, моей бесхарактерностью).

Я *Астеник* по складу. *Сенситивный, Зависимый*.
Ниже среднего *ранга* в стае. *Гетеросексуал*.
Из Влюбчивых, Неуверенных. *Брюнет*. Мое семя
дало жизнь четырём существам (одного уже нет в живых).
А я приближаюсь к естественному концу. *Диагнозы* –
Эмфизема легких, Ишемия сердца. Всё прочее –

Присвоенные характеристики (метки):

Мой *суперэтнос* – Россия с её Малороссией
(но могли бы случиться Германия, Польша, Румыния, Австрия).

этнос – Русский еврей
(всего раз в жизни приняли за грузина –
другого, опять же, *нерусского*).
Мой *субэтнос* – Провинциал-Горожанин
(вряд ли кто-то когда-нибудь счёл крестьянином).

Моя *консорция* – Служащие, ближе к Интеллигентам
(я, по меньшей мере, полагаю, что ближе).

Моя сегодняшняя *конвикция* – Эмигрировавшие в Израиль.
Социальный статус – нижний уровень Среднего класса.
Моя *референтная группа* – с полдюжины Адресатов
плюс тысячи Воображаемых русскоязычных читателей.

Я, знаете ли, носитель *Российского мемплекса*
(см. Р. Докинза)
в *советском* изводе (факт биографии),
с добавкой Западничества и Сионизма.
Без вероисповедания.
Агностик, оспаривающий само состояние веры
(за исключением веры в возможность познания). Трудоголик
и, говоря широко, *Сочинитель* (стихов и концептов).

Интересы: поэзия, психология, лечение помешательства,
социология, чуточку музыка.
Куда более *Созерцатель*, чем деятель. Не блестящих
способностей. Изредка
высказывал всё-таки нечто заслуживающее внимания.
В мыслях *Нонконформист*, но при этом вполне *Обыватель*,
то есть ставлю законопослушность выше, чем своеволие,
и уступаю арену желающим покрасоваться.

Эти вот метки культуры, нанесённые на мой характер
(или, как было указано, на мою бесхарактерность),
определяют меня как *Личность*. Она,
надо сказать, мне самому всё менее интересна.
Вам, читатель, тем более (и того менее).
Я промелькнул – и довольно. Словом, пора, прощайте.

...Вроде всё расписал, а в зеркале пусто. Муть.
Может быть, жест спасёт... Почесать лодыжку?..
Суть остаётся не схваченной (если была она, суть).
А внизу полустёртая надпись кириллицей: имя, фамилия.

ИСПОВЕДЬ

Я небольшого роста, с лицом наигралась оспа,
левую руку в локте не разогнуть до конца.
С детства ходил в заношенном, не наедался досыта,
трусил пощёчин отца.
Видел щеголеватых, закормленных, забалованных,
с фортепьянами, гувернёрами, собственными экипажами.
Был я для них сапожничий сын,
воняющий потом сапог и ваксой. Ноль
был я для них. Но голова-то варила:
не только где что добыть, но и как понимать
тонкие речи, умные книги, скрытые мысли. Они и не знали,
что в голове у сморчка пылает светлая лампа;
это, конечно, виднелось в его глазах, но казалось всего лишь
тёплым, сердечным взглядом, принятым у грузин.
Десятилетья прошли, пока вас стало сносить,
как ураганом, высокомерьем и беспощадностью этого взгляда.

Будь у меня достойный сын, и спроси он,
как я достиг вершины, я пожал бы плечами. И в самом деле.
В драках меня победить многим было нетрудно.
Эти красавчики и атлеты – я понимал,
кто из них против кого в поисках верховенства,
и оставалось пустить слушок или кинуть фразу,
чтобы один попёр на другого. В том, чья возьмёт,
я обычно не ошибался; это талант, сынок, – предвидеть,
кто будет круче, кто привлечёт доверие стаи.
Надо уметь оказаться с тем, чья взяла.
Вот ты уже и в отряде! Но и внутри отряда –
ай проклюнуться властолюбцам, пусть посоперничают, подерутся,
кто-то кого-то спихнёт, а ты –
снова с вычисленным фаворитом, в свите.
Дальше – создай себе тихую, верную группу поддержки,
всем обещай повышенье и уходи в ожиданье.
Чуть фаворит споткнулся (а ты это скрытно готовил) –
щёлк, и ты в его кресле! А вот теперь…

Одного за другим вышвыривай из берлоги
всех, кто метит в хозяева! Одного за другим
отстреливай набегающих издали – разобраться,
что произошло с их патронами и как ухватиться за власть.
Отстреливай, люди поверят,
что эти начальнички были шпионами,
что супер-шпионами были и их
высокопоставленные патроны.
Люди, в это не верящие, сами, поди, шпионы
в глазах соседей. Либо к этому склонны.
Люди, сынок, легковерны. Особенно в страхе.

Действуя смертным страхом и лестницей привилегий,
сложишь вокруг себя хоры поющих славу,
толпы дерущих шкуру с нижестоящих,
сонмы доносчиков и когорты
палачей, готовых по первому слову... Люди,
прямо скажем, некачественный товар.

Некоторое время я удивлялся, сынок, что навыки действий,
приобретённые в школьном дворе, в тайном кружке,
в камере заключенья, –
так же работают в международных сферах,
если добраться до высшей власти. Смена масштаба
не изменяет приемов. Раньше ты дело имел
с Колей, Ашотом, Резо, Эдуардом; теперь
будут их звать маршалами и послами,
будут адольфы, уинстоны, франклины... Суть –
та же. Не дать обнаглеть. Заставить подвинуться.
Выждать момент – и прижать. Выбрать момент – и в глаз.
Так называемые народные массы
в большой политике – всего лишь глина.
Гипс для лепки, форма для заливки. Вот что надо понять!
«Хороший» ли я человек, спрашивать глупо, сынок.
Здесь не бывает плохих и хороших. Есть
выигравшие и просравшие. Живые и сдохшие.
Выживший, кстати, куда как хорош в сравнении с трупом.

А я полмира дрожать заставил. Сплотившиеся вокруг меня
дрожали от счастья, что прочие млеют от страха.
Я дал своим людям смысл и задание жизни.
Я им дал оправдание смерти, чёрт подери!
Кто это делал прежде? Моисей? Иисус? Карл Маркс?
Часть жизни шла у людей, как у мышей, тараканов, – обычное дело.
Но другая часть протекала в легенде! В битве
за меня, а значит – за правду, за справедливость,
за счастье сплотившихся братских народов.
Так что хватит считать десятки миллионов трупов:
гибнут и в эпидемиях, и в наводнениях, мрут и от голода.
Подсчитайте сотни миллионов вспышек
гордости и восторга – хоть на парадах, хоть на краю могилы.
Бункеров я себе понастроил – Хеопсу не снилось.
Поколения мною выпестованы и мною же сметены,
как метлой. Вижу сквозь неизбежную пыль возрождённое
величественное зданье Российской империи.
Такого ещё не бывало. И на фронтоне –
на веки вечные мой профиль, не сбить, не содрать.
Это я, и что вам за дело, что я небольшого роста,
с лицом, на котором осталась оспа,
с левой рукой, не разгибающейся до конца,
с детским страхом пощёчины от отца.

Аркадий Красильщиков

СЕАНС СТРИПТИЗА

Он ко мне часто приходит: раз в год, не реже. Я его не зову, я о нем не думаю и не хочу думать, а он приходит и приходит. Вот уже два десятка лет тихо переступает через порог квартиры, не зная, что квартира эта уже давно мне не принадлежит. Он рад мне – добрыми глазами и еще более доброй застенчивой улыбкой. Большой такой человек с маленькой женой на сносях. Я думаю с раздражением, что доброта слишком часто соседствует с бедностью... Я безуспешно гоню молодого человека, у меня нет никакого желания вновь и вновь огорчать его отказом, но приходится.

Он хочет поселиться в моей питерской квартире. В нелепой, тесной квартирке, но в центре Петербурга. Квартира эта была когда-то всего лишь комнатой в коммуналке, затем, спасибо советской власти, превратилась в отдельные квадратные метры с длинным коридором, двумя маленькими комнатами и кухней со столиком на двух едоков.

Мама умерла в марте 1981-го, в темном, застойном году. Отец мой покинул семейное гнездо. Я давно уже живу в Москве. Питерская квартира становится источником дохода. Начало девяностых прошлого века и разорение страны идет полным ходом. С кинематографом зарез. Дошел до унизительного промысла: стал «бомбить» на дорогах столицы. Пустая квартира, как нам тогда казалось, должна стать палочкой-выручалочкой...

Стоп! Хватит! Он ушел. Когда вновь появится, тогда и продолжу.

Человек так устроен: всегда найдет оправдание самому мерзкому поступку. Да что там человек! Целые страны стремятся черные страницы своей истории отбелить начисто. Ложь о себе самом, о своем времени, о своем народе – дело обычное. Правда утомительна, тяжела и ведет к расстройству и физического, и психического здоровья... Совесть проклятая – неподкупный гонец этой правды. Гонец непрошеный и незваный... Слышу, как он стучит в дверь, а следом тот молодой человек на пороге, с женой на сносях. Совесть ухмыляется, злорадно потирая руки, а молодой человек переступает через порог с доброй и застенчивой улыбкой.

Он радушен. Она сердита. Ей, беременной, стыдно ходить по людям в поисках крыши над головой. Это так нормально. Мне нравится жена молодого человека, и он мне кажется простым, понятным и родным гостем. Сразу понимаю, что именно этой паре я просто обязан, должен сдать свою квартиру, все еще полную запахов моего детства.

Но это все лирика. Я должен спросить, сколько он может платить за аренду. Мне стыдно назвать цену, которую я намерен получить с этого молодого человека и его жены. По душе и сердцу я не имею права брать с бездомного бедняка деньги. Моя «пещера» пуста, и такие, как он, имеют полное право разжечь в ней огонь. Но это, увы, снова лирика, годная для невозможного светлого буду-

щего, а не для лихих времен, куда переместилась в те годы Россия, и я, увы, вместе с ней.

Время – вот еще один старательный лекарь больной совести. Скольких палачей, грабителей, насильников оно вылечило. Такие были времена – вечная песня для хороших и плохих учеников дьявола. Я не хотел, я был вынужден, мне приказали. Ты всегда осуждал это. Ты бичевал трусливых и слабых, не способных переступить через высокий порог... Может быть, потому и споткнулся, что последствия твоего малодушия не показались тебе чрезмерными. Ну, не снимет эта пара квартиру в центре города, повезет снять на окраине: не в Петербурге, а в тоскливом, чужом Ленинграде...

Но деньги, деньги! О чем бы ни подумал, заговорил человек – все заканчивается гнусным лейтмотивом – числом прописью.

Он мнется. Он косится на свою хмурую половину. Я понимаю – ему тоже стыдно. Он стыдится своей бедности, как я своей жадности. Мы с ним в тупике.

Стоп! Но я никогда не был жаден. Может быть, расчетлив, по необходимости, когда житейские обстоятельства заставляли, и так далее. Но кто знает, может быть, эта расчетливость еще хуже жадности. Жадность проста и однозначна. От жадины и ожидать нечего. Помню рассказ моего брата-геолога. Появился в таёжной палатке его партии новенький и сразу, с полога, заявил, что он жаден от природы и убедительно просит ничего у него не просить. Он не пьет, не курит и лишнего при себе не держит. Жадность честна и очевидна. Расчетливость коварна, как всякая бухгалтерская выкладка. В каждом из нас сидит эта сволочь – бухгалтер с допотопным арифмометром, а то и с деревянными счетами. Он сидит в тяжелых очках, за шатучим столом, шлепает нижней губой, жмет на кнопки или перебрасывает костяшки и считает, считает, считает... Не человек, а сплошные черные нарукавники из сатина.

Оправдываю себя тем, что исполняю чужую волю. Это не я, это моя половина заведомо ненавидит гостя с женой на сносях. Она сразу называет неподъемную для него цену. Это ее алчность гонит беднягу вон... А я? Что я? Моя совесть чиста. Я всего лишь исполнитель чужой, недоброй воли...

Ну, здравствуй! Ты опять? Ладно, в ход идет последний резерв: да что же это он все время улыбается? Похоже, не сердце мое завоевать хочет, а опустошить кошелёк. Наверняка такой же, как все: хитер и корыстен... В конце концов, у меня свои дети, почему я должен их обкрадывать ради чужого, еще не родившегося ребенка...

Была когда-то идея: найти в Питере этого молодого человека. Узнать, что все у него в порядке, детей уже трое и есть свой просторный дом за городом, где-нибудь в Комарово или Репино.

Я бы все-таки покаялся, сказал бы, что совершил ошибку, о которой жалею, и попросил в ответ о пустяке: больше не приходить ко мне, никогда не приходить. Я был почти готов к этому разговору, а потом подумал: вдруг он утратил свою добрую и застенчивую улыбку.

А что, если жизнь его сложилась совсем не так, как мне хочется? И он отправит меня куда подольше и скажет, что будет приходить ко мне еще чаще.

Да что же это я расчувствовался. Упрямо и тупо, чуть ли не с рождения, принимаешь желаемое за действительное. Как последний дурак, носишься с ретушью, замазывая то, что замазывать не только глупо, но и опасно.

Строгая жена молодого человека сухо и даже небрежно произносит сумму, которую они могут платить за квартиру, пропитанную запахами моего детства. Деньги ничтожные по тем временам, совсем жалкие деньги.

Я молчу. Знаю, что готов на преступление, что не сдам этой паре квартиру, но чего-то жду. Наверно, чуда, какого-то внезапного поворота событий. И все наладится, все закончится лучшим образом.

Первым начинает говорить молодой человек. Он жалуется на невозможность платить больше, напоминает, что скоро станет отцом... Еще про начальника конторы, где он работает, говорит зачем-то...

– Хватит! – прерывает молодого человека жена. – Перестань! Кому это интересно... Я же тебе говорила... Зря это все... Идем!

Я не знаю, как загладить свою вину, как облегчить совесть. Я предлагаю гостям кофе, чай, воду, но всё – отныне командует жена молодого человека: строгая маленькая женщина на сносях. Ей отвратителен хозяин этой нелепой квартиры и жаль времени и сил, потраченных на дорогу.

Они уходят, чтобы с того дня приходить ко мне постоянно: каждый год, а то и еще чаще.

Что дальше? Дальше, как мне хочется думать, я был наказан за грех послушания и глупой жадности. Первыми в квартире моей поместились две девицы, сестры, – тихие проститутки. На родине, кажется, в Ярославле, у них остались мужья и дети, а сестрички решили подработать в северной столице, чтобы пополнить семейный бюджет. Такие наступили времена.

Через год сестры успешно этот бюджет пополнили, и настолько, что смогли снять не мою жалкую квартирку, а трехкомнатные апартаменты с камином и высокими окнами на Невский проспект.

Шел 1994-й. Я уже знал твердо, что скоро покину Россию. Держали суетные дела и долги. Пришлось снова сдать задорого чужим людям запахи детства. На этот раз сдавать приходилось в спешке. Я должен был срочно возвращаться в Москву по какому-то пустому делу. Тип с лиловой рожей, в потертом красном пиджаке, отдал мне деньги, а я ему вручил ключи от родительского гнезда.

Через шесть месяцев соседи расскажут, что квартиру свою я сдал бандитам и устроили они в ней настоящий бордель, малину и приют наркоманов. В этом я и сам убедился, как только переступил порог своей недвижимости, в которой больше не осталось запахов детства.

Я продал квартиру, как теперь сдается, за гроши, но тогда эти деньги помогли нам уехать и как-то обжиться на новом месте. Но мне все кажется, что сдай я свои метры той симпатичной паре: бедным, честным людям – и сегодня я бы смог вернуться, хотя бы в на время, в Питер и открыть старую дверь своим ключом.

И главное, навсегда бы отделался от визитов той пары: молодого человека с доброй застенчивой улыбкой и его жены на сносях.

Ури Цви Гринберг

РАССКАЖУ ЛИШЬ РЕБЁНКУ

Вечер и сумрак в доме моём в униженном снова Сионе.
Мальчик взобрался ко мне на колени, и я говорю:
– Милый, тебе расскажу я о добром Мессии,
который до нас не дошёл.
Тем, кто старше тебя, я историю эту не смогу рассказать.
У больших – не такие глаза,
если даже и светятся – то по-другому.
Большие
слушать, как ты, не умеют – наверное, их оглушило в Сионе.
Их души подобны лампадам из плохо очищенной глины,
и копоть уже не отмыть.
И страдания их никогда не восстанут в сияньи,
как в обеих слезинках твоих.
Я утешить больших не смогу, прикасаясь губами ко лбу,
как сейчас утешаю тебя,
продолжая рассказ об ужасной беде, что случилась с Мессией.

Мессия до нас не дошёл...
Подобно орлу, он летел над кровавою бездной.
Я слышал и ночью и днём колыхание крыл.
Он добрался до Яффо, и там, на морском берегу,
приземлился, пророк и воитель,
но ничем от последнего нищего не отличим.
И продолжил свой путь, за плечами пустая сума.
А потом я встречал его здесь и всегда узнавал –
когда шёл он за плугом под обжигающим солнцем
и когда он в обличии каменотёса рубил известняк.
Он почти что дошёл, он был рядом, и я уже слышал,
как стучит его сердце, как пульсирует кровь Мессии...
И я слышал, как проносится он по горам и высотам,
подобно оленю, со скалы на скалу.
Но подняться к вершине Горы, самой главной горы, он не смог,
изо всех наших гор – на одну не сумел он ступить.
Он сумел лишь добраться до подножия этой горы,
до краешка царства Давида,
ну а там опознали его торгаши:
в руке его огненный ключ к воротам святого Храма,
и сияющий нимб пламенеет над ним –
по закону Мессии.

Благодарю за помощь в работе и важные замечания рава Зеэва Султановича, С. Гринберга, Я. Лаха, Б. Смехову, Д. Сухарева, В. Чернина, А. Широнину. *И. Б.*

Окружили его торгаши, и смеялись, и ржали,
и грязную гнусь изрыгали – на святом языке!..
Что сказали ему?.. Я услышал всё то, что сказали:

Ты ошибся, бродяга. Во все времена приходили
к нам такие любители вешать лапшу о небесном Иерусалиме,
о пришествии царства Давида.
И во все времена мы вправляем мозги
сумасшедшим и псевдопророкам.
Слышишь, этому городу нужен покой,
чтобы деньги и злато копить,
торговать, и красивые строить дома, и еду и вино покупать.
И не надо уже никаких бар-гиор, да и новых давидов – на кой?
Обойдёмся без храма на этой горе,
лжепровидец и нищий герой!
Ну и что, что британский вздымается флаг?
Королевская рать, если что, защитит.
Ну и что, что арабы владеют Горой?
Из долины – приятнее вид.
Просекаешь, бродяга?

И закончили речи, и захохотали: «Ха-ха! Ха-ха-ха!»
И согнулся Мессия, как будто пронзённый ножом,
и я тоже согнулся, как будто пронзённый ножом.
Если в сердце Мессии вонзили бы нож, он бы их разметал
и к вершине прорвался бы даже с ножом этим в сердце.
Но они победили, зарезав Мессию презрительным смехом,
торгаши...

И я слышал, как он вопрошал окровавленным ртом:
«Где же, где поколения этих людей, ожидавших, когда я приду,
призывая меня воротиться из Рима, из-под арки позора,
призывая вернуться на царство?..»
И я слышал, как он прошептал: «Нет со мной поколений...
О горе мне, горе... И горе моей стране!..»
И Мессия свернул и продолжил дорогу свою,
а куда – я не знаю, не знаю...
Может, воет шакалом в ночи на луну Ханаана,
может быть, удалился в отчаяньи к Мёртвому морю
и в пустыне сидит совершенно один
на развалинах древней Массады –
самой дальней и самой несчастной из всех крепостей.
Износилась одежда, и нечем прикрыть наготу,
и жара обжигает – а он не уходит, сидит,
и полчища мух гложут язвы его – а он не уходит, сидит,
и холодная ночь раздувает ветра,
и Мёртвое море
лижет раны отшельника мёртвой солёной водой,
а он – странный такой человек – никуда не уходит, сидит.

Ну а может быть, всё совершенно не так,
может быть, он вселился в меня, как диббук,
и пылает во гневе, как раненый лев,
и рычит, словно огненный лев.
Только я никому не открою секрет,
кто толкается в рёбра мои изнутри.
Я кормлю его плотью своею живой
и пою его кровью своею живой,
для него моя скрипка возносит псалмы,
и молитвы отцов – для него.
А когда над оливами всходит луна
и являет пророческий лик,
я и музыку Храма из самых глубин
возношу до небес – для него:

Прекрасен твой Ерушалаим во веки веков,
и та же луна, под которой Всевышнего славил Давид,
тебе посылает свой самый серебряный свет.
И каждый, и каждый – во всех поколениях –
ждёт, облачившись в талит,
того, кто придёт и народ наш опять соберёт.

Я дрожу, и холод сжимает виски, и жар застилает глаза...
И рыданья его сквозь рёбра мои рвутся наружу.

Ну а может, не так, может быть, это он
взмыл орлом из долины Кидрон
и над Храмовой нашей горою рыдал,
я же видел – кружил и рыдал.
И себе я сказал: это плачет орёл.
И себя я спросил: если плачет орёл,
совершая свой круг, может быть, это знак,
может быть, это был расставания круг?
Может быть, расстаются сегодня с Горой
вековые мечты о Стране?
И окончился круг, и орёл полетел к Средиземному морю.
Он летел и не двигал крылами.
Он парил... И такой обуял меня мрак...

Может быть, он опять в этот город летит,
к этой арке проклятой, которую Тит...
и, не видим никем, опрокинется вновь
в ту же бездну, туда, где еврейская кровь
и еврейский позор...
по закону Мессии.

И опять на две тысячи лет... Кто уверен, что это не так?..

5690 (1930), месяц элуль, униженный Иерусалим

Перевёл с иврита ***Игорь Бяльский***

Алекс Тарн

РЕЙНА, КОРОЛЕВА СУДЬБЫ

I

День имел все основания быть замечательным. Родители Сигаль уехали в Италию, так что дом в Кохав-Авруме остался в ее полном распоряжении – ее и Нира. Не то чтобы Нир особенно стеснялся предков своей подруги: он давно уже пребывал в статусе законного бойфренда и без проблем оставался ночевать в ее комнате. Но будем откровенны: любого нормального человека не может не угнетать необходимость натягивать брюки и рубашку всякий раз, когда хочется спуститься в кухню.

То ли дело сейчас... Нир распахнул дверцу холодильника и вгляделся в его сияющее нутро. Так... коробки, банки, пакеты... – а колы-то и не видно...

– В нижнем ящике, там, где овощи! – крикнула сверху Сигаль, словно почувствовав его затруднение.

– Нашел!

Нир вытащил бутыль и стал озираться в поисках чистых стаканов. На кухонном столе дремали остатки вчерашнего ужина: недоеденная курица, увядший салат и немытая посуда.

– Чистых нет! – снова прокричала Сигаль. – Помой парочку!

«Что у них тут, видеокамеры? – подумал Нир. – Или она просто не выпускает меня из поля внутреннего зрения? Говорят, есть такое...»

Он выбрал два стакана и пошлепал босыми ногами к раковине. Вот было бы забавно, если бы здесь действительно оказалось видео. Стоишь себе с голой задницей на кухне семейства Кимхи и моешь посуду. Настоящий сюр. Ребята в телемаркетинге подохли бы со смеху. Они вообще шутники, а тут такой подарок. Нир оглянулся на стол. Гниловатая картина, что и говорить. Отчего это наутро праздничные столы выглядят так неприятно, чтоб не сказать гадко?

Вчера-то все обстояло в высшей степени тип-топ. Они праздновали десятилетнюю годовщину своего первого постельного опыта или, как именовала это событие Сигаль, «особо близкого знакомства». Настоящий юбилей. Нир приехал с цветами и шампанским, Сигаль приготовила еду. Чтобы было совсем как в кино, разожгли камин, хотя снаружи полыхала убийственная жара, такая, что не продохнуть. Впрочем, в доме при включенном на всю катушку кондиционере дышалось более-менее нормально. Сели за стол, затем перешли на ковер перед камином и пару раз «особо близко познакомились» в ознаменование годовщины.

И вот тут-то, когда они расслабленно – опять же, как в кино, – возлежали на ковре, вглядываясь в огонь, недоуменно приплясывающий на масличных поленьях, вот тут-то дела и пошли наперекосяк. И ведь, главное, ничто не предвещало ненастья... Все-таки женская психология, как чужое минное поле: даже хорошо зная карту, можешь

в любой момент наступить на какую-нибудь противотанковую заразу. И хотя Нир три года оттрубил в саперной бригаде, в отношениях с Сигаль не помогала никакая спецподготовка. Что он тогда сказал?

– У нас хорошо получается... – вот что.

– О чем ты? – лениво пробормотала она.

– Да вот...

Возможности жестикуляции были ограничены, поскольку одной рукой Нир обнимал подругу, а в другой держал бокал красного. Очень медленно, чтобы не расплескать вино, он повел рукой вокруг, включив в картину и стол, и камин, и кондиционер, и внушительную гостиную кимхинского дома.

– Вот всё это. Хорошо ведь, правда? И чего бы нам не съехаться?

– Съехаться? – Сигаль зевнула. – На какие шиши? Ты знаешь, сколько сейчас платят за съем?

– Смотря где, – возразил Нир. – В Ариэле можно снять вполне приличную трехкомнатную.

– В Ариэле! – презрительно фыркнула подруга. – Скажи еще – у тебя в Эйяле!

Нир жил с родителями и бабушкой в самарийском поселении Эйяль, за зеленой чертой, примерно в получасе езды от богатых коттеджей Кохав-Аврума, где гнездилась в основном чиновническая элита, а также высшее офицерство ЦАХАЛа, полиции и других серьезных организаций для серьезных мужчин. Полчаса езды, но реально два этих места разделяла пропасть в миллионы световых лет.

– Чем тебя не устраивает мой Эйяль? – спросил он, уже чувствуя на щеке пока еще легкое дуновение приближающейся ссоры. – Генералов у нас нет? Как же ты тогда со мной спишь, с простым старшим сержантом?

Разговор неудержимо скатывался по зыбкой осыпи слов вниз, в размолвку. Вообще-то они избегали касаться политики – уж больно по-разному смотрелись одни и те же вещи из окон их родительских домов. Если бы не «тихон» – единственная на весь район школа, традиционно собирающая в свои стены старшеклассников со всей округи, они бы вряд ли когда-либо познакомились, не говоря уже об «особой близости».

– Как-как... – ответила Сигаль с преувеличенно шутливой интонацией. – На спине! И не только... Милый, давай, не будем ссориться, – она приподнялась и прижалась щекой к его груди, заглядывая в глаза. – Не сейчас, ладно? Кто знает, выпадет ли нам еще одна такая ночь до моего отъезда...

– До твоего отъезда... – повторил Нир, отчасти – но лишь отчасти – радуясь перемене темы. – Одного не пойму: зачем тебе куда-то ехать, Сигалюш? Добро бы еще в Европу. Европа прямо на тебя скроена. Особенно Германия – там, что ни городок, то Кохав-Аврум: чистенько, ладненько, богатенько. Но Индия... – на кой ляд тебе сдалась эта Индия? Ты ведь грязи не любишь.

– Грязи не люблю, – нараспев подтвердила она, медленно накатываясь на него сверху, как гладкая тугая волна. – Я другое люблю. И ты, как я только что ощутила, тоже. Ведь любишь, а? Любишь... любишь...

Вздохнув, Нир закрыл глаза, и дальше они с Сигаль обменивались разве что междометиями. Но наутро выяснилось, что прервавшийся разговор никуда не делся – он ждал их возвращения, как немытая

посуда и неубранный стол. Нир осознал это, когда разливал колу по стаканам: действительно, на кой лад ей сдалась эта грязная Индия? Да и Сигаль ничего не забыла: это было видно по напряженному выражению ее красивого лица, когда Нир поднялся наконец в спальню.

– В бармены тебя точно не возьмут. Сколько надо времени, чтобы принести колу?

Нир не ответил. Он принес не только колу: вчерашняя размолвка вошла в комнату вместе с ним и теперь неотступно стояла рядом с постелью, ожидая, когда на нее обратят внимание. Сигаль шумно отхлебнула, отставила стакан и резко повернулась к нему.

– Ну что? Что?!

Теперь она сердилась не на шутку. Это выглядело признанием того, что юбилей закончился, киносценарий с камином и ковром отработан до последнего кадра, и, значит, можно дать волю накопившемуся раздражению.

– Ничего, – ровным голосом ответил Нир. – Ничего. Мне трудно взять в толк, зачем тратить еще и этот год впустую. Почему мы не можем снять квартиру и съехаться?

Он помедлил, прикидывая, стоит ли упоминать в качестве дальнейших шагов свадьбу и детей, но решил, что на данном этапе это будет чересчур. Не все сразу.

– Слушай, Сигалюш, мы ведь с тобой вместе со школы! Десять лет! Достаточно, чтобы...

– ...надоесть! – перебила Сигаль, решительно отбрасывая предложенный Ниром ностальгический тон. – Достаточно, чтобы друг другу надоесть! Ты это хотел сказать?

– ...чтобы попробовать жить парой, как нормальные взрослые люди. Мне надоело ночевать в твоей девичьей светелке. Я уже не школьник и не солдат в отпуске.

– Да что ты говоришь? – насмешливо прищурилась она. – А кто же ты такой? Джастин Бибер? Леонардо ди Каприо?

Нир сдержался, в первую очередь потому, что знал: ее больше всего бесит именно спокойная интонация.

– Я студент последнего курса по специальности «Электроника», – все так же ровно произнес он. – А вот кто ты, не известно никому, и тебе в первую очередь.

Это был серьезный удар: Сигаль и в самом деле вот уже несколько лет не знала, куда себя приткнуть. В армии родители устроили ей хороший джоб – в отдел, занимающийся допризывниками. Предполагалось, что первый год девушке придется поскучать, бегая с анкетами и параллельно обучаясь на курсах начинающих психологов, однако в дальнейшем светила интересная работа профессионального интервьюера, а после дембеля – плавный переход на соответствующую университетскую специализацию.

Однако Сигаль еще в школе вбила себе в голову, что хочет быть кинорежиссером. Поэтому она не дотянула до второго армейского года, с помощью родительских связей выкосила освобождение по здоровью и рванула на один из тех факультетов, где учат в основном болтать, используя удручающе стандартный набор модных слов и имен. Сначала она с придыханием говорила о деконструкции, «Догме-95» и стихийных гениях индокитайского кино, затем как-то поскучнела. Выпускной документальный фильм, снятый с обильным при-

влечением отцовских денег, должен был потрясти мир, но вышел такой бессвязной туфтой, что не помогло даже приобретенное в университете умение расхваливать платье голого короля.

Какое-то время она еще отиралась среди таких же неприкаянных бездельников, у столиков прокуренных кафе, где сигаретный дым мешался со злобой на весь мир и завистью к чужому успеху, а потом вдруг ударилась в духовность иного рода. Деконструкцию и «Догму» сменили разговоры о космической энергии и каналах телепатической связи; Сигаль заделалась убежденной вегетарианкой и осуждающе смотрела на мать всякий раз, когда та зажигала газовую конфорку, тем самым преступно способствуя глобальному потеплению.

Впрочем, и этот период длился не слишком долго: как-то само собой выяснилось, что хороший стейк и жареная курица содержат существенно больше космической энергии, чем салатные листья. Теперь Сигаль увлеклась фотографией; совершив очередной пиратский набег на банковский счет родителей, она накупила несколько кубометров камер, принтеров, линз, экранов, штативов, зонтов и прочего крайне необходимого оборудования. Полтора года дорогостоящих курсов завершились альбомом с черно-белыми снимками интерьера полуразрушенного сарая. Поставив альбом на полку, Сигаль в очередной раз задумалась о будущем и с отчетливой ясностью осознала, что сможет найти себя только в Индии.

В этом была определенная логика, ведь именно Индия совмещала в себе и вегетарианство с космической энергией, и живописные фотосюжеты, и близость к титанам таиландского кино. Кроме того, по ее бескрайним просторам скитались многие из тех, кто в свое время прошел через отдел допризывников. Получалось, что в этой экзотической стране, как в едином узле, увязывались нити всех предшествовавших занятий и увлечений мятущейся натуры Сигаль Кимхи. Уже одно это прямо указывало на адекватность ее интуитивного выбора. Она неоднократно пыталась втолковать Ниру эту очевидную истину, однако упрямец просто отказывался понимать! А теперь еще и опустился до обидных попреков!

– Представь себе! – выпалила Сигаль. – Среди нормальных людей нормально искать свое нормальное предназначение. Что тут непонятного?

– Ну да, искать предназначение! – хмыкнул Нир. – Вот только нормальное ли? И нормально ли продолжать эти поиски бесконечно? Точнее, до тех пор, пока родителям не надоест оплачивать эти твои увлечения.

– При чем тут мои родители? Мои родители тебя не касаются, понял?! И при чем тут деньги, когда речь идет о... о... – она прищелкнула пальцами, подыскивая нужное слово, – о смысле жизни?

Нир язвительно улыбнулся:

– Деньги тут очень даже при чем, моя дорогая. Когда они кончаются, предназначение находится само собой. И вовсе необязательно в Индии.

– Хватит! – Сигаль сердито хлопнула ладонью по простыне. – Я не хочу это обсуждать! И мне плевать, что ты об этом думаешь. Я тебе не какая-нибудь религиозная клуша из Эйяля, у которой к моему возрасту уже четверо детей и пятый в животе. Я живу полной жизнью и имею на это право!.. Куда ты?

– Вниз, – сказал Нир. – Ты же не хочешь обсуждать. Не хочешь, не будем. И вообще, пора одеваться. У меня сегодня семинар перед экзаменом и работа, вечерняя смена.

В дверном проеме он обернулся. Сигаль смотрела в окно, на лице ее застыло выражение упрямой обиды.

– Вот что, Сигалюш. Уедешь – уезжай. Живи своей полной жизнью хоть в Индии, хоть на Марсе. Но учти: я тебя ждать не буду... – он вздохнул, отметив странное покалывание в затылке, будто произнесенные слова тут же превращались из звуков в жидкость, пузырящуюся, как кола в стакане. – Надоело, как ты сама очень правильно заметила. Будь здорова.

Нир немного помедлил. Вот сейчас вскочит, подбежит, обнимет, прижмется теплым родным телом, зашепчет на ухо щекочущие, шелестящие слова: «Зачем, почему, куда ты, останься, сейчас же...» Но девушка, упорно уставившись в окно, не трогалась с места.

«Десять лет, – думал Нир, спускаясь по лестнице в гостиную. – Настоящий юбилей...»

Он одевался, не торопясь, каждую секунду ожидая услышать ее босые ступни, шлепающие по плиткам пола, ощутить ее руки на своей шее, ее волосы на своей щеке. Мыслей не было никаких, если не считать за мысль все то же непонятное покалывание затылка и эхо сказанных, отзвучавших слов. Зато в груди щемило: наверно, в такие моменты сердце намного раньше головы ощущает непоправимость происходящего. На джинсах красовалось большущее винное пятно. Черт возьми, теперь не отстираешь. Есть такие пятна и такие ссоры, которые ничем не вывести. Что тогда делают? Выбрасывают, вот что...

Уже одевшись, Нир долго ощупывал карманы, проверяя, все ли на месте, не вывалилось ли что во время бури вчерашних кинострастей, когда штаны летели в одну сторону, а рубашка в другую. Бумажник, ключи, мобильник, кошелек для мелочи, какие-то записочки, бумажки, квитки и квитанции...– сколько всего, и всё на месте. Всё, кроме Сигаль. Десять лет...

Повернув ключ в замке входной двери, он крикнул: «Я ухожу! Закроешь за мной?» и снова ждал куда дольше, чем следовало бы. Сейчас крикнет: «Погоди!»... вот сейчас... сейчас...

Сигаль молчала. Нир пересек двор и вышел на улицу, к своей потрепанной мазде. Спальня выходила на другую сторону, но даже если бы и на эту – вряд ли Сигаль сейчас стояла бы в окне. Хватит, парень, забудь: отрезал так отрезал. Машина послушно тронулась с места, отчасти вернув ему уютное чувство контроля над событиями. Руль влево – жизнь влево, руль вправо – жизнь вправо, газ – ускорился, тормоз – притормозил. Славная иллюзия! «Десять лет! – стучало в голове. – Десять лет!»

Отрезал! Легко сказать – отрезал! Это ведь не палец: отрезал, забинтовал, зажило, и ходишь себе дальше, хотя бы и без пальца. Есть некоторое неудобство, но, в общем, ничего страшного. А тут другое. Тут отрезаешь от сердца, и треклятый отрезанный кусок остается внутри. А то, что внутри, не выбросишь. И вот он, этот чертов кусок, сначала долго-долго умирает, жалуясь и ноя, а, умерев, принимается гнить, гнить и отравлять тебя своим чертовым гниением, как чертова гангрена. Тьфу!

«Погоди-ка, – сказал он себе, уже вывернув на главное шоссе, – что ты придуриваешься? Ты ведь сам к этому вел, еще со вчерашнего вечера. Кто затеял ссору, если не ты? Она-то пыталась загладить, еще там, у своего идиотского камина. Топить камин в июне – это ж надо придумать!

Да оставь ты этот камин! Привязался к камину, честное слово... Разве дело в камине? Дело в том, что она пыталась загладить, а ты всё расковыривал, и расковыривал, и расковыривал... И не просто расковыривал, а именно в такой день. Ты ведь знаешь, как она относится к этим годовщинам: так, наверно, положено по все этим киносценариям, которые она изучала на своем факультете. В кино, будь оно проклято, подобной чуши всегда придают особенный смысл. Символы и так далее. И вот именно к такому дню ты приурочил ссору. Выходит, давно планировал, так ведь? Ну, признавайся, так?»

Снаружи полыхал зной. Навстречу Ниру медленно ползла слитная лента раздраженного утреннего трафика. Желтые израильские номера перемежались бело-зелеными арабскими, но мало кто обращал внимание на это обстоятельство: в пробке «своих» не бывает – одинаково неприятны все, особенно те, кто впереди. Но Нир ехал в противоположном направлении, без особых помех. Еще вчера он не планировал заезжать домой, думал отправиться в университет прямиком из Кохав-Аврума. Но вот, получилось иначе... Да и переодеться надо – куда теперь с таким пятном... Нир покосился на мобильник, закрепленный на приборном щитке. Тот виновато молчал; с фотографии на заставке экрана улыбалась Сигаль. Надо бы заменить. А если она вдруг позвонит? Что делать, если она вдруг позвонит?

Он крутанул головой, возвращаясь к невеселым мыслям. Конечно, разрыв назревал давно. Пустячные ссоры далеко не всегда пустячны. Эти крошечные тревожные лампочки питаются разрушительной энергией, которая накапливается в аккумуляторе взаимного отчуждения. Странно еще, что они продержались так долго – целых десять лет! Когда Сигаль привела его показывать родителям, те почти сразу поинтересовались местом жительства Нира – естественный вопрос в обстоятельствах первого знакомства. Услышав ответ, старший Кимхи, бригадный генерал и начальник отдела в одном из важных органов внутренней безопасности, стер с лица приветливую улыбку и сказал, пожав плечами:

– Понятия не имею, что вы там ищете, среди этих мессианских фанатиков.

– Вы – это кто? – решился спросить Нир.

– Русские, – пояснил Кимхи. – Ты ведь из русской семьи? В смысле – российского происхождения. Наших религиозных ослов в вязаных кипах я еще могу понять: ждут своего мессию, всем нам на голову. Но зачем твои родители, абсолютно светские – чтоб не сказать советские – люди, поселились в этом сраном Эйяле, на оккупированной земле?

Он так и сказал: «сраном». Сейчас-то Нир непременно ответил бы что-нибудь хлесткое, например: «Чтобы не мыть полы в виллах Кохав-Аврума», но тогда ему шел всего восемнадцатый год, он был смущен, растерян, и ответа не нашлось.

– Я ведь не просто так говорю, – продолжал распалившийся не на шутку папаша, – я знаю. Мой отдел, парень, как раз занимается

подобными идиотами. Вон, видишь, на стене почетная грамота от главы правительства? За что, ты думаешь? За предотвращение мега-теракта на Храмовой горе! Хотели взорвать мечети! Ты представляешь, что было бы?! Уже все подготовили: планы, подходы... Уму непостижимо... Я эту папку до сих пор на полке храню, как сувенир, достаю время от времени, чтобы убедиться – не сон ли это был? Нет, не сон: реальные фанатики. Это в голове у них сказки, а сами-то они вполне реальные...

– Папа, ну при чем тут Нир? – взмолилась Сигаль. – Он даже в Пурим хлопушки не взрывает...

Она попыталась обратить всё в шутку, но мамаша Кимхи тоже поджала губы и не стала помогать. Еще бы: девочка из элитной израильской семьи и нищий «русский» парень, да к тому же еще и поселенец! В семье восприняли этот скандальный мезальянс как очередной кратковременный каприз дочери. Родители и представить себе не могли, что это продлится годы.

Да и никто не мог, кроме самих влюбленных. Они тогда вздрагивали даже не от прикосновения, а от одной только мысли о прикосновении: их мизинцы сближались, как два электрода, заряженных стотысячевольтным напряжением. Их не удивляла кажущаяся случайность встречи: при такой сверхъестественной силе взаимного притяжения они просто не могли не встретиться. А уж расставание и вовсе выглядело невозможным – разве что в смерти, да и то обязательно одновременной. На уроках они избегали смотреть друг на друга, чтобы не смущать одноклассников и учителей; они немножко стыдились своего счастья перед всеми остальными людьми – обделенными, лишенными этой томительной и острой связи, утягивающей в омут, забрасывающей на вселенскую сияющую крутизну, в самое сердце молнии.

Хотя первую встречу Нира с супругами Кимхи трудно было назвать удавшейся, Сигаль решила, что формальности соблюдены, и в один прекрасный школьный полдень позвонила матери – сообщить, что после уроков поедет к Ниру и останется там ночевать.

– Куда? – полузадушено переспросила мать.

– К Ниру. Я вас познакомила в прошлом месяце.

– Но там стреляют! – выкрикнула госпожа Кимхи. – Ты не поедешь по этому шоссе!

– Но мама...

– Подожди... подожди... – перебила ее мать. – Ох, Господи! Я сейчас задохнусь... Подожди.

– Ладно, – послушно сказала Сигаль.

Честно говоря, она могла ждать сколько угодно: Нир стоял рядом, вдыхая запах ее волос, и сердца обоих подрагивали в такт раздувающимся крыльям его носа. Отдышавшись, мать потребовала Нира к телефону. Голос ее звучал умоляюще.

– Нир, дорогой, – проговорила она, – ты ведь уже бывал у нас и знаешь, что у Сигаль прекрасная комната. И живем мы намного ближе к школе. Почему бы вам не переночевать у нас? Я тебя очень прошу. Если мы с Эхудом тебя смущаем...

– Нет, госпожа Кимхи, не смущаете... – растерянно ответил Нир.

Он хорошо помнил поджатые губы этой взрослой надменной женщины и теперь был дополнительно смущен той просительной,

почти униженной интонацией, с которой она обращалась к нему, подростку. Зато Сигаль торжествовала. Конечно, в то время ради совместной ночевки она бы отправилась хоть в бандитскую Газу, но родительский дом в Кохав-Авруме был все-таки не в пример удобней. В итоге, за десять лет она побывала в Эйяле лишь однажды – всякий раз находился какой-нибудь предлог не поехать. Почему? Боялась дороги – вот этого шоссе, летящего по прямой в направлении Шхема? Или, подобно многим своим друзьям по кинофакультету, бойкотировала «поселение оккупантов»?

Так или иначе, Ниру так и не удалось заманить девушку в свой дом, в свою жизнь, показать вот эти серо-зеленые холмы, плывущие в слоистом от жары воздухе за стеклами машины, эти серебристые оливковые деревья на склонах спящего вади, ястребов в небе, летучих мышей, вычерчивающих невозможные траектории под желтым фонарем луны. Для нее все это было и осталось чужой планетой, пугающей и нежеланной, мерцающей в миллионах световых лет и получасе езды от прочной почвы Кохав-Аврума. Так что аккумулятор отчуждения начал заполняться еще тогда, в самые счастливые годы, по капле, по горсточке, незаметно, а потому вроде бы несущественно. Пренебрежительное недоумение господина Кимхи, поджатые губы его жены, ее же умоляющая интонация в телефонной трубке, а позже – фальшивая приветливость, за которой сквозил плохо скрытый вопрос: «Ну когда же оно закончится, это безумие?» Горсть, еще горсть, и еще, и еще...

Однако главная проблема заключалась, конечно, не в родителях, а в самой Сигаль, которая, как ни крути, тоже была Кимхи, девочкой из Кохав-Аврума, поселка элитных вилл. Хотя поначалу казалось, что никакая сила не может разлучить их. Приезжая в отпуск из армии, Нир наскоро принимал душ, переодевался и под аккомпанемент причитаний бабушки: «Куда же ты? А поесть?!» – выскакивал из дома ловить попутку. Сигаль подхватывала его где-нибудь на перекрестке в районе Кфар-Сабы. Тогда отец уже купил ей машину – маленький фиат. Молча, остерегаясь встречаться взглядами, они заезжали в какое-либо уединенное место – в апельсиновую рощу, в лес, в поле, на нижний этаж подземной стоянки – и там набрасывались друг на друга, едва не теряя сознание от первого объятия.

Окружающий мир растворялся без остатка, оставались лишь они двое, плывущие в тягучем, чреватом взрывами космосе прикосновений, вздохов и неразборчивого шепота на понятном только им языке. Вселенная качалась перед их широко раскрытыми, крепко зажмуренными глазами; они не видели ничего, кроме ее плотного занавеса, сквозь который не доносилось ни единого звука, даже грома музыки, которую они иногда включали на полную мощь, чтобы заглушить свои крики.

Но спустя полчаса, или час, или год, или вечность они обнаруживали себя в тесной коробке фиата, где невозможно вытянуться в полный рост, прижаться всем телом, развалиться на спине, где постоянно натыкаешься на какую-нибудь неуместную стенку, ручку, и, особенно, тормозной рычаг, будь он проклят. А еще неуместней был неприятный промежуток между волнами сумасшествия – схлынувшей и новой: его требовалось чем-то заполнять, и единственным строительным материалом оказывались слова.

– Ну как ты?

– Нормально. А ты?

– Нормально.

В принципе, этого хватало, однако время от времени просачивались и другие фразы, на первый взгляд незначительные, но полные отвлекающей ненужной информации, торчащей прямо посреди жизни, как чертов рычаг ручного тормоза в салоне фиата. А сразу вслед за ними поспешали другие досадные помехи: мамаша Кимхи со своей фальшивой приветливостью, папаша Кимхи со своей почетной грамотой, соседи по Кохав-Авруму в дорогих авто, однокурсники-кинолюбы в круглых очочках, косящие под психов пацифисты, косящие под пацифистов психи, друзья детства, гуру вегетарианства, косматые пророки космической энергии и еще много-много кого. Мелкие и назойливые, они были непременной принадлежностью речи, как вши с детских голов бывают непременной принадлежностью общественного бассейна.

Понятно, что пауза в какой-то момент кончалась, а с нею пропадала и необходимость в речи, и все же вши, по противному свойству вшей, не исчезали бесследно. Горсть, и еще горсть, и еще, и еще... – пока аккумулятор не наполнился, пока скопившийся в нем заряд многих мелких помех не слился в одну, большую, труднопреодолимую. И ведь не скажешь, что при этом совсем исчезло то, самое главное... Вот, к примеру, если Сигаль прямо сейчас перестанет валять дурака и позвонит, есть еще время повернуть назад. Да даже если и нет времени – повернуть можно всегда, и черт с ним, с семинаром...

Справа промелькнул поворот на Гинот Керен. Это означало, что они почти приехали – Нир и его молчащий мобильник. Полчаса езды по миллиону световых лет. Он снова покосился на телефон. Нет, не звонит. Что ж, может, оно и к лучшему. Пускай отправляется в свою Индию. За полгода разлуки что-нибудь да кончится: либо заряд аккумулятора, либо позорная зависимость от избалованной куклы из Кохав-Аврума.

Шлагбаум на въезде в Эйяль был против обыкновения опущен; за стеклом будки виднелось круглое лицо дежурного. Чертыхнувшись, Нир остановил машину.

– Эй, Бенда! Ты что, заснул?

Охранник неторопливо вышел наружу. На плече его болтался узи, сильно потертый от времени и неумеренной чистки.

– Нирке, ты? А я вот, видишь, подменяю. Эльбаз на дежурство не вышел. Болен, наверно, или что. Вот Вагнер мне и позвонил. Помоги, мол, Бенда, кроме тебя некому. А почему некому? Почему всегда Бенда? Нет у людей ответственности, вот что. Чего молчишь?

Нир вздохнул. Отделаться от Беспалого Бенды, главного поселкового сплетника, было нелегко даже в самой простой ситуации. А уж сейчас, когда он командовал шлагбаумом, эта задача становилась и вовсе нерешаемой...

– Бенда, мне домой надо. Срочно... – Нир запнулся, отыскивая причину поубедительней. – Бабушка плохо себя чувствует, мало ли что.

– Бабушка? – Бенда понимающе покачал головой и извлек из кармана пачку сигарет. – Старость не радость. А что с ней такое?

Нужна помощь? Если я чем могу помочь, только скажи. Тут каждый знает: в Эйяле если на кого и можно положиться, так это на Бенду.

Он закурил, поправил сползший ремень автомата и облокотился на открытое окошко мазды. Лицо Беспалого выражало живейшее участие и искреннюю готовность выслушать сколь угодно длинный рассказ попавшего в беду ближнего.

«Дурак! – мысленно обругал себя Нир. – Зачем бабулю приплел? Для него это еще одна тема. Хотя, Бенда тему всегда найдет...»

– Камни! – выпалил он неожиданно для самого себя. – В почках! Но это пройдет. Вот я сейчас подъеду и помогу. Если, конечно, ты шлагбаум откроешь.

Бенда снова покачал головой.

– Камни, говоришь... В почках... В почках еще не так страшно. В почках камешки мелкие, песочек. А вот те камни, которые арабцы на шоссе бросают, эти потяжелее будут. Глыбы! Скалы! Вот, не далее как сегодня, на ариэльской дороге... – он поглубже затянулся, выдохнул дым в салон машины и с удовольствием причмокнул, готовясь к длинному рассказу.

– Бенда! – взмолился Нир. – Ну как меня касаются камни на ариэльской дороге?! Я ведь в Эйяль въезжаю, домой! Вовнутрь, а не наружу!

Охранник осуждающе понял брови.

– Не касается, а? Эх, молодежь, молодежь... Ничего-то вас не касается. Вот и Эльбаз на дежурство не вышел. А мне что – за всех отдуваться? Чем ты брюки так залил? Вином, небось, а? Эх, молодежь... Вином залил, а потом за руль?

Сзади послышался гудок подъехавшего автомобиля. Нир с надеждой взглянул в зеркало заднего обзора – возможно, теперь Бенда переключится на другую жертву? Охранник выпрямился; как видно, его мучили сомнения того же рода. С одной стороны, Нир не проявлял готовности к основательному разговору, с другой – шлагбаум так сразу не опустишь, а потому, если второй машине удастся проскочить вплотную за первой, то есть риск и вовсе остаться без собеседника. Проблема... Вздохнув, Беспалый нажал на кнопку; полосатая планка шлагбаума взметнулась по стойке смирно, словно салютуя вновь обретенной свободе Нира и его автомобиля.

В этот час улицы поселения были безлюдны: как правило, эйяльцы выезжали на работу значительно раньше. Немногие оставшиеся машины с виноватым видом жались к родным калиткам. Нир не стал доставать ключ, а попробовал дверь рукой – так и есть, открыто. Здесь вообще редко запирались – разве что на ночь. Зачем? Все вокруг свои.

– Бабуля, я пришел!

Он на секунду-другую задержался в гостиной, вслушиваясь в прохладную тишину дома. Нет ответа. Этой весной Лидии Сергеевне исполнилось восемьдесят шесть, и слуховой аппарат помогал уже не ахти как. Дверь ее комнаты была приоткрыта; бабушка сидела в кресле, напряженно всматриваясь в экран телевизора. Звук был переключен на наушники, но Нир не сомневался, что канал российский, а программа непременно посвящена какой-нибудь сугубо русской теме. Раньше, еще в его школьные годы, Лидия Сергеевна то и дело хватала внука за рукав и, блестя глазами, принима-

лась взахлеб пересказывать что-то такое, безнадежно русское и потому никоим боком не интересное.

– Представляешь, мальчик? – повторяла она, возбужденно раздувая тонкие ноздри.

Нир обреченно кивал и потихоньку продвигался в сторонку, прочь от потока малознакомых, тяжелых, будто грубым топором вырубленных слов иноземной речи. Его привезли в Страну двухлетним мальчуганом; сколько себя помнил, он жил ее жизнью, дышал ее воздухом, мыслил ее понятиями и образами, говорил на ее певучем, крикливом, гортанном языке. Да и весь окружающий мир воспринимался здесь исключительно в связи со Страною: в Штаты ездили учиться и закладывать основу для будущей карьеры, в Латинскую Америку и Индию – путешествовать, в Европу – смотреть футбол и красивые города, в Африку – рисковать собственной шкурой за деньги и алмазы. А вот огромное розовое пятно на севере мировой карты не могло предложить ровным счетом ничего занятного. Россия всегда казалась ему и его сверстникам чем-то безнадежно провинциальным, скучным или же, напротив, курьезно диким, как оторванные от цивилизации острова папуасов.

Когда бабушка со своими русскими историями запирала его в углу дивана, телом преграждая путь к свободе, подобно сегодняшнему шлагбауму Беспалого Бенды, мальчик с трудом удерживался от протеста. И, если уж речь зашла о Бенде, то даже его банальная, до последнего слова предсказуемая назойливость выглядела предпочтительней торопливого, захлебывающегося отчаяния, с которым Лидия Сергеевна пыталась впихнуть свои ненужные рассказы в гудящую от отвращения голову внука. Поразительно, но чужой и нелепый Бенда был ему в такие моменты намного ближе, чем родная бабушка, чьи руки, лицо и запах сопровождали Нира всегда, сколько он себя помнил, с момента осознания того пугающего и неприятного факта, что мировой космос отнюдь не един, а делится на две неравные группы: Я и Другие.

Почему? Иногда сила этого отторжения удивляла самого Нира: он ведь действительно любил бабушку, и по мере взросления в его любви было все меньше детского эгоцентризма, все больше жалости, попечительства, готовности терпеть старческие чудачества. И, тем не менее... – возможно, винить в этом конфликте старой и малого следовало не его, а ее, инстинктивно старавшуюся продлить жизнь если не себе, то своему миру, такому мрачному, враждебному, засасывающему, как северное лесное болото. Какого, собственно, черта она тянула туда еще и внука?

Время от времени на помощь приходил отец.

– Мама, – с досадой говорил он, – сколько раз повторять: не приставай к парню. Думаешь, ему интересен этот твой Пастернак?

Лидия Сергеевна возмущенно поджимала губы:

– Пастернак не может быть не интересен! Пастернак принадлежит мировой культуре! – она вся подбиралась, хватала ртом воздух и нараспев заводила:

– За поворотом, в глубине лесного блога...

Или, может быть, «лога»?.. Неважно – с точки зрения Нира словосочетание «лесной лог» представляло собой такую же нелепицу, что и «лесной блог»: ну кто, в самом деле, станет вести в лесу лог

или блог? Дятлы? Удоды? Ежи и черепахи? Потом, с началом военной службы, бабушка оставила его в покое: постоянная тревога за внука перевесила заботу о сохранении русской культуры, откровенно, по-пастернаковски, гибнущей в тотальном безразличии местного окружения. Парадоксально, но факт: именно в израильской армии Нир существенно расширил запас живых русских выражений. Впрочем, эти новые знания, почерпнутые у товарищей по оружию, вряд ли могли претендовать на принадлежность к изысканному бабушкиному словарю.

Он остановился на пороге своей комнаты: так и есть, бабушка снова навела там порядок! В принципе, это можно было бы только приветствовать, если бы ее представления о порядке хотя бы приблизительно соответствовали вкусам самого Нира. После таких уборок он никогда не мог найти нужных вещей; вот и сейчас пришлось перерыть все полки стенного шкафа.

– Бабуля! Бабуля!

Едва сдерживая возмущение, Нир ворвался в комнату бабушки. Лидия Сергеевна вздрогнула и подняла на него выцветшие, некогда ярко голубые глаза.

– Сереженька! Вернулся? Будешь завтракать?

Она забыла снять наушники и потому, не слыша себя, говорила излишне громко, почти кричала.

– Наушники! – крикнул Нир, сопровождая подсказку соответствующим жестом обеих рук. – Сними наушники!

– Как?.. Что?.. – переспросила Лидия Сергеевна, но тут же поняла и виновато кивнув, принялась возиться со скобой прибора, стягивая его с головы, высвобождая из пушистого облачка седых волос, излишне торопясь и оттого запутываясь еще больше.

– Дай, помогу...

Нир осторожно помог снять наушники. Сквозь белый пушок просвечивала теплая розовая кожа; Лидия Сергеевна сидела смирно, как испуганный птенец, молча глядя на сильные молодые руки, на их точные деликатные движения прямо перед ее глазами. Гнев парня улетучился, но проблема осталась: после бабушкиной уборки он не мог найти свои запасные джинсы взамен испорченных. Без этого было решительно не в чем ехать в университет.

– Ты завтракал?

Пока он возился со скобой, бабушка несколько раз робко прикоснулась кончиками пальцев к его предплечью; в этом движении был тот же оттенок странного удивления, которое Нир в последнее время улавливал в ее беглом взгляде. Чему она так удивлялась? Тому, что в поглощающем ее мире глухоты и увядания могут существовать такие мощные, полные жизни побеги? Прежде чем ответить, Нир подал ей коробочку со слуховым аппаратом.

– Бабуля, ты меня слышишь?

Лидия Сергеевна кивнула.

– Джинсы! Где мои джинсы?

– Я все слышу, не кричи, – произнесла она с подчеркнутым достоинством. – Тебе нужны джинсы. Так бы и сказал. Боже, какое пятно...

– Так бы и сказал... – повторил ее слова Нир, снова начиная сердиться. – Вот я и говорю. Сколько раз говорил: не входи в мою комнату. Мне что, замок повесить?

– Но, Сережа, у тебя же там черт ногу сломит, – с той же интонацией возразила Лидия Сергеевна. – Как можно терпеть такое безобразие? Наводи порядок сам, и я не буду заходить.

Нир глубоко вздохнул.

– Хорошо. Джинсы. Куда ты засунула мои джинсы?

Лидия Сергеевна открыла рот, чтобы ответить, и смущенно запнулась. В глазах у нее мелькнуло виноватое выражение.

– Не засунула, – жалобно проговорила она, уже не в силах держать круговую оборону, – не засунула, а замочила. Они у тебя такие пыльные, Сережа...

– Пыльные, говоришь? – с тихим бешенством повторил Нир. – Пыльные, говоришь, Сережа?..

Он поменял имя вместе со школой, когда переходил в старшие классы. Прежнее было дано в память о прадеде, бабушкином отце, которого она не помнила даже по фотографиям.

– Погиб в первую волну репрессий, – скорбно качая головой, объясняла Лидия Сергеевна. – За дружбу с Троцким. Мама тогда сожгла всё, что от него осталось. Всё, кроме меня, двухлетней.

В принципе, она могла бы назвать Сергеем своего собственного сына, но евреи-ашкеназы не дают детям имен живых родственников, а сообщения о смерти отца никто не присылал. Так что мальчик родился задолго до получения справки о реабилитации, из которой явствовало, что незаконно осужденный гражданин Блувштейн С. И. умер от инфаркта в лагере со смешным названием СЛОН еще в конце двадцатых годов, так что последующие тридцатилетние надежды на его чудесное возвращение были, увы, напрасны.

В итоге, за безотцовщину Лидии Сергеевны пришлось отдуваться не сыну, а внуку, не имевшему ни малейшего понятия ни о прадеде, ни о его друге Троцком. Внуку, чье знакомство с русским словом «слон» ограничивалось детским стишком о поклоне, посылаемом слонихе. Как знать, возможно, упорное нежелание мальчика вникать в бабушкин язык объяснялось как раз его именем, принципиально чуждым местному ивритскому слуху.

– Как тебя зовут?

– Сережа.

– Как-как?

– Сережа.

– Как-как?

Это создавало неудобство еще в детском саду; трудное слово наотрез отказывалось проворачиваться даже на языке у воспитательниц, а уж о сверстниках и говорить нечего. Напрашивающиеся сокращения не решали проблемы. Кем он только ни перебывал – и Сэром, и Сыром, и Рожей, и Розой... Последнее было особенно унизительным, поскольку считалось сугубо девчоночьим. Так, страдая и мучаясь, парень добрался до момента, когда понадобилось переходить в «тихон», городскую среднюю школу: в эйяльской учились лишь до девятого класса.

В преддверии этого события ему еще с весны стали сниться кошмары: сентябрь, первый урок, аудитория, полная незнакомых насмешников и насмешниц, учитель с раскрытым журналом и неотвратимое «Как-как?.. – Сережа...– Как-как?.. – Сережа... – Как-как?..» Так бы оно и случилось, если б не дельный совет закадычно-

го друга-марокканца с замечательно легким именем Йегошуа Бен-Иссасхар, которое, согласно здешней традиции, необъяснимо трансформировалось в еще более простое «Шуки».

– Йес, Сэр... Ноу, Сэр... – сказал как-то Шуки, устав смотреть на мрачную сережкину физиономию. – Не надоело? А чтоб тебе погоняло не поменять на что-нибудь более нормальное? Сколько можно терпеть? Вон, у меня сестра поменяла. Пока была Лиат, в упор не везло, а как стала Лея – сразу такого жениха отхватила! Ашкеназ – это раз, голова – это два, вилла в Кейсарии – это сто!

– Так он же ее потом бросил, – уныло возразил Сережа.

– Ну и что? – стоял на своем Шуки. – Наверно, надо было еще раз поменять. Знаешь, как говорят: перемена имени – к перемене счастья. Как раз твой случай. Хочешь, я у Лиат спрошу, чего делать надо?

– У Лиат? Она же теперь Лея... – подколол друга Сергей и тут же поправился: – Ладно, извини, я не хотел. Может, и впрямь надо... что-нибудь покороче и попроще. Что у нас самое короткое и самое простое?

Перебрав десятка два вариантов, они решили положиться на волю случая. Шуки отвернулся и принялся бормотать про себя имена, одно за другим, пока Сережа не остановил его окриком:

– Стоп! Что вышло?.. Ну, не тяни, сукин сын!

– Привет, Нир! – торжественно произнес друг, выдержав паузу для пущей важности. – Сдается мне, сегодня у тебя день рождения.

– Значит, Нир. Нир... Нир... – парень покатал на языке свое новое имя. – Как тебя зовут?.. Нир...

– Йес, сэр! – расхохотался Шуки.

С тех пор на свое прежнее имя Нир откликался только в семье – там так и не смогли по-настоящему принять эту его неожиданную и в чем-то даже оскорбительную выходку. Особенно переживала бабушка: обиделась за своего никогда не виденного отца, чья смутная тень только-только начала приобретать живые черты в облике высокого красавца-внука. И вот – на тебе! – пожалуйте назад, в небытие. «Головой качает слон, он слонихе шлет поклон...»

– Надень брюки. У тебя там висят две пары.

– Какие брюки, бабуля?! – простонал Нир. – Таких теперь никто не носит! Ах ты... ну что тебе объяснять...

Он махнул рукой и вернулся к себе. Как назло, третью пару джинсов неделю назад взял у него все тот же закадычный Шуки – одолжил на день и до сих пор не вернул, шукин сын! Остается что?.. – остаются шорты. Ага, в шортах, да на семинар Степушенко, да еще и накануне экзамена! Форменное самоубийство! Нир взглянул на часы. Ничего, время еще есть: если прийти в аудиторию пораньше и сесть в уголок подальше, то можно и проскочить.

– Сереженька, может, успеет высохнуть... – Лидия Сергеевна, виновато улыбаясь, стояла в дверях.

– Оставь, бабуля, все в порядке.

– В каком порядке, в каком порядке? Ты только посмотри, какой тут кавардак. А ведь не далее как сегодня утром я тут...

– Бабуля, хватит! – потеряв терпение, рявкнул Нир. – Хватит! Ты уже сделала все, что могла. Спасибо! Очень тебе благодарен! А теперь дай мне переодеться.

Старушка попятилась.

– Никакого уважения... – горько проговорила она. – Это ведь не мне нужно. Это ведь тебе нужно. Тебе...

Нир захлопнул дверь перед ее носом и перевел дух. Сил нет. Когда уже это кончится? Да еще и Сигаль не звонит, чертова кукла...

Когда он уходил, Лидия Сергеевна в позе напряженного внимания сидела перед телевизором; на экране безнадежно русский ведущий рассказывал о чем-то своем, непоправимо русском.

Шлагбаум был только на въезд, так что в этот раз Нир беспрепятственно проскочил мимо будки дежурного. Впрочем, Беспалый Бенда даже не посмотрел в его сторону: он слишком боялся упустить подъехавшую чуть раньше местную почтмейстершу. По уровню осведомленности она лишь немногим уступала двум поселковым маникюрщицам, а потому Бенда твердо вознамерился не поднимать шлагбаума прежде, чем выдавит из своей жертвы парочку-другую стоящих сплетен.

Час пик прошел, шоссе почти опустело. Гулявший поутру ветерок устал и прилег отдохнуть в пятнистой тени масличных деревьев. Солнце тоже почти закончило заталкивать на вершину полудня свой ежедневный сизифов урок; еще немного – и покатится вниз по желобу старого вади. В этот час лишь звонкий прозрачный зной чувствовал себя совершенно в своей тарелке: притихший мир принадлежал ему до самого вечера – ему и застывшим на раскаленных камнях острохвостым ящерицам-хамелеонам.

Повернув в направлении Ариэля, Нир прибавил газу. Свободная дорога и скорость слегка поправили ему настроение. Казалось, что и Сигаль уже куда ласковей глядит на него с картинки на экранчике айфона, как будто и в самом деле обещает позвонить с минуты на минуту. Однако обещания пока так и оставались обещаниями... – в реальности же мобильник угрюмо молчал, а на якобы пустом шоссе после первого же виража обнаружился маленький серебристый ситроен, который полз удручающе медленно, словно добирая из бензобака последние капли горючего.

Как назло, именно здесь прочертили сплошную разделительную полосу, и Ниру не оставалось ничего другого, как покорно пристроиться за серебристой букашкой. В принципе, черепашья скорость ситроенчика позволяла идти на обгон, наплевав на ограниченную видимость, но Нир решил не рисковать: не так давно ему уже выписали рапорт ровно на этом месте. Тогда менты-наблюдатели сидели сверху, на одном из высоких откосов, тянущихся здесь по обеим сторонам шоссе. Сидели, фотографировали и передавали по рации, а другая полицейская машина собирала урожай штрафов несколькими километрами дальше.

Недовольно бурча, Нир тащился за ситроеном. Интересно, кто это там такой резвый? Наверно, какой-нибудь особо вредный старикан или, напротив, перепуганная восемнадцатилетняя девчонка, получившая права на прошлой неделе... Так или иначе, деваться было некуда, и Нир от нечего делать принялся внимательно изучать откосы, в надежде обнаружить там, на краю, фигуру затаившегося в засаде мента или отблеск линзы его бинокля. Тогда, по крайней мере, можно будет сменить досаду на торжество, вдарить обеими ладонями по рулю и закричать во все горло:

– Что, съели, менты-маньяки? Съели? Капкан расставили, думали подловить... а вот хрена вам! Хрена!

Да-да, почему-то больше всего ему сейчас хотелось закричать – хотя бы и мысленно. Закричать, обругать кого-нибудь, выплеснуть... – что?.. – злость?.. раздражение?.. разочарование?..

Тем временем водитель впереди даже не думал прибавлять; шоссе, как змея в нору, неторопливо втягивалось в узкий проход между двумя отвесными скальными стенками. Неуютное место, капкан для мучеников клаустрофобии и торопливых водителей. Полуденное солнце било прямо в глаза, на манер света в конце туннеля, и Нир на всякий случай притормозил, чтобы, увлекшись высматриванием полицейских, не поцеловать задний бампер ситроена. Притормозил и почти сразу же увидел их, неясными черными силуэтами на кромке правого обрыва. Он успел удивиться необычно большому количеству ментов и их более чем странному поведению: и действительно, какой смысл, находясь в засаде, прыгать и размахивать руками?.. – но в этот момент первый камень гулко ударился о крышу мазды, разом вернув Ниру правильное понимание происходящего.

Ну какие такие менты? Это ведь арабские подростки! Теперь уже камни летели градом; ударяясь об асфальт, куски мягкого известняка взрывались наподобие осколочной гранаты. Звякнуло боковое окно, на лобовом стекле расцвели звезды и трещины. В голове запоздало промелькнуло: ну да!.. ведь не далее как сегодня утром Бенда предупреждал о камнеметателях на ариэльском шоссе. Что же их до сих пор не разогнали? Нир уже дал было по газам, чтобы поскорее выехать из-под арабского камнепада, но тут ползущая впереди серебристая букашка вдруг резко ускорилась, метнулась влево, затем вправо и пошла стремительным юзом в сторону левой обочины. В воздухе мелькнули колеса; ситроен дважды перевернулся и, наконец, замер, со всего маху ударившись в скалу задней своей частью.

Нир резко остановил машину. Над шоссе висела странная оглушительная тишина. Камни больше не летели: как видно, подростки, перепугавшись, бросились наутек. В армии Нир не раз имел возможность убедиться: в моменты неожиданной опасности им всегда овладевало удивительное спокойствие, зрение обострялось, движения становились точны и экономны, а время словно замедлялось в разы. Он выскочил на шоссе и побежал к ситроену, на ходу набирая номер центра экстренной связи.

– Алло!

– Теракт в трех «больших» южней «креста» Рахмиэль, – отчетливо произнес Нир, автоматически перейдя на армейский жаргон, – Бросание камней местными. Есть раненые... – получи поправку: есть раненая... – одна «юбка»... – нужен амбуланс и «голубые». Как поняла?

– Поняла, – так же спокойно ответила дежурная. – Одна «юбка», три «больших» к югу от «креста» Рахмиэль. Степень ранения?

– Пока не знаю, – Нир оглянулся на откосы. – Я тут один. И патруль тоже не помешал бы. Почистить территорию от «грязных». Конец.

Он сунул мобильник в карман и наклонился к окну ситроена. Женщина в кресле водителя открыла глаза и недоуменно повела взглядом вокруг. Губы ее шевельнулись. Дверцу заклинило, но не сильно; Нир рванул ее на себя и распахнул настежь.

– М-мм... – промычала женщина.

На вид ей было лет тридцать; круглое лицо, обрамленное черными кудряшками. Вряд ли она сейчас понимала, где находится и что произошло. Нир тихонько похлопал ее по щеке.

– Эй! Ты как? Цела? Болит где-нибудь?

– А? – невпопад откликнулась пострадавшая. – А?

С видимым усилием расцепив пальцы, она сняла руки с руля и принялась внимательно изучать их.

– Руки целы, так? – подсказал Нир. – А как спина? Повернись... так, нормально. Ноги? Подвигай ногами. Молодец. Можешь выйти? А то ведь загорится еще, не дай Бог. Ну-ка, давай отстегнемся...

Женщина реагировала заторможено; Нир осторожно взял ее подмышки и вытащил наружу. Поразительно, но, похоже, она и впрямь отделалась лишь сильным потрясением. Во всяком случае, Нир не заметил ни переломов, ни ушибов, ни кровотечений. Тем не менее, благоразумно не полагаясь на свое суждение, он отвел водительницу ситроена метров на двадцать от разбитой машины и заставил лечь на спину. Женщина подчинилась и минуту-другую лежала смирно, все так же оторопело поглядывая по сторонам.

– Ничего, сестренка, – проговорил Нир, присаживаясь рядом. – Сейчас скорая подъедет. Посмотрят, проверят. Все будет в порядке, вот увидишь. Так-то на тебе ни царапинки, но лучше не рисковать, правда?

– Ай! – вдруг выкрикнула она, порываясь сесть. – М-мм... ай!

Нир вовремя успел поймать женщину за плечи и удержать на земле.

– Нельзя, сестренка. Вдруг у тебя внутри что-то не так. Надо проверить, я тебе точно говорю... Ну что ты айкаешь... болит? Где болит?

Она продолжала вырываться, панически вращая глазами и пытаясь оглянуться на свой уткнувшийся в скалу ситроен.

– Май! Май! Где Май!

– Май? – удивленно повторил Нир. – Был май, сестренка. Был и сплыл. А теперь у нас июнь. А скоро будет июль. Все по расписанию. Надо же, как тебя тряхануло-то. Это по неопытности. Когда камни летят, паниковать нельзя. Влево-вправо нельзя. Только вперед, сестренка. А ты вот дернулась зачем-то. В следующий раз...

– Ма-а-ай! – протяжно выкрикнула она, вцепилась обеими руками в рубашку Нира и вдруг принялась быстро-быстро тараторить, словно в горячечном бреду: – Май, Май... это моя девочка, ей два года, у нее день рождения в мае, поэтому так и назвали, я не хотела, а муж настоял, что это за имя Май, зачем, говорю, пусть будет лучше Малка, а он за свое: Май да Май, а что это за имя, я ее с собой не брала, нет-нет, ты не подумай, ее там нет, она сейчас дома с бабушкой. Зачем ребенка тащить в поликлинику, вирусы ловить, можно пока и без прививки, правда ведь, правда, правда?.. правда, что Малка лучше?.. но уж когда назвали, тогда уже все, деваться некуда, вот, так и пошло, Май и все тут, и я тоже привыкла...

– Конечно, конечно, – холодея, выдавил из себя Нир. – Конечно, сестренка. Ты тут полежи еще немного, ладно? А я это... за водой... ты только не двигайся...

Он аккуратно разжал цепкую хватку ее пальцев и придавил обеими руками к пыльному грунту обочины: лежи, мол, не вставай.

Но женщина и не пыталась встать; теперь она лишь часто-часто кивала в ответ на все уговоры, кивала и при этом, не умолкая, несла что-то совсем уже бессвязное про девочку Май, прививку и поликлинику. Бессвязное ли? Нир распрямился, еще раз приказал пострадавшей лежать и зашагал назад, к ситроену. Его подташнивало неизвестно от чего. Или известно? Неужели, вытаскивая женщину, он действительно краем глаза заметил что-то такое, чего лучше не видеть никогда, никому, ни при каких обстоятельствах – заметил и сразу же постарался забыть, чтобы... чтобы...

Не лучше ли подождать, пока подъедут полицейские и медики? Как назло, малое расстояние до вмазанной в скалу серебристой букашки не оставляло времени для колебаний. Шаг, еще шаг... Нир взялся левой рукой за распахнутую дверцу машины, глубоко вздохнул, наклонился и увидел это. Оттуда, с того места, которое раньше называлось правым задним сиденьем, а теперь представляло собой бесформенную мешанину металла, пластика, камня, обивки и еще черт знает чего – оттуда на него смотрела совершенно неуместная здесь пухлая детская ручка, сжатая в кулачок.

Его чуть не вытошнило прямо на сиденье водителя; Нир едва успел отвернуться, отступить и только тогда перегнулся в три погибели, выплескивая из себя ужас и отвращение. Когда наконец полегчало, он вспомнил о женщине... – вот уж кого точно нельзя сюда подпускать. Нет, она по-прежнему лежала на спине, глядя в небо и судорожно подрагивая сцепленными на груди руками. Губы ее шевелились; Нир разобрал несколько бессвязных предложений и имя: «Май... Май... Май...» Имя погибшей девочки пряталось и снова высовывалось из беспорядочного нагромождения слов, как та детская ручка на заднем сиденье. Он снова почувствовал подступающую тошноту, но тут со стороны Ариэля возник сверлящий звук сирены и, быстро нарастая, штопором ввинтился в узкий проход между откосами.

Амбуланс и армейский джип подъехали почти одновременно; «голубые», то есть гражданская полиция, запоздали, так что Ниру пришлось дважды докладывать о случившемся.

– А ты мне что-то знаком, парень... – сказал полицейский, не поднимая головы от блокнота.

Нир кивнул:

– Ты мне недавно штраф выписывал на этом самом месте... – он помолчал и добавил, сам не зная зачем: – Лучше бы вы арабушей гоняли, а не на людей охотились.

Патрульный устало вздохнул:

– А чего мы тут, по-твоему, делаем, на этих гадских откосах? Сидим, местных подростков отпугиваем. Деревня рядом, вот они и бегают сюда, борются с оккупантами. Сегодня тоже сидели. Отъехали ненадолго, по вызову, и вот, на тебе... А на скорость вас ловим так, заодно, чтоб не скучать. Вы же думаете, раз территории, так и правил соблюдать не надо. Кстати, о скорости: она быстро ехала?

– Я же сказал: еле-еле тащилась, – набычился Нир. – Сорок или пятьдесят, не больше. Камень по крыше угодил, запаниковала. Вдавила газ, руль вправо, руль влево, привет.

– Значит, так и напишем: не справилась с управлением...

– Ты что, глухой? – едва сдерживаясь, проговорил Нир. – При чем тут управление? Это теракт, настоящий теракт. Машину забро-

сали камнями! Ребенок погиб, два года! А ты – «управление»... лишь бы в деревню к этим гадам не соваться. Тьфу, позорище! Защитнички, мать вашу...

– Не кричи, парень, – патрульный закрыл блокнот. – У тебя машина исправна? Ехать можешь? Вот и езжай. Твои данные я записал, если понадобишься, вызовем.

Он повернулся к Ниру спиной и пошел к ситроену, вокруг которого суетились пожарные с автогеном и два добровольца из похоронного братства в черных кипах и фосфоресцирующих желтых жилетах. Пострадавшей женщины на дороге уже не было – ее забрали почти сразу, вкололи успокоительное и увезли. «Май... – подумал Нир. – Кончился для нее май, и для всей семьи тоже. Сплошная зима на долгие годы». Он завел двигатель, и тут же, как по команде, проснулся мобильник.

– Да.

– Это я, – сказала Сигаль.

– Я слышу.

– Ты уже в универе?

Ее голос звучал мягко, выжидающе, как всегда, когда она намеревалась уступить, помириться, сделать шаг назад. Сделать шаг назад, потянуть его за собой, к себе, на себя, в привычное тепло своего тела, к родному мягкому рту, к знакомому ощущению руки на затылке. Именно такой интонации, такого звонка он ждал все это чертово утро. Утро длиной с неделю.

– Нет, еще не приехал.

– Опоздаешь... – она говорила медленно, растягивая слова, словно оглаживая их голосом, языком, губами. – Надеюсь, что профессор не этот... как его... Сатапушко.

– Степушенко, – поправил Нир. – К несчастью, он самый. Ничего, как-нибудь проскочим.

Он покосился на шоссе, где все еще стояла вмазанная в скалу серебристая букашка, сыпал искрами автоген, два полицейских в голубой форме натягивали рулетку и молоденький лейтенант из армейского патруля расхаживал по обочине, вполголоса переговариваясь с оперативным дежурным. Все это почему-то мешало нужным образом ответить на долгожданный звонок... – это, а также незримое, но ощутимое присутствие круглолицей женщины с черными кудряшками волос, с помутившимся, полусумасшедшим, покалеченным навсегда сознанием. Она словно смотрела на Нира в эту минуту сквозь уцелевшее автомобильное стекло: «Май, разве это нормальное имя, она сейчас у бабушки...»

Смотрела и мешала произнести столь необходимый сейчас текст. Потому что Сигаль свой ход уже сделала: позвонила и предложила помириться, пусть даже не впрямую, а одной лишь вот этой, не оставляющей сомнений интонацией. Теперь очередь за ним. Теперь он должен сказать что-нибудь совсем простое, но крайне значимое в такой ситуации. Что-нибудь типа: «Я приеду после работы», подождать немного, имитируя неуверенность, и добавить вопросительно: «Ладно?» И тогда она усмехнется и тоже подождет секунду-другую, чтобы выдержать фасон, и ответит: «Приезжай, что с тобой поделаешь...»

– Что же тебя так задержало? – спросила Сигаль, пока еще шутливо, но уже с некоторым оттенком нетерпения. – Неужели какая-нибудь поселковая клуша с коляской на двойню?

Нира передернуло, как будто обожгло. За окном машины искрил автоген.

– Вот что, Сигаль, – хрипло проговорил он, – извини, но я сейчас очень занят. Перезвони попозже, часика через... В общем, в другое время.

В трубке воцарилось оскорбленное молчание, затем Сигаль презрительно фыркнула и отсоединилась.

– Поселковая клуша... – повторил Нир, откладывая мобильник. – Чтоб ты понимала хоть что... дура...

II

Остаток дороги он гнал, как сумасшедший, под сто сорок. Во-первых, единственному на весь район полицейскому патрулю было сейчас не до нарушителей правил, а во-вторых, пошли они все... остановят, так остановят... плевать. Хотя гнать, честно говоря, не имело смысла: первый час семинара был уже все равно безвозвратно потерян. Профессор Степушенко, известный в университете как безжалостный зверь, садист и лютый враг студентов, никогда не пускал в аудиторию опоздавших к началу занятий. И если бы только это... Редко кому удавалось с первого раза преодолеть барьер экзамена по его курсу; бывали и такие, кто, отчаявшись получить проходной балл, вовсе отсеивались с факультета. Легенды повествовали о мучениках, совершивших до пятнадцати неудачных попыток, больше напоминающих допрос в инквизиции, чем нормальный человеческий экзамен. За это профессор с легкой руки какого-то русскоязычного студента получил красноречивое прозвище «Стоп-машинка».

Против Стоп-машинки не помогало ничего – ни уговоры, ни письма, ни коллективные походы в деканат. Проклятый профессор принимал участие в какой-то очень громкой общеевропейской программе по теоретической физике и потому считался главной научной гордостью университета. В этом статусе он чувствовал себя неуязвимым и мог беспрепятственно вить веревки хоть из декана, хоть из ректора, хоть из совета попечителей. А потому Нир изначально не собирался испытывать судьбу в попытках оправдаться, тем более, что Степушенко в принципе не принимал никаких оправданий. Теракт? Война? Землетрясение? Ну так что? Студент, молодой человек, обязан прибыть в аудиторию точно к началу занятий. Если он, конечно, желает заниматься. А если не желает, то скатертью дорога, молодой человек. Никто тут никого не держит! Пожалуйте выйти вон! Вон!..

Нет-нет, куда разумней было дождаться перерыва и затем незаметно просочиться куда-нибудь в гущу столов и стульев. Коридор лекционного корпуса выходил на солнечную сторону, и кондиционер в нем почти не чувствовался. Нир пристроился под окном в безопасном отдалении от аудитории. Предосторожность выглядела нелишней: обычно, уходя на перекур, Стоп-машинка первым покидал комнату – по той простой причине, что никто не решался выйти раньше него.

Вместе с жарой и духотой навалилась усталость; Нир прижал затылок к относительно прохладной стене и закрыл глаза. Ну и денек: еще одиннадцати нет, а в сон клонит так, как будто уже за полночь... Недосып, вот в чем дело. От ленивой мысли о недосыпе он естественным образом перешел к совсем уже сонным воспомина-

ниям о прошедшей ночи, о Сигаль, о запахе ее волос, гладкости кожи, упругой тяжести бедер... Нир тряхнул головой, отгоняя наваждение, но тело отказывалось подчиняться, лелея собственную, отдельную от головной, память. На руках и на животе еще жило легкое покалывание, электрические заряды недавних прикосновений. Он поднес ладони к глазам, словно рассчитывал увидеть там сотни крошечных иголочек; нет, ничего... Ничего, кроме ссадин и царапин, полученных там, на шоссе, когда он рвал на себя непослушную дверцу ситроена, и позднее, когда вытаскивал из кабины эту несчастную дуреху в кудряшках...

Переход от ночного образа Сигаль к безымянной водительнице был неприятен. Более того, Нир обнаружил, что сердится на женщину. Паника паникой, но надо же и головой думать. Ну, зафигачили тебе камнем по крыше – так ведь не бетонным же блоком! Камень оставляет вмятину, но не убивает; жми на газ и уезжай, зачем руль-то крутить? А так и ребенка убила, и себе жизнь поломала... да и другим, если уж на то пошло, тоже... Не будь этой катастрофы, он наверняка помирился бы с Сигаль, да и на семинар успел бы. Не сидел бы тут в коридоре, как наказанный школьник. Нир достал из кармана мобильник и взвесил его на ладони. Позвонить? Не позвонить? Уж теперь-то Сигаль обиделась надолго, можно не сомневаться...

Непромытые ссадины раздражали, отвлекали, мешали принять решение. Нир убрал телефон, поднялся на ноги и отправился в туалет, к раковине. Поразительно, как ему раньше не пришло в голову такое простое дело. Умыть руки. Всего лишь умыть руки. Неопрятное красное обрамление вокруг царапин и грязные разводы исчезли почти сразу, но Нир еще долго держал ладони под холодной водой, поворачивая их и так, и эдак, чтобы с уже гарантией смыть все прошлые и настоящие недоразумения.

– Если глаза меня не обманывают, вы студент из моей группы, не так ли?

Нир вздрогнул и обернулся. На него, разминая двумя пальцами сигарету, смотрел профессор Степушенко собственной персоной.

– Я... да... – пролепетал Нир.

Стоп-машинка качнулся с пятки на носок. Маленького росточка и цыплячьего телосложения, он, тем не менее, ухитрялся казаться выше, чем самые высокие студенты, – то ли за счет суеверного ужаса, внушаемого одним его видом, то ли благодаря особенной посадке головы и вечно задранному вверх подбородку. Сейчас лектор явно наслаждался произведенным эффектом.

– Вы – да... – задумчиво повторил он. – Впрочем, с моей стороны было бы невежливым проявлять чрезмерное любопытство к вашей частной и, несомненно, чрезвычайно наполненной жизни. Или вы осчастливите меня иным и, конечно же, весьма авторитетным мнением на этот счет?

Когда дело не касалась физики, Степушенко предпочитал выражаться нарочито витиеватым образом. При этом на иврите он говорил с чудовищным русским акцентом, хотя и без грубых ошибок. Все вместе производило довольно комичное впечатление, если бы кому-то вообще могла прийти в голову самоубийственная мысль смеяться в присутствии этого людоеда. Ниру всегда казалось, что Стопмашинка вольно или невольно копирует манеру типичных профес-

соров, какими они представлены в старых российских фильмах. Та же козлиная бородка, то же брезгливое выражение лица, и ни слова, сказанного в простоте. А если бы Степушенко еще время от времени произносил по-русски что-нибудь вроде «Да-с, батенька!», то сходство и вовсе стало бы стопроцентным.

– Нет-нет, не утруждайте себя ответом! – воскликнул профессор, хотя парализованный страхом студент даже не пытался открыть рот, чтобы ответить. – Я попробую догадаться самостоятельно, своими слабыми силами. Судя по вашему пляжному наряду, вы собрались на море, отдыхать в обществе прекрасных дам. Или нет: пожалуй, вы направляетесь на Кинерет, дабы навсегда распрощаться с этим чудом природы. Я прав? Что же вы молчите?

– Н-нет... – выдавил из себя Нир. – П-почему навсегда?

– Потому что вы расходуете бесценную воду нашей безводной страны, как какой-нибудь дикий германец на берегах Рейна! – рявкнул Стоп-машинка. – Прикрутите наконец кран! Льется! Льется!

Нир поспешно бросился закрывать кран. Он никак не мог оправиться от неожиданности и понятия не имел, что делать и говорить дальше. Объяснить причину своего опоздания? Извиниться? Пообещать, что больше никогда, никогда в жизни не осмелится заявиться на занятия профессора Степушенко в шортах? Пожаловаться на безумно, необыкновенно, фантастически неудачный день? Бывают же у людей неудачные дни, правда? Бывают и у студентов, и у профессоров, и даже в русском кино про козлиные бородки... Нир повернулся к Степушенко, но в это время в кармане абсолютно некстати проснулся и зазвонил мобильник. Сигаль! Конечно, это Сигаль. Проглотила обиду, подавила оскорбленную гордость, выждала до перерыва между академическими часами и вот – звонит! Звонит! Если есть на свете последние шансы, то вот он, один из них! Но что делать со Степушенко? Со Степушенко, который требует напрочь вырубать мобильники на все время его занятий, включая перерыв?

Нир поднял глаза на профессора. Тот сунул в рот сигарету и полез в карман за зажигалкой. Мобильник продолжал трезвонить, жалобно и безнадежно.

– Ну что же вы, молодой человек? – вкрадчиво проговорил Степушенко. – Или вы не собираетесь ответить на звонок? Это ведь ваше телефонное устройство мобильной связи, не так ли?

Нир открыл рот и вдруг с ужасом услышал, как его собственный голос отчетливо произносит по-русски:

– Да-с, батенька!

Брови профессора взлетели вверх, как две возмущенные чайки. Прежде чем Нир успел что-либо добавить, Стоп-машинка повернулся и вышел в коридор. Вышел молча, оставив последнее слово за собеседником. На памяти Нира такого с профессором Степушенко не происходило еще никогда. Замолчал и телефон. Перезвонить?.. Ага, как же, самое время. Сегодня у него всё получается исключительно удачно, всё, за что ни возьмется. Обломки и развалины, развалины и обломки... Нир оперся руками на раковину и пристально всмотрелся в мутное туалетное зеркало.

– Ну откуда ты, такой урод, взялся? – с горечью спросил он у своего отражения. – Ну почему тебе обязательно нужно каждую

вещь испортить и растоптать, причем разом, в один присест? Что на очереди теперь? Деревня? Город? Континент? Или вся планета целиком? Может, отдохнешь, а? Оставь что-нибудь на завтра...

Отражение пристыженно молчало, норовя отвести глаза.

Поскольку терять уже было нечего, в аудитории Нир не стал прятаться, а сел в первый ряд, традиционно свободный на занятиях Степушенко. Однако лектор явно избегал встречаться с ним взглядом. Плохо дело, совсем плохо... Когда семинар закончился, Нир еще долго сидел в опустевшей комнате, решая как быть. По всему выходило, что надо попробовать исправить положение, объясниться, рассказать о женщине на дороге, о сегодняшнем тотальном невезении, обо всем. Он ведь как-никак человек, этот Стоп-машинка, должен понять. А если и не поймет, то хуже все равно уже не будет.

Дверь в кабинет профессора была закрыта. Неужели и тут опоздал? Если так, то на экзамен можно не ходить... Хотя, с другой стороны даже неплохо: не придется унижаться. Нир глубоко вздохнул и постучался.

– Да, войдите!

Он шагнул было внутрь, но тут же попятился: в комнате, помимо Степушенко, находилась высокая девушка с длинными светлыми волосами, собранными сзади на манер конского хвоста. Упираясь обеими руками в профессорский стол и слегка наклонившись вперед, она смотрела на Степушенко примерно с тем же требовательным видом, с каким Нир не так давно взирал на собственное отражение в зеркале. Зато грозный профессор, скорчившийся в кресле по другую сторону стола, явно ощущал себя не в своей тарелке; видимо, поэтому он так поспешно отозвался на стук.

– Вы заняты, господин профессор? Мне зайти попозже?

– Нет-нет! – скорее воскликнул, чем проговорил Стоп-машинка. – Это ненадолго! Подождите секундочку, я сейчас освобожусь. Прямо здесь и подождите. Вам ведь назначено, правда?

Он метнул на Нира почти отчаянный взгляд, и Нир закивал с преувеличенной готовностью. В определенных обстоятельствах настоящий студент должен быть готов безоговорочно подтвердить любые слова своего возлюбленного лектора.

– Вот видите, – сказал профессор, обращаясь к девушке. – У меня назначено. Неудобно, люди ждут. По-моему, я ответил на ваш вопрос. Больше мне нечего ска...

– Но вы так ничего и не сказали, – перебила девушка. – Если взаимовлияние двух объектов не зависит от расстояния, то какой вывод можно сделать относительно времени?

– Это не так просто, госпожа... э-э... – замялся Степушенко.

– Рейна, – подсказала девица. – Просто Рейна.

– ...госпожа Рейна. Я уже объяснял, что наши эксперименты были проведены с парой элементарных частиц, причем в весьма специфических условиях. Да, взаимовлияние мгновенно, вы правы, но пока нет никакого практического подтверждения тому, что эффект запутанности квантов распространяется и на другие объекты... э-э...

– Рейна, – снова вставила девушка.

Профессор скривился и отрицательно потряс своей козлиной бородкой.

– ...э-э... другие объекты материального мира. Вы делаете чересчур поспешные выводы.

– Но вы же сами говорили, что с теоретической точки зрения эти выводы вполне правомерны! – упрямо набычилась собеседница. – Ведь говорили?! Говорили?!

Стоп-машинка всплеснул руками:

– Ну да, говорил! Говорил! И что с того, уважаемая госпожа Рейна? Я никак не пойму, что вы хотите от меня услышать...

– Что... что... – девушка запнулась и на секунду ослабила свою мертвую хватку. – Что я хочу услышать...

Воспользовавшись передышкой, профессор вскочил и для верности покрепче вцепился в спинку кресла.

– А теперь извините, госпожа Рейна. Люди ждут, вы же видите. Я и так уделил вам массу драгоценного времени. Извините.

Девушка перевела взгляд на Нира, застывшего рядом памятником непреклонной поддержки профессора Степушенко. Ярко-голубые глаза, упрямые и в то же время растерянные... Похоже, в срочной помощи здесь нуждались не только профессор и Нир.

– Хорошо, – сказала она после секундного колебания. – Я подумаю, как это сформулировать. Я подумаю...

– Вот-вот! – радостно воскликнул Степушенко. – Подумайте! Правильная формулировка вопроса...

Он вытянул в сторону Нира указующий дирижерский перст, и студент, не подкачав, лихо отрапортовал окончание любимой профессорской поговорки:

– ...содержит в себе большую часть правильного ответа!

Девица ожгла Нира презрительным взглядом, буркнула что-то нелицеприятное и выскочила за дверь. Профессор облегченно вздохнул.

– Прямо не знаю, что с ней и делать, – сказал он, снова усаживаясь в кресло. – Вычитала в газете и теперь прохода мне не дает. Ну да, доказано мгновенное взаимодействие. Ну да, есть определенные теоретические выводы. Но при чем тут...

Стоп-машинка помолчал, махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, и посмотрел на Нира.

– Вы что-то хотели?

– Извиниться за опоздание, – поспешно проговорил Нир. – Дело в том, что по дороге я попал...

– Ерунда! – прервал его профессор и нервно пристукнул кулаком по столешнице. – Ерунда!

– Простите?.. – не понял Нир.

– Вы же прекрасно знаете, что я не желаю слушать никаких оправданий. Если у студента есть желание учиться, он не опаздывает. Будьте любезны покинуть мой кабинет. Увидимся на экзамене. Или, может, вы тоже племянник ректора, как эта сумасшедшая девица?

– Нет, – тихо ответил Нир, тщательно отслеживая каждое произносимое слово, чтобы снова не наговорить лишнего. – Я ректору никто и звать никак... До свиданья, профессор.

Когда он уже закрывал за собой дверь, Стоп-машинка вдруг поднял голову от бумаг и выпалил вслед:

– Да-с, батенька! Да-с! На экзамене!

По дороге на работу Нир остановился перекусить в попутной забегаловке, но кусок не лез ему в горло. Место было проверенным, Нира тут знали по имени и не первый год, но никогда еще мясо не казалось ему таким жестким, салат таким вялым, а кола такой приторной, с неприятным мыльным привкусом. Он с трудом заставил себя поковыряться в тарелке, чтобы совсем уж не обижать хозяина, и сбежал, как только тот отвернулся. «Потом скажу, что заболел, – думал Нир, садясь в машину. – Он ведь уверен, что лучших шашлыков не сыщешь во всем Средиземноморье...»

В любом случае, объяснения следовало оставить на потом – уж больно разрушительными выглядели последствия каждого сегодняшнего действия. Оставалось только гадать, какие неожиданности ждут его на работе. Взять бы отгул, но кто же тратит отгулы перед сессией... Вдобавок ко всему, в сегодняшней смене дежурил Шуки, похититель джинсов, что предоставляло Ниру бесценную возможность выместить скопившееся раздражение. На ком и вымещать, как не на лучшем друге? Вот уж кто всегда поймет и поддержит. Нир представил себе растерянное шукино лицо и невольно улыбнулся; настроение сразу пошло на поправку.

– Зачем ты так кричишь, братан? – спросит Шуки, мгновенно переработав первоначальную обиду на неподдельное участие и заботу. – И, главное, на кого? Это ведь я – ты, наверно, не заметил. Что случилось? Война? Кого с кем? Давай, братан, рассказывай, мы ведь с тобой в одной связке...

Что верно, то верно – они всегда были в одной связке, еще со школы. В одном классе, в одной стрелковой роте, в одной саперной команде. А после армии вместе отправились устраиваться на работу, которая тогда казалась временной, на полгода, а сейчас вот пошел уже пятый. Телемаркетинг, телефонное убалтывание слабых душ на покупку дешевых китайских товаров сто десятой необходимости. Доставка бесплатно, господин; конечно, со скидкой, госпожа; второй экземпляр – в подарок, причем, только для вас... Удобный для студентов сменный режим, молодежная компания, шутки-прибаутки и никакого давления. Пришел – отсидел – ушел, и всё – взятки гладки, никаких тебе лишних ожиданий, видов на будущее, претензий на карьеру. Хотя, как раз в плане карьеры прошедшие годы оказались не совсем бесплодными: начав учеником оператора, Нир дослужился, ни много ни мало, до ранга старшего инструктора, и теперь уже не сидел на телефоне, а обучал молодежь правильным методам обнаружения и обработки легковерных телефонных фраеров.

Шуки, который по причине природного раздолбайства так и не продвинулся дальше рядовых продавцов, посмеивался:

– Эдак ты к старости до начальника смены дорастешь... На фига тебе эти сложности, братан? Ради лишних пяти сотен в месяц? Стоят ли они такого беспокойства? Зря только головой пухнешь, попомни мои слова. Голова, она, чем меньше, тем здоровее.

Нир отшучивался. Он не переламывался и в роли мелкого начальничка, а пять сотен, кстати говоря, были в его положении отнюдь не лишними. Студенческое время заканчивалось; еще одна сессия, еще один семестр, дипломный проект – и кончено: бай-бай, телемаркетинг! Всего-то и оставалось, что восемь месяцев, максимум год.

Он припарковал мазду и поднялся на верхний этаж, в огромный рабочий зал, разгороженный на тесные соты операторских позиций. В горячие месяцы здесь повсюду копошились усердные пчелы телефонной торговли, собирая денежный нектар с цветущих полей человеческой глупости. Любого клиента можно уговорить на покупку любого товара, даже самого ненужного; за годы работы продавцом Нир твердо усвоил эту простую истину и теперь, как умел, доносил ее до недоверчивых учеников.

Да-да, ребята, большей частью люди покупают не то, что им необходимо: чтобы убедиться в этом, загляните хотя бы в собственный шкаф! Человек покупает, чтобы тратить, а тратит, чтобы придать смысл своей ежедневной погоне за заработком. Спроси его: «Зачем ты горбатишься на работе?» – и он тебе ответит: «Чтобы прожить!» Получается, что каждая трата, каждая покупка придает вкус его жизни, оправдывает ее! Я покупаю, следовательно, я существую! А потому, ребята, вы не только не обманываете народ, всучая ему разную китайскую муру, а, напротив, дарите людям ощущение смысла и радости бытия. Иными словами, вы делаете их счастливыми!

В последние месяцы торговля шла слабо, так что рабочее гудение в сотах едва ощущалось. Кивая знакомым, Нир прошел в дальний угол. Обычные операторы не имели постоянных, закрепленных за ними столов, но Шуки как ветеран обладал правом на персональное место. Увидев друга, он махнул рукой и стал подниматься навстречу, стягивая с головы скобу с наушником и микрофоном. Вообще-то Нир планировал немедленно призвать приятеля к ответу за заныканные джинсы, но при виде скобы ему совершенно некстати припомнилась бабушка Лидия Сергеевна, розовая кожа, просвечивающая сквозь белое облачко волос, и накопленный заряд злости вдруг пропал неведомо куда.

– Что слышно? – проговорил Нир, растерянно оглядываясь в поисках пропажи.

Шуки с размаху хлопнул его по спине.

– Да ничего не слышно! Слабо идет, братишка! – в устах Шуки даже дурные новости приобретали явственный оптимистический оттенок. – С полудня, почитай, ничего не продали. Слушай, тебя Амнон...

– Я имел в виду: что слышно с моими джинсами? – перебил его Нир. – Посмотри на меня, зараза ты этакая. Да не на лицо смотри – на ноги, на шорты эти дурацкие! Ты же человека к профессору Степушенко без штанов отправил! Ты же человеку жизнь поломал! Друг называется...

– Джинсы... – Шуки секунду-другую помолчал, затем смущенно крякнул и развел руками. – Понимаешь, тут такая история...

Но Нир уже протестующе выставил вперед ладони, мотая головой и показывая всем своим видом, что не желает слушать дальнейших объяснений. Хватит с него на сегодня. Сколько можно? Всё рушится, куда ни посмотри, всё, буквально.

– Что, не рассказывать? – переспросил Шуки. – Совсем?

– Совсем, – твердо сказал Нир. – Давай, помолчим, братан. Может, так дотяну до завтрашнего утра.

Шуки с видимым облегчением пожал плечами.

– Как хочешь. Твои штаны, не мои. Да, вот еще: Амнон просил тебя зайти.

– Амнон? Зачем?

– Откуда мне знать? – Шуки подмигнул: – Это ты у нас в начальниках ходишь. А я, братан, простой солдат, мне не рассказывают...

Кабинеты начальства размещались на эстакаде в торце общего зала. От пчелиных операторских сот их отделяла сплошная стеклянная перегородка. Поэтому Амнон Варди, ведающий в компании вопросами логистики, должен был заприметить Нира еще издали, но отчего-то предпочел изобразить крайнюю занятость. Нир остановился в дверях и кашлянул.

– Вызывали?

Амнон поднял голову от бумаг – совсем как профессор Степушенко двумя часами раньше.

– А, Нирке... проходи, садись... – он снял очки и потер глаза кулаками. – Устал, черт возьми. Когда работы нет, устаешь вдвое больше. Как дела?

– Нормально.

Амнон посмотрел очки на свет, недовольно фыркнул и полез в ящик за салфеткой.

– Вот что... Ты ведь в курсе нынешней ситуации, правда, Нирке? Кризис, лишних денег у клиентов все меньше и меньше. А это наш хлеб, Нирке, – лишние деньги клиентов... – Варди рассмеялся добрым начальственным смехом. – Нам-то они совсем не лишние. Из них нам зарплату начисляют.

Он принялся тщательно протирать очки. Нир молча смотрел на обширную лысину босса. Лысина покачивалась в такт произносимым словам, и яркие лампы дневного света беззастенчиво использовали это движение для легкомысленной игры в зайчики.

– Новых заказов нет, старые кончаются. Да что там говорить, посмотри в зал: на три четверти пусто...

Амнон снова проверил очки на свет. Нир расценил возникшую паузу как приглашение к ответу, вернее даже – к экспертной оценке. С кем еще и консультироваться, как не с ним, самым опытным инструктором фирмы?

– Такое уже бывало, Амнон, – сказал он, стараясь звучать солиднее. – Как-то справлялись. Есть проверенные методы. Надо встряхнуть ребят, провести собрание, усилить контроль. Полезно еще объявить конкурс. Конкурс здорово помогает. Пообещать им приз какой-нибудь, типа одного дня в хорошем отеле. Или, например...

Босс жестом остановил полет его творческой мысли.

– Погоди, погоди... Дело не в этом, Нирке...

Амнон закончил возиться с очками, приладил их на нос и недоуменно воззрился на лежащую перед ним стопку конвертов. Казалось, он заприметил их только сейчас, протерев стекла.

– Дело не в этом, – повторил босс и, вздохнув, потянул к себе верхний конверт. – Дело вот в чем... На, возьми, это тебе.

Нир взял конверт. Амнон снова вздохнул – на сей раз с явным облегчением.

– Не расстраивайся, дружище... – он откинулся на спинку кресла. – Такое в жизни случается и, увы, не единожды. Сокращения, знаешь ли, похожи на диету: сначала она лечебная, потом становится голоданием. Первыми убирают ненужных, затем берутся за неумелых. Ну, а когда лишнего жирка уже не осталось, отрезают живое мя-

со. То есть тех, кому платят выше среднего. Иными словами, таких, как ты, Нирке. Тем более, ты ведь все равно ушел бы через полгода.

Новость была такой неожиданной, что Нир только сейчас осознал, о чем идет речь. Уж если в чем-то он был свято уверен, так это в своем незыблемом положении на работе.

– Секундочку... – вымолвил он, в изумлении глядя на босса. – Вы что, меня увольняете? Прямо сейчас?

Амнон кивнул. Соскочившие с его лысины световые зайчики весело запрыгали по стеклянной стене.

– Прямо сейчас. Дорабатывать этот день не надо, езжай домой. Письмо в конверте, зарплата придет в банк, остальное получишь по почте... – босс неловко поерзал в кресле и сменил тон с делового на доверительный: – Да не бери ты так близко к сердцу. Тебе сколько лет... – мальчишка! Ни семьи, ни ипотеки, ни долгов, ни обязательств. И потом, на черта тебе этот телемаркетинг? Через год тебя с твоим дипломом в такие фирмы возьмут, на такие деньги – ого-го! Не то что некоторых, которые постарше... которым деваться некуда...

– Значит, прямо сейчас... – повторил Нир, все еще не в силах поверить в происходящее. – Ну и денек...

Механически переставляя ноги, он спустился в зал. Шуки поднялся навстречу; глядя на участливо-тревожное выражение его лица, Ниру поневоле рассмеялся.

– Веселей гляди, приятель! – подбодрил он друга. – То ли еще будет!

– Нир... подожди... куда ты?

– Домой, братан, домой, – на ходу ответил Нир. – Если доеду. Ну и денек... Ну и денек...

Он повторял эти слова, как мантру, всю дорогу до Эйяля. Отец еще не вернулся с работы, Лидия Сергеевна возилась на кухне. Увидев внука, она удивилась:

– Сереженька? У тебя ведь сегодня вечерняя смена... Заболел?

И подошла поближе, чтобы если и не услышать ответ, то хотя бы понять его по движению губ.

– Неужели вот так бывает, бабуля? – сказал Нир. – Еще утром у человека было всё, а к вечеру уже ничего. Как же это?..

Бабушка сделала непроизвольное движение руками, будто хотела обнять его, как обнимала очень-очень давно, когда ей приходилось для этого наклоняться или приседать на корточки. Но сейчас наклоняться пришлось бы уже ему, причем сильно, так что объятие выглядело неуместным, и руки Лидии Сергеевны, нерешительно дрогнув, опустились. Зато глаза просветлели, а лицо разгладилось и словно помолодело.

– Ничего, сынок, – так она стала называть Нира после смерти матери, хотя и нечасто, по особым случаям. – Ничего, сынок. Не расстраивайся. Теряешь только то, что и не было твоим. А свое, настоящее, никак не потерять, только вместе с жизнью. Будешь есть? Я могу поджарить шницели, быстро...

– Шницели? – переспросил он, адресуя вопрос скорее собственному животу, чем бабушке.

Однако живот глухо молчал, занятый перевариванием общей душевной горечи. Нир вздохнул и махнул рукой:

– Нет, пойду спать. Не будите, ладно? Ну и денек...

Он боялся, что не сможет задремать, но провалился в сон сразу, едва успев раздеться.

Когда-то Нир уже посещал Учреждение, но лишь однажды, вместе с обязательной школьной экскурсией и совершенно нечувствительно. Это явно были старшие классы, потому что в памяти от поездки осталась одна Сигаль, с которой они тогда еще только переглядывались, но переглядывались до боли в сердце, до головокружительного коловращения замирающей, истончившейся, невесомой души. Все остальное содержание мира едва годилось для того, чтобы служить бледным фоном ее тонкого профиля, линиям ее фигуры, обдуманно беспорядочной гриве волос, которые она то и дело поправляла, не забывая при этом поглядывать из-под руки на Нира, дабы лишний раз удостовериться в безграничности своей власти над всеми его планами и помыслами.

Вот и сейчас, продвигаясь в утомительной утренней пробке на подъезде к Садам Сахарова, и старательно припоминая картины того дня, Нир видел в основном ее, свою любовь десятилетней давности – зрелище крайне неуместное и нежелательное ввиду неминуемой разлуки, усугубленной совсем еще недавней ссорой. Ссорой или разрывом?..

Сигаль и музейные стенды с черно-белыми фотографиями и блеклыми картами. Сигаль и просторный пустой зал с язычком пламени над газовой горелкой. Сигаль и коричневый товарный вагон, зависший над неожиданно широко распахнувшимся пространством иерусалимских холмов, иерусалимского неба и как минимум равновеликим всему этому образом прекрасной Сигаль, Сигаль, Сигаль... Попробуй управься с нею, с этой непослушной памятью.

Внутри города стало свободней и даже дышалось как будто легче. Проехав перекресток Шаарей-Цедек, Нир свернул направо по указателю. Дорога нырнула вниз и покатилась вдоль ровного ряда кипарисов. По-видимому, из-за рельефа местности звуки города здесь совсем не слышались, не было видно и городских домов – ничего, кроме узкого шоссе и ровного строя остроконечных деревьев, напоминающих не то римских легионеров, не то легионерские копья. Нир ехал медленно, чтобы не пропустить следующий поворот. Дорога казалось совершенно безлюдной – ни попуток, ни встречных машин, и это тоже удивляло – ведь еще минуту назад он свернул сюда из суетливого потока торопящихся, раздраженных, сварливых автомобилистов.

Он уже решил, что заехал не туда, но в этот момент впереди показалась будка охранника, а за нею – стоянка и несколько пустых экскурсионных автобусов. Припарковавшись, Нир вышел на большую и тоже странно безлюдную круглую площадь и осмотрелся. Здания. Ступеньки. Стеклянная стена. Где же люди? Ах да – вон мелькнул кто-то... и еще... и там тоже... Да, посетители были, но в то же время как-то не вполне ощущались. Чувство... как бы его назвать?.. – чувство одиночества, вот как – неуютное чувство одиночества, начавшееся еще с кипарисной дороги, плотным, хотя и невидимым облаком висело над всем этим местом.

Нир мотнул головой, отгоняя неприятное настроение.

«Ну, при чем тут место? – сердито выговорил он сам себе. – Не сваливай на других свои личные проблемы. Когда у тебя все плохо,

это еще не значит, что весь мир – чернуха. И вообще, если хочешь получить должность, то встряхнись и гляди уверенней. На рабочих интервью не любят депрессивных кандидатов».

Интервью ему устроила бабушка Лидия Сергеевна. После того рекордно неудачного дня, когда Нир одним махом лишился девушки, работы и реальных перспектив сдать экзамен, он большую часть времени проводил в своей комнате, неподвижно лежа на спине и разглядывая потолок. На третье утро бабушка вошла к нему, постояла, печально глядя на внука, и, наконец, вздохнула:

– Я все понимаю, но нельзя же так, Сереженька...

– Бабуля, я в полном порядке, – откликнулся Нир. – Отстань, ладно?

Состояние полной неподвижности тела и гулкой пустоты в голове оказалось на удивление зыбким, подвешенным, воздушным и в то же время чреватым неожиданными, самыми невероятными переменами. Ведь по физическим законам любая пустота рано или поздно непременно чем-то заполняется. А потому Ниру оставалось лишь тихонько лежать и ждать чудесного прихода какой-нибудь идеи, надежды, дела, которые наполнили бы смыслом сбившуюся с панталыку жизнь. Поэтому понятно, что он в принципе не хотел отвлекаться на посторонние разговоры из боязни пропустить долгожданное спасение: ведь чудо могло произойти в любую минуту.

– Как ты груб, – сказала Лидия Сергеевна, не расслышав ни одного слова, хотя и почти безошибочно угадав каждое из них. – Но что уж тут поделаешь. Ничего не поделаешь. Потом будешь жалеть, но поздно. Уже ничего не вернуть.

– Это я и так знаю, бабуля, про ничего не вернуть, – поморщился Нир. – Ты чего-то хотела?

На этот раз бабушка не поняла сказанного, хотя и различила вопросительную интонацию, требующую ответа. Она подумала, неловко усмехнулась и на всякий случай развела руками.

– Конечно, откуда мне знать... – проговорила она невпопад. – Но я ведь к тебе не просто так зашла. Ты вот думаешь, бабка уже вообще ни на что не годится, а у меня, между прочим, Ревекка Рувимовна работает в Учреждении, в архиве. Не последний там человек. Да. И им как раз требуется юноша для временной работы на три-четыре месяца. По-моему, это именно то, что тебе сейчас нужно. Вот, позвони ей.

Лидия Сергеевна положила на стол клочок бумаги с именем и телефоном, немного помедлила и, не дождавшись ответа, вышла из комнаты. Нир возмущенно фыркнул ей вслед: он вовсе не исключал, что внезапный бабушкин приход помешал таинственному процессу кристаллизации мысли. А что касается клочка бумаги на столе, так тот и вовсе не заслуживал внимания. Смех да и только. Ну что понимают в здешних реалиях бывшие советские старушки, доживающие свою жизнь под занудное бормотание русскоязычных телеканалов? Ревекка Рувимовна, видите ли... Учреждение... Но в этот момент на потолке нарисовалось отчетливое воспоминание о давней школьной экскурсии, о коричневом вагоне на фоне неба, зале с газовой горелкой и черном коридоре мерно звучащих имен, где идущая следом Сигаль вдруг нашла в темноте его руку и вцепилась в нее, заставив забыть обо всем, обо всем.

Он снова фыркнул, отгоняя наваждение, но было уже поздно: бумажка на столе не отпускала, не позволяла сосредоточиться, мешала погружению в прежнюю, плодотворно гулкую пустоту. Пришлось встать и взять в руки чертов клочок, просто чтобы отделаться. Но написанное там имя удивило к лучшему: никакая вам не «Ревекка Рувимовна» и даже не переделанная на местный манер «Ривка», а вполне себе ивритская Эстер – имя солидное, веское, заслуживающее доверия. Нир тут же набрал номер, и дальше всё покатилось само собой, шариком по желобку:

– Шалом, я такой-то...

– Да-да, мы в курсе, ждем.

– Ждете? Но как?..

– Вы не могли бы подъехать завтра?

– Завтра?.. Ну, вообще-то...

– Значит, договорились, завтра утром. В девять вас устроит?

– Э-э...

– Ну и чудно, до свидания.

Гудки, конец разговора. И вот результат: нежданно-негаданно для себя самого он стоит здесь, на этой круглой площади, которая кажется безлюдной даже с людьми. Как? Почему? Зачем? Неужели из-за одной лишь Сигаль? Нир покачал головой: меньше всего это место напоминало о давней школьной экскурсии. Тогда, больше десяти лет назад, все здесь выглядело иначе, не так. Не так. Не так одиноко, не так чуждо, не так пусто... На кой черт он вообще сюда приперся? Вряд ли они в состоянии платить даже минимальный тариф. А пробки на въезде в город? Не вернуться ли домой? Нет-нет, если уж приехал, то нужно хотя бы поговорить, вежливо выслушать, ничего не обещать и затем уже тихо-мирно свалить восвояси.

Решив так, Нир почувствовал облегчение. В просторном вестибюле он нашел стойку справочного бюро, где высокий седой старик, возрастом явно за восемьдесят, но при этом удивительно бодрый и словоохотливый, объяснил, как добраться до архива. Нужное здание располагалось справа, метрах в ста от главного входа, рядом с лекторием и администрацией. На площадке вповалку лежали три-четыре десятка солдат – совсем еще зеленых, если судить по цветным ленточкам на погонах, отсутствию форменных беретов и состоянию крайней усталости. Пригнали на лекцию, – догадался Нир, – в рамках воспитательной программы. Как будто эти бедняги, замученные до полусмерти зверем-сержантом, способны сейчас думать о чем-либо, кроме команды «Отбой!»

Он аккуратно обошел распростертые на каменных плитах солдатские тела. С края площадки открывался знакомый вид на простор иерусалимских холмов и безоблачную жаркую синеву. Все, как десять лет назад, нет только Сигаль и вагона. Сигаль еще ладно, но вагон-то зачем убрали?.. А впрочем, неважно.

В архиве вход охраняла старушка, на первый взгляд еще более древняя, чем давешний восьмидесятилетний бодрячок. «Интересно, что они имели в виду, когда говорили, что требуется юноша? – подумал Нир. – По здешним меркам, я вступлю в пору юности лет эдак через сорок...»

– У меня назначено интервью, – сказал Нир, поздоровавшись.

– Ах! Вы ведь Сережа? – старушка всплеснула руками и перешла на русский, довольно правильный по форме, хотя и слегка покореженный ивритским акцентом. – Я очень рада. Ваша бабушка много о вас рассказывала.

– Ревекка Рувимовна? – догадался Нир.

Он вспомнил гордое бабушкино «она там не последний человек» и с трудом удержался от усмешки. Судя по стратегической позиции бабулиной подруги, она была не только не последним, но определенно первым человеком, с которым прежде всего сталкивался каждый посетитель архива. Хотя нет, и последним тоже, потому что выходили тоже через нее.

– Я сейчас позову госпожу Эстер... – Ревекка Рувимовна взялась за телефон.

Нир внутренне сжался: пока что его знакомство с местными сотрудниками сопровождалось неуклонным повышением их возраста. Согласно этой тенденции, госпожа Эстер должна была прикатить на встречу в инвалидной коляске по причине и вовсе мафусаиловых лет. Однако, на поверку она оказалась весьма энергичной, нестарой по здешним меркам женщиной – пожалуй, даже чересчур деятельной и говорливой. Подхватив Нира под локоть, госпожа Эстер потащила его по залам архива и библиотеки, сопровождая каждый шаг многословными объяснениями.

Ошеломленный внезапным напором, Нир слушал вполуха, не стараясь запоминать: чем дольше он здесь находился, тем более глупой и напрасной выглядела вся эта затея. Тем не менее, он терпел и помалкивал: долг вежливости требовал завершить интервью на приличной ноте. Наконец госпожа Эстер затолкала парня в маленькую захламленную комнатушку; масса бумаг, папок и книг выпирала тут отовсюду – с полок стеллажей, из ящиков стола, из картонных коробок, как каша из сказочного горшочка, который варил безостановочно и не собирался прекращать.

– Вот, видишь?! – смахнув несколько картонных папок, она с размаху бухнулась на стул. – Мой кабинет. Даже гостя посадить некуда!

И в самом деле, в комнатке не нашлось места для второго стула.

– Ничего, я постою.

– А что тебе еще остается? – госпожа Эстер засмеялась, показав крупные, неправильно торчащие зубы. – Как говорили в Бухенвальде, каждому свое.

Сейчас, уже не на бегу, когда Нир получил возможность лучше рассмотреть свою собеседницу, она нравилась ему существенно меньше. В гипертрофированной живости потенциальной начальницы сквозило что-то неестественное, даже немного пугающее. А шуточка про Бухенвальд и вовсе выглядела диковатой, не говоря уж о том, что плохо вязалась с контекстом разговора. Его ведь здесь не в лагерные капо нанимают, в конце концов.

– Я пока так и не понял, в чем будут заключаться мои обязанности. Если мы, конечно, подойдем...

– Подойдем, подойдем! – уверенно прервала его госпожа Эстер. – Знаешь, сколько желающих здесь работать? У-у-ух! Но мы берем именно тебя. А почему? А потому, что Ривка просит. А Ривка тут не последний человек. Ривка доктора Менгеле пережила. По-

этому, когда Ривка чего-нибудь просит, это нужно рассматривать, как то, что доктор прописал…

Она снова рассмеялась, качнула вверх-вниз своими выдающимися зубами и еще раз повторила, склонив голову набок, чтобы вслушаться в понравившуюся ей шутку:

– То, что доктор прописал… То, что доктор…

– И все же: какие обязанности? – напомнил о себе Нир.

– Обязанности…– проговорила госпожа Эстер, как-то сразу поскучнев. – Обязанности простые. Во-первых, сканировать документы. Сам видишь, какой тут бардак. Зашиваемся. Если не перевести архив на компьютерную базу, утонем в бумагах. А у нас рабочий контингент тонуть не любит… – она коротко хохотнула. – Гореть – еще куда ни шло, а вот тонуть ни-ни… Люди не первой молодости. Папки тяжелые. Те, что на верхних полках, не достать. Не гонять же стариков по стремянкам. Они и без того по нарам наползались.

Госпожа Эстер подмигнула Ниру, словно приглашая его улыбнуться, но парень предпочел игнорировать приглашение.

– Ну вот… сканировать… – продолжила женщина. – И всякое еще. Принести чего-нибудь. Поднять. Ты молодой, сильный, а рабочий контингент…

Она замолчала и махнула рукой.

– …тонуть не любит? – закончил за нее Нир.

– И это тоже, – с неожиданно усталой интонацией сказала госпожа Эстер. – Да и с компьютерами они тоже не очень чтобы так. В общем, сам увидишь. Работа широкого профиля.

– На полную ставку?

Госпожа Эстер побарабанила пальцами по столу.

– Со ставкой все не так просто… – она смущенно поерзала на стуле. – Полную мы платить не можем. Только половину минимума, да и то не больше, чем на полгода. Так что придется как-то выкручиваться. Можно не по четыре часа каждый день, а как будет удобно. График тут свободный. В общем, конечно…

Она снова выбила барабанную дробь. Нир молчал, предоставив хозяйке кабинета самостоятельно выкручиваться из неловкого положения.

– Но дело ведь не в этом, правда? – голос женщины вдруг обрел прежнее воодушевление. – Тебе ведь работа нужна, так? А работа штука важная. От работы не отказываются. Как говорили в некоторых местах, работа освобождает. Арбайт махт…

– Да-да, я в курсе, – поспешно перебил ее Нир. – Арбайт махт фрай. Очень смешно.

Он вдруг ощутил настоятельную необходимость как можно скорее вырваться из этого пыльного клаустрофобного кабинета, от торчащих зубов его хозяйки, от ее замогильного юмора. От всей этой сюрреалистической тошнотворной жути – наружу, на воздух, к небу, к простору холмов, к солдатикам, дремлющим на прохладных каменных плитах в обнимку с видавшими виды автоматами. Еще немного, и он начнет задыхаться. Эстер молча смотрела на него из-за стола.

– Я подумаю… – выдавил из себя Нир, отступая к двери. – Я позвоню… сообщу… до свидания.

Ответное прощание он расслышал уже в коридоре.

– До свидания, молодой человек.

Скорее, скорее! Едва ли не сбиваясь на бег, он преодолел коридор. Вестибюль был пуст: как видно, Ривка, она же Ревекка Рувимовна, отдыхала от трудов праведных. Нир толкнул дверь и вывалился на свободу.

На площадке не было ни души: скорее всего, рота уже дремала в зале лектория. Но тень по-прежнему лежала на каменных плитах и на ступеньках террасы, которая выводила взгляд прямиком в пространство распахнутого настежь мира. Эта воплощенная бесконечность не пугала, а напротив, дышала покоем и равновесием. Даже горьковатый полуденный воздух лета казался здесь, на высоте Иерусалима, не таким жарким, как внизу, в долине. Нир присел на ступеньку – перевести дух и прийти в себя.

«Вообще-то, эта встряска не помешает, – подумал он, бессознательно следуя бабушкиной манере искать и находить пользу даже в самых бесполезных происшествиях. – Хватит лежать бревном. Надо вернуться домой, достать учебники. Экзамены на носу. А работу найти не проблема: телефонных центров в стране десятки. Повсюду есть знакомые ребята, из школы, из армии, из универа. С таким-то опытом куда-нибудь да возьмут».

Да-да, именно так, и, чтобы осознать эти простые вещи, вовсе не обязательно было тащиться до самой столицы, жечь дорогущий бензин, стоять в пробках и выслушивать макабрические шуточки госпожи Эстер. Если уж в чем-то Нир сейчас не сомневался, так это в том, что сюда он не вернется ни за какие коврижки. Хотя вид, что и говорить, замечательный... Зря только вагон убрали, а так...

– Красиво, а?

Он повернулся на голос. Слева терраса продолжалась вдоль обрыва, заворачивая за угол лектория; наверно, поэтому Нир, выйдя на площадку, не сразу разглядел сидевшую в этом закутке девушку. Девушка жевала огромный сэндвич, запивая его водой из бутылки.

– Красиво, – согласился он. – А скажите... может, вы знаете... тут раньше стоял вагон...

Девушка проглотила кусок и удивленно уставилась на Нира. Теперь ее лицо показалось ему знакомым. Где они могли встречаться? Да мало ли где... в баре, на пляже, в университете...

– Вагон? – переспросила она. – Раньше? Раньше это когда?

Нир смущенно пожал плечами

– Лет десять-двенадцать назад. Еще до того, как все поменяли. Я был тут на экскурсии со школой. Правда, мало что запомнил. Но вот вид этот помню. Вид и вагон – коричневый такой, будто зависший над краем. Вид остался, а вот вагон...

– Вагон тоже остался, – бесцеремонно перебила его девица, – просто память у тебя дырявая. Где стоял, там и стоит, на западном склоне. А это северный. Так что с видом ты тоже напутал, братан. Не туда глядел, наверно.

Выдав эту тираду, она вцепилась зубами в сэндвич, резким движением оторвала кусок и интенсивно задвигала челюстями, время от времени откидывая назад падающие на лицо длинные светлые волосы.

– Не туда, это верно... – кивнул Нир.

Где же они встречались?

– Хочешь? – не прекращая жевать, девушка показала на сэндвич.

– Нет, спасибо.

Она сделала глоток из бутылки и усмехнулась.

– А смотришь, будто хочешь. Ты не стесняйся, мне одной это все равно много. Давай, отломлю. Ну?

– Ну, давай, – сдался Нир.

– Но смотрел-то я не поэтому, – сказал он, пересаживаясь поближе и принимая из рук девушки кусок сэндвича. – Мы с тобой раньше не встречались?

Она скосила на него ярко-голубой глаз и вдруг расхохоталась.

– Что? – обиженно проговорил Нир. – Что ты смеешься?

– Я ж говорю, память дырявая, – сказала девушка, снова принимаясь за сэндвич. – На прошлой неделе в универе. В кабинете у этого козла Степушенко. Ты туда приполз на полусогнутых. И всё кивал, как китайская собачонка. Ну, знаешь, есть идиоты, которые таких пластиковых собачек в машину ставят, под заднее стекло. Ты за ним едешь, а собачка знай себе кивает, и кивает, и кивает... У-у, гады. Так бы и пристрелила... – она снова метнула на Нира косой взгляд из-за светлой занавеси волос. – Жаль, пистолета нет. У тебя есть?

– Есть, – сухо ответил он. – У тебя тогда волосы были по-другому, хвостом. Поэтому я сейчас и не узнал. Ничего смешного в этом не вижу. А что Стоп-машинке кивал, так не все же племянники самому ректору. Кому-то приходится экзамены и своими силами сдавать.

Последнюю фразу Нир постарался произнести с максимальной язвительностью. Честно говоря, беспардонная манера блондинки начинала действовать ему на нервы. В конце концов, у его забывчивости могли быть – и, кстати говоря, были! – уважительные причины, о которых он не собирался докладывать каждой встречной-поперечной нахалке. Увы, оскорбленная физиономия Нира не произвела на девицу ни малейшего впечатления. Если не считать того, что на сей раз она не расхохоталась во все горло, а просто прыснула в ладонь.

– Племянники? Ректору? Это он тебе сказал? – девушка хлопнула себя по коленке. – Никакая я не племянница, братан. И не только ректору, а вообще никому. Такая вот нетипичная для здешних семей ситуация. У мамы братьев-сестер не имеется, были да сплыли задолго до моего рождения. А отец... ну, неважно. Короче, я твоему Стоп-машинке наплела, а он и поверил. С такими козлами иначе нельзя. Да ты не обижайся. Я ж над собой смеюсь, не над тобой. Ешь лучше, что ты сидишь с этим сэндвичем. Тебя как зовут?

– Нир.

– А я...

– Рейна, – вставил он. – Как видишь, что-то я все-таки помню. Сестричка.

– Ну, вот и познакомились, – констатировала она. – Не бери в голову.

– Вот еще.

Какое-то время они молча дожевывали сэндвич. Из-под ног сбегал в распадок лесистый склон, тонко звенел прозрачный голубой свод, и ястребы чертили плавные круги прямо на уровне глаз.

– Что за имя такое шкодное – Рейна? – спросил Нир, адресуясь к пейзажу. – В Танахе такого нет.

Девица хмыкнула.

– Точно, нет. Это я сменила. Раньше-то от рождения меня звали... ну, неважно. По-другому. А имя Рейна я после бабушкиной смерти взяла. В память о ней. Это довольно просто. Поменять то есть. Идешь в бюро...

– Я в курсе, – кивнул Нир. – Тоже менял. Только наоборот. С чужого на местное. А так – какой смысл?

– Смысл... – эхом повторила девушка. – Смысл, смысл, смысл...

Она посмотрела на часы и быстрыми движениями стала подбирать со ступеньки остатки своего завтрака: пластиковый пакет, мятую салфетку, бутылочку с водой. Сейчас уйдет, понял Нир.

– Погоди, – сказал он. – Мне и правда интересно. Может, я неправ. Может, и мне надо назад поменять.

Девушка пожала плечами.

– Зачем поменяла? Вряд ли ты поймешь. Тут ведь всё очень индивидуально. Каждому свое.

– Как говорили в Бухенвальде... – добавил Нир, вспомнив госпожу Эстер.

– Что? – не поняла она.

– Да так, неважно... Я тут на интервью был. Думал устроиться, временно. Но больно уж место... – он поискал нужное слово, – депрессивное. И люди странные. Не говоря уже об оплате. Тут даже минимум...

– Странные, а? – перебила его девушка. – Что есть, то есть. Я вот тоже странная, правда? Рейна и всё такое...

Синие глаза смотрели твердо, с вызовом. Та еще штучка. Нир отвел взгляд.

– Да я не к тому, ты не подумай, – неловко проговорил он. – Рейна – красивое имя. Особенно тут, где дожди в цене.

– Дожди? – недоуменно переспросила она и вдруг, поняв, расхохоталась.

Все-таки смех шел ей намного больше серьезности. Глядя на девушку, начал смеяться и Нир. Наверно, он должен был казаться ей дурак-дураком. Отсмеявшись, она весело уставилась на него.

– Ты что, решил, что Рейна – означает «дождливая»? Нет, братан, ошибочка. Рейна по-итальянски значит королева. Понял? Королева!

– Подходит... – вырвалось у него.

– Королева! – повторила она, пропустив его реплику мимо ушей. – Моя бабушка родилась в Хотине. Знаешь, где это? В Северной Буковине, на правом берегу Днестра. Тебе эти слова что-нибудь говорят? Ты вообще с географией в ладах? Украина... слыхал об Украине? О Бессарабии? Ну, так вот, Хотин это на западе Украины, к северу от Бессарабии. Рюхаешь хотя бы примерно?

– Конечно, рюхаю, – соврал Нир. – Не такие уж мы и неграмотные. Знаем, читали. Только вот Италия, вроде как, с теми местами никак не граничит. Откуда же имя?

– Надо же! Какие познания! – насмешливо воскликнула девушка. – Италия не граничит с Украиной! Ты и в самом деле начитан.

«Ничего, ничего, – пронеслось у Нира в голове. – Насмехайся, сколько хочешь. Главное, не уходи...»

– И все же, – сказал он вслух, изображая неподдельный интерес к происхождению королевской бабушки. – Ты так и не ответила на вопрос.

– Ладно... – Рейна отложила пакет. – Тогда слушай. Если коротко, то на северо-востоке Италии есть такой город Генуя. И Генуя эта в средние века славилась своими купцами. А среди купцов этих было немало евреев. Ну вот.

Она подвинулась, поджала ногу и принялась рисовать пальцем на ступеньке.

– Теперь смотри. Вот Италия. Вот Генуя. А вот восток Священной Римской империи... Галиция... Волынь... Польша... Пруссия... шведы... Как туда купцу добираться в каком-нибудь двенадцатом-тринадцатом-четырнадцатом веке? Сухопутными дорогами – ограбят стопроцентно. Ты, конечно, не в курсе, но это времена крестовых походов, Европа кишит разбойниками и всякой швалью. На востоке монголы. Получается, что самый надежный путь – по воде... – рука девушки очертила широкую дугу. – По Средиземному морю в Черное, а оттуда – вверх по рекам. Такой маршрут. Вот тебе и Италия на Днестре. В Хотине генуэзцы базу построили, склады, оптовую торговлю развернули. Там их крепость до сих пор стоит. Так что для евреев-купцов это место было знакомым, привычным. Ну вот. А когда крестоносцы в Европе стали поджаривать евреям пятки, и пришлось бежать на восток, тут-то десятку-другому семей Хотин и пригодился. Теперь понятно, откуда у моей бабушки такое имя?

Рейна легко поднялась на ноги.

– Подожди, – Нир тоже вскочил, лихорадочно соображая, что бы такое сказать. – Ты сейчас куда?

– Как куда? – удивилась девушка. – В библиотеку архива. Читать. Слушать. Я, братан, сюда каждый день хожу. Как на работу.

– Зачем?

– Надо, – коротко ответила она. – Бай, географ!

Девушка взбежала по ступенькам к двери архива – той самой, из которой Нир, не чуя под собой ног, вышел – вернее, выпал – каких-то полчаса тому назад. Сквозь стеклянную стену вестибюля было видно, как она приветственно машет рукой восседающей за стойкой Ревекке Рувимовне и скрывается в проеме коридора. «Даже не обернулась», – уныло отметил Нир.

На следующее утро он известил госпожу Эстер, что хотел бы как можно скорее приступить к работе. Да-да, как можно скорее. Желательно прямо сегодня вечером, максимум – завтра с утра.

III

Когда разбойничьи толпы крестоносцев стали потрошить Европу и многим евреям пришлось выбирать между отречением от веры и бегством на восток, десяток-другой генуэзских купцов погрузили семьи и пожитки на корабли и отправились привычным маршрутом в Хотин, за крепкие каменные стены. С тех пор много воды утекло в Днестре, но память о прошлом жила, и не только в странных для местного уха итальянских именах. Ведь в купце есть что-то от кочевника, что-то в корне отличное от склонных к непримиримому консерватизму оседлых торговцев или ремесленников, не говоря уже о земледельцах. Длительные путешествия предполагают особенный строй души, широту взглядов, привычку рисковать и умение ужиться с непонятными чужаками.

Возможно, поэтому еврейская община Хотина, в отличие от многих других, никогда не боялась приютить гонимого отщепенца. Сюда пускали и караимов, и франкистов, и даже жидовствующих русских крестьян, не говоря уже о приверженцах многочисленных и зачастую соперничающих хасидских дворов. А любовь к риску можно было с избытком удовлетворить благодаря географическому положению города, расположенного на стыке Буковины, Бессарабии, Галиции и Подолии, на высоком берегу реки, которая издавна служила естественной границей между крупными державами. И если в тебе бьется авантюрная купеческая жилка, то граница и таможенные запреты прямо-таки взывают к занятию контрабандой...

Всем хорош славный город Хотин – и богатой ярмаркой, и вольной волей, и солидным заработком, и не бедно устроенной жизнью, надежной, как местные крепостные башни. Что еще нужно человеку? Ну, разве что – родиться в спокойное время, потому что тем, кому выпало жить в разбойные годы, даже Бог не помощник. В этом смысле Рейне Лазари не слишком повезло. Война всегда особенно тяжела для приграничной местности, а уж мировая долгоиграющая война тем более. Молодых мужчин забривают в армию, гонят в окопы, на бойню. Заработка нет, вместо ярмарок – грабежи и погромы, а обычная контрабанда становится смертельно опасным делом, ведь в глазах военных с обеих сторон фронта любой контрабандист – прежде всего, шпион.

Ицхок-Лейб Лазари, дед Рейны, держал в Хотине небольшую гостиницу. Новорожденную назвали в честь его покойной матери. С именем угадали: девочка выросла красивой и статной, истинной королевой. Соответственно, и от женихов не было отбоя. Рейна могла выбрать кого угодно, например, богатого наследника из мукомольных магнатов, или ученого гения со двора цадика Мордехая Тверского, или высокообразованного доктора хорошо оплачиваемых наук с дипломом швейцарского университета. Но известно, что у королев, как и у всех породистых существ, крайне своенравный характер. В итоге, Рейна влюбилась в простого кожевенника Золмана Сироту, чья фамилия более-менее отражала реальное положение дел, а именно, человека без роду и племени.

Почему более-менее, а не точно? Потому что Золман, скорее всего, происходил из хорошей еврейской семьи – предположительно, николаевской. Именно оттуда, из Николаева, пришел на одесский вокзал пассажирский поезд, в котором железнодорожные контролеры обнаружили перепуганного до смерти трехлетнего мальчугана. Парнишка прятался под лавкой одного из купе в вагоне первого класса и сначала наотрез отказывался вылезать, поскольку мама строго-настрого наказала ему сидеть там, пока она не вернется.

Увы, дело происходило в конце пасхальной недели 1899 года, а потому возвращаться к мальчику было решительно некому. В городе Николаеве только-только отгулял-отпраздновал вольную вольницу трехдневный еврейский погром. Некоторые состоятельные семьи, пересидев в городских гостиницах первую волну грабежей и насилия, решили не дожидаться второй и на время выехали из Николаева. Для кого-то это решение оказалось роковым: погромщики врывались в поезда, грабили, насиловали и зачастую убивали, выбрасывая людей из вагонов на полном ходу.

Спустя несколько дней убитых находили возле железнодорожного полотна, раздетых едва ли не догола и изувеченных двуногим зверьем. Четвероногое зверье и стервятники тоже принимали участие в пиршестве, так что в большинстве случаев трупы было не опознать. Для порядка их держали по нескольку дней в ближайшем морге, а затем закапывали невостребованных мертвецов в безымянных могилах. Судя по состоянию купе, в котором нашли маленького Золмана, его родителей постигла именно такая судьба. Самому же ему повезло: как видно, мать спрятала сына за несколько минут до того, как убийцы выломали дверь.

Документов не осталось никаких, а мальчик по малости лет не знал ничего, что могло бы помочь. Ничего, кроме собственного имени – Золман, Золотко, Золе... Не найдя концов с первой попытки, железнодорожная полиция сдала найденыша в детдом для еврейских сирот: пусть, мол, недельку-другую перекантуется там, пока родственники не обнаружатся. Родственники не обнаружились. Неделька-другая растянулась на девять лет. Яркие цветные образы пропавших родителей мало-помалу поблекли на серой холстине детдомовских будней.

– Вспоминай! – говорили ему. – Не может быть, чтобы ты ничего не помнил. Как назывался город? Или это была деревня? На какой улице вы жили? Какого цвета был дом? Ты спал в своей комнате? Что ты видел на стене, в квартире, за окном? Как звали твою мать, твоего отца?

Как звали? Отца звали «Папа», мать – «Мама»... В голове мальчика вертелись лишь обрывочные картинки последних дней николаевского погрома, глубокими царапинами врезавшиеся в память именно из-за своей необычности, вернее, из-за состояния пугающей тревоги, которая передавалось ему от взрослых. До этого мир был прост, понятен и полон ласки, а значит, не требовал особого внимания; поэтому он так и остался для Золмана бесформенным розовым облаком счастья, неведомым и безымянным, как могилы родителей. Зато гостиничный номер он помнил довольно четко. Помнил отца, угрюмо сидящего у стола, положив подбородок на сцепленные руки. Помнил мать, которая осторожно выглядывала в окно и поминутно повторяла:

– Боже, когда это кончится? Когда?

– Отойди от окна, – говорил отец.

– Может, задвинуть портьеры? – предлагала она.

– Ни в коем случае! – отец вскакивал и снова садился. – Ни в коем случае. Для них это знак, что тут боятся...

Знак? Какой знак? Золман ясно видел, что родители боятся без всякого знака, видел и боялся сам, боялся так, что даже не мог плакать. Потом они ехали на извозчике к вокзалу, и улица была белым-бела от пуха. Пух порхал повсюду, как снег во время сильного снегопада; он летал по воздуху, садился на лица, на одежду, на чемоданы, на спину лошади, на карнизы домов, легкими облачками взвивался с мостовой, прилипал к первой клейкой зелени деревьев. Повсюду пух, пух, пух... – это было бы удивительно и красиво, если бы не выражение страха на лицах родителей.

– Боже, когда это кончится? – повторяла мама. – Зачем они режут перины?

– Если бы только перины... – угрюмо отзывался отец.

Потом был поезд, и купе, и грохот, и отец, судорожно вцепившийся в дверную ручку, и мама, запихивающая Золмана под лавку.

– Сиди тут! Сиди тут, пока я не вернусь, и ни за что не выходи! Как будто играешь в прятки. Обещаешь? Это очень важно! Обещаешь? Ни за что не выходи, понял? Золман, ты меня понял?..

Да, он понял. Как будто играешь в прятки. Как будто. «Как будто» значит, что нельзя выходить, даже если очень надоест. Надо сидеть, пока не вернется мама, и тогда она обязательно вернется. Потом было такое, что ему пришлось зажать руками уши и зажмуриться, чтобы не видеть чужих сапог, не слышать криков, ругани и других страшных звуков. Потом была тишина, потом вошел кто-то в ботинках и сказал:

– Знатно погуляли.

И другой голос спросил:

– Где же они теперь?

– Известно где, – ответил первый. – Довольно, попили нашей кровушки.

– И мальца? Мальца-то за что?

– За ноги, – хохотнул первый. – За ноги да об пол. Режь хряка с холоду, а жида смолоду...

Потом Золман устал, и заснул, чтобы быть разбуженным шваброй уборщика уже на одесском вокзале. Когда мальчику исполнилось двенадцать, его взяли помощником в кожевенную мастерскую. Теперь он сам носил такие же тяжелые воняющие дегтем сапоги, которые топтали на вагонном полу вывороченные из чемоданов мамины платья. Работа с кожами не для слабаков, выживают там только самые сильные. Золман Сирота выжил. На втором году войны его мобилизовали, и парень честно отвоевал свое в Бессарабии и на Буковине, отступая и наступая вместе с российскими армиями Юго-Западного фронта, пока революция не развалила и фронт, и армии, и Россию.

Теперь, с Георгием на груди и с винтовкой в руке, Золману меньше всего хотелось возвращаться в Одессу, к неприятным воспоминаниям о детдоме и тяжкой доле сироты-подмастерья. Но других предпочтений у него тоже не было. Поэтому он просто осел там, где отшумел последний митинг разагитированного большевиками эскадрона – на правом берегу Днестра, в районе города Хотин. По округе гуляли разношерстные банды, так что на первых порах пригодились и винтовка, и военный опыт. Большевики грабили меньше прочих, и Золман около года партизанил вместе с ними.

Потом, когда выяснилось, что правобережная Бессарабия отходит к Румынии, комиссар отряда Шехтман собрал бойцов и объявил о передислокации.

– Нашему отряду приказано следовать на восток, – сказал он.

– Восток большой... – осторожно заметил комвзвода Золман Сирота.

– В район Николаева, – конкретизировал Шехтман. – Будем устанавливать советскую власть в городе.

В район Николаева Золману хотелось еще меньше, чем в Одессу. Отряд ушел без него – так же, как эскадрон годом раньше. При желании в этом можно было усмотреть перст судьбы, что Сирота и сделал, поселившись в деревне в двадцати верстах от Хотина. Вы-

бор оказался благоразумным: мир в Бессарабии наладился почти сразу, в то время как за Днестром еще года четыре бушевала гражданская война и разбойничали банды.

Золман быстро встал здесь на ноги – помогла приобретенная в Одессе профессия. Он ездил по окрестным селам и скупал овечьи и коровьи шкуры, из которых затем выделывал полушубки и ременную упряжь. Как видно, парень знал свое ремесло совсем неплохо; к концу двадцатых годов у него уже была известная на всю окрестность мастерская с несколькими работниками. Кроме того, хотя эти места и именовались теперь румынской территорией, образ жизни здесь остался прежним. Столетие, проведенное в составе Российской империи, не могло испариться бесследно, проявляясь и в языке, и в обычаях, и в контрабандных связях с левобережьем.

Казалось, это осознавали и румынские власти: они долго вели себя так, будто Северная Буковина и Бессарабия прирезаны к королевству случайно и ненадолго. Поначалу эхо политических бурь, сотрясавших Бухарест, Яссы и Тимишоару, почти не докатывалось до пограничного Хотина: район пользовался репутацией «еврейско-коммунистического», и какое-то время его предпочитали не трогать, оставить на потом. Однако пришел день, когда и здесь замелькали синие рубашки кузистов. Вооруженные дубинками и кастетами, они приезжали с юга на подводах, отрядами по десять – пятнадцать человек. Объектами нападений обычно служили деревенские рынки, вернее, еврейские торговцы и еврейские покупатели. Не встречая сопротивления, кузисты разрушительной волной прокатывались по рыночной площади и исчезали, оставив после себя проломленные черепа и опрокинутые прилавки.

Так было повсюду, пока «синие» не сунулись в деревню Золмана Сироты. Вряд ли Золман планировал организованный отпор; по общему мнению, кожевенник, хотя и обладал недюжинной силой, отличался при этом поразительно мирным характером и предпочитал уступить даже в тех случаях, когда его откровенно задирали. Скорее всего, в состояние неуправляемой ярости его привел особый звук погрома, накатывающегося на ярмарочную площадь – звук, живо напомнивший ему события тридцатилетней давности. На сей раз Золман не полез под лавку, а схватил попавшийся под руку железный штырь и бросился навстречу погромщикам. За хозяином, после секундного промедления, последовала и тройка его подмастерьев.

Боя не получилось. Четверо кожевенников жестоко отметелили дюжину растерявшихся от неожиданности кузистов. Им даже не позволили убежать – били железом, нещадно, до потери сознания, а затем побросали бесчувственные тела на подводы и вывезли за околицу. Уже вернувшись с победой на площадь, Золман вдруг наткнулся на восхищенный взгляд высокой красавицы-горожанки. Наткнулся, как мотылек на булавку, наткнулся и пропал.

Тогда еще гимназистка, ученица выпускного класса хотинской гимназии, Рейна была не из тех королев, которых делает свита. Она не нуждалась в стороннем подтверждении своей августейшей породы. Любой, даже самый предубежденный наблюдатель, мог с легкостью убедиться в этом, посмотрев на ее стройную фигуру, походку, гордо поставленную голову. А уж тем, кому выпадало счастье встретиться с ней взглядом, и вовсе оставалось лишь потерять дар речи и

замереть в глубоком поклоне. Потому что царственная суть проявляется не в количестве подданных и не в размере захваченных земель, а в особенном благородстве, которое призвано напоминать нам, простым смертным, о вечной божественной природе этого мира.

К тому времени Ицхок-Лейб Лазари уже отошел от дел, и гостиницей управлял его сын Аарон, отец Рейны. Оба старших ее брата учились – один юриспруденции в Бухарестском университете, другой в Яссах, на фармацевта. По случаю пасхальных каникул они гостили дома в Хотине. Как водится, господа столичные студенты заскучали уже на третий день, и Рейна предложила им съездить на ярмарку в Клишково.

По дороге братья сцепились в яростном споре. Будущий адвокат симпатизировал коммунистам и мечтал о мировой революции, зато фармацевт твердо усвоил из своего учебного курса, что универсальное лекарство предлагают только мошенники, а потому разумнее будет сосредоточиться на частной задаче возвращения в Землю Израиля. Рейна слушала и помалкивала. Не то чтобы ей было нечего сказать: в доме Лазари традиционно читали литературу и периодику как минимум на пяти языках: идише, иврите, румынском, русском, французском. Просто уж больно славная весенняя погода стояла с утра, уж больно соскучилась Рейна по старшим братьям, уж больно хотелось ей хоть ненадолго вернуть прежние времена их беззаветного подросткового союза.

Потом, уже в Клишково, когда всеобщий веселый настрой заставил сиониста и коммуниста отложить на время идейные распри, Рейне показалось, что ее желание исполнилось. Как в прошлые годы, втроем, в обнимку, они беззаботно слонялись по цветистым торговым рядам, разглядывали традиционные ярмарочные диковинки, приценивались, шутили, смеялись и поддразнивали друг друга. Тем сильнее поразила девушку перемена, произошедшая с братьями в момент нападения «синих рубашек».

Оба побледнели и застыли на месте, буквально парализованные ужасом. Несколько лет, проведенных в Яссах и Бухаресте, приучили парней до смерти бояться легионеров Кузы и «железногвардейцев» Корнелиу Кодряну. Там, в столицах, подобные погромы не ограничивались опрокинутыми прилавками; сторонники Кодряну убивали людей среди бела дня, выстрелами в упор, убивали и тут же гордо сдавались полиции, как бы принося себя в жертву великой национальной идее. Этот кровавый фанатизм не мог не пугать. Да, в последнее время черная кошка пробежала между Кузой и Кодряну, но так ли уж велики их разногласия? Попробуй, отличи издали синюю униформу кузистов от зеленых блуз «Железной гвардии»... Здесь, в провинциальном Хотине, братья думали перевести дух, отдохнуть от постоянного напряжения столичных городов, от яростных митингов и судебных процессов, от демонстраций и покушений. И вот – на тебе – проклятые фашисты достали их даже на деревенской ярмарке! Как тут не побледнеешь...

Тем разительней был контраст между этими беспомощными, трясущимися от страха интеллигентиками и победительной статью четырех кожевенников. А уж их вождь и вовсе показался Рейне воплощением Маккавея, без оглядки бросающегося навстречу вражеским фалангам. Что ж, Золман Сирота действительно выглядел в

тот день истинным героем, во всей красе и силе своих тридцати шести лет: яркая праздничная рубаха, искрящиеся карие глаза, ослепительная улыбка триумфатора и густые черные кудри, рассыпавшиеся в живописном беспорядке по причине отсутствия потерянного в драке картуза. Но стоило ли жалеть об этой потере, если некая мечтательная гимназистка тут же на месте потеряла не какую-то там шапку, а всю свою голову до последнего волоска, без памяти влюбившись в новоявленного Маккавея?

Нельзя сказать, что мысли о женитьбе не приходили ему на ум до той памятной клишковской ярмарки 1932 года. Приходили и мысли, и свахи; немало прекрасных девушек из хороших семей заглядывались на красивого работящего мужчину. Вот только всякий раз находилась у Золмана отговорка: то война, то строительство дома, то мастерская, то долги... Затем отговорки кончились. Уже и война давно забылась, и дом стоял на загляденье, и кожевенный бизнес стал приносить солидный доход, и долги были выплачены до последнего грошика, а все никак не ладилось дело у хлопотливых свах из Хотина и окрестных местечек.

Нет, Золман вовсе не жил монахом, даря свое мужское внимание то одной, то другой молодой вдове, но связи эти длились, как правило, недолго. Стоило женщине завести естественный, казалось бы, разговор о семье и о детях, как Золман замыкался, мрачнел и, в конце концов, уходил, возвращаясь к одинокой жизни. Почему он так боялся создать семью? Не потому ли, что его собственное сиротское детство прошло на жестких скамьях чужих неприветливых домов? Не оттого ли, что знал: он, чудом уцелевший под лавкой железнодорожного вагона, в то время как прямо над его головой насиловали и убивали мать, не в силах будет вынести страха за судьбу своего ребенка? Действительно, стоит ли рожать и любить детей, когда им угрожает что-то подобное?

Но если уж на то пошло, история Золмана во многом походила и на известные легенды о несчастном царевиче-королевиче, которого в младенчестве выдернули из круга, определенного ему самим фактом благородного происхождения. Украли из колыбели, выхватили из материнских рук, бросили в лесной чаще, заколотили в ящик, отдали на волю речного потока... Оставили умирать, а он выжил, выжил и живет теперь в каком-нибудь медвежьем углу, под дальней горой, на неведомом острове – живет и ждет, пока неторопливый циркуль судьбы не соблаговолит наконец замкнуть назначенный круг. А чего еще может ждать сказочный королевич, если не встречи с королевой?

Они поженились через полтора месяца, в конце мая, после того как Рейна с истинно королевским высокомерием отвергла все возражения родственников, которые поначалу и слышать не хотели о подобном мезальянсе. Невеста из аристократического дома Лазари, ведущего свою родословную от Римской республики времен Помпея, – и безвестный сирота, без семьи, без племени и даже без фамилии! Столпы хотинской интеллигенции, все сплошь с университетскими дипломами – и полуграмотный кожевенник, едва осиливший ремесленную школу! Не говоря уже о разнице в возрасте: ну пять лет... ну десять... но девятнадцать?! Девятнадцать?! Где такое видано, Боже милостивый?! Ведь не какая-нибудь кривая-горбатая эта Рейна Лазари – красавица писаная! Любовь любовью, но надо

ведь и о будущем подумать: какую, спрашивается, долю она себе уготовила через двадцать пять – тридцать лет? Что будет делать с немощным стариком в жаркие дни бабьего лета?

Но особы королевского духа тем и отличаются от простых смертных, что не копят медные пятаки, не выкраивают варианты, не откладывают на черный день ни чувства, ни драгоценности. Обитатели высоких сфер, они слишком презирают низменную мелочность, чтобы принимать ее во внимание, а потому не берегутся ни от воров и мошенников, ни от бедности или старости. Хитрые холопские души нередко наживаются на этом, посмеиваясь над царственной наивностью, но на самом-то деле наивны не короли, а глупые обманщики-хитрованы. Ведь жизненный выигрыш заключается не в горсти выцыганенных монет. Монеты хороши лишь тогда, когда дарят человеку свободу – свободу от страха, от голода, от холода, от воров и мошенников, от бедности и старости. То есть ту самую свободу, которая дается королям без каких-либо дополнительных хлопот. Выходит, не так уж они и наивны в своей высокомерной беспечности...

Вот и Рейна оказалась права той же царственной правотой. Золман надышаться не мог на молодую жену и на вновь обретенную семью. По-настоящему может оценить счастье лишь тот, кто знает, каким трудом оно дается и с какой легкостью теряется. Куда только подевалась тяжкая глыба льда, навалившаяся на душу кожевенника, мучившая его кошмарами по ночам, а днем томящая внезапными приступами страха и подозрительности? Исчезла непосильная туша беды, испарилась, растаяла в тепле лучезарной улыбки красавицы Рейны. И, испарившись, обнаружила под собой неиссякаемые залежи нежности и любви.

Казалось, что сама судьба радуется, глядя на влюбленную пару. Ровно в положенный срок родился желанный первенец Давид – здоровый и красивый мальчуган, затем на свет появилась любимица отца малышка Фейга, а еще четыре года спустя – третий ребенок, названный Борухом, то есть благословенным. Благословение и в самом деле не покидало семью Золмана Сироты: болезни обходили стороной, а удача сопутствовала кожевеннику и в большом и в малом. Ах, вот бы и жить так до самой старости в этом отдельном, этом неизбывно счастливом мире!

Но лгут те, кто уподобляет человека отдельному миру: не мир он, а малая частичка, не море, а крошечная капля. Если поверху гуляют небольшие волны и ветер умеренно свеж, то еще можно рассчитывать на относительный покой где-нибудь в глубине, в тиши подводного грота. Но когда разыгрывается настоящий шторм, в его ревущий безжалостный ад вовлекаются все и вся, вплоть до самой последней капельки. Всем тогда один приговор: виновен, одна судьба: соучастие, одно упование: выжить, уцелеть, не разбиться вдребезги на гребне безумного пенистого вала.

Как выяснилось, не зря румыны чувствовали себя столь неуверенно в Бессарабии и Северной Буковине – их власть продержалась здесь чуть дольше двух десятков лет. Только-только начали осваиваться, вводить свои порядки, как на тебе: слезай, поворачивай оглобли, отправляйся восвояси. Летом 40-го в Хотин вернулись русские. Украинцы отнеслись к смене гражданства более-менее безразлично, зато евреев такой поворот событий немало обрадовал. К концу три-

дцатых они уже всерьез опасались погромов со стороны террористов «Железной гвардии» и ордена «копьеносцев» своего многолетнего врага Александра Кузы, который на старости лет смог добиться поста государственного министра и члена Королевского совета.

В последних числах июня колонна румынских грузовиков покидала город; вслед ей летели насмешки и комья сухой грязи. На городской площади собралось особенно много народу. Когда в дверцу головной машины, взметнув облачко пыли, ударился очередной комок, автомобиль остановился. Вышел начальник городской полиции, оглядел притихшую толпу, загодя украсившую красными бантами пиджаки и околыши фуражек, покачал головой:

– Радуетесь? Ну радуйтесь, радуйтесь... А ну как я вернусь, что тогда будет? А я ведь вернусь! Слышите? Я обязательно вернусь!

– Вали-вали к своему Антонеску! – послышался чей-то одинокий выкрик. – Ждите красных в Бухаресте!

Никто не поддержал крикуна. Люди молчали, охваченные внезапным дурным предчувствием. Начальник снова покачал головой, сплюнул и вернулся в машину.

С приходом русских из магазинов моментально исчезли товары, потому что установленный советской властью обменный курс румынских денег оказался на порядок ниже реального. Вещи, еще вчера стоившие десятки полновесных румынских лей, сегодня уходили буквально за копейки. Пока владельцы лавок догадались перейти на новые рублевые цены, покупатели с другого берега начисто смели содержимое всех полок. Впрочем, и само владение лавками довольно быстро стало невозможным. Крупные торговцы, промышленники и владельцы мукомольных предприятий сбежали с румынами, а мелким ремесленникам власти предложили организоваться в кооперативы по советскому образцу.

И снова удача не обошла стороной Золмана Сироту – в отличие от многих его коллег-частников. Не зря ведь он партизанил в Гражданскую на стороне красных. Уже в августе Рейна могла поздравить мужа с должностью председателя промкооператива кожевенников и скорняков. Не забыл Золман и своих бывших подмастерьев, вместе с которыми он некогда прогнал кузистов с клишковской ярмарки. Они давно уже работали самостоятельно, но разве можно забыть старую дружбу? Правда, из тех трех мушкетеров остались в Хотинском районе к этому времени только двое: Петро Билан и Войка Руснак. Обоих Золман сделал важными птицами, своими заместителями.

Нельзя сказать, что Рейну сильно обрадовали перемены: она и без них жила счастливо, так стоит ли искать добра от добра? Да и судьба отцовской семьи беспокоила. Гостиницу в Хотине национализировали; лишь благодаря связям Золмана удалось добиться того, что Лазари остались на прежнем месте, хотя и в качестве совслужащих, а не владельцев. Но делать нечего: приходилось привыкать к новой жизни. Дед Рейны, старый Ицхок-Лейб, который теперь дни и ночи напролет сидел над пожелтевшими страницами Талмуда, поднимал на внуков и правнуков подслеповатые слезящиеся глаза, кряхтел, грозил крючковатым пальцем:

– Не гневите Творца глупыми жалобами! Пока что все, хвала Господу, живы-здоровы, а значит, и причитать нечего. Каких только порядков мы тут в Хотине ни видели, кого только ни пережили! И

князя молдавского, и польскую шляхту, и турок, и русского царя, и бухарестского короля. Переживем и московских большевиков, ничего страшного...

Что ж, привыкать, так привыкать. Русские отменили и гимназию в Хотине, и хедеры в местечках; оставшийся без работы клишковский меламед Альперт носа не казал на улицу: красные власти не жаловали служителей культа. В сентябре маленький Давидка пошел в первый класс советской школы.

– Вот и хорошо! – смеялся Золман. – Чему его учили в хедере? Молитвам и старым сказкам? Пускай теперь парень читает-пишет по-русски: скоро на этом языке весь мир заговорит!

Возможно, все к этому и шло – по крайней мере, радиоточки в домах и на площадях вещали именно так, по-русски. В конце мая через Хотин прошли колонны танков и грузовиков с солдатами и армейскими грузами. Колонны двигались на запад, в сторону Черновцов, и Золман многозначительно подмигивал, рассказывая об этом жене. Направление движения Красной армии наглядно подтверждало его прогноз о скором и повсеместном распространении русского языка.

– Какие наши годы? – мечтательно говорил он, – Мы с тобой еще погуляем по Елисейским полям!

Рейна отмахивалась:

– Ну да, конечно! Париж ждет не дождется твоих овчинных полушубков...

А еще через месяц разразилась война. Сначала об этом громко объявили неизвестные самолеты, ни с того ни с сего сбросившие несколько бомб на сонный воскресный Хотин, а затем ту же новость скорбно подтвердили советские радиоточки, известив заодно и о всеобщей мобилизации. Старших братьев Рейны забрали сразу, Золман не подошел по возрасту. В первые дни репродукторы вещали без перерыва: передавали указания, предписания, сводки. В перерывах между рублеными фразами русской речи звучала музыка духовых оркестров – маршевая, строевая, настраивающая на серьезный боевой лад. К несчастью, сообщения касались лишь главных фронтов и направлений. Правительственное радио почти не упоминало ни Бессарабию, ни Северную Буковину, а уж о маленьком Хотине никто и вовсе не вспоминал.

Другие языки, в отличие от русского, не располагали ни радиоточками, ни громкоговорителями. В их распоряжении были только слухи, которые, как известно, умеют обходиться и без эфира. Слухи гуляли повсюду, шелестели испуганным шепотком идиша, звенели едва сдерживаемой радостью румынской речи, заговорщицки, с придыханием обменивались вышитыми подушечками мягких украинских слов. Говорили разное – манящее и многообещающее для одних, невообразимо страшное для других.

– Не слушай ты этого вранья, – уговаривал Золман испуганную жену. – Слушай радио.

Однако к концу первой недели войны радио замолчало, и остались одни слухи. Что-то явно пошло не так, вразрез с оптимистичными прогнозами председателя промкооператива Золмана Сироты. В пятницу Золман велел жене собрать одежду, еду и другие необходимые для пребывания вне дома вещи. Сердце Рейны сжалось: она привыкла во всем полагаться на мужа, в том числе, и на его

уверенность в непобедимой мощи Красной армии. Если уж Золман решил уезжать, значит, дела действительно плохи.

– Надолго? – спросила она.

– На месяц, – мрачно отвечал кожевенник. – Ты пока собирайся, а я съезжу в город, посмотрю, что и как.

До города Золман ехал втрое дольше обычного: гражданским подводам не позволяли подняться на большак, который был вплотную, бампер к бамперу, загружен армейским транспортом. Правда, теперь грузовики двигались в обратном направлении – на восток.

Хотин стоял притихший, еще не опомнившийся от недавней бомбежки. Улицы были непривычно пусты, в облике редких прохожих чувствовалась какая-то боязливая поспешность, словно родной город внезапно стал чужим, враждебным и нужно беречься его стен, домов, мостовых. По главной площади ветер гонял серые бумажные бланки – они вспархивали, пролетали метр-другой и вновь, трепеща, укладывались в дорожную пыль, как опавшие листья осенью. Сквозь распахнутые окна горсовета на Золмана смотрели запустение и беспорядок – ныне единственные обитатели здания, еще неделю назад олицетворявшего нерушимый советский порядок.

Ветерок, которому, как видно, надоело гулять в одиночестве, обрадовался кожевеннику, задорно стукнул оконной рамой, подхватил с земли бумажку с немецким имперским орлом, кинул ее Золману на колени: давай, мол, поиграем! Украинский текст листовки сообщал об окончании жидо-коммунистического владычества. В связи с этим освобожденному народу Украины предлагалось расправить плечи и самостоятельно, не дожидаясь победоносных германских частей, покончить со всеми местными жидами и политруками.

Золман доехал до дома Лазари. Дверь ему открыл Аарон, отец Рейны. Он впустил зятя, высунул голову наружу, тревожно глянул вверх и вниз по безлюдной улице затаившегося штетла.

– Ты на подводе... Надо завести во двор. Теперь за воротами лучше ничего не оставлять.

– Да надо ли? – усомнился Золман. – Я ж ненадолго. Думаю к мосту съездить, посмотреть. Похоже, стоит перебраться на тот берег вместе с красными. На недельку-другую, пока война не закончится.

– К мосту, а? – переспросил Аарон с горечью. – Ты что, с луны свалился? Мост уже который день как закрыт для гражданских. Ни пройти, ни проехать, сплошная пробка. И паника тоже. Военные с партийными ругаются, спорят, кого раньше пропустить, за пистолеты хватаются. Так что о мосте забудь.

– А лодку не достать?

Аарон покачал головой:

– Лодки тоже почти все реквизированы. Да и много ли в лодку положишь? Лодка не подвода.

– Значит, хочешь – не хочешь, придется оставаться... – Золман усмехнулся. – Веришь ли, мне даже полегчало. Всю ночь не спал, думал: драпать?.. не драпать? А тут судьба за меня решила. Что ж, так тому и быть, поеду назад.

– Подожди, – остановил его тесть. – Тут в Хотине слухи всякие ходят. Плохие слухи. Погром будет, как в Гражданскую. У вас там в Клишкове ничего такого не говорят?

Золман сузил глаза, повел сильными плечами:

– Пока не говорят. А хоть бы и говорили, пусть только сунутся. У меня с этой сволочью разговор короткий.

– Тогда вот что, – торопливо проговорил Аарон. – Мы тут собрали кое-что самое ценное, семейное. Серебро, вещи, книги... Подержи пока у себя. В деревне-то всяко безопасней: толпа не такая большая, и защитников у тебя хватает. Верю, что отобьешься... А нам придется у друзей пересиживать, в слободе. Возьми, там не так много, два узла. Брось на подводу, рогожкой прикрой, никто не увидит.

– Да хоть бы и увидели... – прищурился Золман. – А чего ты не хочешь эти узлы у тех же друзей спрятать? Это кто же: наверно, Ковали?

– Верно, Ковали.

– Ну вот. Они ведь с вами уже лет сто душа в душу. Ты мне сам рассказывал, как в Гражданскую у них в погребе отсиживался...

Аарон вздохнул.

– В том-то и дело, что сто, есть что вспомнить. Много чего за это время было, и хорошего, и плохого. Лучше людей в соблазн не вводить.

– Ясно.

Золман кивнул, признавая правоту тестя. Да и как не признать: слишком много злодейств повидал на своем веку детдомовский сирота, солдат Первой мировой, красный партизан Гражданской. Не раз и не два на его памяти блеск чужого серебра сводил с ума вроде бы хороших вменяемых людей. Потому что слаб человек, не всякому доверишься так, как сам Золман доверял своим закадычным дружкам Петру Билану или Войке Руснаку.

Домой в Клишково он приехал уже ночью, насилу пробившись сквозь сплошной встречный поток беженцев, которые, кто пешком, кто на подводах двигались в направлении реки по обеим сторонам черновицкого шляха. Само шоссе было по-прежнему наглухо забито отступающими армейскими частями. Колонна едва ползла: то тут, то там что-нибудь случалось, и тогда застревало все многокилометровое тело дороги, напоминавшее гигантского питона, издыхающего от неимоверных объемов проглоченной пищи. Офицеры в грязных гимнастерках матерились хриплыми сорванными голосами, усталые солдаты спрыгивали в пыль, тужились, сдвигая с пути заглохший грузовик, упавшую лошадь, телегу или пушку со сломанной осью.

Но и ругань, и кряхтение, и согласное уханье толкающих тонули в странном молчании, необычном для такого большого скопления людей. Не слышалось ни разговоров, ни смеха, ни восклицаний, ни того привычного гула, который всегда сопровождает многоголосую, многословную, многоязыкую толпу. Того особенного, почти морского гула, собранного из мелких капелек шепота, бормотания, смешков, вздохов, жалоб, брошенных на ходу замечаний, нечленораздельного хмыканья, кашля, напеваемой себе под нос негромкой песенки и множества других подобных небольших звуков, составляющих голос слитной человеческой массы. И это всеобщее безмолвие лучше всего свидетельствовало о всеобъемлющем страхе, который тяжелым камнем лежал на каждом сердце, на каждом языке, придавливая и обездвиживая его, лишая человека речи, выдавливая из голов все мысли, все ответы и вопросы – все, кроме одного-единственного: «Что будет? Боже, что теперь будет?»

Поведение людей на шоссе совсем не походило на панику, ведь паника требует мощного единовременного выплеска энергии, воплей, истерики, судорожных телодвижений, а на все это у них уже попросту не хватало сил. Теперь они могли только молчать, механически, шаг за шагом, переставляя ноги, застывая в тупом ожидании, когда движение неизвестно почему приостанавливалось, и снова пускаясь в путь, когда оно столь же необъяснимо возобновлялось. Напрасно Золман пробовал обращаться к беженцам, чтобы расспросить о происходящем; в ответ они лишь скользили по его лицу тусклыми невидящими глазами, обходили, как обходят неодушевленное препятствие, и шли себе дальше.

Эта картина пугала хуже самых тревожных слухов, и Золман приободрился лишь тогда, когда свернул на ведущую в Клишково грунтовку и отъехал на целую версту от придавленного ужасом черновицкого шоссе.

– Ну, и отчего ты так приуныла, Хуми? – сказал он, обращаясь к своей кобыле, которая, в отличие от хозяина, и не думала унывать, а, напротив, пребывала в приподнятом по случаю близкого уже стойла настроении. – Хотя, кого я спрашиваю? Ты, дочка, еще молода и ни разу не видала такого в своей спокойной лошадиной жизни. А я вот видал, и не раз. Да-да, видал... и в пятнадцатом году во время империалистической, и в восемнадцатом во время Гражданской... Тю!.. Беженцы, Хуми, всегда одинаковы, особенно поначалу. Потом-то привыкают, а поначалу всегда боятся. И взгляд этот, не приведи Господи... думал ли я, что когда-нибудь снова увижу этот взгляд? Нет, дочка, не думал... Ох, грехи наши тяжкие... Да, привыкают. Потому как в дороге не то, что дома на печи: холодно, голодно и голову негде приклонить. Но все равно устроиться можно, это я тебе точно говорю. Если не унывать, понятное дело. Взять хоть меня: знаешь, сколько лет я по дорогам мотался? Тю-ю-ю... Вот и эти привыкнут, попомни мое слово и не унывай. Договорились?

Хуми согласно мотнула головой и прибавила шагу. По ее верным лошадиным приметам выходило, что до дома осталось три версты от силы.

– Вот и молодец! – похвалил Золман кобылу. – А за немца я тебе так скажу: немца я тоже повидал. Воюет он умело, врать не стану, но мы ведь с тобой не воевать с ним собрались – на то есть Красная армия. Немец порядок любит: армия воюет с армией, а гражданские в стороне. Значит, главное – от своего бандитского сволочья отмахнуться. А уж на эту-то шваль у Золмана Сироты управа найдется. Вот оно как, дочка...

Рейна не спала, ждала и вышла ему навстречу, но, умница, не стала сразу докучать расспросами. Смолчала даже тогда, когда муж внес в горницу два больших тяжелых узла. Золман сел к столу, где его уже ждали стакан холодного молока, хлеб и вареный картофель с солью.

– Дети спят?

– Спят.

Он допил молоко, вздохнул и покосился в угол, где громоздились вещи, собранные женой в дорогу. В дорогу, которой не будет. Рейна молча ждала, не выказывая признаков нетерпения. Королевам не свойственно суетиться. Золман еще раз вздохнул и поднял глаза на жену.

– Мы остаемся.

– Почему? Ты ведь говорил...

– Говорил, говорил... – раздраженно перебил он. – А теперь подумал и говорю другое. Куда мы денемся с тремя малыми детьми на одной подводе?

– Запряги две. Или три. Денег хватит. И не сердись, я просто хочу понять: зачем с утра в такой спешке увязывать узлы, если к вечеру выясняется, что...

– Да ничего такого не выясняется, в том-то и дело! – снова прервал жену Золман. – Одни только слухи, россказни, одна другой глупее. Беженцев слушать нельзя: у страха глаза велики. Встретил я сегодня таких на черновицком шоссе. От чего эти люди драпают? Сами они, своими глазами чего-то видели? Ничего – только баек несусветных наслушались. А кто эти байки рассказывает? Такой же дурак, как и те, кто их слушает. Потому что рассказчик тоже сам ничего не видел, а только слышал и еще с три короба присочинил. А если до корня докопаться, то увидишь, что ничего и в помине не было. Или было, но совсем не так. Поверь мне, Рейна, уж я-то знаю. Две войны прошел, третьей не испугаюсь.

– На черновицком шоссе? – тихо переспросила Рейна. – И много их там?

Золман поежился. Давать объяснения жене оказалось намного сложнее, чем держать речь перед покладистой кобылой Хуми.

– Много... – наконец признал он, – очень много. Весь шлях забит. Ни пройти, ни проехать. И еще... мост закрыт. Пропускают только военных. Так что все равно ехать некуда.

Рейна молча смотрела на мужа. Она еще никогда не видела его таким растерянным, со дня их знакомства на памятной клишковской ярмарке, когда Золман Сирота впервые предстал перед ней живым воплощением легендарного Маккавея. С тех пор в течение девяти лет он ни разу не давал ей повода усомниться в своем статусе уверенного, бесстрашного защитника. Почему же сейчас он отводит глаза? Почему вздыхает? Почему так беспомощно подрагивают на столе его сильные руки? Неужели и он боится?

Да, не только два узла с семейными ценностями династии Лазари привез с собой Золман из поездки в Хотин. Как ни старался он уберечься от удушающего страха, который тяжким задом насел на черновицкий большак, как ни заговаривал ему зубы беседой с лошадиным хвостом, страх не слушался, не поддавался ни на какие уловки и уговоры. Уж больно густым слоем лежал он на дорогах и на лицах, хрустел на зубах, горчил в воде, разливался в воздухе. Все вокруг дышало страхом, и даже те, кто уже не мог дышать, были насквозь, до мертвого мозга костей, пропитаны его отвратительным трупным ядом. И теперь Сироте оставалось лишь признать этот факт и впустить страх еще и в собственную душу, распахнув перед ним ворота самой последней безнадежно сопротивлявшейся крепости.

«Что будет? – подумал он. – Боже, что теперь будет?»

– Что с нами будет, Золман?

Он посмотрел на жену, на свою красавицу-королеву, царственную мать троих его детей. Детей, которые не могли, не должны были испытать то, что испытал некогда он сам, трехлетним ребенком, скорчившимся под лавкой вагонного купе. Детей, которых он так

долго не желал заводить именно по этой причине, которых любил теперь больше жизни. Страх, переполнявший душу Золмана Сироты, был страхом за семью, и только за семью. Если бы в тот момент ему предложили умереть в обмен на гарантию спасения жены и детей, кожевенник согласился бы немедленно и с радостью. Но проблема в том и заключалась, что никто не мог обещать ему столь щедрого подарка, даже ценой жизни.

– Не знаю, – произнес он после долгого молчания. – Не знаю, Рейна. Ты права: мы остаемся не потому, что нет угрозы, а потому, что уходить уже поздно. Даже если бы мост был открыт, даже если бы я достал грузовик, даже если бы мы переправились через реку. Дороги забиты, повсюду беженцы, скоро у людей кончится еда, начнутся болезни, драки, разбой. Красные отступают по тому же шляху, значит, есть опасность бомбежки. Получается, что попасть в этот поток еще опасней, чем сидеть дома. Да и немцы, по всем признакам, приближаются очень быстро. Мы просто не успеем, Рейна. Может, если бы раньше... – а хотя, когда раньше? Когда? В первый же день войны? Прошла-то всего неделя... Кто ж мог знать?

Рейна поднялась со своего места, медленно обогнула стол, подошла вплотную, прижала к груди голову мужа. Даже у Маккавеев бывают моменты слабости. В такие минуты женщине нельзя впадать в истерику, иначе действительно рухнет все. Если и есть на этом свете последний бастион, то это именно ласковая женская рука, непоколебимая женская вера.

– Ничего, Золман, – тихо сказала она. – Все будет хорошо, вот увидишь. Мы вместе, это главное. Мы всегда вместе. Слышишь? Всегда вместе...

На следующий день их навестил Петро Билан, верный дружок-корешок, первый заместитель Золмана по председательству в пока еще не упраздненном промкооперативе. Сели за стол, выпили по чарке, закусили крепкими малосольными огурчиками, поговорили о детях и о погоде. Наконец Петро приступил к делу.

– Плохие вести, Золман. К соседу свояк из Секурян приехал, рассказывал, что там творится. Готовятся ваших бить. Уже заранее еврейские дома промеж собой поделили – кто чего себе возьмет. Спорят, кому чья одежа достанется, кому чья посуда, чуть до драки не доходит. Говорят, немцы и румыны дают местным три дня – делать, чего хотят.

– Чего хотят... – повторил Золман. – А чего они хотят?

– Известно чего, – неловко проговорил Петро. – Добра хотят. Даром что соседи, да только кто же станет от добра отказываться, если оно само в руки плывет? И потом, все равно ведь потом всех ваших... Люди, они как рассуждают: я не возьму, так другому достанется. Не пропадать же хорошим вещам.

– Добра хотят, – эхом отозвался Золман. – Ну да. Добрые люди всегда хотят добра. Неужели и ко мне, такому злому, полезут? Тут ведь, Петро, меня каждая собака знает. Знает, что за мной не заржавеет. Топор у меня острый, вилы наточены, найдется и кой-чего малыми порциями, по девять грамм свинца на каждое доброе рыло. Пусть только сунутся, я их живыми урою. Так и передай, если кто вздумает и здесь, в Клишково, шкуру неубитого медведя делить. Выпьешь еще?

– Налей,– кивнул Петро. – Добрая самогонка.

Выпили, захрустели огурцами. Рейна, склонившись над плитой, вслушивалась в мужской разговор.

– Добрая, – согласился хозяин. – Что это мы с тобой все о добре да о добре?

Петро усмехнулся.

– Время такое, доброе. И все же, Золман, я бы на твоем месте подумал. Не у одного у тебя тут винт на чердаке припрятан. Мужик ты крепкий, все знают. Но супротив двадцати хлопцев даже тебе не сдюжить. Запалят хату с четырех углов – сам в окно выпрыгнешь. И потом, не один ты в доме. Себя не жалко – о детях подумай.

– А ты, что же, не поможешь? – прищурился Золман. – По старой-то дружбе?

– Так ведь я затем и пришел! – заторопился Петро. – Можно ведь как сделать: перенесем пока что все твое добро ко мне в сарай. Я уже и место освободил. Нехай там полежит, пока погромы не кончатся. И Рейну с ребятишками спрячу. Пускай ко мне бегут, когда начнется, – огородами недалеко, и никто не увидит. Да и тебе самому...

Золман Сирота прервал его, ударив кулаком по столу. Покачнулась бутыль, подпрыгнула миска с огурцами, подстреленными солдатиками покатились по столу стопки.

– Ты что, оглох, Петро?! Я ведь ясно сказал: из своего дома не уйду! И прятаться ни от кого не стану! Хватит, отпрятался свое!

Взгляд Золмана метнулся по горнице, по гладко оштукатуренным стенам, добротной мебели, беленому потолку, по всей его удобной, счастливой, хорошо налаженной жизни. Метнулся туда, метнулся сюда, вернулся, ткнулся в колени стоящей у плиты Рейны, поднялся к ее глазам, да там и остался, словно взятый на укорот жеребенок. Петро Билан сидел молча, ждал.

– Ладно, – уже намного тише проговорил Золман, – там видно будет. Подумать надо. Но за предложение спасибо, Петро.

– Думай быстрее, а то война догонит, – сказал Билан, поднимаясь с места. – Твоя жизнь, тебе и решать. Сегодня, как стемнеет, я подъеду с повозкой. Надумаешь – открывай ворота. Не надумаешь – выходит, зря я свой сарай готовил.

Обедали в непривычной тишине. Даже трехлетний Борух, обычно щебечущий без передыху, как весенний скворец, и тот помалкивал, вопросительно поглядывая на сестру. Когда пришло время убирать со стола, Рейна погладила пузатую супницу доброго голландского фаянса и подняла на мужа глаза:

– Может, хотя бы посуду? Не эту, так хоть пасхальную. Жалко, если побьют. И серебро. Кубок. Подсвечники. Ханукию. Приданое как-никак...

Золман почесал в затылке.

– Посуду... посуду... посуду... – несколько раз повторил он и продолжил со вздохом: – Тогда уже и ходики. А шубы? Шуб тебе не жалко? А перину? А простыни? Новые ведь совсем, английское полотно. Ладно, пойду за холстиной, а вы тут пока...

Холстину разостлали на полу, стали складывать ценное. Старший, Давид, помогал взрослым. Каждая вещь тут была исполнена особого, одним лишь хозяевам понятного смысла и содержания, и оттого хотелось подольше задержать ее в руках, потрогать, ощупать, ощутить.

Эти предметы никогда еще не оказывались в одной куче; подобно аристократическим господам, они обычно пребывали в своих собственных родовых поместьях: часы на стене, серебро и фарфор – в буфете, пасхальные тарелки – на чердаке, белье – в ящиках комода. Их беспокоили лишь по особому поводу – в субботу, в праздник, ради дорогих гостей. Им всегда выделяли самое почетное, самое видное место: в центре стола, в центре внимания, и уже хотя бы поэтому казалось решительно невозможным смешать их друг с другом, скопом свалить на пол, в одну непонятную бесформенную груду.

И в то же время, собранные вместе, они представляли собой не что иное, как жизнь людей, которым они принадлежали, людей, которые принадлежали им. Нет, не ткани, не тарелки, не серебряную посуду увязывали Золман и Рейна в узел и складывали в сундук, а свою общую память. Свое редкое семейное благоденствие, тихую радость субботних вечеров, счастье своей зрелой, крепкой еще любви, сладость материнства, гордость отцовства, чудную музыку детских голосов. Казалось, вся прожитая жизнь лежит перед ними на полу горницы – на удивление невеликая, уместившаяся всего лишь в один большой узел и в дощатый сундучок с посудой и серебром. Золман приподнял узел, пробуя его на вес.

– Не так уж много мы с тобой и нажили... Перевязать, что ли, чтоб не развалился?

Вернувшись с кожаными ремнями, он обнаружил, что Рейна плачет. Шестилетняя Фейга и маленький Борух, доселе молча наблюдавшие за действиями взрослых, теперь стояли возле узла, держа в руках каждый свое персональное сокровище: коробку с цветными карандашами и тряпичного медведя. Золман сглотнул подкативший к горлу комок.

Петро Билан приехал поздним вечером, когда дети уже спали. Погрузил в подводу сундук и узлы, прикрыл рогожей от чужих любопытных глаз, спросил, окидывая двор придирчивым взглядом:

– А инструменты что, оставил? Горшки-миски, одежду...

Золман махнул рукой:

– Да кто на них позарится, на горшки на эти? Ты вот что, Петро: эти узлы береги пуще всего. Не мои они, а рейниных родителей, из Хотина. Не дай Бог, что-нибудь пропадет или сломается – сам знаешь, с тещей шутки плохи.

– Что есть, то есть, – рассмеялся Петро. – С тещей не забалуешь. А насчет горшков ты не прав. На такие добрые горшки много охотников найдется. А уж на инструмент тем более. Пилы у тебя знатные, и долота, и бур...

– Езжай, езжай, Петро, – перебил его Золман. – Спасибо тебе и на этом. Век твоего добра не забуду. Главное, Рейну с детьми спрячь, когда время придет.

– Что ж, хозяин – барин...

Билан снова обвел глазами двор, помолчал, словно хотел еще что-то сказать, но затем передумал и полез на подводу. Золман запер за ним ворота и вернулся в дом. Рейна сидела на лавке, бессильно опустив руки.

– Нет времени, – сказала она, переводя взгляд на стену, туда, где еще утром висели часы. – Кончилось наше время, Золман. То ли убежало, то ли вовсе остановилось.

– Ерунда, – сердито ответил муж. – Пойдем спать. Утро вечера мудренее.

– Ты видел, как он тут... глазами по стенам шарил... – тихо проговорила Рейна.

– Кто шарил?

– Кто – кто... Петро твой, вот кто. По мне так лучше бы Войка.

– Ага, Войка, – саркастически отозвался Золман. – Войка-то, чай, глазами не по стенам шарит, а по тебе. Думаешь, я не вижу?

– Да хоть бы и так! – вспыхнула Рейна. – Хоть бы и по мне. Но ему я верю. А Билан этот твой...

– Хватит! – Золман саданул кулаком по столу. – Что сделано, то сделано. Петру я верю, как самому себе. Мы с ним вместе не пуд соли съели, а целый вагон. Хватит!

– Не кричи на меня...

Рейна опустила голову, плечи ее вздрагивали. Муж присел рядом, обнял, прижал к себе.

– Не плачь, Рейнушка, не плачь, королева моя. Все будет хорошо, вот увидишь. Кто только через эти места не ходил – вот и немцы пройдут. Пройдут и кончатся. Как мудрецы говорят: если накатывает большая волна, пригни голову и подожди, пока схлынет. Вот и мы подождем...

Ждать пришлось недолго. Уже на следующее утро прибежал соседский паренек, давидкин приятель: немецких мотоциклистов видели на черновицком шоссе, в направлении Хотина. Золман сразу же велел Рейне собираться: пришло время воспользоваться приглашением Петра Билана. Обычно спокойная и основательная, на сей раз она почему-то всполошилась, стала бестолково метаться, то вытаскивая из комода, то отбрасывая в сторону нужные и ненужные вещи, хватаясь одновременно и за корзинку с едой, и за детские одежки, обувки, игрушки. Золман прикинул, стоит ли брать с собой винтовку, которую он заблаговременно вынул из тайника, и решил не брать, чтобы не подвергать семью излишней опасности. Вот проводит жену и детей до билановской хаты и тогда уже вернется защищать свой собственный дом от предполагаемых погромщиков.

За ворота вышли ближе к полудню, каждый со своей ношей: Рейна с корзинкой и хныкающим Борухом на руках, Золман, Давидка и Фейгеле – с вещевыми мешками за спиной. Идти было недалеко, минут десять-пятнадцать. В суете сборов Рейна не прислушивалась к тому, что происходило снаружи, и теперь удивилась, когда улица встретила их странными звуками, прежде совершенно не свойственными этому тихому месту. Над селом Клишково низким облаком висел негромкий, но явственно различимый вой, перемежаемый резкими восклицательными знаками криков, тут же, впрочем, теряющихся в вязком болоте монотонного ноющего стона.

– Быстрее! – скомандовал Золман, прибавляя шагу.

В гражданскую ему уже приходилось слышать этот страшный звуковой фон, неизменно сопровождающий еврейские погромы. Правда, тогда он был молод, силен и окружен вооруженными товарищами. Тогда он отвечал лишь за самого себя, а потому не боялся ни Бога, ни черта...

«Надо было захватить винта, – подумал он. – Или не надо? Нет, не надо. На открытом месте толпу лучше не дразнить. Только бы

миновать улицу. Две минуты по улице, а потом снова переулок. В переулке уже не так опасно...»

На первый взгляд, перекресток с главной деревенской улицей показался Золману безлюдным. Он так и не понял, откуда вдруг перед ним выросла группа молодых мужчин. Двое из них держали в руках винтовки, остальные помахивали кольями. Золман Сирота остановился. Сын ткнулся ему в бедро с одной стороны, дочка – с другой, за спиной прерывисто дышала от быстрой ходьбы Рейна с маленьким на руках. Всем своим существом он чувствовал их нарастающий страх. Их страх и свое отчаяние.

– Здорово, мужики! – сказал Золман, растягивая губы в улыбке. – Гуляете? Свадьба что ли?

Высокий парень с винтовкой шагнул вперед.

– Ага, свадьба, – подтвердил он и ударил Золмана прикладом в лицо. – Женим жида на свинье.

Сзади задушено вскрикнула Рейна. Заплакали Давидка и Фейгеле, в голос заревел Борух.

«Стоять! – скомандовал себе Золман. – Стоять! Пока я стою, бьют только меня. Стоять!»

Перед глазами его плыли и расплывались красные круги. Дети стояли рядом, вцепившись в его штанины. Его дети. Здесь на улице у них не было ни единого шанса. Ни тебе вагонного купе, ни тебе купейной лавки.

– А это чего у вас? Подарки? – поинтересовался парень. – Правильно. На свадьбу без подарков не ходят.

Золман сбросил с плеча мешок и, взяв у жены корзину, поставил ее на землю.

– Берите, парни. Все берите. Тут много чего. А вот ключи от дома. Полон дом добра. Все берите. Только детей не трожьте.

– Слышь-ты, много чего... – проговорил кто-то за спиной высокого. – Полон дом добра...

Вожак посмотрел на мешок, на Золмана, снова на мешок, немного подумал и, наконец, повернулся к своей шайке.

– Михась, Коля и ты... как тебя... ведите их к выпасу.

– А чего сразу Михась? – возразил обладатель второй винтовки. – «Михась веди», а сам пойдешь хату потрошить? Больно умный!

Высокий с сомнением покачал головой. Как видно, соображения соратника показались ему достаточно весомыми, хотя и обидными.

– Прямо уж так и потрошить. Никто просто так не потрошит, а только по списку. Решали как? Решали так: всех жидов собрать на выпасе. Значит, надо собрать... – он сплюнул и махнул рукой. – Ладно, бес с тобой, отведем все вместе. Тут недалеко.

Ближний луг начинался сразу за околицей – туда их и погнали, понукая окриками и ударами кольев. Золман держал за руки сына и дочь: Давидку слева, Фейгеле справа; дети бежали вприпрыжку, поминутно спотыкаясь, и в эти моменты отец подтягивал их к себе, предохраняя от падения. От падения – в пыль, в кровь, под удары кольев. Сейчас только он, Золман, мог спасти эту шестилетнюю девочку, этого восьмилетнего мальчика, которые семенили рядом, не отрывая от него испуганных, недоумевающих глаз. Происходящее было недоступно их пониманию, и поэтому они не столько боялись, сколько ждали остановки. Ждали, когда наконец прекратится этот

изнурительный бег, когда они останутся одни, когда отец, присев на корточки и обняв их за плечи, улыбнется и растолкует, и объяснит, и успокоит.

Следом за мужем, прижав к себе всхлипывающего Боруха, поспешала Рейна. Золман поминутно оборачивался, словно проверяя, что она еще здесь, словно хотел поддержать ее если не руками, то хотя бы взглядом, и она всякий раз вскидывала брови и мелко-мелко кивала ему в ответ: мол, все в порядке, не волнуйся, думай лучше о детях, а уж я-то как-нибудь справлюсь. И он тоже кивал, позаимствовав у жены крупицу королевской силы, кивал и отворачивался, и только тогда Рейна могла зажмуриться, потому что в глазах мужа, защитника, Маккавея она видела лишь отчаяние и предчувствие беды.

Золман и в самом деле пребывал в смятении. Разбитое лицо саднило, в голове вихрем крутились обрывки мыслей, безответные вопросы, горькие сожаления. Пуще всего он корил самого себя, свою глупую самонадеянность, которая позволила врагам застать его врасплох, в состоянии унизительной беспомощности. Ну почему, почему он вовремя не прислушался к голосу друга и еще вчера не переправил к Петру жену и детей? Нужно было сделать это немедленно по возвращении из Хотина. И тогда... о, тогда он показал бы этой пьяной сволочи! Уж он-то от пуза накормил бы свинцом всех этих Михасей и Колянов! Эх... А теперь... Куда дернешься теперь, когда в обе твои штанины вцепились родные детские руки, когда страх за семью когтит и сжимает твое беззащитное сердце? Когда ты вынужден терпеть и склонять голову, потому что стоит приподнять ее хоть на чуть-чуть, как ударят не тебя – их...

Возле речки на выпасном лугу уже сидели и лежали на траве три-четыре десятка человек – еврейские семьи села Клишково. Их охраняли несколько всадников с карабинами и саблями наголо – свои же сельчане, всего за одну ночь превратившиеся из хороших соседей в безжалостных врагов и губителей. Притихшие дети жались к родителям, даже совсем маленькие если и хныкали, то едва слышно. Золман перевел дух, осмотрелся и решил ждать темноты: при свете дня убежать с семьей от конной охраны не представлялось возможным. Время от времени на луг приводили новые группы – целыми семьями, мужчин и женщин, стариков и детей. Пожилой мельник Епуряну, старший среди охранников и по возрасту, и по авторитету, делал пометки в тетради.

Золман подошел к нему. Он знал мельника больше двадцати лет: вместе, бывало, выпивали, вместе плясали на ярмарках, вместе занимались нехитрыми общинными делами. Но теперь Епуряну едва скользнул взглядом по разбитому лицу своего многолетнего соседа.

– Чего надо? Добавить?

– Епуряну, это ведь я, – тихо проговорил Сирота. – За что, Епуряну?

Мельник осклабился. Нельзя было не поразиться произошедшей в нем перемене – так знакомый каждой своей ужимкой милый домашний пес вдруг оборачивается чудовищным волком-людоедом.

– За яйца.

Стоявшие рядом вооруженные мужики захохотали.

– За какие яйца? – оторопело переспросил Золман.

– За твои. Подвесим тебя за твои же яйца. Или ты хочешь за что-то другое?

– Вроде как все, Епуряну? – вмешался в разговор подошедший парень.

Епуряну открыл свою тетрадь и озабоченно покачал головой:

– Шнейдерманов нет. А Петро велел всех собрать. Чтобы и духу жидовского не осталось...

– Ка-какой Петро? – пробормотал Золман, пораженный неожиданным озарением.

– Ты еще здесь, жидяра? – удивился мельник. – Эй, парни...

«Нет, не может быть... – думал Золман, отбегая назад под градом ударов. – Мало ли Петров в Клишково... У того же мельника старший сын. И Коваль, и Прокопенко, и Левень, и Воронов...»

– Чего они хотят, Золман? Зачем нас здесь держат? – тревожно спрашивала Рейна. – Дети голодные...

Он пожимал плечами, отвечал с фальшивой уверенностью:

– Хотят пограбить без помех. Вот выметут все еврейские дома и отпустят... А пока что держись ближе к краю, ладно? Чтобы всегда оставаться у самого краешка. На всякий случай, понимаешь?

Рейна неуверенно кивала, прижимала к себе детей, послушно сдвигалась подальше от центра людской гущи, поближе к окаймляющему луг перелеску.

Когда стало темнеть, охрану усилили: на смену прежнему караулу подошли новые односельчане и среди них – Войка, давний знакомец Золмана, один из двух его подмастерьев, произведенный со временем в закадычные друзья. Видеть это было горько, едва ли не горше, чем сидеть на лугу, ожидая неведомо чего. Нет, не обида на Войку мучила Золмана, а что-то куда более тяжкое, важное, относящееся к самой основе бытия. Как будто бы только сейчас, на сорок шестом году его крепко сбитой счастливой жизни, вдруг выяснилось, что выстроена она вовсе не на твердом надежном фундаменте, как он полагал прежде, и даже не на зыбучих песках, а на трясине, нарисована прутиком на болотной воде, и вот теперь эта трясина неудержимо засасывает в мутную смертельную темь и его, и Рейну, и детей, и с этим тошным ужасом уже ничего не поделаешь, ничего, ничего.

– Видала? – спросил он жену, кивая на оцепление. – Вон он, твой Войка. А ты говорила... Хорошо, хоть Петро не с ними. Хотя, чем он помог бы, Петро? Тут ведь вся деревня, плечом к плечу...

Тем временем Войка, словно невзначай, подбирался к ним все ближе, пока не подошел почти вплотную. Присел на пригорок в двух метрах Золмана, сдернул сапог, затряс, будто избавляясь от попавшего внутрь камешка, зашелестел быстрым, едва различимым шепотом:

– Слушай, Золман, слушай. Я вас выведу. Вот стемнеет и выведу. Слышишь? Будьте тут, с краю. Понял? Кивни, если понял...

Золман кивнул.

С наступлением ночи охранники развели костер, стали зажигать факелы, возникла толкотня, неразбериха. Как видно, Войка только того и ждал – рванулся к семье Сироты, подхватил на руки Фейгу, прошипел: «Быстро, быстро!», опрометью метнулся в темноту, к кустам на краю луга. Следом за ним, пригнувшись, бросились Золман с Давидкой и Рейна с Борухом. Бежали во весь дух, без огляд-

ки, прижимая к груди оторопевших детей, и каждое мгновение ожидая окрика, удара, выстрела в беззащитную спину.

Войка привел их к шалашу на дальнем покосе, где заблаговременно спрятал сумку с буханкой хлеба, вареным картофелем и бутылью молока. Когда дети накинулись на еду, он отвел Золмана в сторонку, поговорить.

– Мне надо возвращаться, а то заметят. Вы тут пока побудьте, а потом уходите.

– Куда? – вырвалось у Золмана.

Войка пожал плечами. В темноте Золман почти не различал его лица, но голос старого друга выдавал неловкость.

– Не знаю, Золман. За реку, к русским. Здесь вам нельзя, пропадете.

– А как же Петро? Он давеча к себе звал, прятаться...

Войка хмыкнул и взял Золмана за плечо.

– Петро у них главный, Золман. Его пока нету, с утра уехал новую власть встречать. Только поэтому там еще ждут, на выпасе. А вернется – никого в деревне не оставят, будь уверен... – он сделал резкое движение рукой. – Пойду я. Не дай Бог, искать начнут.

– Погоди, я провожу... – Золмана начала бить крупная дрожь, он едва выговаривал слова.

– Куда ты, от детей-то?

– Нет-нет... я знать хочу... расскажешь по дороге...

Рассказ оказался недлинным – хватило как раз до края луга. Неделю назад Петро Билан собрал у себя в хате самых заметных деревенских мужиков, глав больших и влиятельных клишковских семейств. Так, мол, и так: все вы, мол, новости слышали, знаете, повторять не стану. Евреям все равно смерть, а потому надо что-то решать насчет добра ихнего. Чье оно теперь будет, это добро? Говорят, следом за румынскими частями бессарабские мужики идут, до чужого скарба шибко охочие: грузят на телеги, вывозят всё, что могут, до последней тарелки. Неужто и мы в Клишково такое допустим? Евреи-то как-никак клишковские, не какие-нибудь посторонние. А значит, мы тут в своем праве. Чужого не просим, но и своего не отдадим.

Мельник поддержал, остальные тоже согласились. Чего ж добру-то пропадать? Петро взял бумагу и все расписал, кому что достанется. Коровы, мелкая скотина, припасы, белье, одежда, посуда, инструмент, вещи всякие. Тут, понятно, поспорили часок-другой: какая же дележка без разногласия? – но в итоге никого не обидели. Каждой семье своя доля. Мельник предупредил: если кто против, так пусть прямо сейчас скажет, тому ничего не дадут. Никто не возразил – ни на собрании у Билана, ни позже, когда решение довели до каждой хаты.

– И ты тоже не спорил? – глухо спросил Золман.

– А куда денешься? – вздохнул Войка. – Разве дело только в добре этом? Дело в том, что против всей деревни не попрешь... Хотя и добро тоже: сам подумай, не отдавать же все бессарабским. Если уж вы так или эдак...

– И что теперь? Что будет с людьми?

– С людьми?

– С евреями, – поправился Золман. – Что будет с людьми на выпасе?

– Наверно, бить будут. А потом увезут куда-нибудь. Румынам отдадут, немцам, почем я знаю... – нетерпеливо отвечал Войка. – Золман, мне правда надо возвращаться.

– Успеешь. Скажи только, зачем Петро уехал, куда?

– Я ведь тебе говорил: к новым властям. Доложить, что в Клишково уже всех евреев собрали, можно никого не присылать – ни жандармов, ни воров этих бессарабских. Что мы сами доставим куда надо.

– Куда надо... куда?

– Да почем же мне знать, Золман? – взмолился Войка. – Отпусти ты меня, не мучай. Вот Петро приедет, он скажет. Утречком я к вам забегу, принесу харчи. А ты пока думай, где вам потом прятаться. На лугу долго не просидишь, заметят...

Золман вернулся в шалаш к жене и детям. Маленький Борух спал, старшие сидели, обиженно надувшись, и, увидев отца, стали жаловаться на мать, которая не пускает их домой, где и у Давида, и у Фейги накопилась уйма неотложных дел. Сирота положил обе ладони на теплые детские головы, погладил, притянул к себе. Защемило сердце, да так, что он даже испугался – не задохнуться бы, то-то выйдет номер...

– Ложитесь спать, ребята, – наконец выговорил Золман. – Как там в сказках говорят? Утро вечера мудренее. Ну вот...

Дети побурчали, повертелись и заснули, задремала и Рейна, но Золман долго еще не мог сомкнуть глаз – все думал, прикидывал, вздыхал. О том, чтобы переправиться через Днестр с тремя малыми детьми, не приходилось даже мечтать. Да и потом, даже если переправишься – поди знай, как далеко успел отодвинуться фронт. В чистом поле тоже не убережешься – найдут. А к жилью и вовсе не сунешься: наверняка сейчас повсюду творится то же самое, что и в родном Клишково. Люди в деревнях и маленьких городках уже замарали себя грабежом, а то и убийством. Для них теперь каждый еврей – свидетель обвинения, а потому и пощады ждать не приходится.

Получалось, что единственным вариантом спасения мог стать лишь какой-нибудь хутор на отшибе, расположенный в отдалении от соблазна захвата «добра, которому все равно пропадать» – просто из-за физического отсутствия соседей-евреев. По роду своего ремесла Золман Сирота хорошо знал окрестности, был знаком с многими хуторянами и теперь выбирал из нескольких возможностей ту, которая казалась наименее худшей. Сон сморил его, когда уже начинало светать.

Их разбудил вопль – дикий, многоголосый вопль смертного ужаса, доносящийся с того места, откуда они пришли накануне. Солнце стояло уже высоко; июльское утро сияло во всей прелести небесной голубизны, в яркости оттенков зеленого цвета, в прихотливой плавности линий, преломленных множеством блистающих хрусталиков росы, и жуткий, леденящий душу вопль несся над этим повседневным чудом, как душное облако копоти, как застилающий небо рой черных пчел, как бессчетная смертоносная орда.

– Что это, Золман, что это?

Он молчал, обхватив обеими руками своих дрожащих детей. Много ли они могут, эти две руки, кого защитят, кого укроют от беды? Вопль понемногу стихал, прижимаясь к земле, цепляясь за кусты,

зарываясь в траву искаженным, изрытым оспинами выкриков лицом. Вот он вскинулся еще раз-другой, словно подстреленный заяц, дернулся, ввинтился в воздух последним замирающим воем и смолк уже окончательно. Вопль смолк, но наступившая тишина казалась еще страшнее. Потому что теперь уже было ясно, чем именно чревато обманчиво-мирное спокойствие утра, прохладная ладошка ветерка на щеке, уютный стрекот кузнечиков, беспечная перекличка птиц...

На дальнем краю луга дрогнули, распались надвое ветви кустов, мелькнула чья-то голова, рука – кто-то, сильно пригнувшись к земле, едва ли не на четвереньках, а то и ползком приближался к шалашу. Неужели это Войка? Ну да, Войка... Золман выскочил навстречу, инстинктивно стараясь уберечь своих от страшных вестей, которые шлейфом тащились по траве за спотыкающимся, перепуганным вестником. Войка ткнулся ему в плечо, мотнул головой, сел на землю и закрыл лицо руками.

– Что случилось, Войка? Говори! Ну!

– Всех поубивали... – выдавил из себя Войка. – Всех до единого. Топорами...

Он вдруг икнул, рванулся в сторону и стал блевать, стоя на четвереньках.

– Кого всех? – холодея, спросил Золман. – Да говори же ты!

Войка утер рот ладонью и выпрямился. Он не смотрел на Золмана. Он вообще не смотрел в каком-либо определенном направлении; взгляд его метался из стороны в сторону, словно пребывая в непрестанном паническом бегстве от какой-то невыносимой картины.

– На выпасе... – прошептал он. – Петро вернулся под утро. С повязкой на рукаве и с документом. Он теперь староста. Раньше всех подсуетился, как обычно. Тебе ли не знать – он и у тебя всегда в первых помощниках ходил. Собрал всех. Так и так, говорит, встретился я с румынским начальником. Рассказал ему, что мы тут в Клишково собрали всех евреев в одну кучу. Начальник похвалил – молодцы, мол. Ну, Петро ему и говорит: «Молодцы молодцами, но когда вы их забирать будете?» А тот в ответ смеется: у нас, мол, и без того сейчас дел по горло. Это, говорит, теперь дело ваше, деревенское. Умели сами собрать, умейте сами и справиться...

Он замолчал и опять стал вытирать рот – ладонью, рукавом, снова ладонью и снова рукавом.

– Дальше, – сказал Золман.

Войка торопливо затряс головой.

– Дальше Коваль сказал: «Это ж сколько времени тут в карауле стоять? Чай не солдаты. И кто их кормить будет? Лучше уж по домам распустить». А мельник сказал: «По каким домам? Дома уже не ихние. И харчи в тех домах тоже не ихние». А Петро сказал: «Точно. Согласно списку. Как список составлять, так все рады, а как справляться...» А Михась сказал: «Коли так, тогда хоть патронов привез бы. Патронов мало». И тут мельник говорит: «Без патронов обойдемся. Конями потопчем и в топоры». Потом помолчали немного, потом Петро поднялся и говорит: «Значит, решено. Сначала конные, а потом все остальные. Начинаем по моей команде». И... всё.

– Что всё?

– Всё, Золман. Порубили их всех. И мужиков, и девок, и детей малых, и стариков. Всех до единого. А потом дубьем добивали.

Петро сам прошелся, проверил. Ходил, ходил, а потом как закричит: «Сирота! Где Сирота?! Я ж говорил всех привести! Почему Сироты нету?» Ему говорят: «Был Сирота. И жена его, и дети, все были. Вот тут сидели...» «Искать его! Искать!» А мельник ему: «Вот сам и ищи, а людям по домам пора. Работа не ждет, летнее время не воротишь, и так уже полтора дня потеряли...»

Он схватил Золмана за локоть и горячо зашептал:

– Уходить вам надо, сейчас же. Петро по селу бегает, ищет. В каждый сарай лезет, на каждом сеновале ворошит. На меня косится, подозревает. Ты его знаешь, он просто так не успокоится. Сюда тоже придет.

Приподнявшись, Войка осмотрелся, словно ожидал с минуты на минуту увидеть на лугу фигуру Билана.

– Ладно, – сказал Золман. – Так тому и быть. Уйдем. Иди и ты, Войка, возвращайся в деревню, пока не хватились. Спасибо тебе. Коли не ты, лежать бы нам сейчас на том выпасе. Прощай, брат.

На третьи сутки Золман Сирота постучался в окно одиноко стоящего дома в окрестностях Единца. Хозяин хутора, дед Коста, славился на всю округу своим дурным нравом и драчливостью, чрезмерной даже для молодого парня и уж совсем неуместной для старика на восьмом десятке. Во время Гражданской он воевал поочередно за все окрестные банды, пока не был взят в плен партизанским взводом под командованием Сироты. Война к тому времени уже практически закончилась, и Золман, разглядев в пленнике не бандита, а скорее неуемного драчуна, не поставил его к стенке, как сделал бы любой другой командир, а отпустил, клятвенно пообещав, что непременно расстреляет, если снова поймает Косту с оружием в руках. С тех пор они время от времени встречались, преимущественно на ярмарках, и Коста всякий раз смеялся, показывая обломки выбитых в бесчисленных драках зубов: «Зря ты меня тогда не пустил в расход, командир! А сейчас уже поздно: война кончилась...»

Но теперь, разглядев под окном старого знакомца, дед не стал повторять обычную шутку. Ни слова не говоря, впустил в дом, усадил за стол, поставил перед гостем миску с хлебом, луком и вареной картошкой.

– Спасибо, что впустил, – сказал Золман, всматриваясь в хозяина. – Нынче ведь редко в какой дом постучишься.

– Где все твои? – вопросом ответил дед. – Случилось что?

– Тут, недалеко. Случилось.

Отправляясь на хутор, Золман на всякий случай спрятал Рейну и детей в небольшой рощице в полутора верстах от дома.

– Веди сюда, – твердо проговорил Коста. – Всех веди. У меня искать не станут. Ты меня уже спас, теперь моя очередь.

Назад Золман летел как на крыльях, радуясь тому, что его расчет оказался точным. Недаром они проделали такой долгий путь от Клишково до Единца, недаром крались по лесам и оврагам, скрываясь от чужих глаз в стогах и под кустами. Если уж где-то прятаться в эти чудовищные дни, когда прежние добрые соседи вдруг обернулись безжалостными убийцами, то именно у деда Косты. Кто заподозрит бывшего бандита, то ли махновца, то ли «зеленого», то ли петлюровца, то ли разбойника с большой дороги в том, что он при-

ютил у себя еврейскую семью? Теперь они спокойно перекантуются на хуторе месяц-другой, а там и война кончится...

– Стой! Эй, ты! Стой, кому говорю!

Золман обернулся – он в этот момент пересекал поле с невысокими, по пояс, подсолнухами. На дороге, в сотне метров от него стояла запряженная лошадью подвода с тремя седоками. Один из них уже соскочил с телеги и прилаживал к плечу винтовку. На рукаве его белела повязка.

– Стой!

Кляня себя за беспечность, Сирота пригнулся и бросился бежать. Сзади ударил выстрел. Стреляли наугад, не целясь, но Золман понимал, что радоваться нечему. Как видно, он наткнулся на местных охотников за евреями, которые теперь так просто не отвяжутся. Не для того они целыми днями колесят по округе, прочесывают перелески, заглядывают в шалаши и на сеновалы в поисках поживы. Вот и эти наверняка продолжат преследование – благо, есть следы на меже. А то и сразу двинутся к той реденькой рощице, где он оставил жену и детей...

Золман мчался, сломя голову, не останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Влетел в рощу, остановился, тревожно озираясь по сторонам...

– Золман, мы здесь!

Ну, слава Богу, живы! Он упал на колени, прижал к себе всех четверых, зашептал прерывисто:

– Слушай, Рейна, слушай внимательно. Я договорился с дедом Костой. Он спрячет. Его хутор вон там, видишь крышу? Бери сейчас же детей и бегите туда. Надо пересечь поле с подсолнухами – только не в полный рост, иди все время согнувшись, чтобы рука землю трогала. За полем овраг, а там уже и плетень. Коста ждет. Ну, вставайте, скорее!

– А ты? А как же ты?

Золман отмахнулся:

– Мне тут... надо... Я потом приду.

– Нет, – твердо сказала Рейна. – Пойдем все вместе.

Золман схватил ее за плечи, потряс.

– Рейна, нет времени на споры. Нет времени. Выстрел слышала? Это ко мне трое привязались. Меня они видели, вас нет. Скоро сюда нагрянут – больше тут спрятаться негде. Я им издали покажусь, покажусь и уведу. Вы к хутору пойдете, а я их в другую сторону поведу, проще простого. Это несложно, не бойся. Этим пентюхам меня в жизни не поймать. Побегают по полям часок-другой и устанут. А я пережду немного, и к вам, на хутор. Ну?! Давай, давай, скорее. Скорее!

Рейна подхватила на руки Боруха, кивнула Давидке и Фейге, выпрямилась, глядя на мужа. В глазах ее метались сомнение и тревога.

– Золман, может все-таки...

– Скорее! – почти закричал он. – Стой, подожди...

Подошел к жене вплотную, прижался лбом ко лбу, вдохнул родной любимый запах, провел губами по щекам, по трепещущим ресницам, по мягкому рту, снова вдохнул, запоминая, укладывая в ноздрях, в памяти, в сердце, чтобы подольше хватило.

– Всё! – резко отстранился, подтолкнул. – Пригнитесь пониже и бегите, скорее!

Уже не скрываясь, Золман выбежал назад в поле, выпрямился во весь рост. Двое вооруженных мужчин шли к роще; заметив Сироту, они прибавили шагу. Золман бегом двинулся в обход деревьев. Он пригибался, но не слишком: весь расчет сейчас был на то, что охотники не должны терять его из виду.

Зато Рейна пробиралась через поле едва ли на четвереньках. Давидка и Фейга не отставали, но Борух был нелегкой ношей, и время от времени ей приходилось останавливаться, чтобы дать отдых спине. У края оврага они немного передохнули.

– Еще немного, дети, – сказала Рейна, утирая пот с разгоряченного лица. – Скоро уже придем. Домой придем, в новый наш дом. Там и поедим. Хотите молока? Ну вот. Будет вам молоко, и картошечка, и хлеб. Еще немного. А потом и папа придет, и все будет в порядке. Все будет в порядке. В порядке. Отдохнули немножко? Тогда встаем и спускаемся в овраг, только осторожно. Давид, помоги Фейге...

Овраг был неглубок, но хорошо укрывал от постороннего взгляда. Рейна наконец распрямилась, и уставшие мышцы спины благодарно откликнулись на это простое, такое свободное и естественное движение. Она глубоко вздохнула, тряхнула головой, подняла глаза к небу и увидела их. Они стояли на краю оврага – двое ухмыляющихся мужчин с винтовками наперевес.

– А вот и курочка с цыплятками, – нараспев проговорил один и стал спускаться, скользя по склону каблуками старых, сильно разношенных сапог.

Второй, помладше, последовал за ним. Дети вцепились в платье матери и широко раскрытыми глазами смотрели на приближающихся мужчин.

– Ну что, жидовка, давай, выкладывай...

– Что... что выкладывать? – упавшим голосом спросила Рейна, глядя в веселые голубые глаза певучего охотника.

Прежде чем ответить, он отвесил ей оплеуху. Женщина качнулась, но певучий ухватил ее за ворот кофточки, не давая упасть. Борух и Фейга заревели в голос, Давид бросился было наутек, но второй мужчина без труда настиг его.

– Все выкладывай. Вы ведь из дому пустыми не выходите. Давай, сучка, вынимай. Кольца, брошки, камешки... Ну!

– Нет у меня ничего...

– Раздевайся!

– Что?

– Раздевайся! Догола, сучка! Ну?!

Он выхватил из ее рук ревущего мальчика и угрожающе занес его над головой.

– Не надо! Не надо, я сейчас, – выкрикнула Рейна и стала торопливо сбрасывать с себя одежду.

– А бабенка-то ничего, – сказал второй у нее за спиной. – Давайка попользуемся.

– Делу время, потехе час... – ответил старший.

Он отшвырнул в сторону Боруха и, присев, стал ощупывать складки белья, карманы, швы. Второй схватил Рейну за волосы и пригнул к земле.

– Ложись, сучка!

– Не надо...

Она упала на спину, стараясь вывернуть голову так, чтобы видеть при этом детей, но навалившаяся сверху вонючая туша застилала собой все на свете, как будто на земле осталась только эта слюнявая пасть, и клочья мерзкой бороды, и миазмы зловонного дыхания, и отвратительный зверский хрип. Ей было так больно, что она не чувствовала боли – ничего, только страх за детей, который был еще больше, еще больнее боли.

– Ничего! – разочарованно сказал старший. – Вот ведь сволочь жадная!

Сквозь хрип и рычание придавившего ее кабана Рейна услышала, как смолк детский плач – сначала Фейги, потом Боруха, услышала и рванулась изо всех сил – туда, к детям.

– Лежи, сучка!

Грубые руки сжали ей горло, в глазах потемнело, и милосердный Господь лишил ее наконец способности что-либо видеть, слышать и чувствовать.

Рейна пришла в себя от пощечин. Увидев, что женщина очнулась, старший ухватил ее за волосы и потянул вверх. Морщась от боли, Рейна поднялась на ноги. Сначала она никак не могла сообразить, где она, но первая же мысль обожгла ее кипятком: «Дети! Где дети?»

– На, копай! – старший ткнул ее в живот черенком саперной лопатки.

– Что... копать... где... копать... – через силу проговорила она, озираясь вокруг в поисках детей, Давида, Фейги и Боруха.

Язык едва ворочался во рту, разбитые губы саднило. Детей в овраге не было. «Их здесь нет, – подумала она, – и слава Богу. Слава Богу, что они этого не видят. Их здесь нет».

– Могилы копай, дура! – весело ответил второй охотник. – Ты ведь не хочешь, чтобы их собаки объели? Вот и копай. Три маленьких и одну большую.

Нет, она не хотела, чтобы собаки... Значит, надо копать. И она принялась торопливо рыть могилы – три маленьких и одну большую, для себя. Три маленьких для Боруха, Фейги и Давида, которых здесь не было. Их здесь не было, и в то же время они лежали тут же, рядом, с головами, аккуратно раскроенными все той же саперной лопаткой, которую Рейна держала в руках, лопаткой, на которой запеклась их кровь – красным ободком в щелочке между лезвием и черенком. Их здесь не было, зато были сразу три Рейны: одна точно знала, что с детьми все в порядке, вторая копала для них могилы, чтобы собаки... а третья... третья с удивлением наблюдала за первыми двумя, не понимая, как такое возможно, но благодаря за это милосердного Господа, потому что иначе... иначе...

– Хватит! – крикнул старший убийца. – Хорони.

И она стала хоронить их – детей, которых здесь не было. Сначала Давида – по праву первенца. Трудные роды, да и потом не легче, плохо спал, мало ел. Зато какой красавец вырос. Этой осенью он пойдет в третий класс. Умница-мальчик, и о младших заботится. Потом Фейгу – золотая девчонка, славная и добрая, любимица Золмана, ей помощница. Уже сейчас видно, какая хорошая из нее выйдет жена и мать. Ну и последним – Боруха, младшенького. Три годика, а уже характер проявляется. Всеми в доме управляет...

– Хватит! Крестов ставить не будем...

Рейна в последний раз погладила ладонью маленький холмик и выпрямилась.

– На колени! – скомандовал старший, забирая у нее лопатку. – Да не лицом, спиной!.. А, ладно, хрен с тобой.

Она не хотела спиной, она хотела видеть, потому что не чувствовала страха, не чувствовала ничего, кроме удивления. И когда лопатка, промелькнув перед ее удивленными глазами, с силой опустилась ей на голову, и три разных Рейны слились наконец в одну – в одну ослепительную вспышку, она испытала необыкновенное облегчение, почти счастье, оттого что вдруг увидела перед собой своих детей, всех троих – Давида, Фейгу и Боруха.

IV

– Да, но как же... – начал было Нир, но остановился, не смог продолжить, договорить до конца.

Они медленно шли по аллее, усыпанной длинными желтыми иглами хвои. Вверху и в просветах деревьев сияло голубой мощью ослепительное полуденное небо Иерусалима, лесистый склон сбегал вниз, в вади. Сухой горячий воздух был легок и в то же время осязаем, как будто состоял из множества невидимых кисейных занавесок. Рейна искоса взглянула на него и промолчала. На губах ее застыла смутная отстраненная улыбка.

Вот уже неделю как Нир ежедневно приезжал сюда, в Учреждение, выходя из дому в полшестого утра, чтобы избежать пробок. Вихрем проносился по пустой автостраде, по пустым городским улицам, по пустой кипарисной аллее, парковался на пустой стоянке и выходил на пустую круглую площадь, казавшуюся безлюдной даже с людьми на ней, и уж тем более – в такой ранний час, когда в Учреждении и в самом деле еще не было ни души. Ни одной живой души. Потому что спустя несколько дней Нир осознал, что на самом деле эта площадь всегда забита до отказа. Забита так, что не протолкнуться: забита множеством невидимых людских душ, составлена из них, как этот горячий воздух иерусалимского полудня составлен из множества невидимых кисейных занавесок.

Он медленно шел сквозь них, как сквозь воду, осторожно раздвигая плечами податливую неземную материю, стараясь не слишком сильно нажимать на них грудью, не наступать им на ноги, не сталкивать их с дороги. В конце концов, он был тут всего лишь временным работником, а они – постоянными обитателями, так что место, как ни крути, принадлежало им, а не ему.

На площадке перед лекторием и архивом он подходил к парапету и стоял там минуту-другую, здороваясь с лежащим внизу и парящим поверху городом, особенно прозрачным и чистым в раннюю утреннюю пору. Здороваться следовало скромно, с почтением и, упаси Боже, без панибратства – лишь тогда город удостаивал его беглым ответным взглядом, словно говоря: «Ага, ты опять здесь... Что ж, начинай, коли пришел».

Получив это благословение, Нир отпирал архив собственным ключом и приступал к работе: включал компьютеры, проверял технику, возвращал на место разбросанные со вчерашнего вечера тома и папки. Постепенно подтягивались и другие сотрудники. В девя-

том часу появлялась Эстер и выдавала очередную фирменно-макабрическую шутку, а в придачу к ней – стопку документов, подлежащих сканированию. Нир поспешно брал материалы и уходил туда, где стоял сканер.

Работая, он старался не слишком обращать внимание на содержание бумаг: во-первых, чтобы не терять времени, во-вторых, чтобы не сбрендить.

– Лучше не читай, а то долго не продержишься, – сказала Эстер. – Смотри в сторонку, думай о чем-нибудь другом. Например, о девушках.

Он честно следовал совету опытной начальницы, но потом все равно оказывалось, что голова переполнена этим. Выяснялось, что даже если смотреть в сторону, все равно видишь. Иногда Нир обнаруживал, что в памяти отпечатываются целые страницы – настолько, что он может с закрытыми глазами читать мельком увиденный текст и разглядывать фотографии. Когда виски начинали гудеть, он выключал сканер и выходил в читальный зал, где обычно сидели три – четыре посетителя и среди них – она, Рейна.

Увидев Нира на следующий же день после их первого разговора, девушка спросила, не скрывая удивления:

– Ты еще здесь? Почему? Зачем тебе это все?

– А тебе зачем? – радостно ответил Нир, довольный уже тем, что видит ее снова. – Вот и мне затем же.

– Затем же? Да ну?

Рейна подняла брови; удивление на ее лице сменилось выражением странной задумчивости. Она смотрела на Нира так, словно увидела его впервые, в каком-то новом неожиданном качестве. Так смотрят на случайного прохожего, который вдруг ни с того, ни с сего объявляет, что связан с вами теснейшими узами родства. Еще минуту назад вы были уверены, что вот-вот разминетесь с ним, расстанетесь без всякого сожаления, чтобы никогда больше не встретиться вновь, и вот – на тебе! – он внезапно превращается в важную часть вашей жизни. Почему? Откуда? С какой стати?

Ниру даже стало не по себе под этим отстраненным, изучающим взглядом.

– Ну что ты на меня уставилась? – сказал он, маскируя неловкость грубостью. – Я тут работаю, поняла? На полставки, за деньги. Не как некоторые, задарма.

– Угу... – медленно проговорила Рейна, по-прежнему не отводя глаз и начисто игнорируя его слова. – Если за деньги, тогда понятно. Может, ты и впрямь пригодишься...

– Ты о чем? Что тебе понятно? На что пригожусь?

Девушка улыбнулась.

– Неважно, не бери в голову. Слушай, если уж ты здесь такой большой босс, не принесешь ли мне одну папочку? Вот номер...

Рейна выудила из кармана клочок бумаги с порядковым номером дела. Ее странной задумчивости уже как не бывало; голубые глаза смотрели с обычным насмешливым вызовом.

– Ладно, так уж и быть, – буркнул Нир. – С тебя кофе.

Начиная с этого момента, она обращалась за помощью уже только к нему, минуя установленный порядок, который, как и все бюрократические процедуры, был отягощен бланками, запросами и

задержками. Нир для видимости хмурился и ворчал, но тут же несся исполнять поручение.

В полдень они выходили наружу, садились на ступеньки в тени лектория и, обмениваясь короткими репликами, жевали принесенные из дому бутерброды. О себе Рейна ничего не рассказывала; на осторожные расспросы Нира реагировала с неохотой, как человек, которого силой вынуждают говорить на скучную малозначительную тему.

– Зачем тебе? – спрашивала она, морщась, будто от зубной боли. – Как меня звали раньше... ну, давай, если очень надо, я назову какое-нибудь имя... – скажем, Фатьма Абрамзон. Или, допустим, Ингеборг Свисса. Или Неваж Нокак... Или...

– Хватит, – обрывал ее Нир. – Не хочешь, не говори.

– Не обижайся, – девушка примиряюще клала руку ему на плечо. – Просто зря это. Ну чем тебе не нравится Рейна Сирота?

Нир неопределенно хмыкал, боясь пошевельнуться, чтобы ненароком не спугнуть присевшую на плечо диковинную птицу – красивую кисть с длинными сильными пальцами и коротко подрезанными некрашеными ногтями. В самом деле, чего он привязался? На кой черт ему сдалось ее прошлое имя? Отчего бы не удовольствоваться той довольно впечатляющей, хотя и намеченной лишь несколькими общими штрихами картиной, которую удалось сложить из тумана односложных ответов, обмолвок, случайно оброненных замечаний...

Нынешняя Рейна Сирота, получившая при рождении имя Неваж Нокак или, допустим, Фатьма Абрамзон, проживала в Реховоте и там же окончила школу. Окончила, как видно, довольно успешно, потому что армию отслужила в престижном отделе военной разведки. Затем училась, причем не в каком-нибудь провинциальном универе, а в Технионе, и не чему-нибудь банальному, а аэронавтике – суперромантической и супервостребованной специальности, на которую берут только самых отмороженных гениев. Снимала квартиру в Хайфе, причем, скорее всего, не одна: трудно предположить, что такая царственная красавица останется без бойфренда на почти сплошь мужском факультете.

Все это заставляло Нира поеживаться от сознания собственной посредственности. Каждая деталь предполагаемого прошлого Рейны во весь голос заявляла о безоговорочном успехе и блестящих перспективах. А ее будущее казалось заранее обеспеченным увлекательной работой, гарантированной карьерой и высоким общественным статусом. Тем загадочней выглядел текущий этап жизни его новой знакомой. Возможно ли это: вот так просто взять и соскочить со столь многообещающего маршрута, сбежать от бойфренда и от хайтека, отказаться от множества заманчивых предложений... И ради чего? Ради ежедневной возни с горой документов, невыносимых от утомительной однообразности запечатленного в них ужаса! Ради пыльных папок с обрывками писем и дневников, ради компьютерных директорий со скорбными списками и официальными справками, ради видеофайлов с подробными интервью выживших, уцелевших во всепожирающей огненной геенне Катастрофы...

Почему?

Этот вопрос ни разу не задавался напрямую, но, по-видимому, он так явственно читался в глазах Нира, что Рейна наконец не выдержала. Как-то раз, прожевав свой полуденный бутерброд, она предложи-

ла Ниру прогуляться. Предложение выглядело необычным: во все предыдущие дни девушка сразу же, едва стряхнув с колен крошки, спешила вернуться в архив, к работе. Поэтому Нир с самого начала настроился на серьезный разговор и не ошибся. Они медленно шли по безлюдным аллеям парка, и Рейна спокойным отстраненным тоном рассказывала ему историю своей бабушки, нынешней своей полной тезки. Ее голос не дрогнул даже тогда, когда она описывала то, что произошло в первых числах июля 1941 года в степном бессарабском овраге рядом с хутором старого Косты.

– Извини, но я не понимаю одного, – тихо произнес Нир после долгой паузы. – Как же тогда...

Он снова остановился, потому что не смог закончить фразу. У него еще не было случая научиться говорить о таких вещах с тем же отстраненным ровным спокойствием, которое так хорошо получалось у Рейны. Она снова взглянула на него – искоса, мельком. Глаза девушки потемнели; теперь в них стояла глубокая сумрачная тень, мрачная упрямая сила. «Так вот ты какая, – подумал Нир. – Вот ты какая, если по-настоящему, если без шуточек и смешков». У него вдруг заныло под ложечкой.

– Как же тогда я получилась? – договорила за него Рейна. – Как тогда получилась я, если моя бабушка и все ее дети погибли в тот день в овраге? Ты это хотел спросить?

Нир молча кивнул.

– Очень просто, – сказала она. – Рейна выжила. Она ведь не захотела поворачиваться к смерти спиной. Возможно, поэтому у убийцы дрогнула рука. Как видно, даже самому последнему мерзавцу не все равно, когда жертва смотрит ему прямо в глаза. Так что лопатка прошла по касательной. Срезала часть черепа, глаз, ухо. Было много крови. Попробуй пойми, что женщина еще жива, еще дышит. Тем более, что от удара она упала в яму, которую сама же и выкопала. Убийцы забросали тело землей – нагребли кое-как, по-быстрому, сапогами. А потом взяли котомку Рейны, чтобы совсем уж без добычи не возвращаться, и ушли. Тебе на работу не надо?

– Что?

– На работу не надо? – повторила девушка.

Они вышли к южному краю парка, туда, где над склоном завис одинокий товарный вагон, уходящий в небо.

– А, на работу... – Нир махнул рукой. – Что было дальше?

– Давай, присядем. Что-то я устала...

Рейна опустилась на скамью, Нир сел рядом. Прямо перед ними в раскаленном белесом воздухе темнело прямоугольное тело вагона, и невидимые души постоянных обитателей Учреждения, прижимаясь друг к другу плечами, медленно брели по аллеям.

– Дальше... – вздохнула девушка. – Что было дальше... Дальше она очнулась. Очнулась и не сразу поняла, где она и как там оказалась. Дышать. Ей просто очень хотелось дышать, а что-то мешало. Комки земли во рту, в ноздрях, на лице. Она действовала не думая, инстинктивно: сначала нужно убрать эти комки, нужно вдохнуть полной грудью, а потом уже все остальное. И вот она стала шевелиться, двигать руками, дергаться, рваться наружу. Как я уже говорила, убийцы едва присыпали могилу, так что Рейне без труда удалось сесть. Была уже ночь, но светлая, луна в три четверти, вторая не-

деля летнего месяца Таммуз. И вот, она увидела эту луну... увидела... и вспомнила все.

Нир с тревогой посмотрел на рассказчицу: на лице ее по-прежнему застыло выражение равнодушной отстраненности, но дыхание стало прерывистым, губы подрагивали, а невидящий взгляд был устремлен в сторону, в белое небо за кромкой вагона.

– Рейна, может не надо? Потом доскажешь...

– Нет-нет, все в порядке. Все в порядке, – отозвалась она и еще несколько раз повторила скороговоркой, как заклинание: – Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Так вот. Вспомнила. Она могла видеть только одним глазом. У нее была снесена часть черепной коробки. Она потеряла много крови. Но в ее распоряжении еще оставались обе руки. Обе руки, и десять пальцев, и ногти на пальцах. Ее первая связная мысль была о детях. Если милосердный Господь оставил в живых ее саму, то, возможно, уцелели и дети? И Рейна стала раскапывать руками детские могилы. Могилу Боруха, могилу Давида, могилу Фейги. Головы детей были расколоты надвое, но она все равно надеялась. Она уговаривала и трясла их, стараясь разбудить. Она проверяла их наощупь и на слух, одного за другим, прижимаясь своим единственным уцелевшим ухом к мертвой груди сына, дочери, сына. Но она не слышала ничего... ничего... ниче...

У девушки вырвался судорожный всхлип. Нир быстро придвинулся к ней вплотную, обнял за плечи, прижал к себе. Рейна не сопротивлялась. Лицо ее было мокро от слез.

– Не надо, Рейна, – пробормотал он ей на ухо. – Потом, потом...

– Потом, потом, – повторила она, уткнувшись лбом в его плечо. – Потом она снова закапывала своих детей. Хоронила их второй раз, всех троих. Чтобы не достались собакам и лисам. Это было последнее, что она намеревалась сделать перед тем, как вернуться в свою собственную могилу. Потому что ее воскрешение не имело смысла без воскрешения детей. Рейна насыпала и утрамбовала три маленьких холмика, прочитала три погребальных молитвы и легла к себе в яму – исправлять ошибку милосердного Господа. Там ее и нашел Золман. Извини...

Рейна высвободилась из его объятий, отодвинулась и резкими поочередными движениями плеч вытерла щеки о футболку.

– Извини, что я так... разревелась... – она шмыгнула носом и смущенно покосилась на Нира. – Сама не знаю, что это на меня нашло.

Нир откашлялся. Он смотрел в сторону, чтобы дать ей возможность прийти в себя. В ноздрях у парня стоял запах ее волос, и ему не хотелось сейчас ни о чем думать – вообще ни о чем.

– Золман? – переспросил он, просто чтобы что-то сказать. – Как туда попал Золман?

– Очень просто... – девушка пожала плечами. – Он запутал-таки своих преследователей, хотя для этого пришлось несколько часов петлять по оврагам и перелескам. А потом, как договорились, пробрался на хутор старого Косты. Вернулся туда, где рассчитывал найти свою семью. Когда Коста сказал, что никто не приходил, Золман подождал до ночи и отправился на поиски. В овраг он заглянул сразу, но в тот момент Рейна еще не очнулась. Так что Золман бегло посмотрел сверху, ничего не заметил и пошел себе дальше. Если бы он

спустился вниз, то, конечно, увидел бы много чего: детские сандалики, фейгину куклу, обрывки платья, кровь, свежие холмики. Но разве разглядишь издали, да еще и в темноте... Он надеялся, что Рейна с детьми прячется в подсолнухах. В общем, Золман несколько раз обшарил поле от хутора до рощи и обратно, пока не решил проверить следы на дне оврага. Рейна услышала, как кто-то спускается. Он подумала, что это вернулись убийцы, и позвала их – чтобы добили...

– Подожди... – Нир тронул ее за руку. – Не обижайся, но откуда все это известно? Да еще и в таких деталях?

– От самой бабушки. Нет, нам-то она ничего никогда не рассказывала, ни слова – ни мне, ни маме. Но за год до смерти попросила меня отвезти ее сюда, в Учреждение, и они записали ее свидетельство на видео... Посмотри в каталоге на ее... и на мое имя.

– Ясно. Золман отвел ее на хутор?

Рейна кивнула.

– Ага. Золман отвел ее на хутор, обработал рану, перевязал, ходил за ней как мог. А когда стало ясно, что жена выживет, оставил ее на старика. Взял у Косты припрятанный обрез и ушел мстить за детей. Вернулся из-за Днестра в начале сорок четвертого, уже мобилизованным красноармейцем. Дошел до Вены. А Рейна все это время пряталась на хуторе у Косты. Волосы у нее отросли снова, но разве скроешь такое уродство... Боялась, что муж не захочет к ней возвращаться. Но Золман сразу сказал ей, что они обязаны родить хотя бы еще одного ребенка. В память о тех троих. В сорок шестом родилась девочка, моя будущая мама. Ее назвали...

– Фейгой? – опередил ее Нир.

– Да, Фейгой. Золман не стал возвращаться в Клишково к старому ремеслу. Не хотел больше ездить за кожами по деревням и смотреть в глаза тамошним жителям. Боялся, что начнет убивать без разбора. Обосновались в Хотине, с превеликим трудом выбив себе развалюху на окраине. Бывшую гостиницу и дом семьи Лазари занимало теперь какое-то советское учреждение. Лазари, кстати, сгинули все, до единого человека – и взрослые, и дети. Рейна варила варенье, продавали на рынке, тем и жили. А для варенья нужен сахар, дефицитный товар в послевоенные годы. Сахар Золман покупал из-под полы у вороватого кладовщика. Потом кладовщика арестовали, а вместе с ним и моего деда. Не помогли ни партизанские заслуги, ни военные медали. Загребли-то его всего на пятерочку, но к тому времени Золману шел уже шестой десяток, не самый лучший возраст для исправительных лагерей. Оттуда он и в самом деле не вернулся. Рейна осталась одна с двухлетней девочкой на руках. Но это уже другая история...

Девушка устало вздохнула и повернулась к Ниру:

– На сегодня хватит. Иди к себе в архив. Эстер, наверно, заждалась.

– А ты?

– А я тут посижу, – она улыбнулась вымученной улыбкой. – Мне нужно побыть одной, и вообще... Будь другом, иди, ладно?

Нир послушно кивнул. Было видно, что сейчас каждое слово дается Рейне с трудом. Дойдя до поворота аллеи, он обернулся. Девушка сидела там же, в той же позе: плечи бессильно опущены, руки сцеплены на коленях, неподвижный взгляд устремлен в небо, поверх кус-

тов и деревьев, поверх памятников, поверх старого дощатого вагона, зависшего над обрывом, над дымящейся пропастью прошлого.

В архиве он сел к компьютеру и после недолгого поиска нашел видеосвидетельство госпожи Рейны Сироты из Реховота, бывшей жительницы Хотина. Запись была шестилетней давности, старушке исполнилось к тому времени девяносто два года. Тем удивительней выглядела поразительная связность и последовательность изложения, чистота русской речи, общее благородство облика. Даже более чем преклонный возраст не смог стереть следов царственной красоты с ее лица, изуродованного безобразным шрамом, который тянулся с левой стороны лба через глаз и скулу. Поражало и ее сходство с внучкой: та же мимика, та же улыбка, тот же упрямый наклон высоко поставленной головы.

Рейна говорила неспешно, уверенно, не путаясь в датах и именах, словно читая по написанному. О довоенных событиях, о семейной гостинице и о братьях, а также о своем «странном» замужестве рассказывала живо, с тонким и точным юмором, с уже знакомой Ниру насмешливой интонацией. В особо тяжелые моменты взгляд ее единственного глаза темнел, становился отстраненным, но речь оставалась такой же спокойной, размеренной и связной, как прежде. Создавалось впечатление, что она говорит не о себе, а о ком-то другом, о совершенно незнакомой женщине – или даже не о женщине, а о неведомой инопланетянке, которая голыми руками раскапывает могилы своих троих детей в ночном бессарабском – или даже марсианском овраге. Сила этой женщины и в самом деле казалась неземной. Голос ее ни разу не дрогнул, ни единой слезы не скатилось по ее щеке.

Закончив свой рассказ, Рейна Сирота, в девичестве Лазари, доверительно наклонилась вперед и сказала:

– Знаете, я была уверена, что никогда не расскажу об этом. Во-первых, потому что не смогу физически, умру на месте. Но, как видите, смогла. Старое сердце черствеет, как хлеб. Во-вторых, потому что моя дочь не хотела об этом слышать. Она до сих пор обрывает меня, едва лишь я начинаю говорить на эту тему. Но теперь и эта причина отпала. Дело в том, что у меня есть внучка, Мириам. Это она привезла меня сюда. Замечательная девочка. Если кто и сможет что-нибудь изменить, так это она... – старушка улыбнулась и развела руками: – Вот и все. Выключайте свою камеру.

«Мириам, – отметил про себя Нир. – Вот как ее зовут в действительности. А впрочем, в какой такой действительности? Разве что в той, где успешная во всех отношениях красавица Мириам проживает в Хайфе со своим столь же успешным красавцем-бойфрендом и озабочена лишь тем, как бы получше совместить удачную карьеру с запланированной свадьбой и суперталантливыми детьми, которые должны появляться строго по расписанию в период отпусков. В той действительности, где она даже не взглянула бы на тебя, среднего во всех отношениях обитателя параллельного мира. Мириам... Ну уж нет, пусть лучше остается Рейной. Эта действительность нравится мне намного больше».

Он еще раз просмотрел видео, сосредоточенно анализируя каждую деталь этой страшной повести. Все правильно, все точно: младшая Рейна ничего не выдумала, ничего не присочинила.

За окнами читального зала стемнело. Девушка так и не вернулась сюда, оставив на своем столе наушники, блокнот и две раскрытые папки с ксерокопиями документов.

– Как, ты еще здесь?

Нир обернулся: за его спиной, недоуменно воздев брови, стояла начальница.

– Не могу не похвалить твое рвение, – продолжала Эстер, – но будет плохо, если ты израсходуешь за пару недель двухмесячный запас рабочих часов. Кто тогда поможет со сканированием и вообще? У нас ведь здесь не Маутхаузен, новых работников вагонами не возят.

Нир растянул губы в улыбке, давая понять, что оценил начальственную шутку.

– Не волнуйтесь, госпожа Эстер. Я все понимаю. Будем считать это моим личным временем. Если есть проблема в смысле учета рабочих часов, то я могу завтра вовсе не отмечать приход и уход. И в некоторые другие дни тоже.

В любом другом месте подобному заявлению немало бы удивились, но Эстер и глазом не моргнула.

– Что ж, как хочешь, – сказала она, всматриваясь в экран монитора, где одноглазая седая старушка уже в третий раз за сегодняшний день рассказывала историю своей жизни. – Кто это? Родственница? Кого-то она мне напоминает, но кого?..

Нир промолчал. Эстер подошла поближе, прочла имя и удовлетворенно хмыкнула:

– Ага, теперь понятно. Ну и молодец. Я-то уже испугалась, что ты за тему какую-то взялся. А ты, оказывается, за девицей охотишься... – она потрепала Нира по шее. – Повторяю: мо-ло-дец! Любовь штука горячая, горячей...

– ...крематория? – мрачно подхватил Нир. – Очень смешно. А почему вы испугались-то?

– Испугалась?

– Вы только что сами сказали. Я, мол, испугалась, что ты за тему какую-то взялся. Чего тут такого страшного – взяться за тему? Разве архив не для того и существует? Мне просто интересно.

Начальница крутанула на пальце связку ключей.

– Лучше не надо, Нир. Думаешь, это море – сплавал и вернулся? А это не море, это омут. Затянуло, и поминай как звали. Посмотри хоть на эту свою подругу. По самую макушку ушла. Может, только ты ее теперь и вытянешь. Последний шанс... – она с усмешкой вгляделась в Нира и покачала головой: – Хотя, не факт, совсем не факт... Ладно, чему быть, того не миновать. Кому душ отдушина, а кому душегубка. До завтра, парень! Будешь уходить, не забудь включить сигнализацию!

Нир с тяжелым чувством смотрел ей вслед.

Слова Эстер не выходили у него из головы и позже, по дороге домой. Действительно, со стороны увлечение Мириам-Рейны архивными материалами выглядело странно. Странно, когда молодая девушка безоглядно бросает столь перспективный жизненный маршрут в пользу абсолютно бесплодного, безрадостного и угнетающего тупика. Зачем? Сколько ей лет? Двадцать пять? Двадцать шесть? Это уже не та юная пора, когда простительны иллюзии и ошибки. Когда впереди

начинает маячить тридцатилетний рубеж, женщина редко отбрасывает возможность получить удачную работу, хорошо выйти замуж, купить квартиру, родить ребенка...

Секунду, а что же он сам? Ему ведь тоже исполнилось двадцать шесть. Да, в последнее время Нира преследовали неприятности: одна ссора с Сигаль чего стоит. Но какие пары не ссорятся? Разве эта непонятная, не оформленная словами расставания размолвка должна положить конец их отношениям – длительным, надежным, основанным на реальном чувстве, связанным общими планами? Уж он-то знает: пройдет еще месяц, и Сигаль вернется с поджатым хвостом, вволю насмотревшись на грязь индийских городов, на язвы тамошних нищих. Разумно было бы посвятить этот месяц подготовке к экзаменам – а он? Что делает он, вместо того чтобы сидеть над учебниками? Вот уже вторую неделю проводит в пыльном архиве Учреждения, взглядом верного пса ловя каждое движение сумасшедшей девицы... Ну не безумие ли?

Возможно, Эстер права, и это странное место, эта страшная тема действительно затягивают, как омут? Ниру приходилось слышать о «синдроме второго поколения», о психической травме, настигающей детей тех, кто выжил в аду Катастрофы. Возможно, этот синдром распространяется и на внуков – тогда странности Рейны получают более-менее логичное объяснение. Одно несомненно: ему самому пора завязывать если не с Учреждением, то хотя бы с нынешним режимом работы. И начать желательно прямо с завтрашнего утра. Остаться дома, взяться за конспекты. О первом, степушенковском экзамене можно уже забыть: времени на подготовку не хватит, лучше сразу перенести на осень. А вот с электротехникой Нир разберется в два счета...

«Нет, нехорошо, – подумал он. – Я ведь обещал Эстер, что завтра выйду... А с другой стороны, какая разница? Обещания обещаниями, но месячная норма давно уже выработана. Никто не может заставить человека работать даром. Или все-таки стоит выйти, а электротехнику отложить до послезавтра?»

Так ничего и не решив, Нир припарковал мазду у калитки рядом с отцовской машиной. Отец смотрел футбол по телевизору; кивнув ему, Нир поднялся наверх. Дверь в комнату бабушки была приоткрыта. Лидия Сергеевна читала, лежа в постели. Увидев внука, она обрадовалась:

– Сереженька! Будешь ужинать? – и продолжила, не дожидаясь ответа и показывая на книгу: – Такие интересные воспоминания! Я и подумать не могла...

– Бабуля, погоди! Бабуля! – Нир взял со стола коробочку со слуховым аппаратом. – Надень! Мне нужно кое-что спросить.

Лидия Сергеевна с поспешной готовностью приладила к уху скобу.

– Такая чепуха эти аппараты... – проговорила она, смущенно поглядывая на внука. – Только шум и слышен. Ты что-то хотел спросить? Об этой книге?

Нир помотал головой.

– Нет, не о книге. О войне. Почему ты никогда не рассказывала о войне?

Бабушка удивленно вскинула брови и зачем-то стала разглаживать складки на одеяле.

– Бабуля, ты слышала, что я спросил?

– Конечно, слышала, – с оттенком обиды ответила Лидия Сергеевна. – Вы думаете, бабка уже ни на что не способна. Конечно, слышала.

– Ну, так почему?

Она пожала плечами и подняла на Нира выцветшие глаза.

– Не знаю. Сначала рассказывать было незачем: все вокруг и так всё знали. А потом рассказывать было некому: никто особо не интересовался. Думаешь, твой отец хотел это слушать?

Нира кивнул: бабушка почти слово в слово повторила то, что сказала старая Рейна на видеозаписи: «моя дочь не хотела этого слушать». Но Лидия Сергеевна расценила его кивок как выражение недоверия.

– А я тебе говорю, что не хотел! Не хотел. Это сейчас они стали газеты читать и в компьютере ругаться. А тогда никто не хотел.

– Почему, бабуля?

Она снова пожала плечами.

– Не знаю, сынок. Наверно, дети хотят видеть в родителях маму и папу. Наверно, поэтому.

– Маму и папу? – не понял Нир. – А кем бы вы стали, рассказав обо всем?

– Жертвами, – тихо ответила старушка. – Мы и были жертвами. Выжившими, уцелевшими, искалеченными физически, искалеченными духовно.

Нир молчал, и Лидия Сергеевна снова взялась за складки на одеяле.

– Можно было бы рассказать внукам, – проговорила она после паузы, – но внуки не слушают по другой причине: им неинтересно. И очень жаль, что так. Потому что вы совсем другие, Сереженька. Вы молодые, сильные, свободные... – другие. Вы можете это изменить.

Нира бросило в жар.

– Изменить? Что изменить, бабуля? О чем ты?

– Не знаю...

Оставив наконец в покое одеяло, Лидия Сергеевна беспомощным жестом поднесла к глазам обе руки и принялась разглядывать их, как будто надеялась отыскать ответ в линиях ладоней, линиях судьбы и жизни.

– Ничего-то ты сегодня не знаешь, – чуть слышно пробормотал Нир, адресуясь то ли к бабушке то ли к себе. – Не то что в обычные дни.

– Что? – встрепенулась старушка. – Ты что-то сказал?

– Нет-нет, ничего... – он наклонился и ласково поцеловал ее в горячий лоб. – Спокойной ночи, бабуля.

– Спокойной ночи, сынок...

В своей комнате он взялся было за конспект по электротехнике, но четверть часа спустя обнаружил, что безуспешно пытается прочесть один и тот же абзац в три строки. Текст казался написанным на чужом языке, хотя каждая буква и даже некоторые слова выглядели смутно знакомыми. Нир отложил тетрадь и лег, но сон, как и электротехника, не проявлял ни малейшей склонности к сотрудничеству. Чтобы отвлечься, он снова стал взвешивать за и против завтрашней поездки на работу и довольно быстро пришел к выводу, что ехать не стоит. Можно

просто позвонить утром и передоговориться с Эстер на какой-нибудь другой день. В конце концов, как-то ведь справлялись они и без него...

Приняв решение, он отключил будильник, и тут же почувствовал облегчение, словно кнопка звонка управляла не только сигналом побудки, но и неким центром беспричинной тревоги в мозгу. Теперь можно было попробовать уснуть. Нир закрыл глаза и обнаружил, что продолжает думать об Учреждении – не потому, что собирается заново решать относительно завтрашнего дня, а просто потому, что думать об этом приятно. Поначалу это показалось ему странным: что может быть приятного в набитом ужасами архиве смерти? Но затем Нир понял, что думает не об архиве вообще, а конкретно о девушке за архивным столом, и тогда уже все встало на свои места, и можно было расслабиться и без помех любоваться упрямой линией лба, царственным спокойствием рук и шеи, безупречным рисунком губ, слегка приоткрывающихся навстречу его смущенному взгляду.

Он проснулся разом, как от толчка, и сразу стал собираться, автоматически следуя вошедшему в слепую привычку распорядку. Как всегда в таких случаях, немного поразмышлять ему пришлось лишь при выборе рубашки. Перебрав несколько вариантов, Нир остановился на бежевой футболке, чей застиранный вид хорошо гармонировал с остроумной английской надписью «Не стирано ни разу». Уже застегнув ремешки на сандалиях, он бросил взгляд на экранчик часов – пять двадцать пять, пора выходить – и только тут вспомнил, как отключал будильник накануне вечером.

«Вот ведь чушь-то какая! – он с досадой покрутил головой. – Думал-думал, решал-решал и на тебе... Что теперь делать? Ложиться снова? Тоже глупо. Поеду, пожалуй...»

Наверно, в такой ситуации его решение выглядело самым разумным. И все же, садясь в машину, Нир ощущал некоторую неловкость. Да-да, неловкость. А как еще должен чувствовать себя человек, внезапно обнаруживший, что его поступки определяются чьей-то посторонней волей, непонятно чьей, но уж точно не его собственной. Хорошо, что послушный руль, чуткая педаль газа и несущиеся навстречу знакомые сине-зеленые указатели скоростного шоссе постепенно сгладили неприятное чувство.

Подумаешь, посторонняя воля! Биг дил – решил не ехать и все-таки поехал... Сам решил, сам и поехал. Как ни крути – руль вправо, руль влево – он и только он продолжал полностью управлять своей жизнью. Вот, к примеру, скоро развязка, надо уходить вправо. Хоп! Ушел. Решил и ушел. А вы говорите «посторонняя воля»... – ерунда, одним словом. Завтра-то он точно останется дома в обнимку с электротехникой. Да что там завтра – уже сегодня. Он ведь обещал начальнице просто прийти, не обязательно на полный рабочий день. Побегает по архиву часика три-четыре, и точка, домой. А что до Рейны... Рейна сама по себе, а он, Нир, сам по себе. Хватит! У него свои заботы, бесконечно далекие от нее: экзамены, дипломный проект, работа... И конечно, Сигаль. Да-да, Сигаль. Он любит Сигаль, а Сигаль любит его.

Нир попытался вызвать в памяти нежный профиль школьной подруги на фоне коричневого вагона, но безуспешно. Почему-то перед его мысленным взором со странным постоянством возникала совсем другая картина. Нет, с фоном-то все обстояло в порядке:

вагон не подводил, не уезжал, по-прежнему исправно парил над обрывом. Зато профиль всякий раз оказывался иным, с насмешливым, изящно очерченным ртом и упрямым лбом, обрамленным тяжелыми светлыми волосами.

Рейна появилась позже обычного, когда он уже закончил наводить порядок в стеллажах и занялся сканированием. Чтобы продемонстрировать самому себе и заодно всему миру степень владения ситуацией, Нир не стал подходить к ней сразу. Сначала он мужественно завершил ежедневную порцию документов и лишь тогда неторопливо проследовал в читальный зал, чтобы поздороваться. Собственно, мог бы и не здороваться, но вряд ли стоило пренебрегать требованиями элементарной вежливости.

– Привет, – сказал он, останавливаясь перед ее столом. – Тебе что-нибудь нужно? Дело, папку?

– Нет, спасибо, – не поднимая головы, ответила Рейна.

– О'кей... – Нир саркастически улыбнулся. – Я вижу, сегодня мы особенно заняты. Погружены, так сказать...

Девушка молча пожала плечами, не отрывая глаз от разложенных перед нею бумаг. Она так и не взглянула на Нира, так что весь сарказм его улыбки пропал даром. Парень еще секунду-другую топтался перед столом, чувствуя себя совершеннейшим идиотом, затем неловко отступил и вернулся к своему сканеру. Он был в бешенстве; сердце его надрывалось от боли и саднило, как кровоточащая подушечка для иголок.

За что?! Что он ей сделал, этой чертовой снежной королеве? Чем обидел, чем заслужил эту оскорбительную холодность? Как будто это не она еще вчера рыдала у него на плече! В груди словно застрял жесткий громоздкий многогранник, мешающий дышать. Нир сделал несколько глубоких вдохов-выдохов и подождал, пока пройдет головокружение.

«Так, хватит! – скомандовал он себе. – Это всего лишь еще одно свидетельство в пользу того, как тебе надлежит поступить. Ты ведь уже решил, не так ли? Экзамены, диплом, работа, Сигаль. С какой стороны ни посмотри, выходит только так и никак иначе. Какого же черта ты раз за разом возвращаешься к этой задачке, будто она может иметь другой результат? Дважды два всегда четыре. Сейчас нужно просто сесть в машину и ехать домой, к конспектам...»

Он прикинул, не стоит ли найти Эстер, чтобы известить ее о своем уходе, но затем отказался от этой затеи, не без оснований заподозрив самого себя в желании еще раз заглянуть в читальный зал. Действительно, начальнице можно позвонить и вечером, отчитаться, согласовать, наметить будущий режим работы. А пока... Пока надо собрать манатки и двигать к машине.

Выходя из архива, Нир сделал все, чтобы не наткнуться взглядом на светловолосую девушку за столом: специально шел по боковому коридору, уставив глаза в противоположную стену, а лобби проскочил в три широких шага, даже не задержавшись, чтобы попрощаться с дремлющей за стойкой Ревеккой Рувимовной. За дверью ждал обжигающий июльский полдень, пахнущий сосновыми иглами и горькой землей.

«Вот и все, – думал Нир, шагая к стоянке. – Непросто, что и говорить. Из желобка легко выскочить, а вот назад попробуй-ка заскочи...»

По идее, он должен был чувствовать облегчение – во всяком случае, хотел бы чувствовать себя именно так: свободным, легким, избавившимся от странного и тягостного наваждения. Что ж, легкость в его состоянии, несомненно, присутствовала – но легкость пустоты, тонкостенного баллона, заполненного горьким горячим воздухом иерусалимского лета.

– Горько... – пробормотал он. – Горько, горько... Горько дышать.

Хуже всего было то, что Нира продолжал преследовать ее образ – тоже легкий, невесомый, намеченный всего двумя-тремя линиями, но, тем не менее, явственно различимый в силуэте кустов, в сплетении кипарисных ветвей, в изгибе дороги. Затем к зрительным галлюцинациям добавились еще и звуковые: Нир вдруг расслышал голос, зовущий его по имени, причем голос этот, несомненно, принадлежал ей, Рейне – упрямой безумной ведьме, с такой унизительной легкостью сбивающей с панталыку серьезных положительных людей. Ведьме, которую требовалось как можно скорее выкинуть из головы, из памяти, из его собственной жизни. Нир замедлил шаг и взялся обеими руками за виски, как будто надеялся, что ладони смогут сыграть роль электродов для целительного электрошока. Увы, галлюцинации продолжались:

– Нир! Подожди! Нир!

Кляня себя за непозволительную слабость, он обернулся. Рейна бежала к нему со стороны архива. Сердце Нира подпрыгнуло и заколотилось где-то у основания языка.

«Подожди, идиот! – одернул себя он с максимальной суровостью. – Да, это не галлюцинация, но кто ее знает, чего она от тебя хочет. Вот сейчас подбежит и скажет какую-нибудь гадость...»

Увидев, что парень остановился, Рейна перешла на шаг. В полуденную жару особенно не побегаешь. Она тяжело дышала, волосы разметались, и одна светлая прядь прилипла к влажному лбу. Во всей своей жизни Нир не видал еще ничего красивее этой картины.

– Ну что же ты... – с упреком выговорила Рейна, подойдя почти вплотную. – Я кричу, кричу, а ты все идешь и идешь.

В глазах ее стояло незнакомое выражение паники. Нир несколько раз сглотнул, отгоняя назад разгулявшееся сердце.

– Я это... не слышал...

Ее рука дернулась, протянулась вперед, но остановилась, не добравшись совсем немного до его плеча. Странно, что прикосновение при этом все равно получилось на удивление сильным. «Вот где настоящий электрошок, – мелькнуло у Нира в голове. – Только совсем не целительный. Ну и черт с ним, с исцелением. Пусть оно все провалится и только она пусть останется...»

– Ты что, уже уходишь? – тихо спросила она. – Совсем? Я так испугалась...

Он отрицательно помотал головой.

«Ты что?! – хотелось крикнуть ему. – Как ты могла такое подумать?! Разве я могу уйти от тебя, дура ты ненормальная?! Я твой от макушки до пяток! Я кусок пластилина в твоих руках, размякший от жары кусок пластилина, лепи, что хочешь! Ты можешь делать со мной все, что тебе взбредет! Скажи умереть, и я умру, слышишь?»

Но сердце по-прежнему прыгало под языком и мешало говорить, поэтому Нир смог лишь промычать что-то вроде:

– Я это... не думал...

Рейна моргнула, и паника в ее глазах сменилась на обычное выражение насмешливой решимости.

– Не слышал... не думал... – повторила она. – Тогда пошли. Ходить ты, вроде бы, еще можешь. Ведь можешь?

Нир молча кивнул. Он даже не спросил, куда. Зачем? Бывают моменты, когда не имеет смысла притворяться. Сейчас они оба понимали, что он пойдет за ней куда угодно. Когда проходили мимо стоянки, он на всякий случай напомнил:

– У меня здесь машина.

– Не надо, – отмахнулась Рейна. – Это совсем рядом. Ехать дольше, чем идти.

В полном молчании они миновали кипарисовую аллею и пересекли проспект.

– Сюда, – показала она. – Тут я снимаю.

Нир снова кивнул. Он уже знал, что должно случиться. Собственно, он знал это очень давно, со вчерашнего дня, и теперь это знание казалось настолько ясным, настолько естественным, что было непонятно, зачем им обоим понадобилось обставлять происходящее таким большим количеством уверток и притворства. Зато теперь все выглядело иначе – каждая мелочь: окурок на асфальте, вялая от жары трава, раскаленные стены домов, пустая скамейка у подъезда. Все это представлялось Ниру каким-то иным, новым, исполненным высшего смысла, пронизанным одной логикой, прозрачной и видимой, без покровов, насквозь, наголо, до кожи. И Рейна, поднимающаяся перед ним по лестнице на верхний этаж, была не только первопричиной, но и неотъемлемой частью этой прозрачности, особенно восхитительной именно в ее случае. Одежда? К черту одежду! – ничто сейчас не мешало Ниру видеть все, что ему хотелось. Шагая вслед за девушкой по узкой лестнице, он гладил взглядом ее шею, спину, волосы, ноги.

– Не смотри так, а то я споткнусь, – хрипло сказала она, не оборачиваясь. – Потерпи, уже немного осталось.

Квартирка была крошечной, в одну комнату, и прямо под крышей, так что внутри было еще жарче, чем на улице. Рейна закрыла дверь на ключ и, повернулась к нему, к его жадным рукам, губам, языку. Терпение осталось там, на лестнице – теперь им казалось недопустимым потратить даже несколько секунд на то, чтобы раздеться. Прижавшись к двери и друг к другу, слив рты в одну мягкую ненасытную стонущую материю, они хрипели и содрогались, и вместе с ними содрогалась хлипкая дверь и темный горячий мир, вытянувшийся за дверью в одну звонкую, гудящую на высокой ноте струну.

– Ты не устал? Опусти меня на пол...

– Не-а. Я готов держать тебя так хоть всю жизнь.

– А дверь?

– А что дверь?

– Дверь готова? Странно, что мы ее не высадили.

Она высвободилась из его рук и, выйдя на середину комнаты, стянула через голову мокрую от пота футболку.

– Так лучше, – признал Нир. – Может, и мне снять?

– Снимай, – разрешила она. – Заодно и постираем. Сколько можно в нестираной ходить? Особенно, после такой акробатики.

Нир подошел девушке и прижал ее к себе. Без одежды и в самом деле было намного лучше.

– Знаешь, – сказал он, – ну ее на фиг, эту акробатику. Давай ляжем, а? Кровать у тебя крепче двери?

– Подожди... нам... надо... поговорить... – бормотала она, с переменным успехом уворачиваясь от его настойчивых губ.

– Потом, потом... Так что с кроватью?

– Не знаю... пока... не пробовала...

– Ну, вот и попробуем...

Дальше они уже никуда не торопились. Их изнывающие от нежности тела медленно плавали во влажном омуте вздохов, поцелуев и нечленораздельного задыхающегося шепота. Даже огненная топка иерусалимского лета не могла бы добавить жара их пылающим животам и мечущимся бедрам, а сухой раскаленный воздух не успевал сушить их неутомимые тела, скользкие от горячего пота. Теперь девушка не закрывала глаз; их цвет менялся от ярко-голубого, смеющегося и прозрачного, как полуденная небесная песня жаворонка, до совсем темного, непроницаемого, с редкими искорками тусклого далекого огня в те минуты, когда чаша ласки переполнялась и лавой выплескивалась наружу, затопляя отключившееся сознание.

Время от времени Рейна порывалась начать разговор, но Нир был настороже, всякий раз отвлекая ее лаской, закрывая ей рот поцелуем, слизывая с ее языка и глотая непроизнесенными те непозволительно опасные слова, которые она наверняка заготовила по своей странной привычке разрушать все хорошее, до чего только может дотянуться. В конце концов, он достаточно страдал, пока добился этого длящегося невообразимого счастья, и теперь не желал так просто выпускать его из рук. Не желал терять это скользкое горячее тело, эту гладкую спину, и грудь, и живот, и бедра, и пьянящий запах волос, и запрокинутое в обморок лицо, и сумрачные полузакрытые глаза, и мягкие отзывчивые губы...

Это было совсем не похоже на его отношения с Сигаль – ни на раннее юношеское чувство, полное свежести, любопытства и восторга первооткрывателя, ни на более позднюю сытую, уверенную, расчетливо-умелую любовь, упитанную и здоровую, как молодой мясник за прилавком. Нир и сам не знал, как определить эту несхожесть: ведь для описания того, что происходило сейчас под раскаленной крышей старого иерусалимского дома, ему понадобились бы точно такие же слова. Просто одни и те же слова могут обозначать принципиально разные вещи, как, например, трава, которая может расти и на ухоженной семейной лужайке, и на высокогорном альпийском лугу рядом с бездонной пропастью. Его связь с Сигаль тоже называлась любовью, но какой куцей, убогой, приземленной казалась она сейчас в сравнении с этим головокружительным полетом в дымящуюся, до предела наэлектризованную бездну!

Это счастье не могло быть обычным, расхожим, заработанным службой или приобретенным за деньги, наподобие той же семейной лужайки, растиражированной миллионами копий. Высокогорные луга и пропасти – штучное производство, недвижимость чуда, не подлежащая продаже. Наивно предъявлять права на чудо. Можно лишь попытаться удержать его всеми правдами и неправдами, хитростью, лаской, обманом, еще одним поцелуем, еще одним объятием, еще

одной порцией невнятного шепота в ускользающее, щекочущее, пронзительно любимое ухо...

– Нам надо поговорить! – решительно сказала Рейна, садясь на постели.

– Давай, завтра... – попросил Нир, для пущей убедительности беря ее за руку и притягивая к себе. – Иди ко мне...

– Нет... хватит... Нир! Довольно!

Он обреченно смотрел, как девушка, подхватив по дороге халат, скрывается в ванной. Похоже, и в самом деле кончен праздник. Вздохнув, Нир прислонился к стене и натянул на себя простыню. Он не ждал ничего хорошего от предстоящего разговора. Рейна вернулась и, во избежание неожиданностей, примостилась на стуле, подальше от кровати. Лицо ее было серьезно.

– Что ты там уселась? Иди сюда, тут удобней... – Нир похлопал ладонью по постели.

Рейна помотала головой:

– Я ведь сказала: хватит. Мы должны поговорить.

– Мы должны... – повторил Нир, состроив шутливую гримасу. – Кто это «мы»? Я, к примеру, не должен. Меня вполне устраивает молчание. Слушай, а не попробовать ли нам дать обет молчания?

– Вот и молчи, – серьезно сказала она. – Молчи и слушай. Пока от тебя требуется только это.

– Пока?

– Пожалуйста, не перебивай... – Рейна глубоко вздохнула и продолжила, глядя в пол. – Моя бабушка Рейна умерла пять с половиной лет тому назад. Девяносто три года – неслабое достижение, если учесть то, что выпало на ее долю. Сейчас-то я понимаю, что она гордилась каждой минутой, отвоеванной ею у смерти. Я уверена, что после того оврага Рейна не просто жила, а жила назло. Вопреки судьбе, вопреки Богу, вопреки всем тем силам, которые заведуют событиями человеческой жизни. Ты, мол, меня и так, и эдак, а я вот жива, дышу, да еще и в таком преклонном возрасте. Ее и в самом деле ничего не брало. Помню, в конце девяностых у нее обнаружили рак. Бабушка выслушала диагноз и спросила, что это значит в плане оставшегося ей времени. Врач обещал год, в лучшем случае – полтора. Она только усмехнулась. С того момента опухоль только уменьшалась, пока не исчезла вовсе. Она справилась даже с этой болезнью.

– От чего же она умерла?

– От глупости... Не зря говорят, что глупость ломит любую силу, даже такую, какая была у бабушки Рейны. Вышло так: они с матерью раздражали друг друга. Всегда, сколько я их помню. В принципе, это можно понять: моя мать не хотела жить с таким бременем. Не хотела быть заместительницей тех троих, погибших детей. Человек имеет право на самостоятельную жизнь, на самостоятельную ценность. Так или иначе, но когда Рейне исполнилось восемьдесят пять, она сбежала от нас в дом престарелых – в приличный пансион с отдельной комнатой и хорошим врачебным уходом. Это обходилось недешево, но у бабушки были отложены деньги: думаю, она спланировала свой уход заранее, чтобы даже в самом беспомощном состоянии не зависеть от дочери. Ну вот. Медсестра из новеньких стригла ей ногти и занесла инфекцию. Что-то там воспалилось, и Рейна сгорела за не-

делю. Думаю, она просто не успела осознать опасность ситуации: в самом деле, кто же умирает от стрижки ногтей? Смешно, да? Эта гадская сука смерть взяла ее обманом...

– Тогда ты и сменила имя?

Рейна отрицательно покачала головой.

– Нет, не сразу. Пойми, когда она умерла, мне едва исполнилось двадцать. В моей жизни были совсем другие вещи, другие интересы. Я решала, оставаться в армии или уходить. И если уходить, то куда – ехать в Латинскую Америку на год или отдаваться в университет на четыре? И если в университет, то в какой? Я только что уступила своего первого бойфренда своей же лучшей подруге, потеряв таким образом обоих, и понятия не имела, хорошо это или плохо. Короче говоря, я могла думать только о себе, да и то не вполне логично. Хотя я очень любила бабушку. Очень...

Она замолчала, по-прежнему высматривая что-то на полу между стулом и кроватью.

– И ты уехала в Хайфу поступать в Технион, – осторожно напомнил Нир.

– Ага. Я поступила, и все сразу пошло по накатанному маршруту. А когда маршрут накатан и прям, когда не требуется следить за дорогой, вписываться в повороты и выбирать нужную развилку, появляется время на то, чтобы подумать, туда ли ты едешь... – Рейна подняла на него смущенный взгляд. – Ты только не подумай, что я какая-нибудь Жанна д'Арк или пастушка Бернадетта: мне никакие святые призраки не являлись, и никакого откровения не снисходило. Просто человек не сразу понимает, кто он. Это приходит постепенно, часто не приходит вовсе. У кого-то нет времени, у кого-то нет смелости, у кого-то нет желания. Человек может до самой смерти проходить под чужим именем, прожить чужую судьбу и умереть, так ничего и не поняв о себе. И это плохо. Потому что, даже если прожитая так жизнь будет счастливой, это не его жизнь. Не его, а чужая. Понимаешь?

– Нет, – твердо ответил Нир, – не понимаю. То есть понимаю, но согласиться не могу. Слишком много вокруг бегает бездельников и болтунов, которые якобы себя ищут. Знавал я одну такую девицу...

Рейна равнодушно пожала плечами.

– Иногда бегут от себя, от своего назначения, не хотят признавать. Но жить чужой жизнью все равно плохо. Это как незваным заявиться на чью-то совсем незнакомую свадьбу. Сторона жениха думает, что ты от невесты, сторона невесты – что от жениха. А ты ни от кого, чужак под маской, незаконный едок. И вот ты ешь, и пьешь, и танцуешь, и даже временами действительно радуешься, но внутри все равно напряжен: как бы не открылось, как бы не разоблачили, как бы не выгнали с позором.

– Ну и что? – возразил Нир. – Если в итоге не поймали, то в чем проблема? Наелся, напился и все на халяву. Чем плохо?

– Плохо тем, что в этот самый момент где-то в другом месте играют другую свадьбу, – с силой произнесла она, наклоняясь вперед. – И эта свадьба твоя, законная. Где-то тебя реально ждут твои реальные друзья, твой реальный стол, твоя реальная невеста. Но место, которое законно должен занимать ты, пусто. Почему? Потому что ты, как последний кретин, танцуешь с чужими людьми на чужом празднике. Потому что ты своей волей, или своей ленью, или своей трусостью

лишил себя своей настоящей, неподдельной радости. Стоит она тогда того, эта халява?

Нир молчал, упрямо наклонив голову. Он мог бы возразить, что «своя» свадьба вовсе не обязательно лучше чужой. Возможно, на столах там никудышная жратва и паленая водка, друзья – пьянь и ворье, а невеста дурна лицом и нравом. Но ему не хотелось продолжать этот нелепый спор.

– Ладно, – сказал он наконец, – допустим. Что было дальше?

– Я поняла, что живу чужой жизнью, – улыбнулась девушка. – Что этот накатанный маршрут – не мой. А еще я поняла, что все чаще и чаще вспоминаю бабушку Рейну. Первым на это обратил внимание мой парень, с которым я тогда жила и за которого планировала выйти замуж. Он заметил, что я слишком часто цитирую свою покойную бабку. Что-то типа «как говорила в таких случаях моя бабушка»... или «бабушка Рейна как-то сказала, что»... Казалось бы, ерунда, но пикантность ситуации заключалась в том, что реально бабушка никогда не произносила ничего подобного. Я придумывала это за нее – невольно, автоматически. И чем дальше, тем больше я осознавала, что мне намного удобней и естественней смотреть на мир ее, бабушкиными глазами.

Нир недоверчиво хмыкнул:

– Ты хочешь сказать, что будто бы стала Рейной?

– Не будто бы, – поправила его девушка, – я стала Рейной. Перемена имени была лишь признанием свершившегося факта. Можешь считать это фантазией... я и сама-то поначалу не слишком верила. Но потом случилось то, что случилось: я приехала сюда просмотреть ее интервью.

– Зачем?

– Затем, что хотела больше узнать о ней, а значит, и о себе. Затем, что при жизни она мало что мне рассказывала. Она была для меня любимой бабушкой, которая гуляла со мной, кормила, покупала мороженое и читала книжки с картинками. Мы никогда не говорили на серьезные взрослые темы. Поэтому, я, конечно, не могла не вспомнить об этом интервью. Я знала о его существовании только потому, что сама отвозила Рейну в Учреждение незадолго до ее смерти. Тогда меня совсем не интересовало, что она там наговорила. Помню, я просто высадила ее здесь, а сама поехала в центр города – пройтись по магазинам и посидеть в кафе. Потом, часа через три, она позвонила, и я вернулась, чтобы забрать ее назад в пансион. Иными словами, привезла, увезла и забыла. А сейчас вот вспомнила. Можешь себе представить, что со мной стало, когда я это посмотрела.

– Да уж... – Нир покачал головой. – Но неужели ты никогда и ни о чем ее не расспрашивала? Хотя бы о том, где она потеряла глаз. Или об этом чудовищном шраме...

– Нир, милый, я видела этот шрам с младенческих лет, – мягко сказала она. – Мне он казался не чудовищным, а родным. Он был естественной деталью моего детства. А когда в какой-то момент я все-таки спросила, откуда он взялся, бабушка ответила коротко: «С войны», и этого оказалось достаточно. И вот теперь эта видеозапись... Я сказала «можешь представить, что со мной стало», но на самом деле ты не можешь. Никто не может. Ведь я – помнишь? – уже считала себя Рейной. Поэтому все, что произошло с ней, происходило будто бы со

мной. Я не могла слушать и не могла оторваться. Как в кошмаре, когда точно знаешь, что вот-вот умрешь, если это не кончится... – с той лишь разницей, что в кошмаре можно проснуться и вздохнуть с облегчением. А тут... тут я не могла проснуться. Меня насиловали эти звери рядом с трупами моих детей, а я... я не могла проснуться.

Рейна закрыла лицо руками. Плечи ее вздрагивали.

– Не надо, – попросил Нир. – Зачем ты...

– Молчи! Молчи! – она оторвала ладони от мокрого лица и выставила их вперед предостерегающим жестом. – Ты должен дослушать до конца. Ты здесь для этого, понял? Чтобы слушать. Вот и слушай!

– Хорошо, хорошо...

Девушка несколько раз глубоко вздохнула.

– Я не смогла вернуться в Хайфу в тот вечер. Меня разрывало изнутри, а голова гудела, как чугунный шар. Я не могла говорить, не могла никого видеть. Поэтому я обошла гору и легла здесь же, в лесу, под деревом. Ночью я проснулась в полной уверенности, что лежу в овраге, едва забросанная землей. Я минуты две судорожно шарила по сосновым иглам, разыскивая могилы Фейги и Боруха, пока, наконец, не сообразила что к чему.

Она сделала паузу и взглянула на Нира, словно ожидая какой-то реакции. Но Нир молчал, и Рейна, устало вздохнув, продолжила:

– Потом я вернулась в Хайфу, к своему прямому накатанному маршруту, который уже не был ни прямым, ни накатанным. Теперь он куда больше смахивал на овраг. Первым делом я выгнала своего Без-пяти-минут-мужа. Он был хорошим парнем, этот Без-пяти – умным, ласковым, успешным. Из него получился бы замечательный отец семейства. Он превосходно подходил девушке по имени Мириам, с которой познакомился, в которую влюбился и с которой жил душа в душу в течение трех счастливых лет. Вот только Мириам больше не существовало. Собственно, ее не существовало и прежде – был муляж, манекен, кукла, незваная гостья на чужой свадьбе. Ведь на самом деле это была Рейна, живущая в оболочке Мириам, как цыпленок в яичной скорлупе. И скорлупа просто не пережила той поездки в Иерусалим. Осталась там, в лесу, среди прочего мусора семейных пикников и народных гуляний. Цыпленок проклюнулся окончательно. В Хайфу вернулась совершенно другая женщина, Рейна, с чугунной головой и разодранным в клочья нутром.

– Неужели он просто так взял и ушел? Сразу? От такой как ты? – удивился Нир. – Что-то не верится...

– Ну, не сразу... – неохотно признала Рейна. – Сначала он решил, что мне попала вожжа под хвост. Что я временно нервничаю, как нервничают все самки в период месячных. Что это пройдет через неделю. Что он поживет немного у друга, а потом все устроится само собой. Может, так оно и случилось бы, не знаю. Может, Рейна и впрямь оказалась бы моей фантазией, усиленной потрясением от бабушкиного видео. Но тут мне попалась под руку статья в одном научном журнале. Статья по теоретической физике. Не знаю, насколько ты в этом...

Она бросила на Нира испытующий взгляд.

– Где уж нам, ариэльским... – саркастически произнес он. – Мы ведь в технионах не обучались. Мы ведь в физике без понятия. Но все же расскажи, авось кой-чего пойму.

– Да ладно тебе, – отмахнулась девушка. – Речь там шла о так называемой квантовой запутанности. Вообще-то, этот эффект давно известен. Описан в середине тридцатых годов Эйнштейном и Шредингером. В квантовой механике получалось, что возможно существование такой пары частиц, которые вовлечены в отношения мгновенной взаимосвязи. Ну, когда изменение одной вызывает мгновенное изменение другой, и этот процесс никак не зависит ни от пространства, ни от времени. Даже если два таких запутанных кванта находятся в разных концах вселенной, то есть разнесены на огромнейшее расстояние. Или в разных тысячелетиях, то есть разнесены на многие года. Все равно, изменив один квант, получаешь мгновенное изменение другого. Так выходило в теории. И, конечно, считалось парадоксом, который наглядно свидетельствовал о несовершенстве квантовой механики. Потому что на практике такого не может быть никогда.

– Звучит знакомо, – кивнул Нир. – Что-то подобное ты хотела вытряхнуть из профессора Степушенко...

– Верно! Потому что этот козел Степушенко – участник группы европейских ученых, от имени которых и была опубликована та журнальная статья. Небольшая такая статейка, где черным по белому рассказывалось о практическом подтверждении явления квантовой запутанности. Понимаешь? Они получили пару таких частиц! Запутанность – не парадокс, этот эффект реально существует!

– Ну и что? Что это меняет?

Рейна всплеснула руками:

– Как это «что»? Я вижу, ты ничего не понял...

– Почему же, понял, – возразил он. – Эффект квантовой запутанности подтвержден экспериментом. Слава Эйнштейну и Шле... зин... и прочему Зингеру.

– Шредингеру...

– И ему тоже, – согласился Нир. – Но какое отношение пара европейских квантов козла Степушенко имеют к тебе и твоей бабушке?

– Прямое... – тихо ответила девушка. – Пойми: природа это единый театр, где нет частных законов. Нет принципов, которые действуют, к примеру, на сцене, но не действуют в раздевалке. Есть только общие принципы. Они работают везде, и в партере, и на ярусах, и в кладовке уборщицы. То, что верно для двух фотонов, должно быть верно и для больших объектов. Таких, как я и моя бабушка. Если, конечно, между нами установлены отношения запутанности.

Нир потряс головой. Он начал понимать, к чему подводит его Рейна, но пока еще отказывался поверить, что она говорит об этом серьезно.

– Погоди-погоди... – медленно выговорил он. – Ты хочешь сказать, что...

– Что изменение моей судьбы может немедленно изменить и то, что случилось с ней! – подхватила Рейна. – Да. Именно так. Ну что ты на меня уставился?

«Господи, да она же действительно тронулась! – подумал Нир. – Реально, по-настоящему. Внешне рассуждает вполне логично, но все рассуждения стоят на совершенно безумной базе. Я уж не знаю, как это называется у психиатров... Надо бы отвести ее куда-нибудь на консультацию, но так, чтобы не знала, – сама ведь ни за что не пойдет...»

– Нир! Перестань на меня так смотреть!

– Как?

– Так! Будто я сбрендила.

– Но ты реально сбрендила, – сказал он, откидываясь на подушки. – Ты сама-то слышишь, что говоришь?

Рейна вскочила со стула и, подбежав к Ниру, наклонилась над самым его ухом.

– А если я скажу, что проверила это? – прошептала она, щекоча его своим дыханием. – А если я скажу, что это работает? Что у меня есть доказательства?

Чтобы не слушать, он натянул на голову подушку.

– У меня есть доказательства, – продолжала бормотать девушка. – Я проверила. Я резко изменила свою жизнь, резче не бывает. Сменила имя, бросила парня, оставила работу, уехала из Хайфы, поселилась здесь. Разве этого мало? Ну, скажи!

– Много! – подтвердил Нир из-под подушки. – Но все эти перемены касаются только тебя. Тебя одной. А твоей бабушки…

– И ее тоже! – свистящим шепотом сообщила она. – Я проверила.

Нир сел на кровати и с безнадежным видом покрутил головой.

– Ну что ты несешь… Как ты могла проверить?

– Интервью, – торопливо ответила Рейна. – Ее интервью. Оно изменилось. Раньше оно было другим.

– Не понял.

– Раньше оно было другим, – повторила она, глядя на Нира горящими полубезумными глазами. – Помнишь, я рассказывала тебе о том, как проснулась в лесу? Как стала искать могилы…

– Давида, Фейги и Боруха…

– Нет! Я так и думала, что ты не заметишь! Я искала две могилы! Только две! Потому что в первоначальном варианте видеозаписи Рейна рассказывала, что Давида убили раньше, еще на лугу. Он выбежал за оцепление – хотел добраться до реки, и мельник застрелил мальчика из револьвера. Понимаешь? А после того, как я переехала в Иерусалим, Давид прожил на несколько дней дольше – до самого оврага! Это, по-твоему, не перемена?

Нир потянулся к ней, обнял, прижал к себе.

– Перемена, перемена… – ласково проговорил он. – Пусть будет перемена. Только успокойся.

– Ты не веришь… не веришь…

– Успокойся, пожалуйста, – уговаривал ее Нир, тихонько поглаживая по спине. – И с чего ты взяла, что я не верю? Верю, конечно верю.

Рейна резко отстранилась.

– Там появилось еще кое-что, в самом конце. Про меня. Помнишь, она говорит о своей дочери и о внучке Мириам? Так вот: раньше она говорила: «Замечательная девочка», а потом сразу: «Вот и все. Выключайте свою камеру». А теперь добавилась еще одна фраза: «Если кто и сможет что-нибудь изменить, так это она…» То есть я. Понимаешь? Это как послание. Она как будто говорит: «Ты уже кое-что изменила, и можешь изменить еще больше!» Она верит в меня, понимаешь? Она ждет, что я смогу ей помочь. Помочь там и тогда, в сорок первом. Но как? Как это сделать, Нир? Я и так уже столько всего поменяла в своей жизни! А добилась всего-ничего: нескольких лишних дней жизни для ее старшего сына Давидки…

Вцепившись Ниру в плечи, она настойчиво вглядывалась в его лицо, высматривая, вымаливая, вытягивая ответ. Но чем он мог ответить на столь явное сумасшествие? Предложением сходить к психиатру? Вряд ли это даст положительный результат: услышав такое, Рейна тут же прогонит его из своей постели, квартиры, жизни. Нет-нет, уговоры, а также советы успокоиться и взглянуть на мир трезво решительно не годились. Тогда что? Упорно отводя глаза, Нир искал выход из безвыходного положения. Пауза между тем затягивалась, а вместе с нею росла и опасность того, что девушка расценит его молчание как неверие, как нежелание помочь. Внезапно ему вспомнилась Сигаль и ее редкостное умение выворачиваться из подобных ситуаций.

«Вот оно! – подумал Нир. – Нужно просто обидеться и сменить тему. Как это делает в таких случаях Сигаль».

Он грустно покачал головой и вздохнул.

– Знаешь, о чем я думаю, Рейна? О том, что я тоже – всего лишь часть этой твоей перемены судьбы. Еще бы: куда мне до хайфского парня с престижной специальностью, до выпускника Техниона... Ему-то, конечно, не надо объяснять про квантовую механику, не то, что мне, полуграмотному электрику. И семейка у него тоже, наверняка, не простая. Не будь у тебя цели резко изменить жизнь, ты бы в мою сторону даже не взглянула, так? Так? Молчишь, а? Конечно, так... – Нир сел на постели и потянулся за одеждой. – А тут – самое то: вместо успешного жениха с блестящей перспективой – безвестный лузер с неясным будущим. Вот уж перемена так перемена, правда?

Рейна молчала у него за спиной. Но Нир хорошо представлял себе, что должно последовать дальше. Сейчас она борется со стыдом, но стыд все равно окажется сильнее. Неприятно, когда тебя обвиняют в бессовестном использовании лучших чувств другого человека. Как ни крути, но придется заглаживать вину. Еще минута-другая – и она подберется сзади, обнимет его за шею, станет шептать на ухо ласковые слова извинения, скажет, что ничего подобного у нее и в мыслях не было. В принципе, можно немного помучить ее, притворяясь обиженным, а можно и не мучить, проявить мужское великодушие. Да-да, они помирятся как можно скорее, выпьют по стакану холодной колы и вернутся в постель. А ближе к вечеру, устав от любви, выйдут в город и будут долго-долго слоняться по прохладным улицам, сидеть в маленьких полупустых кафе и дышать горьким иерусалимским воздухом. А потом снова вернутся сюда – дышать друг другом...

– Уходи, – сказала она.

Вздрогнув от неожиданности, Нир обернулся.

– Что?

Рейна сидела на стуле и, покачивая ногой, насмешливо смотрела в его растерянное лицо.

– Уходи, – повторила она и продолжила, отчетливо выговаривая каждое слово: – Ты все правильно понял, парень. Ты часть моей перемены, не более того. Ты здесь потому, что мне нужна твоя помощь. Но если ты не хочешь или не можешь помочь, то уходи. Придется найти кого-нибудь другого. Твои сандалии вон там, под столом.

Нир непроизвольно повернул голову в указанном направлении. Сандалии и в самом деле лежали под столом – протяни руку и возьми. Но это простое действие выглядело сейчас решительно невоз-

можным. То, что произошло между ними, не могло закончиться столь нелепым образом. В его жизни не было, нет, и не будет ничего лучше этой безумной светловолосой фантазерки. Сейчас Ниру казалось немыслимым, что он когда-то жил без нее – как вообще такое возможно?

– Я никуда не уйду, – тихо сказал он. – Ты моя, поняла? Куда ты, туда и я.

Она поднялась со стула, подошла к нему и присела на корточки. Теперь ее голос звучал мягко, почти ласково.

– Нир, милый, послушай меня, пожалуйста. Я не могу этого доказать, я просто знаю: осталось совсем мало времени. Там в овраге ей было двадцать шесть лет, и мне сейчас тоже двадцать шесть. Она упоминает луну на три четверти – значит, речь идет о середине второй недели Таммуза. В этом году вторая неделя Таммуза начнется через два дня. Если и пытаться что-то изменить, то лучше этого периода не найти. Ты меня слушаешь?

Он послушно кивнул.

– Слушаю. Лучше не найти... – Нир осторожно протянул руку и погладил ее по волосам.

– Ну вот. Мне очень нужна твоя помощь, но я не хочу заставлять тебя. Не хочу, чтобы ты думал, что...

– Нет-нет, что ты! – перебил он. – Я и думать не...

– Ш-ш... – остановила его Рейна. – Не надо. Слушай, что я скажу. Мы с тобой сделаем так. Ты сейчас наденешь эти свои сандалии и поедешь домой. И по дороге хорошенько подумаешь над тем, что я рассказала. Я понимаю, что сейчас тебе кажется, будто... Но, возможно, это только так кажется, потому что я рядом, и мое присутствие мешает тебе думать. А это слишком важное решение, чтобы принимать его за здорово живешь, под настроение. Уж я-то знаю. Ты даже не представляешь, как долго я сама сомневалась! Я не могла решиться несколько месяцев! Несколько месяцев! Так что с моей стороны нечестно требовать от тебя немедленного ответа. Поэтому я и говорю: подумай! Ведь мне понадобишься ты весь. Вся твоя жизнь. Видишь, как это страшно? А ты говоришь...

– Рейна, – начал было Нир, но она опять остановила его.

– Ш-ш... молчи. Ты поедешь домой, а я останусь здесь, ждать твоего решения, – она улыбнулась. – Чтобы было ясно: я очень хочу, чтобы ты вернулся. Но я тебя пойму и в том случае, если этого не случится. Нелегко бросать всю свою прежнюю жизнь, все планы и прочее...

– Но зачем бросать? – вставил он. – Ведь можно...

– Ш-ш... – Рейна выпрямилась и отошла к окну. – Я буду ждать сутки, не больше. Если надумаешь, собирай вещи и переезжай ко мне. Переезжай сюда жить. Только не бери много, места тут с гулькин нос, сам видишь.

Она отвернулась, давая понять, что разговор закончен.

V

«Подумай!» Легко сказать...

Домой Нир ехал, как на автопилоте. В голове царили хаос и разброд, броуновское движение разрозненных слов и мыслей, даже

приблизительно не складывающихся в какую-либо связную картину. Он включил музыку, но даже любимые мелодии казались неприятным шумом, раздражающей какофонией. Уже почти проехав Джальджулию, Нир вдруг обнаружил, что зверски голоден, и обрадовался этому внезапному проблеску цели в непроницаемой тьме бессмыслицы. Он поспешно свернул в городок и притормозил у первой попавшейся забегаловки.

Хозяин, пожилой усатый араб, настругал ему в питу ломтики швармы, щедрой рукой насыпал туда же с десяток всевозможных добавок и отполировал получившийся шедевр горячим грибным соусом.

– Садись, поешь, потом заплатишь!

Час был неурочный, три облезлых столика на тротуаре безнадежно пустовали, и потому усатый явно намеревался уделить повышенное внимание своему единственному клиенту. Нир уселся на шаткий пластиковый стул и примерился к перегруженной пите. А, черт с ним – как ни примеривайся, все равно перемажешься... Он решительно вгрызся в сочащуюся тхиной и хумусом полусферу. Хозяин одобрительно крякнул:

– Ай, молодец!

Над стойкой потрескивала голубыми спиралями антикомариная лампа, сбоку крутился шампур, сзади, за спиной усача бубнил небольшой телевизор, настроенный не то на египетский, не то на иорданский канал. Проследив за направлением клиентского взгляда, араб радостно закивал:

– Теперь сядет. Надолго сядет. И правильно, закон есть закон. Что скажешь?

На экране сменяли друг друга картинки из зала суда: судьи на высоких креслах, круглолицые женщины в хиджабах, мрачный парень в клетке – как видно, подсудимый. Не имея возможности отреагировать иначе, Нир вопросительно замычал и помахал питой. В результате на стол вывалились несколько капустинок, крошечный ломтик огурца и кусочек баклажана. Мухи приветствовали это событие радостным жужжанием.

– Сестру зарезал, – с готовностью пояснил хозяин. – Чтоб семью не позорила. Ученый парень, не из шатра, на доктора в Каире выучился. На доктора – это тебе не коз пасти. Десять лет учиться надо. Десять!

Нир сокрушенно покачал головой.

– Вот и я говорю, – подхватил араб. – Теперь все ослу под хвост. И десять лет, и университет, и докторство. Вся жизнь. А что поделаешь? Ничего не поделаешь. Семья дороже всего. Как тут не зарежешь? Да... Добавь себе салатов, не стесняйся. Хороши баклажаны, а? Жена делает. И соления тоже. Кушай на здоровье.

Нир снова замычал, интенсивно работая челюстями.

– Думаешь, зря зарезал? – поднял брови хозяин, довольно точно истолковав смысл мычания. – А вот не зря, не зря. Докторство, парень, это еще не все в жизни. Главное – человеком остаться. А человек без чести, считай, не человек, даже когда на свободе. Без чести он, считай, баран. Куда стадо, туда и он. У нас так говорят: лучше помереть человеком в тюрьме, чем жить бараном на воле. Надо убить – убей. Ну, а потом пусть судят. Закон есть закон, куда ж денешься...

Он извлек из-под прилавка сигарету, закурил, прилег грудью на прилавок и дальше уже молчал, задумчиво глядя на проезжающие автомобили. Дожевав последний кусок, Нир пошел к раковине умываться. На телеэкране сменился сюжет – теперь показывали беспорядки, горящие автомобили и полицейских с дубинками. Над стойкой плотоядно потрескивала голубая лампа, хозяин, отмахиваясь от возмущенных мух, вытирал мокрой тряпкой стол с остатками пиршества.

– Может, все-таки лучше было бы остаться бараном? – сказал Нир, подходя расплатиться. – У барана жизнь долгая и овец сколько хочешь.

Усач отложил в сторону дымящуюся сигарету и ухмыльнулся.

– Если бы так... Если бы так, все стали бы баранами. В том-то и дело, парень, что баран долго не живет. Вон он, баран, крутится-вертится... – хозяин кивнул на медленно вращающийся шампур с нанизанными на него слоями жареного мяса. – Ты его только что кушал. Заезжай еще, завтра другой барашек будет. И друзьям своим скажи. Такую шварму где еще поешь...

«Видал? – спросил сам себя Нир, усаживаясь в мазду. – Надо зарезать и сесть. И кого зарезать – родную сестренку! Своими руками пролить родную кровь, и ради чего? Ради семейной чести. Уму непостижимо. Но обрати внимание: тебе эта логика кажется дикой, а он иначе и помыслить не может. Рассуждает спокойно, взвешенно, трезво. С его точки зрения безумец ты, кому эта логика непонятна. Что может его остановить? Полиция? Но он готов сесть. Закон есть закон. Сядет, но прежде зарежет, и ничего тут не поможет – ни суд, ни страх наказания, ни курс разговоров по душам с дипломированным психологом. Потому что убийца и психолог будут говорить на разных языках... Как ты и этот усатый араб. Как ты и твоя сумасшедшая Рейна».

Нир выехал на шоссе, и светофор на перекрестке тут же переключился на зеленый, словно подтверждая его правоту. Но, коли так, то не лучше ли говорить с Рейной на ее языке, жить по ее логике? Возможно, так удастся мало-помалу привести ее в чувство, продемонстрировать вопиющее безумие ее рассуждений? Вот только не слишком ли много она требует от него? Хотя, так ли это страшно – переселиться в ее раскаленную мансарду? В принципе, в этом нет ничего из ряда вон выходящего: можно сказать отцу и бабушке, что он немного поживет у университетского приятеля. Двадцать шесть лет – достаточный возраст для того, чтобы самостоятельно принимать подобные решения. Другое дело, что это не ограничится одним только переездом. Например, можно не сомневаться, что придется поставить крест на предстоящей сессии.

Ну и что? Черт с ней, с сессией. Экзамены можно перенести на осень. Или даже взять академический отпуск. Неужели эта светловолосая королева не стоит того? Стоит, еще как стоит... Тот мрачный парень в клетке с арабского телеканала отказался от куда более важных вещей. Припомнив это, Нир усмехнулся: ну вот, пожалуйста! Он уже ставит себе в пример убийцу! Следует признать, что перековка логики с нормальной на безумную уже началась и продвигается стремительными темпами. Это ли не свидетельство происходящей с ним перемены, в которой так нуждается Рейна? Ну да... для него лично переезд в мансарду означает отказ от всех

первоначальных планов. И если в отношении учебы этот отказ можно считать временным, то в том, что касается Сигаль... гм...

Вообще-то, честно говоря, эта потеря уже произошла: в сиянии сегодняшнего фейерверка прежняя любовь казалась Ниру безнадежно убогой и скучной. Разве можно сравнить... Его и сейчас бросало в жар, когда он на секунду позволял себе дать волю воспоминаниям о черных рейниных зрачках в амбразурах полузакрытых век. Так или иначе, у того неведомого бухгалтера, который ведет учет значимых перемен судьбы, есть что бросить на чашу весов и от него, Нира. Переезд – раз. Расставание с Сигаль – два. Потеря семестра – три. Какой-никакой, а вклад, причем, вполне соизмеримый с жертвами самой Рейны!

Погруженный в расчеты, Нир не заметил, как миновал поворот на Эйяль, но ничуть не расстроился, даже наоборот. Сейчас ему думалось настолько легко и ясно, что грех было не использовать это редкое состояние на всю катушку. Поди знай, не откажет ли голова, когда он выйдет из машины, не отвлечет ли какая-нибудь ерунда, не собьет ли с мысли своей глупой болтовней приставучий Беспалый Бенда у въездного шлагбаума. Ну уж нет... Нир проехал еще немного вперед и повернул направо на ариэльское шоссе.

Да, его личный вклад в общую сумму перемены судьбы выглядел довольно значительным. Но будет ли он достаточен? Рейна сказала, что ей нужна помощь. Какая? Что она имела в виду? Нир минуту-другую прикидывал возможные варианты ответа на этот вопрос, но так ничего и не придумал. Вообще говоря, в ее светловолосой голове мог созреть любой, самый безумный план. Буквально, все что угодно. Что делать, если она потребует от Нира, чтобы тот помог ей совершить какую-нибудь чудовищную самоубийственную глупость, да еще и подкрепит это требование своим обычным шантажом: либо помогай, либо проваливай? Как поступить тогда?

На этот случай было бы полезно иметь про запас свое контрпредложение. Если ты не можешь ни отказать, ни согласиться, то нужно увести разговор в сторону. Сначала расхвалить ее идею, создать видимость полной поддержки и согласия. Затем с сожалением указать на те или иные практические трудности. И, наконец, сказать что-нибудь вроде «твой план замечателен, но не в этих конкретных условиях». А потом тут же, пока она не опомнилась, предложить другой вариант, свой, заранее заготовленный. Тогда обсуждение естественным образом сосредоточится вокруг этой подмены, а о самоубийственной глупости будет забыто, хотя бы на время.

Нир удовлетворенно хмыкнул: похоже, эта хитрая тактика могла иметь успех. Вот только что придумать в качестве подмены? Он медленно ехал по темному пустому шоссе. Здесь совсем не было фонарей; свет фар, как туман по воде, скользил по серому асфальтовому полотну. Черно-белые столбики на обочине казались буйками, вкривь и вкось торчащими из поверхности моря. Но затем слева и справа потянулись скальные стенки, и Нир вдруг осознал, что морская равнина тут вовсе ни при чем, что если уж с чем-то сравнивать этот участок дороги, то скорее с туннелем и что доехал он до тех самых откосов, где недавно погибла маленькая девочка... Как же ее звали? Ах да, Май. Маленькая девочка Май.

Где то здесь... ну да. Сам не зная зачем, Нир съехал на обочину и вышел из машины. Ночь была жаркой, но ясной: время пыльных бурь

прошло. Пыльные бури и хамсины бывают здесь в мае. Май вернется на следующий год, а Май – никогда. Или вернется – но только если в будущем у нее обнаружится некий «запутанный двойник», который сможет исправить случившееся. Нир усмехнулся: благоглупые фантазии заразительны. Он стоял близко к южному откосу, где стенка заслоняла от него лунный серп, и ничто уже не мешало вплотную разглядывать нависшие над туннелем крупные белые звезды.

Глаза постепенно привыкли к темноте. Наверно, по ту сторону шоссе еще остались следы катастрофы – там, где серебристая букашка-малолитражка на полном ходу впечаталась в выступ скалы, смяв в кровавую лепешку двухлетнего ребенка. Осталась краска на камне, осколки стекла, обрывки черно-желтой ленты оцепления... Отсюда не видно. Боруху, сыну одной Рейны и дяде другой, тоже было примерно столько же – два года, около трех.

«Черт подери, – подумал Нир с внезапным раздражением, – почему меня должны заботить только те перемены, которых хочет добиться Рейна? Это ведь ее личные дела, ее бабушка, ее семья. Она ведет себя так, будто весь мир вращается исключительно вокруг ее светловолосой головы. Но разве, к примеру, у меня не найдется чего-нибудь такого, что желательно было бы исправить? Хотя бы эта девочка Май... или какие-то другие люди, которых я, возможно, в жизни не видел...»

Вблизи откос не выглядел таким неприступным, каким казался из окна машины. Расщелины, выступы... да и уклон не так уж крут... Нир ухватился за удобный каменный рог, подтянулся и в три счета оказался на середине откоса. Легко! Повинуясь необъяснимому порыву, он сделал еще несколько ловких уверенных движений и выбрался наверх.

Перед ним расстилалась ровная площадка, казавшаяся в темноте бескрайней, в точном соответствии с размерами огромного черного усыпанного звездами окоема, не ограниченного здесь ничем. На юго-востоке висела полная на три четверти луна; ее свет серебрил безжизненное пространство поля, выжженного дневным солнцепеком до белизны, до каменистой кости. Растения могли удержаться на этом открытом месте разве что зимой, в недолгий период дождей. Сейчас же здесь торчали лишь редкие кустики хрусткой сухой травы.

Зато камней хватает, бросай – не хочу. И шоссе просматривается превосходно, даже сейчас, ночью. А по другую сторону, где-то там, под луной, в клубящейся на краю поля темноте спит деревня. Деревня, из которой приходят убийцы маленьких девочек. Несомненно, они чувствуют себя здесь неуязвимыми: вряд ли кому-либо когда-либо приходило в голову карабкаться на скальную стенку так, как это сделал сейчас Нир. Полицейские и армейские патрули не любят ходить пешком, а потому поднимаются на откосы в машине, по крутой грунтовке, которая расположена много восточней, примерно в двух километрах отсюда. Пока патрульный джип добирается до места, можно сто раз убежать назад в деревню. Так что прятаться нет необходимости, даром что негде...

Хотя... почему же негде? Присмотревшись, Нир заметил справа от себя темное пятно большого дерева. Скорее всего, это смоковница. И как только она ухитряется пережить лето на этом раскаленном плато? Он уже было повернулся, чтобы спуститься к машине, как

вдруг остановился, осененный внезапной мыслью. Ну конечно! Вот он, запасной подменный вариант, который можно предложить Рейне! Нир быстро прокрутил в голове свой план, невинный по сути, но в то же время достаточно безумный для того, чтобы показаться смертельно опасным девушке, мало знакомой со здешними реалиями.

Назад он летел как на крыльях. Рейна была стопроцентно права, отправляя его хорошенько поразмыслить: результат действительно стоил того! Завтра утром он предстанет пред ее строгими очами совсем другим человеком – уверенным и знающим, чего хочет. А впрочем, есть ли смысл ждать до завтра? Утром на шоссе могут быть пробки. Или, не дай Бог, что-нибудь случится: перекроют шоссе из-за автокатастрофы, затеют ловить беглого террориста, сломается мазда... – да мало ли что! Опаздывать к Рейне категорически нельзя – еще решит, что он струсил. Так или иначе, сможет ли он сейчас заснуть? Нет шансов. Значит, нужно по-быстрому собираться и ехать.

Отец смотрел футбол. Нир присел рядом и дождался перерыва между таймами. Они никогда не были особо близки и редко разговаривали на темы, которые не касались бы чисто практических вопросов. Починки, покупки, уроки, домашние дела. За область чувств в семье отвечала мама, у которой и в самом деле хватало ласки на всех. А потом, после маминой смерти, казалось кощунством покушаться на эту епархию, принадлежащую ей целиком и полностью. В результате, отец и вовсе замкнулся. Бывали недели, когда они с Ниром обменивались не более чем десятком слов.

– Папа, я переезжаю к другу в Иерусалим, – сказал Нир, когда судья взял мяч подмышку и двинулся под трибуны. – Временно, на месяц-другой. Так будет удобней.

– Переезжаешь? – растерянно переспросил отец. – Зачем?

– Так будет удобней, – с нажимом повторил Нир.

Отец пожал плечами.

– Что ж, если так, то конечно. Когда?

– Сейчас. Соберусь и поеду.

– Вот так, на ночь глядя?..

– А чего ждать? Завтра утром у меня встреча в Иерусалиме. Ты тут не скучай, ладно?

Отец непонимающе поморгал глазами.

– Ты помнишь, что в августе мамин...

– День поминовения, – закончил за него Нир. – Конечно, помню.

На него вдруг накатилась жалость; в перерыве футбольного матча отец выглядел намного меньше и слабее, чем в первом тайме. Ниру захотелось обнять его, но он просто не знал, как это делается с отцами. В их семье объятия были прочно и навсегда зарезервированы за мамой.

– Ты хоть звони, Сережа, – сказал отец.

– Папа, я ведь не в Новую Зеландию еду. Это час десять езды от порога до порога. И не навсегда. Я ж говорю: месяц-другой. Не переживай так. И, пожалуйста, звони, если понадобится какая-нибудь помощь. Например, с бабулей.

Отец послушно кивнул. На поле выбегали футболисты, начиналась вторая половина игры. Нир поднялся к Лидии Сергеевне. Этого разговора он боялся значительно больше. Тем неожиданней оказалась реакция бабушки.

– Господи-Боже-мой, сынок, – проговорила она, откладывая в сторону книжку, – наконец-то! Я так за тебя рада.

Нир удивленно воззрился на ее взволнованное лицо.

– Бабуля, ты слышала, что я сказал? Я переезжаю в Иерусалим. Временно, ненадолго.

– Вы думаете, что бабка уже ничего не слышит, – с достоинством отвечала Лидия Сергеевна. – Все я слышу. Ты переезжаешь. И очень хорошо. Честно говоря, я уже начала волноваться. Внук Софьи Матвеевны ушел из дома в двадцать лет. Внук Маши – в двадцать один. Внук Бориса Ароновича – в...

– Бабу-у-уля! – простонал Нир. – Ну при чем тут эти внуки?

– Как это при чем? Они все – хорошие молодые люди. И что поделаешь, здесь принято, что хорошие молодые люди начинают самостоятельную жизнь вне родительского дома. Скажешь, нет?

– Ох, бабуля...

– Ну что «бабуля»? Что «бабуля»? Тебе ведь уже двадцать шесть, Сережа. Конечно, я переживаю... – помолчав с минуту, Лидия Сергеевна подняла на внука задорный взгляд. – А что это за друг, с которым ты будешь жить? Она красивая?

Нир невольно улыбнулся.

– Очень.

– Ну и хорошо. Эта твоя Сигаль мне никогда не нравилась.

– Ты ее видела один раз, да и то мельком, – напомнил Нир.

Лидия Сергеевна пренебрежительно передернула плечами.

– Ну так что? Чтобы понять, кто она, не требовалось смотреть на нее. Достаточно было взглянуть на тебя. Ты ведь, как зеркало, Сереженька – все в тебе отражается. И, в случае этой твоей Сигаль, отражалось, прямо скажем, не Бог весть что.

– А сейчас? Что отражается сейчас?

– Сейчас? – с усмешкой переспросила бабушка и махнула рукой. – Иди уже, иди...

– Ну, уж нет! – возмущенно воскликнул Нир. – Бабуля! Колись, если уже начала!

– Фу, Сережа... – поморщилась Лидия Сергеевна. – Что за выражения такие? «Колись»... ты ведь не с товарищами по институту разговариваешь. А, кстати, что будет с твоими экзаменами?

Нир вздохнул.

– Будет хорошо. Ладно, бабуля, я пошел собираться. Ты не волнуйся, я буду часто приезжать...

– Конечно, конечно, сынок... – кивнула старушка.

В дверях Нир обернулся.

– Бабуля...

– Да?

– Скажи, может такое быть, что чувствуешь себя другим человеком? Из другого времени, из другого места, из другой жизни. С тобой это случалось?

– Со мной? Гм... – Лидия Сергеевна тщательно разгладила складки на одеяле. – Раньше – нет, не случалось. Видишь ли, у нас было очень мало свободного времени, Сереженька. Наше поколение, оно... Не могу сказать, что наша жизнь была сплошь и рядом несчастной, нет. Но нас постоянно куда-то гнали, всей толпой или даже гуртом. Гнало время, гнали события, гнали обязанности, гнал быт,

гнал долг. У нас не было ни минутки, чтобы остановиться и подумать о таких вещах. Думали только о том, чтобы не упасть, чтобы бежать дальше. Чтобы ухватить немножечко счастья, тоже на бегу. Чтобы не выронить эту ухваченную кроху – семью, дом, ребенка...

– Значит, не случалось?

Бабушка улыбнулась.

– Я же говорю: раньше этого и быть не могло. Чтобы, как ты говоришь, чувствовать себя, нужно много свободного времени. Нужно быть свободным, Сереженька. Сейчас вот у меня уйма свободы, да вот беда: жизни совсем не осталось. Уже ничего не изменишь... – она прихлопнула ладонью по кровати. – Зато вы, молодые, совсем другое дело! Вы свободны! Это ведь счастье, Сережа! Это ведь счастье, когда тебя не гонят гуртом...

Потом, складывая вещи в большую, армейских времен сумку, Нир то и дело останавливал себя: надо ли набирать так много? Он ведь переезжает совсем ненадолго, так что незачем пытаться втиснуть в брезентовый баул все содержимое шкафа. Рубашки, брюки, белье, обувь. С полки в сумку, из сумки на кровать, с кровати – опять в сумку... Некоторое время спустя Нир обнаружил, что внешне простое дело сборов превратилось в запутанный клубок неразрешимых проблем. К примеру, брать или не брать эти шорты? Зависит... От чего? А черт его знает... Тогда брать? Тогда брать. Да, но...

Вздохнув, он сел на кровать среди груды вывороченных из шкафа и уже многократно переложенных с места на место вещей. Сел и еще раз напомнил себе, что уезжает не насовсем, что всегда можно будет вернуться за необходимым, что не происходит ничего особенного. И тем не менее, тем не менее... Сама необходимость этих частых напоминаний говорила о том, что особенное все-таки происходит, причем происходит не с кем-нибудь, а с ним, Ниром, здесь и сейчас. Час тому назад он теми же словами о временности переезда успокаивал отца и бабушку; теперь же рядом не было ни бабушки, ни отца, не было никого, а уговоры требовались по-прежнему. Получалось, что и раньше, твердя о незначительности этого шага, Нир адресовался скорее к себе самому, чем к другим. Получалось, что он действительно резко меняет свою жизнь, и та, как и всякое живое существо, вполне оправданно нервничает, чувствуя грядущую перемену.

Все это выглядело более чем странно, поскольку реально-то речь шла всего лишь о простой поездке в Иерусалим с несколькими ночевками. Или больше, чем несколькими? Зависит... От чего? А черт его знает... Так брать эти дурацкие шорты или не брать? Не брать. Или брать... Нир с досадой схватил в охапку наваленные на кровати шмотки и как есть, одной беспорядочной массой, запихнул их обратно в шкаф. То-то бабуля будет ворчать, увидев завтра это безобразие... Почему-то сейчас эта мысль доставила ему удовольствие.

Напоследок он полез под кровать и достал из привинченного к полу металлического ящика пистолет с двумя полными обоймами. Нир и Шуки получили разрешение на личное оружие еще в армии, перед демобилизацией. В тот момент они думали подрабатывать в охране, и наличие законно зарегистрированного пистолета могло стать преимуществом при поиске работы. В итоге оба устроились в телемаркетинг, а купленный Ниром девятимиллиметровый чешский «чезет» так и остался не у дел, напоминая о себе лишь раз в три года, когда при-

ходило время продлевать лицензию. В принципе, оружие доставляло одни только неудобства, и Нир давно уже избавился бы от него, если бы процедура продажи не была еще более хлопотной.

Брать? Не брать? Нир задумчиво взвесил «чезет» на руке. С одной стороны, ужасно неудобно таскать его с собой, лезть за документами при каждой проверке у каждой двери – в магазине, в кафе, в кино. Здесь, дома, оружие лежит в каком-никаком, но все-таки сейфе, а в крошечной иерусалимской мансарде его и приткнуть-то некуда. Потеряется – объясняйся потом в полиции... С другой стороны, было бы крайне эффектно покрасоваться перед Рейной с настоящим пистолетом. Мы, мол, не какие-то там фитюльки – вооружены и очень опасны! Да и придуманный Ниром альтернативный план предполагал демонстрацию опасности; с «чезетом» за поясом будет намного легче убедить девушку в реальной экстремальности происходящего. Нир сунул оружие в сумку и решительно застегнул молнию. Все. Пора.

У Лидии Сергеевны горел свет, но старушка уже дремала. Нир осторожно поцеловал ее в седенький висок.

– Пока, бабуля. Не расстраивайся из-за бардака в шкафу. Ты же знаешь: твой внук совершенно не умеет поддерживать элементарный порядок...

Зато с отцом получилось ровно наоборот: в комнате было темно, но он не спал и позвал Нира, когда тот на цыпочках проходил мимо:

– Сережа? Уходишь?

Нир приоткрыл дверь.

– Да, папа, поеду.

– Счастливо. Звони.

– Конечно. Пока.

– Счастливо... – едва слышно повторил отец.

Нир вышел на стоянку, безуспешно пытаясь проглотить застрявший в горле комок. На улице шелестела листва, эхом повторяя отцовский шепот, все еще звучащий из темноты спальни. Теперь он не стал напоминать себе о том, что уезжает ненадолго. Зачем обманывать себя? Даже если вернуться сюда завтрашним утром, жизнь все равно уже никогда не будет такой, как прежде. Другим будет и он сам – неудачником, не сумевшим удержаться на новых рубежах, разбитой армией, откатившейся на исходные позиции. Что делать тогда? Утешать себя тем, что возвращение не всегда означает бегство? Злиться в ответ на понимающий взгляд бабушки? Вот уж кому он годен и дорог в любом виде, времени, месте и качестве...

У будки на выезде Нир притормозил. Сейчас он с удовольствием поболтал бы минуток десять с Беспалым Бендой. Но из окошка выглянул совсем незнакомый дежурный, приветственно кивнул, помахал рукой – проезжай, мол, не задерживай движения. А какое, спрашивается, движение в двенадцатом часу ночи?

Нир нажал на газ. Ночь лежала перед ним, по-собачьи вывалив наружу длинный язык дороги. Ночь и новая жизнь катились ему навстречу, полные неведомых тайн и многозначительных обещаний. Уход из дому получился неожиданно трудным – почему, с чего вдруг? Честно говоря, Нир и сам не очень-то понимал, откуда взялись все эти комки в горле и странные переживания. Ведь он действительно не планировал уезжать навсегда. Но, если разобраться, эти пережи-

вания и трудности лишь добавляли цены происходящему. Ведь то, что дешево стоит, не стоит и внимания.

А, впрочем, комки определенно остались в прошлом. Теперь Нир, напротив, ощущал пьянящий подъем – такой, что, казалось, мазда взлетит, если он хорошенько потянет на себя руль... да нет, не руль – штурвал! Радио передавало замечательную музыку – хотя, в тот момент все казалось ему замечательным. Нир прибавил громкости и стал подпевать, не зная текста, первыми пришедшими на язык словами. Свобода! Свобода! Это слово попадалось ему чаще всего, оно ложилось на любую мелодию, вписывалось в любой размер. Как там сказала бабуля? «Свобода – это счастье»?.. – что-то вроде того... Как это верно, как точно, как замечательно!

Припарковав машину под ее домом, Нир вскинул на плечо сумку, взбежал на верхний этаж и остановился перевести дух. Какая встреча ожидает его там, в мансарде? Дверь распахнулась внезапно, еще до того, как он постучал. На пороге все в том же домашнем халатике стояла Рейна с заплаканным лицом и распухшими от слез глазами.

– Ты еще не спишь? – спросил он.

Она всхлипнула и, обняв, прижалась к нему так крепко, словно они не виделись как минимум год, заполненный иссушающей тоской друг по другу.

– Почему ты так долго? Почему? Я тут жду, жду...

И это тоже была новая жизнь – зарыться носом в светлую гущу ее волос, вдохнуть ее запах, и твердо знать, что теперь у тебя есть все, что только можно пожелать в этой жизни... – кроме, разве что, еще нескольких пар рук, чтобы уже с гарантией обнять и почувствовать ее всю, до последней клеточки этого желанного, любимого, единственного тела.

– Втащи сумку... – пробормотала Рейна ему в щеку.

– Что?..

– Втащи свою сумку и закрой дверь, – повторила она, слегка отстраняясь. – А то я все никак не поверю, что ты вернулся.

И он втащил сумку, и закрыл дверь, и пошел к крану сполоснуть руки и лицо, потому что снаружи пылала июльская ночь, и он весь взмок, пока бежал по лестнице. Потом он тщательно тер руки полотенцем и говорил, говорил, говорил, не в силах справиться с этим внезапно напавшим на него говоруном. Говорил о жаре, и о старой, но надежной машине, и о том, как быстро доехал по пустому в этот час шоссе, и о том, как выбирал рубашки, и еще о многих-многих других, ничего не значащих и никому не интересных вещах. А она стояла все там же у двери и молчала, просто стояла и молчала, опустив по швам руки, и руки эти слегка подрагивали, будто недоумевая, будто спрашивая, отчего они пребывают в этом бессмысленно бесполезном положении вместо того, чтобы заняться действительно важными, единственно важными, жизненно важными делами.

– Заткнись.

– Что?

– Заткнись, – повторила она и развязала поясок халата.

Они и впрямь не произнесли больше ни единого слова до самого рассвета. Новая жизнь пульсировала в их горячих, сочащихся ненасытной нежностью телах; теперь они были вместе по-настоящему, без предела и без сомнения, как два абордажных бой-

ца, поклявшихся сражаться до победы и, если умереть, то только одновременно, вдвоем, спиной к спине, живот к животу, язык к языку, грудь на грудь. И это новое единство придавало новой, пронзительной остроты и силы их слиянию, соитию, обладанию.

Проснувшись в полдень, они с удовольствием разглядывали друг друга за долгим и ленивым завтраком, как будто заново распознавая при дневном свете те восхитительные черты и линии, по которым совсем недавно скользили их ладони в горячей и ласковой темноте. Это увлекательное занятие тоже вполне могло обойтись без речи, и, хотя было ясно, что рано или поздно придется открыть рот не только ради куска хлеба или поцелуя, оба инстинктивно оттягивали момент начала разговора.

О чем обычно говорят влюбленные? Прошлое не интересно им вообще – ведь жизнь обрела смысл лишь с момента их встречи. Да и настоящее реализуется ими отнюдь не словесно, а потому не может служить предметом беседы – особенно по утрам, после исполненной действия ночи. Потому-то все истинно влюбленные пары непрестанно строят планы на будущее: им просто не о чем больше говорить. К несчастью, в случае Рейны и Нира эта общепринятая тема сулила мало хорошего, а значит, приходилось молчать.

Поначалу Нир радовался этому обстоятельству: ведь задуманная им программа в том и заключалась, чтобы потихоньку, без явных споров и возражений, нейтрализовать опасное сумасшествие любимой, спустить его на тормозах, утопить в мягкой вате рассуждений ни о чем и соображений по поводу. Возможно, молчание Рейны выражало произошедшую с ней благотворную перемену? Возможно, их головокружительное ночное единение наглядно продемонстрировало ей, какие именно вещи следует ценить? Возможно, она уже немного стыдится своих прежних фантазий, таких блеклых и незначительных в сравнении с тем, что происходило между ними?

Но вскоре он разглядел в ее глазах вопрос – сперва легкой тенью, облачком, а затем и темной, набирающей вес тучей, угрозой, наползающей из бездны зрачка на безмятежную радужную голубизну. Она явно чего-то ждала от него... но чего? Накануне, составляя план действий, Нир предполагал, что Рейна сама начнет этот разговор. В конце концов, речь тут шла о ее фантазиях, о ее безумии – ее, а не его! Кто, черт побери, еще вчера требовал помощи – он от нее или она от него? Конечно, она! Вот пусть и скажет, в чем эта помощь заключается. Пусть объяснит, чего конкретно она хочет от Нира. А он... – он сделает свой ход – доброжелательный, ответственный, разом перемещающий проблему из области иллюзий на твердую почву практической реальности. И тогда спокойно, без крика обсудив предложенную Рейной авантюру, они совместно придут к какому-нибудь логичному, приемлемому выводу.

Так он думал еще вчера, к такому диалогу готовился, такую пьесу репетировал. Однако Рейна вновь ухитрилась застать его врасплох, направив разговор по совершенно иному руслу.

– Что же ты молчишь? – сказала она, составляя в раковину собранную со стола посуду.

Нир поперхнулся от неожиданности.

– Ээ-э... – протянул он. – Почему я молчу... А надо что-то говорить?

Девушка обернулась и посмотрела на него в упор.

– Конечно! Что ты предполагаешь делать? Что мы предполагаем делать? Не притворяйся, что ты забыл, о чем мы говорили вчера.

– Забыл? – усмехнулся Нир. – Такое забудешь, как же...

Только теперь его осенило: Рейна ждала от него действий, ждала указаний, ждала инициативы. Она и не думала что-то предлагать! И, честно говоря, ее можно было понять. Да, изначально идея исправления судьбы принадлежала ей, ей одной. Но теперь-то одиночество кончилось! Теперь они представляли собой команду, пару намертво связанных абордажных бойцов, и именно он был в этой паре мужчиной. Мужчиной, а значит, ведущим, защитником, Золманом, Маккавеем, ответственным за Рейну и за детей.

– Ну, так что? – поторопила она, начиная сердиться.

Нир откашлялся и выпрямился на стуле. Если уж кто мог изобразить солидную уверенность, так это он, бывший начальник смены и старший инструктор операторов телемаркетинга.

– Понятно что. Во-первых, стоит сходить в Учреждение и посмотреть видеозапись твоей бабушки: возможно, она снова изменилась.

– А почему она должна измениться?

– А почему бы и нет? Ты ведь сама говорила, что после твоего переезда в Иерусалим в ее истории произошли перемены, – напомнил Нир. – Небольшие, но заметные.

Рейна уныло кивнула:

– Именно что небольшие...

– Ну, вот видишь! – подхватил он. – А теперь к твоему переезду прибавился мой. Нас теперь двое. Возможно, это...

– Вряд ли это поможет.

– Если не поможет, – развел руками Нир, – то придумаем что-нибудь другое.

– Другое? – с нажимом повторила девушка. – Что-нибудь другое? Что?

В ее взгляде ясно читалось разочарование. «Хорошо, что я подготовил запасной вариант, – подумал Нир. – Придется выложить его прямо сейчас...»

– Есть у меня одна мысль, – сказал он. – Смотри: до этого момента все изменения касались только твоей личной судьбы. Наверно, этого мало. Мы ведь хотим спасти детей, так? Значит, тебе... вернее, нам надо сотворить что-то такое, что соответствовало бы этой задаче. Если сделать это сейчас, то, возможно, что-то переменится и тогда, в прошлом...

– Верно! – воскликнула Рейна. – Я и сама об этом думала!

Нир улыбнулся: теперь она смотрела на него совсем иными глазами.

– Помнишь тот день, когда мы впервые встретились? – с новым воодушевлением продолжил он. – В кабинете у Степушенко? Так вот, я пришел туда извиняться за опоздание. А опоздал я потому, что по дороге в универ произошел ужасный случай. Погибла двухлетняя девочка. Там на шоссе есть место, где арабы регулярно бросают камни в проезжающие машины. В тот день тоже бросали. Попали в легковушку, где была женщина с ребенком. Она потеряла управление, врезалась в скалу и девочку смяло. Насмерть. Я ехал прямо за ними и все видел.

– Кошмар. И что ты сделал?

– А что я мог сделать? – Нир пожал плечами. – Вытащил женщину из машины, вызвал скорую, полицию и военных. Девочку я увидел не сразу.

Он замолчал, заново переживая страшную картину. Детская ручка, торчащая из комка мятого металла и пластика...

– Я не понимаю, – сказала Рейна, осторожно трогая его за руку. – Что ты предлагаешь? Найти виновных? Но ведь их уже наверняка арестовали...

– Как бы ни так... – горько усмехнулся Нир. – Скорее всего, их даже никто не искал. Обычно полиция записывает подобные случаи как автокатастрофы по вине водителя. Понимаешь, там высокий откос и рядом деревня... Короче, убийцы сбежали почти сразу.

– Тогда что?

Нир взял ее руки в свои. Он говорил веско, с расстановкой.

– Ту девочку уже не спасти. Но мы можем прогнать с откоса убийц. Если один раз хорошенько их шугануть, они сбегут и не скоро вернутся. Так мы наверняка предотвратим другое несчастье, возможно, даже не одно. Понимаешь?

Рейна часто закивала, глядя на него во все глаза.

– Ты не спрашиваешь, как мы их шуганем, – продолжил Нир. – Оружием. У меня есть пистолет. Они трусы, как и все убийцы маленьких детей. Скорее всего, они сбегут от одного выстрела в воздух. Ты меня слушаешь?

Она снова закивала. Она слушала его во все уши и верила каждому его слову. Он был ее Маккавеем, ее воином и защитником. Нир и представить себе не мог, что его план будет иметь столь оглушительный успех.

– Вот и славно, – сказал он. – Но предупреждаю: это очень опасно. Они могут тоже принести оружие. Тогда придется вести перестрелку. Наверно, будет лучше, если ты подождешь меня где-нибудь в безопасном месте. Например, в моем поселении, в Эйяле. Познакомишься с моей замечательной бабушкой. А я пока...

– Нет! – резко возразила Рейна. – Это невозможно!

– Но почему?

– Как ты не понимаешь? – с силой проговорила она. – Они ведь тогда тоже расстались.

– Кто? – не понял Нир.

– Они, Рейна и Золман. Золман тоже сказал ей идти в безопасное место, пока он уведет убийц. И что из этого вышло?!

– Но это же нелепо, – вздохнул Нир. – Зачем рисковать без нужды? К тому же, у меня всего один пистолет.

– Неважно! – сказала девушка, решительным жестом отметая его доводы. – Главное, чтобы мы были вместе. Сам подумай: чтобы все получилось, я непременно должна в этом участвовать. Это ведь моя судьба связана с Рейной. Моя, а не твоя. Я не могу не пойти с тобой.

Нир задумался. Ему совсем не улыбалось брать Рейну с собой на откосы. И главной причиной его нежелания была вовсе не какая-то мифическая опасность. Напротив, проблема заключалась в том, что на самом деле опасности не было никакой, и Нир боялся, что, увидев перед собой сопливых арабских подростков с камнями в потных ладошках, Рейна разочаруется в масштабе и значимости всего предприятия. Именно поэтому Нир планировал оставить подругу на попе-

чении бабушки, в то время как сам он подежурит часок-другой на шоссе. В принципе, можно было бы и не дежурить вовсе, а просто покататься взад-вперед или даже вообще не выезжать из Эйяля, но это было бы слишком некрасиво. Конечно, Нир сознавал, что в определенной степени манипулирует любимой, но одно дело – невинная манипуляция, направленная к ее же благу, и совсем другое – откровенный обман. Нет-нет, он не хотел чувствовать себя обманщиком.

С другой стороны, он не знал, как заставить Рейну следовать первоначальному плану. Во-первых, ему не хотелось вступать в спор, который непременно привел бы к ссоре: нет ничего более безнадежного, чем что-либо доказывать заупрямившейся одержимой женщине. А, во-вторых, в словах Рейны содержалась несомненная логика – если, конечно, забыть о том, что эта логика основывалась на абсолютно безумных предпосылках. И, в-третьих, когда они вернутся в Учреждение и увидят, что дежурство Нира на откосах не привело к желаемому результату, Рейна обязательно заявит, что причиной неудачи стало ее личное неучастие.

Нир снова вздохнул и поднял взгляд к ее серьезным неуступчивым глазам.

– Ладно, будь по-твоему, – сказал он. – Пойдем вместе. Но только, чур, больше не спорить. Я командир, ты солдат. Договорились?

Просиявшее лицо и град поцелуев были ему ответом и наградой.

Из-за пробки на блокпосту они подъехали к откосам позже, чем рассчитывали. Солнце к тому времени жарило немилосердно, так что Нир был почти уверен, что даже пылкий раж народно-освободительной борьбы не заставит арабских подростков вылезти из родной деревни в такое пекло. Он понимал, что это немало разочарует Рейну, и заранее заготовил вполне правдоподобное отрезвляющее объяснение.

«А ты чего ожидала? – скажет он ей, когда, одурев от бесплодного сидения под смоковницей, они спустятся к машине. – Это только в книжках первая же засада приводит к немедленному результату. А в реальности приходится выслеживать врага месяцами».

Но это потом. Пока же Нир хотел, чтобы подруга хорошенько пропотела на сковородке выжженного солнцем плато. Из собственного армейского опыта он твердо знал, что изнурительная жара парадоксальным образом остужает самые горячие порывы. Возможно, придется приехать сюда еще несколько раз, прежде чем Рейна забудет свои безумные фантазии. Возможно, понадобится что-нибудь другое. Но так или иначе, избранный Ниром образ действий должен был рано или поздно увенчаться успехом – более-менее прогнозируемым, хотя и не моментальным. Что ж, это только в книжках первая же засада приводит к немедленному результату.

Пока же Нир вел себя с подобающей серьезностью, всем своим видом демонстрируя крайнюю опасность предстоящей операции. Перед выездом он научил Рейну обращаться с оружием. На самом деле, от чертовой игрушки, как всегда, было одно неудобство, и Нир с удовольствием оставил бы пистолет дома, если бы это не выглядело откровенным нарушением правил предложенной им же игры. Начать с того, что он не мог просто заткнуть «чезет» за пояс, поскольку тот непременно выпал бы во время предстоящего карабка-

нья по обрыву. А на нормальную кобуру Нир так и не раскошелился. Хорошо, что когда-то шутник Шуки подарил ему самодельную понтовую сумку, предназначенную для навязывания на голень – ее-то Нир и пристроил себе на ногу под восхищенным взглядом Рейны. И все бы ничего, но из-за этого Ниру пришлось париться в длинных штанах, потому что дурацкая шукина кобура в сочетании с шортами смотрелась бы совсем комично.

Впрочем, эту комичность сознавал только он сам – Рейна же была преисполнена ощущением значительности происходящего. Поглядывая на ее взволнованное лицо и блестящие глаза, Нир испытывал нечто вроде угрызений совести из-за разыгрываемого спектакля и успокаивал себя лишь соображениями абсолютной необходимости предпринимаемых мер.

Съехав на обочину, он подогнал мазду как можно ближе к откосу. Вообще говоря, оставлять машину в подобном месте категорически не рекомендовалось из-за тех же арабских подростков и угрозы угона. Поэтому любой проезжий полицейский или армейский патруль непременно заподозрит что-либо неладное. Остановятся, начнут крутиться вокруг, осматривать, заглядывать внутрь, а то и отбуксируют неизвестно куда. Тем не менее, выбора не было, приходилось рисковать.

Они взяли по бутылке воды, вышли наружу, и зной радостно обхватил их сухими горячими лапами.

– Вот тут она и погибла, та девочка, – сказал Нир, указывая на выступ скалы с другой стороны шоссе. – Видишь, стекла... зеркало... обломок бампера. До сих пор лежит. Да оно и понятно – никто убирать не будет...

Здесь, рядом с местом аварии, он не чувствовал себя таким уж обманщиком: ведь, как ни крути, большая часть деталей его рассказа была истинной правдой. Вот они, вещественные доказательства... – теперь их можно было увидеть вживую, потрогать, взять в руки, а заодно и почерпнуть дополнительной уверенности в справедливости своих нынешних, не вполне честных действий.

Рейна серьезно кивнула. Она не испытывала страха, как ошибочно полагал Нир. Совсем другое чувство придавало блеска ее глазам, волновало до лихорадочной дрожи. Раньше она ощущала свое единение с образом покойной бабушки лишь эпизодически, время от времени, хотя и этих разрозненных эпизодов оказалось достаточно для того, чтобы сначала полностью захватить ее воображение, а затем и подчинить себе всю ее жизнь. Это походило на внезапные вспышки озарения, настигавшие девушку в самые разнообразные и совершенно непредсказуемые моменты. Она просто вдруг на мгновение ощущала себя Рейной – той самой, первой, которая вроде бы ушла навеки, а на самом деле поселилась в душе своей единственной внучки.

Для чего, зачем? Ответ на этот вопрос дала сама Рейна Первая, гордая королева хотинско-генуэзских евреев: чтобы изменить. «Дело в том, что у меня есть внучка, Мириам, – сказала она в своем видеоинтервью. – Если кто и сможет что-нибудь изменить, так это она...» Но изменить что? Ясно что: судьбу. Изменить прошлое. Вычеркнуть из него страдания, пытки, убийства. Вычеркнуть грязь, кровь и быт, недостойный даже самого недостойного человека, не говоря уже об

августейших особах. Позволить Рейне Первой прожить свою жизнь так, как оно подобает настоящей королеве, – в радости и счастье...

Если что и смущало ее, Рейну Вторую, так это кратковременность моментов единения, которые налетали внезапным порывом ветра и столь же быстро уносились прочь, оставляя после себя взъерошенную, тоскующую душу. Смущало до последнего времени. Потому что сегодня, едва ступив в придорожную пыль под откосом, девушка вдруг осознала: они наконец-то вместе – и не на мгновение, а надолго, возможно, даже навсегда! Обе, в одном теле, без Первой и Второй – просто Рейна, единственная и настоящая. Это она, Рейна, карабкается по отвесному откосу вслед за своим мужчиной, своим Золманом, своим Маккавеем. Это она спрячется в засаде вон за той смоковницей, это она выйдет навстречу врагу, чтобы защитить своих детей, свою семью, свое королевство...

Нир и понятия не имел о чувствах, которые обуревали его подругу. Парня занимали совсем другие проблемы – в особенности, начиная с той минуты, когда они с Рейной поднялись на плато, и ему волей-неволей пришлось разыгрывать перед ней спектакль на тему «казаки-разбойники», натягивать на физиономию выражение тревоги и с подчеркнутым вниманием обозревать окрестности. Помимо сознания собственной вины и стыда, он был обуреваем опасениями за брошенную на произвол судьбы машину. Прислонившись к толстому стволу смоковницы, Нир напряженно вслушивался, стараясь на слух определить, что происходит внизу на шоссе в нескольких десятках метров от них.

Пока что редкие машины проезжали, не задерживаясь, ненадолго нарушая звенящую тишину полудня шумом своих моторов. Все остальное время не слышалось ничего – ни людей, ни птиц, ни насекомых, лишь тихое шуршание тяжелых от зноя слоев воздуха, трущихся друг об друга, как тектонические континентальные плиты. Над плоской площадкой пламенела раскаленная топка солнца. Ветерка почти не чувствовалось; редкие сухие кустики травы, будто оцепенев, замерли над затаившейся, мертвенно серой землей. Казалось, все здесь уже умерло, а то, что чудом осталось в живых, могло рассчитывать кое-как дотянуть до вечера, лишь притворившись мертвым. Даже острохвостые ящерицы, естественное порождение и продолжение этого адского пекла, и те неподвижно застыли на каменных глыбах, на всякий случай изображая нечувствительный к жару кремень.

– Как ты? – озабоченно спросил Нир по прошествии часа. – Пей побольше. Тут схватить солнечный удар – раз плюнуть... Никакая тень не защитит.

– Я пью, все в порядке, – ответила Рейна, не оборачиваясь.

Все это время она не отрывала взгляда от линии кустов на дальнем краю площадки, откуда, как объяснил Нир, обычно появлялись враги. Нир сокрушенно вздохнул и посмотрел на часы. Сколько еще тянуть это дурацкое представление, мучить и себя, и ее? Час, два? Ничего, как только кончится вода, они волей-неволей вынуждены будут вернуться... Эта мысль придала Ниру бодрости: с любым безумием легче смириться, если заранее положить ему тот или иной предел. Дабы приблизить желанный момент, он взял бутылку, отхлебнул приличный глоток и, уже завинчивая пробку, услышал звук мотора подъехавшего армейского хаммера.

Нир навострил уши. Да, джип явно остановился рядом с маздой... Что станут делать ребята из патруля? Если бегло осмотрят и двинутся дальше, то ничего страшного. А вот если задержатся, тогда придется показаться – вот, мол, я, владелец, свой парень, погулять вышел... Да, вот такой я дурачок со странностями, любитель родной природы.

Хаммер постоял с минуту и, взревев двигателем, продолжил свой путь. Тем не менее, Нир решил больше не искушать судьбу. Черт его знает, как поведут себя патрульные, если обнаружат брошенную машину в том же самом месте еще и на обратном пути,... Кстати, подходила к концу и вода в бутылках. Нир склонился к уху подруги, которая все так же напряженно вглядывалась в кусты.

– Рейна, пора возвращаться, – прошептал он. – Вода кончается. Без воды никак нельзя. Похоже, сегодня они не придут. Слишком жарко.

– Тихо! – тоже шепотом одернула его Рейна. – Вон они! Видишь?

Нир всмотрелся в направлении ее взгляда. Слева, метрах в двухстах, шли от кустов к краю обрыва трое. Три фигуры, чьи очертания казались размытыми в слоистом, расплавленном воздухе. От неожиданности Нир оцепенел, как ящерицы, как трава.

«Хочешь дожить до вечера – застынь, притворись камнем... – подумал он. – И принесла же неладная этих идиотов! В такую-то жару... Сидели бы дома, так нет... кретины чертовы...»

– Смотри, смотри! – возбужденно проговорила Рейна. – Идут прямо к дороге! Это они! Это они!

– Так... – протянул Нир, не вполне представляя себе, что собирается делать. – Та-ак...

Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент краем глаза заметил какое-то движение сзади и обернулся – точно под опускающийся на голову удар.

«Что это?!» – успел удивиться Нир, прежде чем перед его глазами ослепительным светом взорвалась бомба – взорвалась, ослепила и тут же угасла, оставив после себя крутящуюся темную воронку бесчувствия.

Рейна тоже не заметила, как они подошли – двое бородатых мужчин, один совсем молодой, другой постарше. Она увидела их слишком поздно, когда Нир с залитым кровью лицом уже неподвижно лежал рядом. Вскрикнув, она стала отодвигаться, одновременно пытаясь подняться на ноги. Мужчины рассмеялись. Старший, тот, что ударил Нира, держал на плече свое оружие – утыканную гвоздями дубинку. Он что-то сказал по-арабски, и молодой, хмыкнув, ответил ему веселым певучим голосом.

– Кто вы... зачем... – выдавила девушка сдавленным от страха голосом, продолжая отползать в сторону.

Старший бросил дубинку на землю, нагнулся и вздернул Рейну на ноги.

– Погулять вышла? – сказал он, переходя на иврит. – Сейчас погуляешь...

Свободной рукой он больно схватил ее за грудь, покачал головой и толкнул Рейну к своему певучему товарищу.

– Кто вы? Зачем?! – выкрикнула она, падая в грубые руки певучего.

Прежде чем ответить, тот с силой ударил ее по лицу. Рейна качнулась, но певучий ухватил ее за ворот футболки, не давая упасть.

– Раздевайся, шлюха!

«Так вот как это было... – мелькнуло у нее в голове. – Как страшно... Боже, как страшно... А Золман... неужели они убили Золмана?»

У дерева старший араб что-то делал, склонившись над бесчувственным телом Нира.

– Раздевайся! – рявкнул певучий, отвешивая ей новую оплеуху.

На этот раз он не стал ее удерживать, и Рейна упала. Теперь он стояли над нею вдвоем и то ли спорили, то ли обменивались шуточками. Наконец певучий неохотно кивнул. Старший присел на корточки, взял девушку за горло и низко склонился над ее лицом.

– Ну что, довольна? – ухмыльнулся он. – Сначала я. Тебе понравится...

Теперь он заслонял ей все на свете, как будто на земле осталась только эта слюнявая пасть, и мерзкая борода, и миазмы зловонного дыхания.

– Нет! – дернувшись из последних сил, закричала Рейна. – Не-е-ет!! Золман! Золман!!

Он услышал ее издалека, как с другой планеты. Она звала его, звала на помощь, хотя и чужим именем. Нир открыл глаза. В нескольких метрах от него Рейна отчаянно выворачивалась из-под прижимающего ее к земле араба. Второй, стоя рядом, заинтересованно наблюдал за происходящим. Левой рукой Нир поддернул вверх правую штанину. «Чезет» был на месте. Они не догадались проверить там. Еще бы – кто носит пистолеты на лодыжке? Разве что где-нибудь в кино... Нир передернул затвор.

Тот, кто стоял, обернулся на звук. Увидел, попятился. Нир с наслаждением всадил в него три пули: две в грудь и одну в голову, уже после того, как упал. Второй араб вскочил и бросился прочь. Нир с усилием приподнялся, встал на колено, прицелился и выстрелил. Бегущий споткнулся, упал, по инерции вскочил, но упал снова, и, наконец, пополз, опираясь на руки и на одно колено.

«Попал в ногу», – отметил для себя Нир.

Только теперь он почувствовал адскую боль в голове. Лицо было залито кровью, она еще сочилась из раны на лбу. Чем же его так? Ах да, вот этой дубинкой. Чудо, что не убили. Как видно, в последнюю долю секунды он инстинктивно дернулся в сторону...

– Рейна... – позвал он. – Ты в порядке?

Девушка уже поднялась на ноги и стояла неподвижно, столбом, уставившись на собственные руки.

– А? Что? – проговорила она, переводя на Нира отсутствующий взгляд.

– Ты в порядке? – повторил он. – Не ранена?

– В порядке... Я в порядке.

Она вдруг нагнулась, подобрала с земли дубинку и пошла за уползающим арабом. Рейна шла не спеша, но догнала его довольно быстро.

Когда Нир, собравшись с силами, встал и подошел к месту расправы, она еще продолжала исступленно молотить по кровавому месиву, которое некогда было человеческой головой. Нир обхватил ее сзади за плечи.

– Хватит. Его уже нет. Ты его убила, и не один раз. Хватит. Брось это. Лучше полей мне на руки. И вообще, пора уходить...

Рейна обернулась.

– А эти? Надо убить их тоже.

– Какие эти?

– Ты что, забыл? Те трое, которые шли к дороге. Те, что с другой стороны! Где они?

Нир качнул головой и поморщился. Голова раскалывалась, если не была расколота уже.

– Оставь, Рейна. Они уже давно сбежали.

– Надо догнать! – она сузила глаза и кивнула на обезображенный труп. – Этого догнали и тех догоним.

– Ты шутишь? – Нир всмотрелся в ее мокрое от пота решительное лицо.

Нет, она не шутила. Она и в самом деле была готова к продолжению схватки, к новой крови, новому убийству. Окровавленное месиво на земле, прилипшие к ногам мелкие осколки костей черепа и ошметки человеческого мозга не вызывали в ней ни сожаления, ни тошноты. Рейна Сирота видывала в своей жизни и не такое.

– Тогда погляди на меня, – сказал он. – Я ранен. Я едва стою на ногах. Мне нужна помощь. Вот бутылка, полей мне на руки...

После секундного колебания Рейна взяла бутылку. Они кое-как смыли кровь с его лица и спустились к машине. В медпункте Эйяля в обмен на вполне правдоподобную историю о брусе, рухнувшем Ниру на голову во время строительства навеса, ему обработали рану и зашили рассеченный лоб.

– Не беда, Нирке, – успокоила парня поселковая медсестра Мири, – Шрамик, конечно, останется, и не маленький, ну так что? Шрам для мужика, как орден для генерала. Надеюсь, ты ему тоже вломил как следует.

– Кому?

– Да брусу этому, – ухмыльнулась Мири. – Его тоже, наверно, сейчас где-нибудь зашивают...

«Еще как зашивают, – подумал Нир. – Причем, сразу в саван...»

Рейна ждала его на улице, в мазде. Включенный на всю катушку кондиционер значительно остудил накал ее воинственного пыла. А может, просто кончилось действие глубокого шока, отпечатка событий прошедшего часа. Прежнее возбуждение сменилось апатией, сонливым равнодушием. Теперь Ниру еще больше, чем прежде, приходилось думать за двоих.

Вряд ли стоило сейчас заезжать домой, пугать бабушку своим перебинтованным лбом. Да и Рейна, с ног до головы заляпанная чужой кровью, вряд ли могла показаться людям на глаза в таком виде. Немного поразмыслив, Нир свернул к расположенному на отшибе поселковому погосту, где можно было отмыться у общественного крана вдали от чьих-либо любопытных глаз. Как он и предполагал, стоянка у кладбища пустовала.

– Выходи.

Рейна послушно выбралась из машины. Нир взял ее за руку и подвел к крану.

– Смой это.

Она подняла на него непонимающий взгляд.

– Смыть что?

Чертыхнувшись, Нир открыл воду и стал тщательно смывать кровь с ее ног, сандалий, шортов. Рейна стояла, не шевелясь, уставив неподвижный взгляд в стену высоких кладбищенских кипарисов, покорная, как лошадь под щеткой конюха.

– Подними руки...

Он рывком стянул с нее футболку.

– Что ты... делаешь?! – охнув, Рейна прикрыла грудь.

– Я не смотрю, не волнуйся... – отвернувшись, Нир протянул ей футболку. – На, отмывай. Бери, быстро!

Девушка подчинилась, и Нир оставил ее у крана одну. Пыльная дорожка между могилами была усыпана мелкими кипарисными шишками. Тут и там на надгробьях виднелись русские надписи; на фоне стандартных, обточенных тысячелетиями ивритских формул они казались наивными и неуместными, как детская игрушка в храме. Нир нагнулся и погладил могильную плиту.

– Привет, мама.

Мать не ответила. Над террасой кладбища висела глубокая послеполуденная тишина, нарушаемая лишь журчанием водопроводного крана и отрывочными, неуверенными голосами одуревших от зноя птиц.

– Даже не знаю, с чего начать, – сказал Нир. – Но ты, наверно, и так все видела. Похоже, у меня крупные неприятности. Хотя, какие это неприятности по сравнению с...

Он вздохнул и присев на корточки, смахнул с могилы сухие листья и кипарисную хвою.

– Вот так, мамуля. Я ведь как думаю: если и в самом деле можно все поменять, то отчего бы... Ну, ты понимаешь. Рак ведь тоже убийство, правда? Может, если у Рейны получится с бабушкой, то потом когда-нибудь получится и с тобой? Может, твоя внучка или правнучка...

Сзади подошла Рейна, встала за спиной, положила руки ему на плечи. Нир выпрямился, они обнялись и с минуту стояли так, крепко прижавшись друг к другу, живые на территории мертвых. Ее мокрая одежда приятно холодила их тела, над головами пламенела уже порядком уставшая за день солнечная топка, и мириады бесплотных невидимых душ толпились вокруг в ожидании своего часа, своего тела, своего нового воплощения, новой надежды на исправление прошлых, пока еще не исправленных катастроф.

– Как ты? – тихо спросил он.

– Лучше, – шепнула она. – С футболкой ты здорово придумал. Будто холодный душ...

На выезде из Эйяля он свернул направо, все к той же дороге на Ариэль. Проезжая мимо места, где еще три часа назад стояла их машина, Нир опустил стекла и тщательно вслушался. Нет, откосы глухо молчали – не было слышно ни криков, ни полицейских сирен.

– Куда мы сейчас?

Прежде чем ответить, он посмотрел на нее. Похоже, девушка и в самом деле мало-помалу возвращалась в нормальное состояние.

– В Иерусалим, к тебе. Ты ведь хочешь узнать, к чему это все привело?

Рейна кивнула, усмехнулась:

– Еще бы. Вот уж действительно перемена судьбы... Если и это никак не скажется...

Она отвернулась к окну.

– Если это никак не скажется, значит, и вся теория – не более чем фантазии, – жестко проговорил Нир. – Твои фантазии. Значит, эта твоя запутанность не работает. Так? Ну, что ты молчишь? Давай уже честно. Так?

– Квантовая запутанность...

– Что? – переспросил он. – Что ты сказала?

– Эта запутанность не моя. Это квантовая... Ты что?!

Нир так резко крутанул на обочину, что машину едва не занесло. Он отстегнул ремень, повернулся к девушке и взял в обе ладони ее изумленное лицо.

– Слушай меня внимательно, – сказал он, разделяя слова четкими интервалами. – Мне плевать, как это называется. Я поверил тебе и пошел с тобой до конца. И теперь мне важно знать, что ты тоже будешь честна и тоже до конца. Так что будь добра и ответь мне сейчас без увертoк и без хитростей. Ну?!

– Ты делаешь мне больно...

– Отвечай!

– Да! Да, ты прав! – сердито выкрикнула Рейна.

Оправившись наконец от неожиданности, она стряхнула с себя его руки.

– Ты прав! – повторила она. – Если не будет изменений, то можешь считать, что я все придумала...

– Нет, – столь же сердито перебил Нир, – не так! Это снова увертка. При чем тут я? При чем тут мое личное мнение? «Можешь считать... можешь не считать...» Я хочу, чтобы ты признала: если видео останется прежним, то весь принцип неверен. Вся система не работает. Так?

Рейна молчала.

– Послушай, – снова начал Нир. – Это настолько нечестно, что...

– Так, – еле слышно произнесла девушка.

– Что?

Она уставила на него полные слез глаза.

– Зачем ты меня мучаешь, Нир? Что ты хочешь? Признания в письменном виде? В трех экземплярах? Что это даст тебе? Что это даст нам?

«Мы сможем жить как нормальные люди!» – чуть не выпалил Нир, но вовремя прикусил язык. С этой фразой следовало потерпеть как минимум до просмотра видео.

– Что это даст мне? – переспросил он. – Чувство доверия. Мало?

– Чувство доверия... Хорошо... – она вся подобралась и, сцепив пальцы, произнесла с монотонной интонацией, как произносят в суде формулу о правдивости показаний: – Если видео останется прежним, то я признаю, что была неправа. Что, как ты выразился, система не работает. Теперь доволен?

Нир серьезно кивнул.

– Теперь доволен...

«Вот и все, – подумал он, снова выруливая на шоссе. – Теперь лишь осталось посмотреть это чертово интервью, и дело в шляпе. Надо же! Я-то готовился к длительной осаде, а проблема решилась так быстро. Знать бы только, какую цену нам обоим придется заплатить за эту терапию...»

Минут десять они ехали молча, думая каждый о своем. Когда Рейна наконец прервала молчание, ее голос звучал с нескрываемым сарказмом.

– Если ты так торопишься узнать, что там, то почему мы едем кружным путем? Что это за окольные дороги?

Нир покосился на нее и вздохнул.

– Похоже, ты ничего не понимаешь, а? Совсем ничего? Мы с тобой совершили двойное убийство. Хорошо звучит? Двойное убийство. И, учитывая состояние, по крайней мере, одного трупа, это будет трудно оправдать необходимой самообороной. Да и другой тоже... Я вогнал ему пулю в башку, когда он уже лежал на земле после двух первых выстрелов.

– И правильно сделал, – твердо сказала она. – Я бы и сейчас им добавила. Гады поганые...

– Правильно... неправильно... – Нир пожал плечами. – Но как минимум несколько лет за решеткой нам светят. Причем, в разных камерах, что особенно удручает.

Ответом ему был короткий смешок. Левая рука Рейны нерешительно дрогнула, погладила обивку кресла, тронула приборный щиток и транзитом через рукоятку тормоза переместилась на колено водителя.

– А нельзя тут где-нибудь... – глядя в сторону, проговорила она, – приостановиться... ненадолго...

Нир свернул на обочину еще резче прежнего. Машина еще катилась, а Рейна уже сдирала с себя одежду. Они набросились друг на друга так, как будто и в самом деле отсидели по десятку лет в одиночных камерах. Без ласк, без поцелуев, захлестываемые одним бьющим через край, неудержимым нетерпением, коротким и однозначным, как выстрел в голову.

– А-ах! – выдохнула она, сотрясаясь в пронзительной длящейся судороге, на грани, за гранью того, что может вынести истекающее любовью человеческое тело.

– А-ах! – выдохнул он, пронзенный ответным спазмом, выплескивая все свое существо в расплавленную лаву ее живота.

Потом они еще какое-то время сидели так, прижавшись друг к другу, слившись воедино, приходя в себя, как поле после взрыва, деля оставшиеся силы пополам при помощи нескончаемо долгого поцелуя, пока проехавшая машина не вернула их в реальность своим насмешливым гудком.

– Расцепляемся? – спросила она, оторвав губы от его губ.

– Угу... надо ехать...

Рейна, не торопясь, перебралась на свое сиденье.

– Ну вот, – деловито констатировала она. – Теперь можно и в разные камеры. Кстати, ты так и не объяснил мне, почему мы едем кружным путем.

– Камеры.

– Опять камеры? Да сколько можно?

– Видеокамеры, – пояснил Нир. – Нашу мазду видели там под откосом и наверняка записали номер. Значит, это зацепка для полиции, зацепка пока единственная, и потому ее проверят раньше всего. Машина записана на меня. Сначала они придут ко мне домой, в Эйяль. Не найдут и станут смотреть материалы с видеокамер, чтобы выяс-

нить маршрут мазды. Проще всего анализировать те камеры, которые стоят на скоростном шоссе – их и посмотрят в первую очередь. Если бы мы ехали, не задумываясь об этом, то очень быстро привели бы ментов прямиком в твою иерусалимскую квартиру.

– А на этих шоссе нет камер?

– Есть. Но, во-первых, их не так много, во-вторых, не все в рабочем состоянии, а в-третьих, эти материалы труднее собирать и анализировать... В четвертых, мы не будем проезжать через блокпосты, потому что, возможно, там уже ждут. Так или иначе, они до нас доберутся, в этом даже не сомневайся. Вопрос лишь в том, сколько времени мы выиграем. Может, сутки. Может, пару суток. А может, и пару часов.

– Так мало... – пробормотала она. – Нам осталось так мало...

Нир взял ее за руку и крепко сжал.

– Ты ведь знала, что это может кончиться как угодно, правда?

– Правда, – кивнула Рейна. – Но мне жалко тебя. Ты ведь никак...

– Я с тобой, глупая, – перебил он. – Без тебя мне все равно не жить. Где ты, там и я. Пусть и в разных камерах.

– Сам ты глупый...

Так они и ехали, взявшись за руки, по внутренним дорогам Самарии и Биньямина, а вокруг желтели холмы, выгоревшие до каменной кости своих хребтов, источенных резцом времени, перед чьим молчаливым упорством не устоял еще никто, никогда, нигде. Могли ли разжалобить этого безучастного токаря они, двое влюбленных, столь уязвимых и слабых перед несметными остриями наставленных на них угроз? Да и пристало ли им просить его об отсрочке – ведь ни кто иной, как они осмелились бросить вызов ему, седому мастеру, обрушившему в море забвения не один континент. Ни кто иной, как они тешили себя безумной надеждой обратить вспять неумолимое движение резца, изменить свершившееся прошлое... И чем? Что они собирались противопоставить этой титанической мощи, одним махом стирающей с лица земли империи и горные цепи? Что? Свои крошечные личные судьбы? Ничтожные комочки своей смертной, алчущей, жаждущей, страдающей, ненадежной плоти? Безумцы и глупцы, глупцы и безумцы...

Что ж, они и не просили для себя ничего, заранее готовые удовольствоваться любым итогом. День умирал, цепляясь за дорогу все удлиняющимися щупальцами теней. Отяжелевшее, распухшее от усталости солнце медленно сползало за холмы, и земля, почуяв запах приближающейся ночи, осторожно приоткрывала закупоренные жарой поры.

Когда, сделав круг через иерихонское шоссе, они въехали в Маале-Адумим, уже сгущались первые сумерки. Нир поставил машину на огромной стоянке местного торгового центра. Дальше они двигались на городских автобусах с двумя пересадками и еще немного пешком. До иерусалимской мансарды добрались уже в темноте. Вошли и без сил рухнули на прохладный каменный пол. Затем Рейна отправилась под душ, а Нир включил телевизор, где как раз начиналась программа ночных новостей. В конце выпуска диктор объявил о зверском убийстве двух палестинцев.

– Израильские органы безопасности совместно с полицией автономии приступили к расследованию, – сказал он и многозначительно покачал головой. – По одной из версий, убийство совершено экс-

тремистами из числа поселенцев с целью подрыва мирного процесса, который...

Палец сам дернулся к кнопке пульта. Экран погас. Нир перевел дыхание, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Хотя он и ожидал чего-то подобного, все равно было нелегко услышать о себе в такой официальной форме и по такому чудовищному поводу. Этот чертов диктор смотрел прямо на него, смотрел, да еще и кивал, зараза: вижу, мол, тебя, вижу... Ну как тут не отключить, не спрятаться?

«Стоп! Успокойся! – скомандовал он самому себе. – Во-первых, никто на тебя не смотрит, что за дикая фантазия... Во-вторых, никто не говорил конкретно о тебе. Речь шла о каких-то неведомых «экстремистах». Или они все-таки чего-то не договаривают?»

Нир снова нажал на кнопку. Телевизор включался мучительно долго, а когда трансляция наконец вернулась, диктор уже излагал новости очередного реалити-шоу. Сидя на полу, Нир невидящим взглядом смотрел на экран. Сзади подошла Рейна в купальном халатике, ласково погладила его по плечу:

– Хочешь бежать?

– Куда? – горько поинтересовался Нир. – Куда мы можем бежать?

– Как куда? – она кивнула на телеэкран. – За миллионом. Ты что, не в курсе этого реалити? Вся страна смотрит. Влюбленные пары бегут за миллионом. Мы бы с тобой там всех уделали.

Нир вздохнул.

– Это точно. Но пока что нам надо бежать в Учреждение. Прямо сейчас. Одевайся.

– Прямо сейчас? – недоверчиво переспросила Рейна. – Нельзя подождать до утра? И кто нас туда впустит?

– Нас уже ищут, так что времени в обрез, – сказал он. – Ночью удобнее всего: никому и в голову не придет искать нас там в такое время. А ключ от архива у меня есть. Эстер лично выдала...

Ночь услужливо прикрывала их темнотой, а полная на три четверти луна демонстративно отворачивалась, когда они шагали краем дороги вдоль почетного караула кипарисов, в обход сторожевой будки. Вот и круглая площадь, полная шепчущих невесомых душ. То и дело задевая их плечами, но не встретив на своем пути никого из живых, Рейна и Нир добрались до архива. Здесь тоже было темно и пусто: ни странной Эстер с ее мрачными шуточками, ни дремлющей за стойкой Ревекки Рувимовны. Нир отпер дверь. Не зажигая света, они вошли в читальный зал и включили компьютер.

– Так, – сказал Нир. – Я надеюсь, ты помнишь свое обещание.

– Помню, помню... – отмахнулась Рейна.

– Я все-таки повторю, – заупрямился он. – Когда мы убедимся, что никаких изменений не произошло, ты раз и навсегда оставишь свои фантазии. Так? Ты обещала...

– Так, так, – нетерпеливо проговорила она. – Только не «когда мы убедимся», а «если мы убедимся»... «Если», понял? Черт, как медленно поднимается эта ваша рухлядь! Неужели не могли поставить тут нормальные компы?.. И, кстати, у нашей договоренности есть оборотная сторона. Когда ты увидишь, что я права, ты наконец перестанешь мучить меня своим недоверием... Так? Ну, обещай!

– Не «когда я увижу», а «если я увижу», – усмехнулся Нир. – Впрочем, уже...

– Наконец-то! – прервала его Рейна и принялась стучать по клавиатуре, вводя данные поиска. – Та-ак... раздел видеосвидетельств... Бессарабия... Рейна Сирота... Черт, как медленно, как медленно...

Старенький компьютер, натужно жужжа вентилятором, листал страницы программы. Сначала появился заголовок с именем, за ним – сопроводительная заметка, а затем сбоку от заметки в отдельном окошке постепенно загрузился видеофайл с интервью.

– Видишь? – спросила Рейна, не отрывая глаз от монитора. – Ты видишь?

Нир потрясенно молчал. Он мог представить себе все, что угодно, только не это. Старушка на экране сидела в той же позе, на том же кресле и даже в той же одежде. Все было точно таким же, как раньше, прекрасно знакомым ему по прежним неоднократным просмотрам этого клипа. Все, кроме одного: на лице ее не было шрама. Вообще не было.

VI

– Ладно, – сказал Золман. – Так тому и быть. Уйдем. Иди и ты, Войка, возвращайся в деревню, пока не хватились. Спасибо тебе. Коли не ты, лежать бы нам сейчас на том выпасе. Прощай, брат.

«Как же, брат... – думал он, с горькой усмешкой глядя, как его бывший друг и помощник, пригнувшись, бежит через луг к перелеску. – Сегодня брат, а завтра кат. Вон, Петро Билана я тоже за брата считал...»

Рейна сзади тронула мужа за плечо.

– Куда пойдем, Золман?

– На хутор, к деду Косте, – ответил он. – Есть один такой под Единцом, жизнью мне обязан. Правда, бывший бандит, но это даже лучше – никто не заподозрит...

– Я не хочу.

– Что? Почему? – удивленно проговорил Золман, оборачиваясь к жене.

Обычное распределение семейных прав и обязанностей предполагало, что подобные решения принимает лишь он, мужчина и защитник. Рейна не отвела глаз. Сейчас, когда нужно было спасать детей, она не могла полагаться лишь на прежнюю слепую веру в своего Маккавея.

– Потому что Петро тебе тоже был обязан. Откуда ты знаешь, что можно довериться этому твоему бандиту?

Золман пожал плечами, признавая ее правоту.

– Хорошо, что ты предлагаешь? Оставаться здесь все равно нельзя.

– Идти в Хотин, к моему отцу, – твердо сказала Рейна. – Туда, где все наши. В общей толпе и уцелеть проще. И потом, сам подумай: случись что с нами, дети одни не смогут. А так – дед с бабушкой, тетки, дядья...

– В толпе? Проще? – с сомнением повторил Золман. – Наоборот, Рейна. Когда все собраны вместе, немцам даже искать никого не придется: приходи да бери кого хочешь! Чтобы не взяли, нужно прятаться. Не в толпу нужно бежать, а от толпы...

Глаза Рейны сузились.

– Бежать? От толпы? – вызывающе переспросила она. – Твои родители, помнится, тоже бежали. И чем это закончилось? Где они теперь? А вот те, кто остались, выжили.

Удар был силен и нанесен явно ниже пояса. Золман помолчал, недоуменно покачивая головой, как верная лошадь, ни с того, ни с сего огретая хозяйским кнутом. Но Рейна знала, что сейчас не до церемоний и угрызений совести. Меньше всего она хотела бы, чтобы ее дети пережили тот же кошмар, который выпал на долю трехлетнего Золмана, скорчившегося под лавкой в залитом кровью железнодорожном купе.

– Мы пойдем в Хотин, Золман. Не ради себя, ради них.

Он взглянул на детей и с трудом проглотил застрявший в горле комок. Рейна уже собрала их в дорогу, и теперь они стояли за материнской спиной рядком, как маленькие солдаты. Восьмилетний Давид и шестилетняя Фейга с котомками на плечах, почти трехлетний Борух – налегке, вцепившись в рукав сестринского платья, – молча стояли и ждали, подняв на родителей тревожные голубоглазые взгляды.

– Ладно, будь по-твоему, – вздохнул Золман и подхватил вещмешок. – Идемте.

– Мама, домой? – полуутвердительно осведомился малыш, избавляя таким образом старших от необходимости задавать тот же вопрос.

Рейна присела перед детьми на корточки.

– Слушайте, дети, – серьезно сказала она. – Мы пойдем домой, но не сразу. Сначала нужно навестить дедушку с бабушкой. Мы ведь у них давно не бывали, правда? С самого Песаха. Хотите к ним?

Давид и Фейга переглянулись и закивали без особой уверенности. В город? Но как мама думает добраться до города, если поблизости нет ни телеги, ни автомобиля?

Двадцать верст, отделявших Клишково от Хотина, они преодолевали в течение трех суток, избегая дорог и открытых пространств, с большим запасом огибая деревни и шарахаясь от каждого куста, издали напоминавшего человеческую фигуру. Родная земля, знакомая всеми своими складками и бугорками, теперь вдруг обернулась к ним чужим враждебным лицом, подобно старому другу Петро Билану. Глубоко залегшие злые морщины оврагов и шевелюры рощ таили опасность засады, а далеко высунутые языки шляхов, казалось, только и ждали возможности слизнуть их в какой-нибудь черный ад, как зазевавшуюся букашку.

Эта внезапная перемена была такой резкой, такой несправедливой, что Рейне хотелось плакать от обиды. За что? Почему? Чем она провинилась перед этой злобной мачехой-землей, так долго притворявшейся любящей матерью? Чем провинились ее дети? Чем провинился ее муж, вдоль и поперек исходивший эти поля, поливший их своим потом и кровью, наглотавшийся их пылью, утопавший в их грязи, бросавший зерно в их благодатную почву? Чужие? Они – чужие?

И, как будто всего этого было мало, мачеха пугала их угрожающим шумом, ревом, грохотом. Это началось в первый же день, когда со стороны Клишково, от которого они успели отойти всего на каких-нибудь пять-шесть верст, вдруг послышалось дальнее рычание неве-

домого зверя, как будто сам оборотень Петро Билан шел за ними по следу, оскалив пенистую саблезубую пасть.

– Что это, мама? – испуганно спросила Фейга.

– Война, – ответил за жену Золман. – Это война, Фейгеле. Не бойтесь, она пройдет стороной.

– А никто и не боится! – презрительно фыркнул Давидка.

Но рычание постепенно приближалось, становясь все громче и страшнее, перемежаясь неравномерными грозными ударами, от которых содрогалась земля, ударами, похожими на тяжкую поступь хромого великана. Великан так и остался невидимым, зато ночью мир словно раскололся надвое, когда над стогом, где они заночевали, прошла на восток армада тяжелых бомбардировщиков. Тут уже даже храбрый Давидка не смог выдержать фасона. Закрыв глаза, прижав к себе обеими руками дрожащих от ужаса детей, Рейна шептала слова древней молитвы, которую знала с раннего детства, и которая никогда еще не казалась ей такой нужной и важной.

«Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един...» Что еще могло помочь ей и ее птенцам, затерянным, как иголка в стоге сена на чужой и враждебной земле?

«Слушай, Израиль!..» Кто еще мог услышать ее в этом чудовищном грохоте? Золман? Но он и сам был подобен птенцу – смущенному, прибитому, потерянному в унизительном сознании своей беспомощности...

Впрочем, Золман оказался-таки прав в своем предположении: если и не сама война, то хотя бы ее фронт действительно обошел их стороной. А может, не обошел, а перепрыгнул через них той страшной ночью, наполненной грохотом самолетных моторов. Фронт перемахнул через них одним длинным махом, как дикий зверь-людоед, как чудовищный оборотень Петро Билан, успевший разрастись за эти несколько суток во весь горизонт, с запада на восток. Он был теперь так велик, этот оборотень, что даже не заметил их – двух маленьких взрослых с тремя маленькими детьми, которые затаились в стогу, не смея поднять глаз на проносящееся над ними грязное брюхо войны.

Так или иначе, но гром и топот великанских ножищ, который поначалу слышался сзади, из-за спины, теперь переместился за Днестр, и шум его с каждым часом слабел и отдалялся.

Чем ближе они подходили к Хотину, тем труднее было прятаться от страшных людских, людоедских, волчьих глаз, и Золман решился вывести семью к большаку. Как и на позапрошлой неделе, когда он проезжал здесь на подводе, дорога была запружена военным транспортом, только теперь по ней двигались не русские, а немецкие и румынские грузовики. Никак не изменились лишь беженцы, медленно ковылявшие по пыльным обочинам в сторону реки. На их грязных измученных лицах застыло одинаковое выражение безмерной усталости и вошедшего в привычку отчаяния. Лишенные дома и пристанища, выброшенные на большую дорогу своими личными, но схожими, как две капли воды, катастрофами, они двигались, словно по инерции, и единственный смысл этого движения заключался в том, чтобы отойти как можно дальше от бывшего родного очага, в одночасье обернувшегося пыточным застенком. Они плелись не куда-то, а откуда-то, с трудом влача за собой свою искалеченную жизнь, еще недавно исполненную планов и мыслей о будущем, а ныне начисто лишенную цели, радости и надежды.

Тогда Золман взирал на них по дороге домой, с высоты своей подводы, своего счастливого жребия, который к тому моменту еще хранил в его распоряжении все то, чего лишились эти несчастные. Зато теперь он был точно таким же, как они, – гонимым, бездомным, измученным, терзаемым страхом за своих беззащитных детей. Рейна оказалась права, по крайней мере, в одном: влившись в общую беженскую реку, они с Золманом уже не чувствовали себя загнанными зайцами, застигнутыми погоней посреди открытого поля. Люди вокруг, пусть слабые, пусть отверженные, представляли собой какую-никакую защиту – так сбившаяся в кучу отара придает уверенности каждой отдельной овце. По сути своей, это было гадкое, дурное чувство, жившее лишь надеждой на то, что кружащие вокруг волки выберут и задерут кого угодно, только не тебя и не твоих ягнят. И сознание этого унижало еще больше, ибо низводило некогда сильных и гордых людей в постыдный статус трясущихся за свою шкуру существ, тварей, в которых не осталось почти ничего человеческого.

Изменился и Хотин. Сейчас он ничем не походил на место, каким оно предстало перед Золманом полторы недели назад – вымершим, безлюдным, с наглухо запертыми домами и настежь распахнутыми пустыми конторами, чьи бумажные внутренности были выпотрошены сквозняком и выворочены наружу на потеху вечернему ветру. В тот день город показался Золману незнакомым; сейчас он тоже выглядел не так, как всегда, но иначе, еще хуже – не просто чужим, а откровенно враждебным. Угроза ощущалась во всем: в насмешливых взглядах множества слоняющихся по улицам людей, в вальяжной походке вооруженных солдат, в надменном безразличии скачущих, не разбирая дороги, верховых. Хотин был каким-то... сытым...

Да-да, именно сытым, довольным хищником, сонным от только что проглоченной добычи. Он уже плотно набил себе брюхо, этот незнакомый город, и теперь молча наблюдал за тем, как Рейна и Золман, прижав к груди детей, тихонько крадутся вдоль его стен. Он следил за ними с недобрым прищуром, как обожравшийся кот – за обреченной, загнанной в угол мышью. Похоже, он объелся настолько, что ленился пошевельнуть лапой, и лишь поэтому позволял им прошмыгнуть мимо своих смертоносных когтей. Прошмыгнуть пока что, временно, до следующей охоты...

Обойдя переулками главную площадь, они добрались до гостиницы и примыкающего к ней семейного дома Лазари. Затем Золман долго и безуспешно стучал в глухо запертые ворота, пока наконец Рейна не догадалась перейти на другую сторону улицы – так, чтобы обитатели дома, если таковые еще оставались, могли рассмотреть ее сквозь щели в ставнях окон верхнего этажа. Это помогло; спустя минуту-другую во дворе послышались торопливые шаги, громыхнул стальной засов, и в приоткрывшейся створке ворот показалось бородатое озабоченное лицо Аарона Лазари, рейниного отца.

– Дедушка, ну сколько можно стучаться? – недовольно проговорила Фейга вместо приветствия. – У вас что, уш нет?

Аарон улыбнулся и подхватил внучку на руки.

– Ушей, Фейгеле. Надо говорить «ушей». Заходите скорее... скорее!

Внешне необитаемый, дом был полон людьми. На большой кухне и в горнице, путаясь друг у друга под ногами, суетились сразу три

хозяйки: жена Аарона Энта и две невестки, Броха и Ривка, переехавшие сюда вместе с детьми и дряхлой брохиной бабкой Ханой-Леей. Последняя находилась здесь же; к сожалению, а может, и к счастью, ни она, ни мать Аарона, старая Сара Лазари не имели возможности действенно вмешаться в процесс по причине своих больных ног. Поэтому они лишь величественно восседали рядком на скамье и вносили вклад в общую суматоху посредством поминутно подаваемых советов и указаний.

Четверо брохиных детей, мал мала меньше, носились по дому стремительными метеоритами; нечего и говорить, что Давид, Фейга и Борух, забыв про усталость, немедленно присоединились к беготне. То и дело они забывали о строжайшем запрете кричать или даже просто громко разговаривать; тогда младший сын Аарона, подросток Йоселе одергивал расшалившихся племянников. Заботам его сестры, восемнадцатилетней Рухли, был поручен ривкин первенец, крошечный Хаим-Моше. И над всем этим бурлящим женско-детско-старушечьим котлом, вскипающим беготней, суетой, младенческим плачем, старческим ворчанием, спорами о пустяках, язвительными смешками, добрыми улыбками, слезами, шалостями, сплетнями, вполголоса напетыми песнями – над всем этим обычным, повседневным коловращением жизни возвышался, парил в своей тесной верхней каморке престарелый патриарх реб Ицхок-Лейб Лазари.

Низко склонившись над столом, над пожелтевшими от времени страницами огромной книги Талмуда, почти утыкаясь в бумагу носом и напрягая подслеповатые глаза, он следовал от буквы к букве, как от ступеньки к ступеньке, мало-помалу поднимаясь к целому слову, а от него – к следующему, и еще дальше – к полному предложению или даже абзацу, стиху, прекрасному в своей завершенности. Приостановившись на этой площадке, старик переводил дух и тихонько повторял прочитанную фразу, словно пробуя ее на слух, на вкус, на понимание. Иногда пауза затягивалась, и тогда реб Ицхок-Лейб неодобрительно хмурился, недовольный уровнем своего усердия: действительно, восемьдесят два года – не тот возраст, когда простительно отлынивать от урока.

Потом он снова утыкался в книгу, как будто ставя ногу на первую ступеньку следующего лестничного пролета, и лицо его немедленно разглаживалось, светлело. Куда поднимался он, упрямый старик? Что ждало его там, на вершине этой немыслимо высокой, уходящей за облака лестницы?

Время от времени реб Ицхок-Лейб вставал со стула. Он делал это в три приема: сначала отодвигался, затем привставал, опираясь на подлокотники, и, наконец, с большим трудом распрямлялся, сетуя на непослушные суставы, которые тоже все чаще и чаще ленились исполнять свои непосредственные обязанности. Хорошо еще, что для чтения хватает одних только глаз, хотя и те уже, честно говоря, подводили... Кряхтя, старик накидывал на плечи белый талит с темно-голубыми полосками и принимался молиться, сильно раскачиваясь и обратившись лицом к югу, где далеко-далеко, за морями, за горами лежала Страна, обещанная ему Богом, и Город, обещанный Богу им, ребом Ицхок-Лейбом, его собственной памятью, молитвой, десницей. У них он и просил сейчас защиты и заступничества: у Бога, у Страны, у Города и у букв – мелких ступенек великой небесной лестницы...

– Хорошо, что ты здесь, – сказал Аарон, выслушав Золмана. – А то я совсем зашился в этом бедламе. Один взрослый мужчина на тринадцать женщин, детей и стариков. Теперь нас двое.

Золман промолчал. Только сейчас он осознал, что тесть ни разу не перебил его, не переспросил, не ужаснулся известию о поголовном истреблении клишковских евреев, не выразил радости по случаю чудесного спасения своей дочери и внуков. Он словно пропустил мимо ушей весь рассказ об их трехдневных скитаниях по окрестным полям и лесам, когда они в любой момент могли попасться на глаза шайке грабителей и убийц. Просто сидел перед Золманом, сложив руки на коленях, сидел и ждал, когда придет его очередь говорить. И когда она пришла, начал со слова «хорошо»...

– Аарон, ты вообще меня слушал?

Тесть поднял на Золмана растерянный взгляд.

– Слушал, конечно, слушал. Ты, наверно, ждал, что я стану охать и причитать, да? Не стану, Золман. Уцелели, и слава Богу. Ужасаться тому, что прошло, потом будем, а сейчас надо выживать. Выживать сегодня, выживать завтра. Думаешь, мы тут не натерпелись, пока вы там в стогах ночевали?..

Ему и в самом деле было о чем рассказать. Немецкие войсковые части заняли Хотин седьмого июля, после сильной бомбежки и артобстрела. Зачем бомбили, так и осталось непонятным: в городе вот уже несколько дней как не было ни одного советского солдата. Вспыхнули пожары, много домов сгорело. Немцы вели себя поделовому, выполняли боевую задачу и почти не обращали внимания на местное гражданское население. Прямо с марша развернули дальнобойную артиллерию и принялись лупить по восточному берегу – видимо, на этот раз целью был Каменец-Подольский. Пушки устанавливали рядом с домами, во дворах, на площади. Одна стреляла прямо из соседского сада; гром стоял такой, что можно было оглохнуть. Семья Лазари пряталась от бомбежки в подвале. Ночью Аарон вышел, чтобы набрать воды, и заодно заглянул через забор. Луна была в три четверти, ясно, и деревья напоминали серебряные шары, зависшие над черными ямами тени. С каждым выстрелом они содрогались в такт, так что Аарону на секунду показалось, будто стволы яблонь превратились в пушечные, и теперь весь сад палит по команде немецкого офицера, одновременными залпами.

Наутро немцы свернули свои шинели, сели на грузовики, прицепили пушки и продолжили наступление за Днестр, в глубь Украины.

– Вот и все, – сказала Энта с фальшивым, жалким энтузиазмом. – Война перекатилась через нас, так что самое страшное позади. Было чего бояться...

Но Аарон все равно не разрешил никому выйти за ворота и оказался прав: в тот же день в городе началось действительно страшное. Первые убийства происходили прямо на улицах, там, где местные жители – украинцы, русские, молдаване – застигали евреев. Убивали большей частью наводнивших Хотин беженцев, которым некуда было деться и негде спрятаться. По-звериному набрасывались на еще теплые, залитые кровью тела, шарили по карманам в поисках припрятанных ценностей, дрались, разрывая на части захваченную добычу. Женщин насиловали, детей губили походя, уда-

ром сапога, топора, камня. Покончив с беженцами, пьяная от безнаказанного насилия толпа бросилась громить дома местных.

Вошедшие в город румынские солдаты сначала лишь ограничивались поощрительными замечаниями, но затем вынуждены были вмешаться из соображений общественной санитарии. Погулять-то погуляли, но кто теперь убирать будет? Хотин возвращался в границы Великой Румынии, а полиция нормального румынского города не может мириться с видом растерзанных трупов, валяющихся на перекрестках и площадях. С другой стороны, румыны нескрываемо сочувствовали этому очередному всплеску справедливого гнева православного народа. Поэтому власти приняли компромиссное решение. Отдавая еврейские дома и все содержащееся в них добро на волю народной стихии, они в то же время настоятельно рекомендовали не убивать жидов прямо на месте, а сгонять их на городскую площадь, поскольку потом будет куда легче хоронить эту падаль всем скопом, вместо того, чтобы собирать гниющих мертвецов по подвалам, чердакам и сараям.

Но рекомендация рекомендацией, а практика практикой. Попробуй-ка удержи раззудевшееся народное плечо! Не желая пускать дело на самотек, свеженазначенный румынский комендант выслал в парализованный ужасом еврейский квартал несколько вооруженных патрулей.

– Я сразу понял: это наше единственное спасение, – Аарон поднял на Золмана отрешенный взгляд и тут же снова отвел его в сторону. – Хотя бы и временное. Они били в ворота прикладами и кричали: «Жиды, выходите! Мы отведем вас на площадь! А тут вас убьют!» Они были совершенно правы, Золман. Тех, кто не вышел к румынам, украинцы поубивали прямо в домах. Свои же соседи...

– Это всегда соседи, – мрачно заметил Золман. – Соседи и друзья. Как сказал мне недавно один из моих корешей, не пропадать же добру. Так пусть лучше к соседу отойдет, чем к чужому. У соседа и прав больше.

– Не всегда соседи, не всегда! – возразил тесть. – Ты ведь помнишь Гражданскую? Тогда громили банды, а соседи как раз помогали...

– А кто в бандах был? – перебил его Золман. – Те же соседи. Ты мне про погромы не объясняй, Аарон. Я с этим делом очень близко знаком. Считай, с двух лет. И, знаешь, все равно... Все равно, каждый раз – в новость. Каждый раз удивляешься, дурак-дураком: как же так? За что? Почему? Ну не глупо ли?

Аарон отрешенно кивнул.

– Сначала идут громилы. Пьяные жлобы с топорами и дубьем. Этим главное – крушить, ломать. Неважно, что: двери, стены, мебель, черепа, кости. Зато сразу за ними – шакальё, гнусь слюнявая... – он глубоко вздохнул. – Эти за особенным интересом идут, каждый за своим, и они еще страшнее первых. Те убивают одним ударом, а эти – с вывертом, с муками. Они же и насилуют, и режут, и грабят... нелюди, твари поганые...

– Какие нелюди, о чем ты? – пожал плечами Золман. – Люди они. Просто эти люди – такие. Оборотни.

Аарон снова вздохнул.

– Может, ты и прав...

– Конечно, прав, – задумчиво проговорил Золман. – А потом наступает очередь баб, соседских жен. С мешками, с узлами, с сумками и котомками. Идут деловито, озабочено, как на рынок. Этой посуда нужна, этой перина, а та за платьями пришла. Спешат, толкаются, хотят сделать несколько ходок. Многие там уже прежде побывали, в этих домах, за солью заходили, знают, где что лежит. Давно себе присмотрели – кто сковороду, кто ходики, кто шаль хозяйкину. А вот и сама хозяйка на полу лежит, юбка на голову задрана, срам заголен, живот крест-накрест распорот. И шаль эта самая здесь же, вся в крови... – вот ведь жалость-то какая, испортили вещь...

Он скрипнул зубами, сжал кулаки. В комнату вбежала раскрасневшаяся Фейга, подскочила к деду.

– Дедушка, где тут можно спрятаться?

– Спрятаться? – растерянно переспросил Аарон.

– Ну да! Мы в прятки играем!..

– Нашел, нашел! – крикнул от двери Шлойме, старший сын Брохи, и дети с визгом рванули в горницу.

– Где тут можно спрятаться? – повторил Аарон с горечью. – Хотел бы я знать, девочка моя, хотел бы я знать...

Мужчины помолчали, на короткое время дав волю одним и тем же мыслям, страхам, заботам. Затем Золман поднял голову.

– Что было потом?

– На площади? – отозвался Аарон. – На площади мы долго сидели и ждали неизвестно чего. Час, другой, третий. Народу – не протолкнуться. Никогда не знал, что нас тут так много... Большинство – женщины, дети, старики. Мужчины, если и есть, то старше пятидесяти, типа меня, или такие, кого мобилизовать не успели. Были и незнакомые: беженцы с Буковины, из Бессарабии, галицийские... Охраняли нас румыны. С десяток солдат на всю площадь и офицер верхом на лошади.

– Всего-то?

– Да, всего-то. Но можно было и вовсе не охранять. Сам подумай: куда бы мы делись, Золман? Что мог сделать, к примеру, я? Мог ли я сбежать оттуда со всей своей оравой в четырнадцать человек? С тремя стариками, которые и до площади-то еле-еле дошли? С пятью малыми внучатами, один из которых и вовсе грудной младенец? Да если бы даже и сбежали, то куда? К собственной гибели? Видел бы ты, что происходило тут с беженцами... – они погибают первыми, в чужом городе, на чужой улице. Лучше уж у себя дома.

Он перевел дыхание и продолжил прежним отрешенным, почти равнодушным тоном.

– После полудня пришли украинцы с белыми повязками на рукавах. С винтовками. Вытащили с края толпы несколько человек, поставили к стене клуба и застрелили. Потом еще одну группу, третью, четвертую... Над площадью крик, стон, плач. Женщины над детьми, как наседки: присели, руками обхватили, воют страшно, по-волчьи. Отец мой талит накинул, молиться стал в голос. Цадик наш хотинский, рабби Мордехай-Исроэль Тверский, тоже поднялся, и вместе с ним хасиды его, многие из которых к тому времени еще были живы. Несколько тысяч народу, и все вопят, и все стонут. Конец света. Конец света, Золман, это когда в глазах темнеет. Там я это и понял, на площади. Небеса, вроде, светлы, ни облачка, так что Ему сверху все видать. Может, и у Него тоже в глазах потемнело, не только у меня.

– Но ведь выжили... – тихо напомнил Золман. – Значит, помог...

Аарон равнодушно пожал плечами.

– Может, Он и помог, не знаю. А может, и по-другому получилось. Кто теперь скажет? Помню, что я прикинул, как быть, где встать, – так, чтобы лучше...

– Лучше чего? – не понял Золман.

– Как лучше умереть, – спокойно отвечал тесть. – Поверишь ли, но я в те минуты только о себе думал. Думал, что надо бы непременно успеть умереть раньше них. Раньше родителей, раньше детей, раньше внуков. Чтобы не видеть. Чтобы не знать. Всегда ведь есть какая-то надежда, пусть даже самая ничтожная, самая крошечная, но есть. Вот и тут тоже. Понимаешь, я мог бы надеяться, что они в конце концов спасутся, и с этой мыслью умереть. Умереть с надеждой и никогда уже не узнать, что она не сбылась. Лучше всего было бы, конечно, встать рядом с Энтой, вместе, рука в руке. Это было бы вообще замечательно – как жили, так и умереть, вместе. Вот так я и прикидывал, пока у Него темнело в глазах, пока вся площадь выла, а они стреляли.

– Многих убили?

Аарон снова пожал плечами.

– Не знаю. Наверно, многих. Только потом перестали. Подъехал тот самый румынский офицер, начал кричать. Они тоже кричали в ответ. Но его крик был выше по рангу. Как я понял, предмет спора был все тот же, санитарный: кто потом будет убирать? Украинцы об этом вообще не думали – лишь бы убить, и всё. А румыны, как-никак, власть, они так не могут. Начальство приедет, спросит: что это у вас трупы повсюду валяются? Или не повсюду, а только на площади, все равно. Площадь-то главная, с мэрией, с полицией. Не закапывать же прямо здесь. А если не здесь, то на чем увозить? И куда?

– Верно, – согласился Золман. – Надо же... У убийц тоже свои проблемы. Никогда об этом не думал.

– Вот и они тоже не подумали, – хмыкнул Аарон. – В общем, румынский офицер и украинский полицай покричали, покричали друг на друга и в итоге решили гнать нас за город, чтобы потом не пришлось возить туда трупы. И вот, вся площадь поднялась на ноги, и они стали строить нас в колонну. Их было не очень много, а нас – огромное стадо. Огромное стадо людей, назначенных на убой, подобно скоту. Отличие было только в том, что для забоя скота все уже готово заранее. Есть опытные пастухи, есть железнодорожные вагоны и есть специально построенная скотобойня со всеми своими стойлами, загонами, приспособлениями, разделочными цехами и захоронением отходов. Это очень непросто – быстро лишить жизни большое количество живых существ – вот что я понял в тот день. Они даже не знали, как организованно вывести нас с площади, а потому лишь бестолково бегали в толпе и почем зря лупили людей плетьми и дубинками.

Золман горько усмехнулся.

– Что ж они не попросили вас о помощи? Если кто и умеет организовать работу, так это евреи...

– Или немцы! – подхватил тесть. – Собственно, к этому я и веду. Уже вечерело, когда мы наконец двинулись к выходу из города, а к оврагу подошли и вовсе на закате. Они приказали всем сесть на землю и снова принялись кричать друг на друга. Представь себе,

Золман, у этих идиотов не было подготовлено ровным счетом ничего. Не было ни лопат, ни патронов, ни какого-либо более-менее ясного плана. Клянусь тебе, в тот момент я уже почти не думал о смерти. Мне стало интересно, чем это все кончится. И тут всемогущий Господь послал нам спасение в образе немецкого офицера. Он подъехал на опеле со стороны города: стройный, подтянутый, весьма интеллигентный на вид, но с образцовой военной выправкой. Стоило ему выйти из машины, как вся эта нелепая суматоха немедленно улеглась. Немец выслушал доклад румынского офицера, кивнул, что-то негромко сказал и повернулся к нам, терпеливо ожидающим своей участи.

«Слушайте все! – прокричал он по-немецки, и его действительно услышали все. – Отправляйтесь по домам и ждите указаний военной комендатуры! О вас позаботятся! Все! По домам! Сейчас же!»

– Вас спас немец? – недоверчиво проговорил Золман. – Ты ничего не путаешь? Немец?

– Да! Да! Да! – часто-часто закивал Аарон. – А почему тебя это удивляет? Мы вообще слушали слишком много красной пропаганды. Я так уверен, что на немцев возводят напраслину. Это все-таки культурная нация. Когда они заправляли на Украине в Первую мировую, был и порядок. А когда ушли, начались погромы. Разве не так? Вот ты, лично ты, что плохого ты видел от немцев? Разве немцы убили твоих родителей в Николаеве? Разве немцы резали нас в Гражданскую? Разве немцы лютовали сейчас в Клишково, в Хотине, во всех окрестных деревнях?

Золман с сомнением покачал головой. Меньше всего ему хотелось сейчас спорить с тестем. Он довел-таки жену и детей до семейного дома, до обетованного берега, который не раз за время их скитаний по полям и лесам казался ему недостижимым. И теперь, когда схлынуло первое радостное возбуждение, на него навалилась безмерная усталость. Упасть бы на кровать и отключиться на полсуток, а то и на сутки...

– Это так, Аарон, но немцы командуют всем, – вяло возразил он. – Они ведут эту войну. Ничего тут не делается вопреки их желанию.

Аарон наклонился вперед, в глазах его горел блеск, блеск надежды.

– Знаешь, что я думаю? Немцы просто кинули нашим украинцам кость, вот и все! Кинули кость, чтобы привлечь их на свою сторону. А может даже, чтобы повязать их страхом наказания. Это политика, понимаешь? Так раньше полководцы отдавали солдатне захваченный город. Два дня на грабеж... Вот и нас отдали, хотя и не солдатам, а нашим же соседям... – он горько усмехнулся. – Ты бы видел, каким был дом, когда мы вернулись с поля. Ворота настежь. Все внутри вверх дном. Что не украдено, то поломано, что не поломано, то изгажено... Эх... Но теперь-то все войдет в норму, вот увидишь. Дни грабежа кончились, и погромы кончились. Уж немцы-то научат их порядку! Всех научат...

Золман лишь бессильно махнул рукой в ответ. Его неудержимо клонило в сон.

На следующее утро в ворота снова постучали. Румынские патрули переходили от дома к дому, оглашая новый приказ коменданта. Всем

хотинским евреям предписывалось собраться в здании городской гимназии. На сборы давалось полчаса, за неисполнение – расстрел.

– Надо идти, – сказал Аарон. – Все равно потом выгонят дубинками, так что лучше добром.

За прошедшие двое суток евреев в городе стало заметно меньше: теперь все они, хотя и с трудом, умещались в большом актовом зале. Ровно в десять на сцену вышел немец в сером мундире.

– Вот он, тот самый, – шепнул Аарон зятю.

Офицер говорил по-немецки, переводчик повторял по-румынски и по-русски.

– Мы обещаем вам защиту и порядок, – сказал немец. – Но защита и порядок стоят недешево. Я знаю, что вы припрятали немало драгоценностей. Вы всегда так делаете. Все это придется сдать, причем сдать немедленно. Предупреждаю: позднее будет произведен обыск. Те, у кого обнаружатся украшения, золотые и серебряные вещи, а также оружие или острые предметы, будут расстреляны на месте.

На полу посреди зала разостлали байковое одеяло. Один за другим к нему подходили люди, бросали в общую кучу обручальные кольца, часы, серьги, брошки, ожерелья... Когда куча выросла настолько, что вещи стали скатываться на пол, одеяло унесли, заменив его другим. Спустя час в зал вернулся все тот же интеллигентный немец.

– Я рад, что вы проявили готовность к сотрудничеству, – проговорил он с доброжелательной улыбкой. – Это позволяет надеяться, что и следующее предложение немецкой администрации найдет у вас достойный отклик. Нам нужна ваша помощь, помощь образованных людей. Нужны переводчики, инженеры, юристы, врачи, учителя. Нужны авторитетные духовные лидеры для работы с населением. Речь идет об официальном оформлении на гражданскую службу, с хорошим заработком и на приличных условиях. Мы принимаем только добровольцев, никого не намерены заставлять силой. Я обращаюсь ко всем обладателям университетских дипломов. Ко всем профессорам, докторам, бакалаврам, раввинам, которые хотели бы и далее приносить пользу обществу и, соответственно, своим семьям. В коридоре открыта регистрация желающих.

В зале поднялся шум, многие вскочили на ноги. Офицер, улыбаясь и милостиво кивая всем сразу и никому в отдельности, шел по тесному проходу. Возле старого рабби Мирского он приостановился.

– Вы ведь здешний главный раввин? Очень приятно. Будем рады видеть вас в числе добровольцев...

Аарон толкнул зятя локтем.

– Пойдем вместе, Золман. Ты ведь слышал: хороший заработок.

Тот покачал головой:

– Ты что? У меня и среднего-то образования нет.

– Глупости! Найдется работа и для тебя. Ты ведь целым кооперативом заведовал...

Энта схватила мужа за рукав, протянула умоляюще:

– Ареле, не ходи, Ареле. Нехорошо это.

– Опять ты со своими глупостями, – нетерпеливо отвечал Аарон. – Ну что тут нехорошего? Я дипломированный бухгалтер, разве нет?

– Страшно как-то... не ходи, – гнула свое Энта.

– Прекрати! – оборвал ее муж, решительно поднимаясь на ноги. – Ты подумала, на что мы все жить будем, девятнадцать душ?

На какие деньги? Дом пустой стоит, все вынесли воры поганые... Страшно ей... Вон, смотри, сам рабби пошел! Рабби пошел, а ты, дурочка, боишься...

Старый цадик и в самом деле пробирался к выходу в коридор, поддерживаемый с двух сторон своими верными хасидами. Энта беспомощно развела руками: против такого аргумента не поспоришь...

Их вывезли в нескольких грузовиках к ближайшему подходящему оврагу за городом. Сто сорок девять человек, цвет хотинской еврейской интеллигенции. Там, у оврага, их разбили на десятки. Когда первая группа уже лежала на дне оврага, старый цадик рабби Мордехай-Исроэль Тверский, отпрыск знаменитой династии хасидских раввинов-богачей, попросил разрешения наложить тфилин, и командовавший акцией интеллигентный немецкий офицер дал на то свое любезное дозволение. Цадик так и встал потом на краю рва, закутавшись в талит, с аккуратно навязанными ремешками на руке и коробочкой на лбу. Солдат из расстрельной команды шутки ради прицелился именно туда, в коробочку, и попал, к вящему удовольствию – своему и товарищей.

Аарон Лазари, дипломированный бухгалтер, бывший владелец лучшей хотинской гостиницы и прямой потомок предприимчивых генуэзских купцов, в свои пятьдесят три года обладал еще довольно крепким телосложением, а потому был отобран в самую последнюю десятку, которая забрасывала землей то, что лежало на дне оврага. На сей раз хватило всего – и патронов, и лопат, да и организация выглядела поистине образцовой. Об этом он и думал, втыкая штык лопаты в рыхлую приднестровскую землю. Немцы, что и говорить, умеют эффективно работать.

Уже под конец, занимая свое место в шеренге на краю рва, Аарон заметил кусочек пергамента, выпавший, как видно, из разбитой пулею коробочки тфилин. Он поднял обрывок, поднес к глазам и прочел вслух знакомые с детства слова:

«...когда спросит тебя в будущем сын твой, говоря: "что это?", то скажи ему...»

На этом месте пергамент кончался, и Аарон стал судорожно припоминать столь внезапно и некстати забытое продолжение. Отчего-то ему казалось очень важным успеть закончить этот стих, и потому он, уперев глаза в небо, словно держась за него, переминался с ноги на ногу и, отчаянно шевеля губами, изо всех сил торопился успеть, успеть, успеть... – и не успел.

Оставшиеся в актовом зале не знали всего этого, да и не могли знать. Интеллигентный немецкий офицер больше не появлялся; наверно, сел в свой красивый опель и поехал дальше – учить румынских и украинских разгильдяев уму-разуму и правильной организации дела. Впрочем, немецкая наука, как видно, не пошла впрок: на третий день, после двух мучительных ночевок в душном переполненном зале, евреев снова отпустили по домам. Объявляя об этом со сцены, офицер в форме румынской жандармерии, похоже, сам удивлялся происходящему. Кто-то спросил из зала:

– Что же нам теперь делать?

Жандарм безразлично пожал плечами:

– Делайте, что хотите...

Эта простой ответ породил в людях целый ворох надежд и самых невероятных фантазий.

– Что хотите... Что хотите... – повторяли в толпе на выходе из школьных ворот. – Значит, можно будет открыть лавку?

– Конечно!

– А парикмахерскую?

– Вы же ясно слышали, что он сказал! Делайте, что хотите! Парикмахерская это полезно. Не будут же они запрещать такую полезную вещь...

Энта Лазари тоже спешила домой, рассчитывая обсудить с мужем возможность возобновления семейного гостиничного бизнеса. Не застав дома Аарона, она рассердилась:

– Вот вечно он куда-нибудь денется! Именно тогда, когда особенно нужно!

– Мама, ну зачем ты так? – заступалась за отца Рейна. – Скорее всего, папа сейчас где-нибудь за Днестром...

– За Днестром! – возмущенно фыркала Энта. – Что ему делать за Днестром, когда вся семья в Хотине?

– Ему наверняка поручили какой-нибудь важный проект, – высказывала предположение дочь. – Он ведь дипломированный бухгалтер! Он там хорошо зарабатывает и откладывает деньги. Вот вернется, и сможем открыть гостиницу. Сейчас-то все равно не на что: белье разворовали и посуду тоже...

Фантазии фантазиями, но повседневного страха и в самом деле стало меньше; город-оборотень снова отдыхал, насытившись кровью и переваривая проглоченную добычу. Рачительные хозяйки раскладывали по буфетам и комодам награбленные тарелки и простыни, пересчитывали под краденными абажурами соседское столовое серебро.

Отныне это принадлежало им, но с одной оговоркой: к внезапно обретенному добру еще следовало привыкнуть, приучить к новым вещам руки, мебель, домашнюю обстановку. Пусть эти ложки и вилки, платья и подсвечники, детские игрушки и взрослая обувь навсегда забудут свой прежний дом, своих прежних хозяев – теперь все эти вещи мои, мои, мои!

Как долго могла продлиться эта передышка? Неделю? Две? Три? Раньше или позже жажда убийства, помноженная на зависть и жадность, должна была вернуться на улицы города-хищника, города-людоеда. Жители еврейского квартала старались не думать об этом; в те дни все их усилия были направлены на добывание продовольствия. Но даже если бы и думали – бежать все равно было некуда: за пределами города-оборотня лежали деревни-убийцы, поселки-душегубы, села-палачи... Впрочем, кое-кто пробовал: в начале августа большая группа решившихся уйти хотинских евреев была ограблена и закопана живьем в одной из окрестных деревень.

Смерть подстерегала их повсюду – сытая, уверенная, безразличная, как тот жандармский офицер на сцене актового зала: «Делайте, что хотите...» Делайте, что хотите – все равно вам уже ничего не поможет. Вскоре после того, как стало известно об истории с закопанными людьми, на городскую площадь стали свозить подводы – десятки пустых телег, непонятно зачем и для чего.

– Будут вывозить мусор с погоревших домов, – сказала вернувшаяся с рынка Энта. Теперь из дома выходила только она одна. – Видите, все понемногу приходит в норму! Когда уже Аарон приедет, Господи-боже-мой? Вечно он куда-нибудь денется...

Но к вечеру выяснилось иное: расклеенный на стенах приказ румынской комендатуры объявлял о принудительной эвакуации евреев города Хотина – в целях безопасности и в связи с близостью фронта. Всем еврейским семьям снова предписывалось в полном составе прибыть на площадь, имея при себе трехнедельный запас продовольствия.

Стали собираться, с огромным трудом уложив спать младших. Те плохо понимали, что происходит, но гнетущая тревога взрослых отражалась на детских лицах ясно и точно, как в чистых маленьких зеркалах. Малыши ссорились между собой, капризничали и ударялись в рев по каждому поводу и вовсе без повода. В дополнение ко всем бедам, у Ривки пропало молоко, и крошечный Хаим-Моше кричал, не переставая.

Чемоданов, корзин и сумок почти не осталось: мародеры использовали их, чтобы унести награбленное во время погрома. К счастью, никто не позарился на половики и дорожки; теперь их сложили вдвое и сшили семь больших вьюков – по одному на каждого взрослого и подростка. Из тайников и схронов извлекли припрятанные загодя теплые вещи и ценности. Рейна и Броха, собрав на столе оставшиеся семейные украшения, колечки, сережки, ожерелья, золотые монетки, зашивали их в складки белья, в потайные кармашки, в воротники, в шапки. Брали с собой все, что могло сгодиться в пищу и все, что могло сгодиться на обмен.

Никто не объяснял им, что нужно делать в подобных случаях; они не изучали науку изгнания ни в школе, ни в университете, никогда не читали соответствующих инструкций и пособий. Но руки этих женщин сами собой совершали все необходимые действия, как будто помнили их от рождения, как будто всегда знали, что рано или поздно придется их совершать. Стежок за стежком – как шажок за шажком на длинном пути вечно бодрствующей памяти, въевшейся в поры, всосанной с молоком матери, плетью и батогом вбитой в спины, в жесткие упрямые выи. Куда приведет он их, этот путь, чем закончится? Когда уже смогут они отдохнуть, остановиться, сбросить с плеч переметную суму?

Вышли утром, навьючив на себя поклажу. Малыши, чувствуя недоброе, продолжали капризничать; взрослые не обрывали их окриком – просто шагали вперед, погруженные в тяжкие, вязкие мысли, и от этого непривычного равнодушия детям делалось еще страшнее. Старый Ицхок-Лейб тащил под мышкой здоровенный том Талмуда. Перед выходом ему пришлось выбирать между книгой и любимой подушкой, поскольку унести и то, и другое не представлялось возможным. После долгих колебаний старик выбрал книгу, и теперь раскаивался в своем выборе тем больше, чем дальше они отходили от родного семейного дома. Сколько ему еще осталось читать, и дадут ли? А так было бы хотя бы куда приклонить голову...

Вокруг них, вместе с ними шли другие; семьи, пары и одиночки людскими каплями стекались в людские ручейки переулков, в речки улиц, в проточные озерца больших перекрестков. Соседи-украинцы

стояли в дверях, смотрели из окон, озабоченно переглядывались, переминались с ноги на ногу: в такие моменты главное – не опоздать, не продешевить, первым вбежать в покинутый дом, еще теплый от дыхания его обреченных хозяев. Эти дома грабили уже дважды, но евреи – известные хитрецы, у них всегда что-нибудь где-нибудь да припрятано. Не пропадать же добру, правда? Скорей бы уж... Когда он, наконец, кончится, этот бесконечный поток, эти женщины со скорбно сжатыми ртами, эти поспешающие вприпрыжку бледные дети, эти одышливые старухи и пейсатые старики? Надо же, сколько их: все идут и идут, идут и идут... Вот уж действительно: били-били, да не добили.

Там, где улица впадала в площадь, стоял румынский жандарм и дубинкой указывал, кому куда. Престарелых Ицхока-Лейба, Сару и Хану-Лею разрешили посадить на подводу, а Золмана сразу забрали и увели в сторону, к грузовику, как сказали – на дорожные работы. Он едва успел попрощаться с Рейной и с детьми. За старшего мужчину теперь оставался четырнадцатилетний Йоселе Лазари, сын Энты и Аарона. Семья сгрудилась вокруг телеги со стариками. Ицхок-Лейб открыл было свой фолиант, но читать не смог: буквы отказывались складываться в слова. Что-то мешало – то ли чересчур яркое августовское солнце, то ли страх, душным облаком нависший над площадью. Старик протер слезящиеся глаза и захлопнул книгу: определенно, следовало решить в пользу подушки. Куда он теперь приклонит голову на старости лет?

В полдень колонна двинулась к выходу из города. Впереди ехал на лошади румынский офицер, два конных жандарма замыкали шествие, еще двое верховых наблюдали за порядком и подгоняли отстающих. После долгого ожидания на солнцепеке люди были рады началу движения, особенно заскучавшие, застоявшиеся дети. Колонна медленно ползла по Хотину, и осиротевшие еврейские дома прощально махали ей вслед створками распахнутых ворот и ставень. На этот раз оттуда выносили мебель: мелкие предметы, такие как стулья, столики и этажерки, давно уже перекочевали к новым хозяевам, и теперь добрые соседи объединенными усилиями волокли по улицам массивные буфеты, обеденные столы и шкафы.

– Мама, мама, смотри, это наш комод!

– Тише, детка. Ты путаешь. Наш комод остался дома.

– Да нет же, мама! Там сбоку царапина... помнишь, ты меня за нее ругала?

– Тише, детка... тише...

Притомившиеся от многих усилий мужчины опускают тяжелый дубовый комод на землю, присаживаются, закуривают, пережидают жидов.

– Ты смотри-ка: все идут и идут, идут и идут...

– Ничего, это уже, кажись, конец. Теперь точно не вернутся.

– Вот и хорошо, чего их гонять-то туда-сюда? Тоже ведь люди.

– Ага. Потащили?

– Потащили...

Поплевали на руки, подхватили. Не беда, что тяжело, – своя ноша не тянет. Теперь уже своя. Потому что «эти» теперь уже точно не вернутся. Город-оборотень, город-убийца, облегченно вздыхая, смотрит вслед уходящей колонне. В ней почти не осталось крепких муж-

чин: молодые мобилизованы, а те, что постарше, либо погибли во время первых погромов, либо уехали на «дорожные работы»... – знать бы, что это за работы такие? Женщины идут, сгибаясь под тяжестью мешков, таща за руку уставших, ноющих детей. Древние старики и старухи подслеповато щурятся с телег. Подростки, разом повзрослев лет на десять, тревожно поглядывают по сторонам: что-то будет? Что-то будет? Время от времени слышны одиночные выстрелы. Кто там стреляет? Зачем? В кого?

Третий час пути. Между двумя деревнями дорога заворачивает на восток. Вдоль шляха стоят местные, смотрят недобро, посмеиваются. В основном, это парни и мужики, многие опираются на палки, более похожие на дубье. Колонна будто споткнулась: встала, дернулась вперед, снова остановилась.

– Не останавливаться! Пошли! Пошли! – скачут вдоль дороги конные жандармы, машут плетками, бьют по спинам, по плечам.

Куда же идти, если впереди стоят? Нет, вроде опять пошли. Из головы колонны волной, рябью по людским головам, идет неясный, невнятный ропот: «Прячьте девушек! Прячьте девушек!» Девушек? Прятать девушек? Зачем прятать? И куда тут можно спрятаться? Прямой шлях прорезает кукурузное поле, на широких обочинах – местные. Стоят цепочкой, стоят группками, поигрывают дубинками. Один из них, в голубой рубашке и ладных сапогах гармошкой делает шаг вперед. Глаза его хищно прищурены. Чего ему надо от нас?

Парень вдруг протягивает вперед руку и резко выдергивает из колонны Ривку с маленьким Хаимом-Моше на руках.

– Держите, хлопцы! Эта сгодится! Молочная курва...

От неожиданности Ривка падает на обочину. Падает и, конечно, сильно ушибается, потому что думает лишь о том, как бы не ушибся ребенок. Но Хаим-Моше, который только-только задремал, просыпается и снова начинает кричать.

– Да заткните вы его! – командует кто-то.

Прежде чем Ривка успевает что-либо сообразить, у нее выхватывают младенца. Орущий сверток взмывает в небо и с силой ударяется оземь. Плач обрывается. Парень в голубой рубашке заносит сапог.

– Не-е-ет! – что есть силы кричит Ривка.

Ее тащат за ноги в кукурузу, она вырывается, вертится ужом, царапая, кусая, отталкивая. Она сражается не за себя – за ребенка. Кто-то отдергивает прокушенную до крови руку, яростно бьет женщину кулаком, ногами.

– Колом ее, колом, сучку! Другую найдем!

Ривка успевает услышать хруст собственного черепа. Тьма накрывает ее. Во тьме – маленький Хаим-Моше, тянет ручонки, хочет есть. Она дает ребенку грудь и успокаивается. Теперь хорошо. Теперь уже все в порядке...

Все в порядке – у мертвых. А у живых, над дорогой, над кукурузным полем, над двумя деревнями, над миром-оборотнем, миром-убийцей – вой. Насильники, мародеры, душегубы стеной выстроились вдоль шляха, высматривая себе добычу. Уверенно, по-хозяйски выдергивали из колонны женщин, уводили в сторонку, а то и укладывали на землю тут же, на обочине. Насиловали с уханьем, с побоями, на глазах у всех. Тех, кто отваживался на сопротивление, забивали колами без долгих разговоров. Насытив похоть, брались за грабеж. Вы-

тряхивали в придорожную пыль вещи, рылись в мешках, не брезговали сдирать приглянувшуюся одежду прямо с плеч.

Когда поволокли в кукурузу Рейну и Рухлю, Энта бросилась к проезжавшему конному жандарму, схватилась обеими руками за стремень, взмолилась о заступничестве. Румын толкнул ее ногой, огрел плетью – держится, не отпускает, воет в голос.

– Мама, не надо, отпусти его! – крикнула Рейна, уже падая на спину.

Потом, придавленная к земле хрипящими скотами, слюнявящими ей лицо и грудь, мнущими и оскверняющими ее тело, она лишь высматривала голубизну неба и думала о сестре, которую насиловали рядом, и о том, что будет с матерью. Полчаса спустя, когда сестры, пошатываясь и подвязывая порванные платья, выбрались на дорогу, Энта еще дышала. Жандарм рубанул ее саблей и ускакал, оставив истекать кровью на обочине.

– Рейночка, Рохеле... – пробормотала она, увидев дочерей. – Живые... слава Богу. Хорошо...

– Чего ж хорошего, мама? – обливаясь слезами, спросила Рейна.

Энта Лазари с усилием повернула голову, словно ища кого-то взглядом.

– Хорошо, что Аарон не видит... Вечно он... вечно он куда-нибудь...

– Не останавливаться! Пошли! Пошли! – крикнул подъехавший жандарм.

– Идите, девочки, идите... – прошептала Энта. – Там у вас дети...

Ночевали на большом лугу за околицей одной из попутных деревень. Румынская охрана и возчики перепились с местными; пьяные, они до полночи разгуливали по лугу, подыскивая себе подходящую жертву для очередного изнасилования, для очередной кровавой забавы. Бежать было некуда: отовсюду на людей пялилась хмельная от душегубства, жестокая смерть. Пойманных одиночек румыны и украинцы убивали без лишних разговоров, походя. Шанс уцелеть оставался лишь у того, кто прятался на виду, среди таких же, как и он сам, – шанс на то, что убийца, выбирая из многих, не успеет дотянуться до него, что жажда убивать иссякнет раньше, чем будут убиты все назначенные на убой. А пока... – пока, чтобы выжил ты, должен умереть другой – простая формула овечьего, человечьего стада.

Подчиненная случайному выбору смерти, жизнь и сама превращалась в случайность, то есть лишалась всякого последовательного смысла, всякой самостоятельной ценности. Люди на лугу уже не были защищены не только статусом человека или статусом живого существа, но даже и статусом вещи. Вещь редко бывает ничьей – она почти всегда принадлежит кому-то: частному хозяину, общине, государству, Богу. А они были именно ничьими, так что любой мог подойти, и взять их, и делать с ними все, что угодно, – все, до чего только может додуматься гораздый на выдумку садист и изувер.

Но самым поразительным представлялось не столько наличие этой возможности, сколько массовая готовность к ее реализации – как будто подавляющее большинство окрестных жителей вдруг одним махом превратились в насильников и мародеров. Еще вчера они были для вас друзьями, или добрыми приятелями, или хорошими соседями, или просто приветливыми крестьянами на городском рынке, которые щедро добавляют к вашей покупке свою улыбку или даже лишнюю ложку сметаны, лишнее яблоко, конфету-леденец для ваше-

го ребенка. А сегодня... – сегодня они хватают этого же ребенка за ноги и разбивают ему голову ударом о придорожный камень. Сегодня они набрасываются на вашу двенадцатилетнюю девочку и насилуют ее насмерть всей своей гадкой павианьей ордой. Сегодня они получают искреннее удовольствие от убийства, насилия, грабежа. Почему? Неужели возможно такое превращение? А может, они всегда были такими и лишь прятали свою истинную звериную суть под улыбающейся человекообразной личиной?

Наутро жандармы объявили, что количество подвод сокращено: все, кто в состоянии встать и идти, должны продолжать дальше своим ходом. Отныне на место в телеге могли претендовать лишь самые старые и больные; после долгих препирательств Рейне и Брохе удалось посадить на переполненную подводу своих бабушек – семидесятидевятилетнюю Сару Лазари и совсем уже дряхлую Хану-Лею. Старый Ицхок-Лейб со своим Талмудом мог теперь полагаться лишь на помощь правнуков Давидки и Александра. Пешая колонна начала движение раньше подвод; возчики объясняли задержку тем, что им приказано ехать следом, подбирая отставших и ослабевших.

Второй день мало чем отличался от первого. Насилие, избиения и грабежи повторялись во всех попутных деревнях. Растягиваясь на два-три километра в промежутках между населенными пунктами, шествие резко тормозило перед каждой околицей. Издали завидев поджидающих их мучителей, люди инстинктивно сбивались в кучу, пятились, прикрываясь от жандармских плетей и сабель, которые гнали их вперед. Выхваченные из толпы женщины уже не противились насильникам, зная по опыту, что сопротивление лишь распаляет их и продлевает муку. То и дело слышались выстрелы: жандармы и полицейские из местных убивали для забавы, от скуки, на спор, соревнуясь в меткости. Людская река медленно ползла на восток, редея и уменьшаясь, большими и малыми лужицами оставляя на обочинах дороги мертвые тела стариков и детей.

Рейной, как и другими, овладело странное равнодушие, пришедшее на смену страху. Осязаемая близость смерти, случайность ее слепого выбора полностью меняли и отношение к жизни, ко всему, что некогда было важным, ценным, существенным. Еще два дня назад гибель матери стала бы для нее невообразимым горем, от которого трудно оправиться. Но уже вчера они с сестрой бросили умирающую мать в придорожной канаве. Оставили ее истекать кровью – просто встали и, не оборачиваясь, пошли дальше, и небо не потемнело, и солнце не рухнуло на землю, и дочерние сердца не лопнули от непереносимой муки. Возможно, их вел инстинкт самосохранения, страстное желание жить?

Вряд ли. Люди вокруг погибали вне всякой логики и резона, и к этой бессмысленной какофонии смерти было заведомо невозможно приспособиться, избрать такую линию поведения, которая позволяла бы надеяться на благоприятный исход. Пули, топоры и дубье не знали разбора, равно настигая старых и малых, уродливых и красивых, покорных и бунтарей, в голове колонны, в середине и в хвосте, в гуще толпы и по краям. Можно было умереть из-за хорошей шапки, из-за добрых сапог – и выжить по тем же самым причинам; случайными были и милость палача, и его ярость. Страх был нелепым уже хотя бы потому, что люди не имели понятия, чего именно стоит опасаться.

Ничьи. Теперь они были ничьи во всех смыслах. Не только из-за полного отсутствия заступников в виде властей и закона. Не только из-за отчетливого понимания того, что Бог не просто отвернулся от своего народа, но ушел, сбежал, залепил глаза и уши воском поминальных свечей, сунул голову под подушку, забытую в комнатке старого Ицхока-Лейба... Нет, самым ужасным в этом безумии свихнувшегося бытия, в хаосе торжествующей бессмыслицы, было нарушение, а то и разрыв связей между людьми – ведь никакая связь не может существовать вне смысла. Никакая – даже связь матери с ребенком, мужчины с женщиной, детей с родителями. В мире, где царит случайность, нет связей – есть лишь беспорядочные столкновения, бессмысленная суета бессвязных частиц.

Рейна с сестрой бросили на обочине умирающую мать не потому, что испугались смерти. И совсем по другой причине остались сухими уже на следующее утро их глаза – ничьи глаза ничьих дочерей сгинувшей ничьей матери... Спустя годы к тем немногим, кто переживет тот страшный поход в никуда, вернется и ощущение связности, смысла, разумности бытия. Тогда они, возможно, заново вспомнят мертвецов на обочинах смертных дорог, вспомнят и ужаснутся ужасом нормальных людей; вспомнят и заплачут нормальными человеческими слезами. Но безумный островок хаоса, навсегда поселившийся в них, все равно будет просвечивать сквозь тонкую пелену повседневной рутины, будет до смерти пугать их заново рожденных детей страшным отсветом ничейности.

А вдруг и впрямь нет никакого смысла в мире? Вдруг и впрямь мы лишь навоображали себе и ценности, и закон, и причину, и разум, и любовь, и дружбу? Вдруг все это – бутафория, размалеванный задник с кулисами – ткни и прорвется? Ткни – и, сметая хрупкие декорации, хлынет в наш детский балаганчик ледяной ветер хаоса, дикой случайности, бессмыслицы, смерти... Неужели, о Господи, неужели?

В деревне Новоселицы стреляли больше обычного, а ватага местных подростков развлекалась тем, что рвала бороды старикам. Давидка и его двоюродный брат Александр вступились за Ицхока-Лейба. Рейна, Броха и Рухля в тот момент изображали из себя старух, чтобы избежать изнасилования, некому было предостеречь мальчишек, оттащить от обреченного ничейного прадеда. Так погибли все трое – и старый, и малые.

Ночевали в поле, не доходя до большого поселка Бричаны. Подводы со стариками так и не догнали колонну; жандармы в ответ на расспросы лишь ухмылялись и показывали на небо – мол, там и ищите... Ночью кто-то потряс Рейну за плечо. Не разлепляя глаз, она инстинктивно отшатнулась, уверенная, что сейчас ее снова потащат на очередное насилие. Но это был Золман – осунувшийся и постаревший вдвое – так же, как и она сама.

– Давидку убили, – сказала Рейна вместо приветствия. – И маму. И деда. И Ривку с маленьким. И Сашеньку...

Он кивнул и, не проронив ни слова, спрятал лицо в ладонях и какое-то время сидел так рядом с нею, ничей муж на чужой земле.

«Дорожные работы», выпавшие на долю Золмана, оказались весьма специфическими. Для начала бригаду привезли к оврагу в нескольких километрах от Хотина.

– Берите лопаты и закопайте это, – сказал жандармский унтер. – Да не так, как было, а получше, чтобы снова не разрыли.

Из оврага поднимался густой трупный смрад. Внизу, среди обрывков ткани и наполовину обглоданных человеческих костей возилась стая одичавших собак. В небе кружили стервятники; время от времени какая-нибудь из птиц резко спускалась, присаживалась в отдалении, а затем, бочком-бочком подскочив к цели, резким движением клюва отрывала кусок гниющей плоти. Собаки рычанием и возмущенным лаем пресекали вторжение непрошенного сотрапезника.

– Сохрани меня Господь... – пробормотал кто-то за спиной у Золмана. – Вот где они все... велик Судья праведный...

Золман обернулся. Глаза пожилого хасида, мобилизованного вместе с ним, были полны слез.

– Кто «они»? – спросил он, уже предчувствуя ответ. – О ком ты?

– Рабби Мордехай, – тихо отвечал хасид. – И все остальные, кого из школы забирали. Видишь там, справа, картуз с ленточкой? Я ж его в мае на ярмарке покупал – в подарок двоюродному брату моему, Йоске-меламеду. А вон и сам Йоске... Переводчиками их брали, да? Учителями? Бухгалтерами? Вот где они все переводят... и учат...

Он поперхнулся, всхлипнул и, раскачиваясь, стал читать поминальную молитву по своему погибшему рабби.

– Эй! Работать, не стоять! – прикрикнул унтер из кабины грузовика. – А то сами туда ляжете!

Золман набрал полную лопату земли, и еще, и еще, и еще... – не останавливаясь, не передыхая. Лишь бы поскорее прикрыть, завалить, забросать обглоданные до белизны черепные кости над знакомым пиджаком своего тестя Аарона Лазари. Лишь бы не видеть, не знать, не думать, оглушить себя усталостью, сбить с мысли ритмом движений, отвлечь болью спины, резью саднящих ладоней. Рядом, бормоча слова молитвы, работал лопатой плачущий хасид. Глотали слезы и другие землекопы: у каждого из них в этом овраге лежал кто-то свой, родной и близкий. В тот момент они еще не знали, что больше плакать им не придется, потому что дальнейшее будет вне области слез, вне области жизни.

Покончив с братской могилой в овраге, они не вернулись к своим, как надеялись многие, а двинулись дальше на восток по новоселицкому шляху. Километрах в семи от Хотина посреди кукурузного поля грузовик съехал на обочину и остановился. Оставив двух человек в кузове на попечение водителя-румына, унтер отвел остальных в сторону от дороги, отмерил площадку размером три на двенадцать и приказал рыть яму глубиной в полтора человеческих роста. Приступая к работе, Золман слышал, как машина отъехала в сторону города. Пока они копали, унтер курил, сидя на земле и держа винтовку на коленях.

– Дать ему, что ли, лопатой по куполу? – сказал Золман хасиду.

– А потом? – так же тихо ответил тот.

– Эй, вы там... – лениво проговорил румын, словно подслушав их разговор. – Работайте, и без глупостей. Вы здесь, а семьи ваши там. Если что, мало не покажется и сучкам вашим, и щенкам.

– Где они сейчас, в Хотине? – спросил хасид.

– Почему в Хотине? – удивился унтер. – В дороге. Скоро тут пройдут. Вы копайте, копайте!

Хвост пешей колонны миновал землекопов, когда они уже почти закончили работу. Полчаса спустя послышался шум мотора вернувшегося грузовика: судя по командам унтера, машина подавала задом в направлении ямы. Затем румын подошел к краю и скомандовал вылезать. Кузов был доверху набит трупами; кровь еще стекала из щелей на землю, красными запекшимися потеками блестела на досках и на колесе.

– Сгружайте, – деловито приказал унтер. – Можно прямо в яму, но только с умом, с умом. Не наискось, а поперек, ровненько. Должно хватить на сотню, а тут... Йона, сколько тут?

– Двадцать девять, – откликнулся шофер, скручивая цигарку. – И малых штук семь.

– Малые не в счет, малых поперек можно... Сгружайте, сгружайте, что вы стоите? Ну?! – унтер передернул затвор винтовки.

И они стали сгружать – сначала на землю, а потом аккуратно, из рук в руки – в яму. Сгружать старух с размозженными седыми затылками, полуголых молодых женщин с распоротыми животами, исколотых штыками стариков, детей, раздавленных ударом сапога. Некоторые еще жили, и тогда землекопам приходилось душить их, даря умирающим, как последнее милосердие, смерть на земле вместо смерти под землей. Потом грузовик уехал, и снова вернулся, и снова уехал. Потом яма наполнилась так, что до поверхности земли осталось меньше метра, и унтер, устало вздохнув, скомандовал засыпать. И тогда один из той пары, которая ездила с грузовиком, бывший парикмахер, схватил его за локоть и стал кричать что-то нечленораздельное, а унтер отталкивал его сначала рукой, а потом прикладом, но парикмахер не отступал, падал, вставал, полз на коленях и все просил, просил, просил.

– Нет! – потеряв всякое терпение, вопил унтер. – Нет! Кто работать будет? У меня все на счету! Да и места нет! Нету места, не видишь?! Нету!

– Ты обещал! – кричал в ответ парикмахер. – Мы договорились! Ты обещал!

Подошел шофер, покачал головой, сказал укоризненно:

– Дай ты ему, чего уж... Обещал ведь. Он ведь и работал хорошо...

Унтер сплюнул и махнул рукой:

– А черт с тобой! Давай, так уж и быть...

И парикмахер, благодарно кивнув, торопливо лег в яму, лицом вниз. Было видно, как он деликатно устраивается там, стараясь поменьше давить на лежащих под ним. Унтер щелкнул затвором и выстрелил ему в затылок.

– Все! Теперь засыпайте!

– У него там вся семья, в этой яме, – сказал Золману хасид, берясь за лопату. – Так получилось. Мать, жена и двое детей. Хотел человек, чтобы вместе... Можно понять.

Золман промолчал. Часом раньше он своими руками уложил в общую могилу Энту Лазари и Ривку, молодую жену рейниного брата. Нет, больше плакать им не пришлось. Согласно приказу румынского командования, массовые захоронения устраивались с интервалами в семь – десять километров, на некотором отдалении от дороги, по которой следовала пешая колонна. Когда очередная яма заполнялась, бригада землекопов-могильщиков переезжала на новое место. Утром

второго дня на перегоне к Новоселице им пришлось копать вдвое больше, потому что в перерыве между двумя порциями мертвецов местные возчики и полицаи привезли живых стариков на телегах. После короткого препирательства с румынским унтером стариков стали подтаскивать к краю ямы и колоть вилами и штыками, чтобы не тратить патронов. В отличие от молодых, старики умирали трудно, уворачиваясь от ударов, изо всех сил увиливая от смерти, ногтями цепляясь за жизнь, вымаливая у раздосадованных убийц еще одну минутку, еще один вдох, еще один взгляд.

Когда обе ямы были засыпаны землей, унтер подозвал Золмана и его напарника хасида: настала их очередь работать сборщиками трупов. Предыдущие пары не выдерживали больше трех ездок – люди не то чтобы сходили с ума, но впадали в какую-то апатичную прострацию, так что уже не годились для интенсивной работы. Крайне недовольный резко упавшей производительностью бригады, унтер уже с полудня честил своих работников на чем свет стоит, ругался, грозил, но ничего не мог с ними поделать.

Уже в сумерках, когда закончили подбирать трупы в Новоселице, примерно в километре к востоку от села Золман набрел на живую старуху, дремлющую в кювете у дороги. Как видно, замыкающие колонну жандармы сочли ее мертвой и потому не зарубили, не пристрелили, не ткнули штыком.

– Что там? – крикнул из кабины усталый шофер.

– Живая, – сказал Золман. – Совсем живая. Даже не ранена. Хотя ноги уже не ходят. Что, мать, находилась, а?

Старушка молча кивнула, глядя на него спокойными, почти безмятежными глазами. Румын выругался, недовольный разгильдяйством жандармов, перекладывающих свою работу на плечи других.

– Оставь, ее, поехали. Мы собираем мертвых.

– Не могу, – сказал Золман. – Она живая. Мертвых к мертвым. Живых к живым.

Он и сам не мог понять, что вдруг заставило его заупрямиться там, где не было никакого смысла спорить. Впрочем, не упрямиться тоже не было смысла. Смысла не было ни в чем, ни в чем.

– Кончай, не серди его, – равнодушно посоветовал ему хасид. – Оставь ее, поехали.

– Не могу.

Шофер снова выругался, схватился было за винтовку, но сразу и передумал. К концу дня он слишком устал, чтобы вылезать из кабины, стрелять, а потом еще и грузить тяжелого мертвеца в кузов.

– Как хочешь, – злобно выпалил он. – Пусть будет по-твоему, живые к живым. Колонна ночует дальше по дороге, в трех верстах отсюда. Грузи эту бабку на себя и тащи. Дотащишь – твое счастье. Не дотащишь – завтра вас обоих подберем, вместе с другой падалью.

Грузовик уехал, Золман остался наедине с женщиной.

– Ну что, мать, идти совсем не можешь?

Старуха отрицательно покачала седой головой:

– Не могу. Отнялись ноги после Новоселицы... Иди один, а я тут останусь. Подожду, пока кто-нибудь добьет. Иди, иди... Какая разница, сегодня или завтра? Все равно мне не жить.

Помолчала и добавила с недоуменной усмешкой:

– Только какая я тебе мать, дедушка? Мне и сорока-то нет.

– Вот это жаль, – сказал Золман, приседая перед ней на корточки. – Старые легче. Хватай меня за шею, да покрепче...

Он тащил ее на себе несколько часов. Не раз по дороге им попадались навстречу или нагоняли румынские машины и всадники, а также местные мужики и хлопцы на подводах. Любой из них мог сделать с ними все, что угодно: застрелить, зарубить, замучить. Ведь именно это предписывал убийцам вечный инстинкт хищного зверя: набрасываться прежде всего на тех, кто движется в одиночку, кто оторвался, отстал от многоголовой толпы, от общего стада гонимых. Но произошло чудо: никто не тронул ни Золмана, ни его живую ношу. Возможно, убийцы отступали, пораженные вопиющей бесплодностью его затеи, бессмысленностью его усилий... А возможно, под вечер усталость настигла не только шофера похоронного грузовика, но и всех прочих, включая и самого ангела смерти.

Так или иначе, Золман добрался до места ночевки, доставил туда свою пассажирку и даже смог разыскать Рейну и детей. Более того, позже выяснилось, что он стал единственным, кто выжил из всей могильной команды землекопов. Всех остальных расстреляли тем же вечером, прямо в последней выкопанной ими яме, не позволив вылезти наверх. После двух суток «дорожных работ» они годились разве что в пациенты сумасшедшего дома. Что касается спасенной Золманом женщины, то ее, скорее всего, умертвили уже наутро: отдохнувший ангел смерти не склонен к компромиссам.

Перед выходом пронесся слух о конечном пункте назначения: местечко Секуряны, где всех дошедших будут распределять по домам. Броха, жена старшего брата Рейны, рассказывала об этом вполголоса, чтобы не услышали соседи, которые, впрочем, шептались точно о том же.

– Нужно обязательно попасть в голову колонны, обязательно! – лихорадочно бормотала Броха распухшими, разбитыми, в кровь искусанными губами.

– Зачем? – спросил Золман.

– Чтобы получить хороший дом! – полубезумным глазом подмигивала женщина. – Домов не хватит на всех. Кто раньше придет, тот и выгадает...

Золман с сомнением качал головой. Опыт предыдущих дней, если и научил его чему-то, то совсем иному: не стой с краю, не высовывайся, прячься в гуще толпы – авось не тронут. Когда стали строиться, он, сколько мог, придерживал своих, так что в итоге, к большому неудовольствию Брохи, они оказались в самом хвосте. Это могло стоить им дорого: последних и отстающих жандармы отстреливали значительно чаще, чем прочих.

Но получилось ровным счетом наоборот. Ближе к полудню колонна подошла к небольшому бессарабскому городку Бричаны, и ад разверзся над головами гонимых. Местные стояли стеной по обе стороны главной улицы и убивали тех, до кого могли дотянуться: кололи вилами, резали ножами, глушили дубьем и топорами. Вой обреченных и вопли истязаемых поднимались в небеса вперемежку с отлетающими душами, а небеса молчали, молчали, молчали.

Колонна остановилась, попятилась, но плети жандармов гнали людей вперед, сквозь строй безжалостной, пьяной от крови смерти.

– Ты хотела быть там? – сказал Золман побледневшей золовке. – Ничего, не бойся, до нас вряд ли дойдет. Они быстро устают, эти твари.

Броха кивнула: о том, что «твари устают», она уже хорошо знала на своем личном опыте. И в самом деле, пресытившись убийством, добрые жители Бричан отступили в свои дворы, чтобы, смыв кровь с рук и клыков, набраться сил для новой забавы.

Вечером следующего дня колонна хотинских изгнанников достигла местечка Секуряны, где власти организовали закрытое гетто по образцу тех, какие устраивались немцами в Польше. Перед войной в Секурянах жили несколько тысяч евреев, но к моменту устройства гетто все они уже были изгнаны или вырезаны своими соседями-украинцами, а их дома разграблены до последнего гвоздика – из чисто хозяйственных побуждений, дабы соседское добро не пропадало. Это определило границы гетто: румыны просто отгородили опустевший еврейский квартал колючей проволокой и поставили весьма немногочисленную охрану, предназначенную, не для предотвращения побегов, а для того, чтобы следить за санитарным – прежде всего, погребальным порядком. Бежать все равно было решительно некуда, учитывая характер населения окружающей местности и, шире, – традиции всего прилегающего к Секурянам района, области, страны, континента.

Как выяснилось, Броха зря спешила, торопясь занять лучший из пустующих домов: к моменту прибытия хотинской колонны все они уже были под завязку заполнены теми, кого пригнали раньше. В отличие от немецких союзников, румыны не тратились на транспорт, на строительство фабрик по утилизации мертвечины, на крематории и душегубки. Вместо этого они просто собирали обреченных в колонны и гнали их по дорогам Бессарабии и Украины, без еды и воды, сквозь строй враждебных деревень и поселков. Из гетто Единца – в гетто Секуряны, из Вертюжан – в Новоселицу, из Маркулешты – в Хотин, и далее по кругу. После каждого такого перехода численность людей в колонне сокращалась примерно на треть. Но ничуть не меньше умирали и внутри гетто.

Многие колодцы были заботливо засыпаны или отравлены доброжелательными бессарабскими соседями; в Секурянах на тысячи и тысячи депортированных осталось всего два более-менее пригодных. Чтобы набрать ведро воды, выстаивали сутками в бесконечных очередях. Дети не выдерживали, пили из луж. Почти сразу началась дизентерия, за нею тиф. В чудовищной тесноте и при полном отсутствии медикаментов болезни косили людей, как траву. Умер от тифа Борух, младший сынишка Рейны и Золмана; из трех детей, оставшихся у Брохи после гибели Александра, до середины сентября дожил лишь восьмилетний Шлойме.

Каждое утро к колючей проволоке съезжались крестьяне из окрестных сел – менять продовольствие на то, что могли предложить им обитатели гетто. Буханка хлеба шла за часы, горсть картофелин – за нарядное платье, бутылка молока – за детское одеяльце... Нередко у забора узнавали друг друга вчерашний насильник и жертва насилия. Еще неделю назад она проходила через его деревню, и этот оборотень в своем зверском обличье тащил ее в канаву, рвал с нее юбку, душил, хрипел, закатывал зенки, содрогаясь в своем поганом удовольствии. А сегодня в тех же грубых пальцах с грязными обломан-

ными ногтями – хлебный ломоть ценой в серебряное колечко. И покупательница, преодолевая тошноту, берет еду из этих заросших звериным волосом рук, потому что нужно накормить больного ребенка, чтобы протянул еще день, еще два. Хотя ребенок все равно умрет, да и мать, скорее всего, не переживет следующего перехода. И, возможно, убьет ее все тот же оборотень все в той же близлежащей деревне...

В конце первой недели сентября, вскоре после смерти Боруха, Золмана вновь забрали на «дорожные работы». Надеяться на повторение чуда не приходилось, и потому они с Рейной прощались навсегда, благодаря судьбу уже за саму возможность прощания: многим другим не досталось и такого. Обнялись без слез, потому что слезы давно кончились.

– Береги Фейгу, – сказал Золман, и тут же, скрипнув зубами, поправился: – Прости. Считай, что я этого не говорил, ладно?

Рейна молча кивнула. В наказе-пожелании мужа и впрямь не было никакого смысла, но смысла уже не было ни в чем, ни в чем. Смысл кончился еще раньше слез. Оба – и он, и она – знали, что мобилизованные в «дорожные бригады» живут не дольше нескольких суток, а затем их расстреливают, часто – по причине потери рассудка в процессе погребальных работ. Золман уходил навстречу неминуемой гибели. Неминуемой выглядела и скорая смерть остающихся в секурянском гетто Рейны и Фейги – если не от болезней, то от голода. Оставшихся ценностей – зашитых в белье, сбереженных в кошмаре грабежей и погромов, могло хватить еще максимум на месяц.

Но судьба в очередной раз скакнула в сторону, диким изворотом выбросив людей из, казалось бы, твердо прочерченного русла в другое, не менее страшное. В середине сентября во всех гетто и лагерях Бессарабии объявили о предстоящей депортации евреев в Трансністрию – украинскую область между Бугом и Днестром, подаренную Гитлером румынскому правителю Антонеску. Обитателей гетто Секуряны разделили на несколько пятитысячных групп, которые должны были следовать в село Атаки для переправы на левый берег Днестра, в город Могилев-Подольский. К счастью для остатков семейства Лазари, они попали в одну из последних колонн: первые были почти полностью истреблены еще на правом берегу.

К реке подошли уже глубокой ночью, на исходе сил, преодолев за один переход почти тридцать километров. Дети, шестилетняя Фейга и восьмилетний Шлойме, уже не могли идти, так что Рейна, Броха, Рухля и Йоселе по очереди тащили их на руках. Кое-как устроились на ночлег; с реки дуло, бугристая холодная почва неприветливо толкала изможденные тела, тянула из них последнее тепло. Утром, когда рассвело, Рейна увидела, что они лежат рядом с полными трупов могильными рвами, едва присыпанными сверху. Кое-где поверхность слегка шевелилась, и тогда казалось, будто земля-оборотень, земля-людоед двигает челюстями, дожевывая свою обильную пищу.

Берег на много метров вокруг был усеян вещами погибших – ломаными чемоданами, мятой одеждой, детскими игрушками, втоптанными в грязь шапками. Как видно, за несколько дней непрерывного душегубства румыны и украинцы устали от грабежа и пресытились смертью. Ночевавшая по соседству молодая женщина в приличном пальто произнесла с невольной интонацией старожила, просвещающего вновь прибывших:

– Вчера было уже не так страшно. Не то, что в первые два дня.

– Откуда вы? – спросила Рейна.

– Из Южной Буковины. Нас привезли на поезде.

Рейна понимающе кивнула. На поезде... – это объясняло и необычно большое количество вещей, и относительно свежий вид депортированных.

Женщина вдруг всхлипнула:

– Видели бы вы, что они тут вытворяли. Расстреливали, пока все рвы не набили. Старикам бороды выдергивали. Топили. Выстрелами загоняли людей в воду – плывите, мол, сами! Все мои... там, во рву... – она спрятала лицо в ладонях и заплакала.

«Надо же, плачет, – равнодушно подумала Рейна. – Точно, из новеньких».

– Как же вы... еще здесь? – спросила она вслух.

– Нас, нескольких женщин, они взяли к себе в деревню. Насиловали всей командой. А вчера вот выкинули. Надоело.

Рейна снова кивнула:

– Они всегда устают. Но это ненадолго, не надейтесь.

Днестр напротив Могилева широк, до полукилометра. Переправлялись на плотах, сколоченных кое-как, на живую нитку. Людей на них загоняли столько, что те стояли плечом к плечу, ноги в воде. Метрах в пятидесяти от противоположного берега стоявшая с краю женщина в приличном пальто неловко взмахнула руками, оступилась, схватилась за соседку, та тоже пошатнулась, вскрикнула, и паника, как пожар, охватила всю массу людей, скучившихся на плоту. Все вместе они качнулись с края на край, отчаянно стараясь сохранить равновесие и от этого еще больше ухудшая ситуацию, плот тоже качнулся туда и сюда, высоко задирая дощатый бок, и перевернулся, накрыв собой часть своих пассажиров.

«Боже мой, Фейгеле!» – страх за дочь ожег Рейну сильнее, чем холод осенней воды.

– Фейга! – крикнула она, вынырнув на поверхность. – Фейга! Фейга!

Рядом, страшно выпучив глаза и хватаясь за воздух, тонула женщина в пальто.

– Фейга! Фейга!

– Мама! Ма...

Рейна обернулась. Дочь, едва удерживая рот над водой, отчаянно мельтешила руками в нескольких метрах от нее. Рейна рванулась туда. Плыть в одежде было неимоверно трудно, как бежать во сне. Она смогла продвинуться всего метра на два, прежде чем поняла, что не успевает.

– Фейга... Фейга...

Она глубоко вдохнула, прежде чем прекратить движение, прежде чем уйти под воду вслед за дочерью, вслед за последним своим, третьим своим погибшим ребенком.

– Рейна! Держись! – чья-то настойчивая рука подхватила ее под мышку. – Греби! Греби, кому говорю! Или утонем вместе!

Йоселе, младший брат. Он всегда был прекрасным пловцом, как и все Лазари. Фейга просто не успела научиться. Не успела... А вот Рухля доплыла, выбралась на берег вместе с ними. Теперь они остались втроем – две сестры и брат. Трое уцелевших из девятнадца-

ти душ большого семейства, собравшегося двумя месяцами раньше в родовом хотинском доме.

Старый Ицхок-Лейб, восьмидесяти двух лет, забитый насмерть украинскими крестьянами в поселке Новоселица вместе со своими правнуками, восьмилетним Давидом Сиротой и девятилетним Александром Лазари, сыном Брохи.

Его жена Сара, семидесяти девяти лет, заколотая штыком на краю могильной ямы.

Их сын, Аарон Лазари, пятидесяти трех лет, дипломированный бухгалтер, застреленный во время эсэсовской «акции» в числе других хотинских интеллигентов.

Жена Аарона, пятидесятидвухлетняя Энта, зарубленная румынским жандармом на обочине дороги.

Броха, двадцатидевятилетняя жена их старшего сына, утонувшая во время депортации вместе со своим сыном, восьмилетним Шлойме и маленькой Фейгой, шестилетней дочерью Рейны Сироты.

Дети Брохи, трехлетняя Эстер и пятилетний Пини, скончавшиеся от тифа в гетто Секуряны вместе с двухлетним Борухом, сыном Рейны и Золмана Сироты.

Вторая невестка Аарона и Энты, Ривка, двадцати лет, убитая во время изнасилования вблизи Хотина вместе со своим сыном, грудным младенцем Хаимом-Моше, четырех месяцев от роду.

Престарелая бабушка Брохи, Хана-Лея, девяноста двух лет, принявшая смерть вместе с Сарой Лазари от штыка украинского полицая.

Благословенна память о них.

В Могилеве-Подольском депортированных на несколько дней предоставили самим себе. Так кошка, наигравшись с пойманной мышью, делает вид, что забывает о ней и, мурлыча от удовольствия, укладывается вблизи погреться на солнышке. Она точно знает: жертве просто некуда деться, а потому можно передохнуть и слегка разнообразить игру, подарив обреченному, загнанному, измученному существу ложную иллюзию надежды.

Впрочем, занимавшиеся депортацией румынские власти вряд ли воспринимали происходящее как игру. Их цель, общая в то время почти для всех европейских народов, состояла в том, чтобы как можно скорее и с наименьшими затратами очистить от евреев свою часть континента. Свежеприобретенная Транснистрия была выбрана в качестве площадки для исполнения этой задачи. Метод предполагался тот же, что и ранее в Бессарабии: бесконечные, бессмысленные пешие марши от деревни к деревне, то есть уничтожение депортируемых руками местного населения, а также посредством «естественной» убыли от голода, холода и болезней. Этот подход не только отвечал санитарным требованиям своевременного захоронения трупов, но и выглядел весьма экономным с точки зрения затраченных средств: на охрану колонны в три – пять тысяч человек требовалось не более десятка жандармов. В итоге, можно было рассчитывать на окончательное решение вопроса силами одной роты, максимум батальона, без привлечения дополнительного строительства и прочих дорогостоящих мероприятий – транспортных, инженерных, организационных.

Могилев оказался сильно разрушен. Многие здания лежали в руинах, большинство жителей покинули город, а в развалинах и подвалах прятались наполовину одичавшие, озверевшие человекообразные существа, угрожающим рычанием встречавшие новых пришельцев. Рейна, Рухля и Йоселе высушили у костра одежду, но поиски пищи ни к чему не привели. Все съестное было уже начисто выметено из домов, из-под обломков складов и магазинов. Шанс найти еду оставался лишь в сельской местности, на полях и огородах вблизи крестьянских домов. Но они слишком хорошо помнили, как встречали их бессарабские деревни; если уж бывшие соседи оказались оборотнями-убийцами, то чего тогда следует ожидать здесь, за рекой, в чужой стране, от чужих и незнакомых людей? Нет, никому из депортированных и в голову не пришло бы отправиться за пределы города в одиночку или даже малой группой. Поэтому появление румынских жандармов, собирающих новые колонны, было встречено с определенным облегчением.

Им обещали, что приведут на новое место жительства, но дни сменяли друг друга, а колонны обреченных все так же месили грязь осенних дорог в пространстве между Днестром и Южным Бугом. От Могилева к Тульчину, от Тульчина северней, в направлении Немирова, и дальше на запад, в сторону Жмеринки, а там разворот через левое плечо на юг, к Лучинцу, Шаргороду и Мурафе, и снова на восток к Тульчину, на север к Немирову, на запад к Жмеринке... – по кругу, по кругу, по кругу, от погребальной ямы к погребальной яме. Питались тем, что удавалось найти на полях вдоль дороги: гнилыми клубнями, зернами из оброненных колосьев. К колодцам не подпускали, так что пили из канав, из луж, и только если очень повезет – из речек.

Ночевали, большей частью, в полях, в заброшенных колхозных конюшнях и сараях, но время от времени случалось дойти до бывшего еврейского местечка, и тогда можно было лечь на дощатый пол холодного дома, давно уже забывшего своих изгнанных или погибших хозяев, наголо опустошенного мародерами и ночевками предыдущих колонн. Там, на чердаке одного из домов Йоселе отрыл среди старого хлама каким-то чудом сохранившийся мешок подсолнечных семечек, и они, поделив сокровище на троих, получили возможность протянуть еще одну неделю.

Наступил октябрь, и зарядили дожди – холодные, нудные, нескончаемые. Башмаки сносились от непрерывной ходьбы, от сырости и гнили. Теплой одежды тоже не было почти ни у кого – ведь многих тут отправили «переселяться» еще в июле... Десятки пеших колонн медленно ползли по украинским шляхам, по размокшей черной земле, по чавкающему грязному чудовищу, разевающему голодные пасти могильных рвов, загодя выкопанных вдоль дорог, в полях и перелесках.

Простуженные усталые жандармы, сидя на измученных лошадях, с мрачной ненавистью взирали на своих подопечных. Убийцам трудно было поверить, что их жертвы до сих пор живы. Голодные, больные, полураздетые, в подвязанных бечевками полуботинках, эти люди упорно продолжали жить, продолжали идти вперед, размеренно и неуклонно, как призраки в страшном сне. Они все с тем же спокойным отчаянием ложились по вечерам спать в холодную черную грязь и с тем же отчаянным спокойствием поднимались из нее по утрам, готовые к новому невозможному, нечеловеческому дню. Они шли и шли,

молча обходя упавших братьев и сестер, одинаково равнодушно приемля и свою, и чужую смерть. Их оставалось не так много, но оставшиеся умирали намного реже, чем в первые месяцы.

К концу ноября, после первых зимних заморозков, стало окончательно ясно, что план уморить всех назначенных к смерти людей посредством пеших переходов не удался. Местные душегубы сильно поубавили прыти и с наступлением холодов неохотно вылезали из теплых хат даже ради таких популярных забав, как убийство и изнасилование. Да и жандармы сопровождения по всем признакам должны были сломаться раньше, чем вымрут депортированные. Тем не менее, доблестные служаки продержались еще неделю, и лишь декабрьский, по-настоящему сильный снегопад заставил их отступиться от первоначального замысла.

Колонну, в которой шли Рейна, Рухля и Йоселе, этот момент застал рядом с поселком Копайгород, к югу от Жмеринки. Там и было организованно гетто, одно из многих в этом исхоженном, истоптанном сотнями тысяч ног, заплеванном, залитом кровью, усеянном могильными рвами районе. Как и везде в подобных местах, депортированных разместили в пустующих домах бывшего еврейского квартала, набивая битком, до двадцати человек в хате. Сестрам и брату Лазари достался один топчан на троих – большое везение по сравнению с другими, спавшими на голом полу. В доме была печь; и людям, уже забывшим о тепле и горячей воде, казалось, что они очутились в раю.

Конечно, никто не обеспечивал их продовольствием, но за месяцы скитаний они приучились добывать еду в куда более тяжелых условиях. Многие женщины – а именно они составляли подавляющее большинство уцелевших – вспомнили о ремеслах. Одна шила, другая стригла, третья клеила галоши, а у тех, кто не были способны ни на что путное, оставалась последняя, хотя и довольно рискованная возможность побираться у деревенских церквей по воскресеньям. Торговать телом не имело смысла: румыны и местные не видели необходимости платить за то, что могли в любой момент взять даром, насильно.

Йоселе еще мальчиком часто гостил у сестры и был своим в кожевенной мастерской Золмана Сироты. Теперь это пригодилось; на пару с Рейной они ремонтировали ременную упряжь, тем и жили. В феврале он заболел сыпняком. Больных в гетто свозили в тифозный барак, откуда обычно не возвращался никто. По этому случаю Рейна достала свою последнюю заначку, зашитое в чулке обручальное колечко, и выменяла его на миску куриного бульона. Как видно, организм брата был настолько потрясен этой нежданной роскошью, что переборол болезнь без каких-либо других лечебных средств и медикаментов.

Так втроем они кое-как дотянули до лета, когда выяснилось, что требуется срочно обновить население рабочих лагерей в окрестностях Тульчина в связи с почти полным вымиранием предыдущего состава. Из-за неотложности задачи обитателей гетто Копайгорода везли в лагерь по железной дороге, а не гнали пешком, и это тоже казалось чудом.

В Тульчине занимались торфоразработками. Там Рейна и Рухля расстались с братом: Йоселе забрали на известняковый завод в Вапнярку, что означало скорую и верную смерть. Больше они не виделись никогда. А осенью пришла другая беда: выяснилось, что Рухля

беременна. Это стало результатом одного из бесчисленных изнасилований – скорее всего, еще в Копайгороде. Поскольку полное прекращение месячных из-за недоедания и нечеловеческого быта было общим явлением, сестры обратили внимание на выросший рухлин живот довольно поздно.

Она родила в начале ноября, прямо на нарах кишащего вшами лагерного барака. Молока не было, и мальчик тихо угас уже на следующий день. Рухля не увидела момента его смерти, поскольку наутро после родов ее выгнали на торфоразработки вместе со всеми. Она отработала до вечера, стоя по пояс в черной холодной воде, окрашенной кровавыми разводами. Ей было двадцать лет; до войны она уверяла сестру, что родит, по меньшей мере, пятнадцать детей.

С первыми заморозками сезон добычи торфа закончился. В один из ноябрьских дней полторы сотни уцелевших обитательниц Тульчинского рабочего лагеря выстроили в две шеренги возле бараков. Из машины вышел офицер в немецкой форменной шинели и двинулся вдоль строя, внимательно вглядываясь в женщин. Время от времени он кивал сопровождавшему его румыну – начальнику лагеря, и женщину отводили в сторону. Одна из отмеченных офицерским кивком девушек истерически вскрикнула и, оттолкнув капо, бросилась бежать к бараку. Как и следовало ожидать, ее застрелили прямо на плацу.

Рейна стояла в первой шеренге перед Рухлей. До этого ей почти не приходилось иметь дела со швабами, как в тех местах называли немцев. Единственным швабским офицером, которого она помнила, был интеллигентный эсэсовец в очках, забравший ее отца Аарона Лазари из актового зала хотинской гимназии. Тогда это кончилось отцовской смертью, и Рейна была совершенно уверена, что и на сей раз немецкий отбор завершится тем же результатом. Шваб приближался, медленно и неумолимо.

Рейна и сама не очень поняла, почему она сделала то, что сделала. Она ведь совсем не боялась умереть. Боли боялась, это да. Но швабы, в отличие от румын и украинцев, имели хорошую репутацию эффективных убийц, чьей целью является скорейшее, а, следовательно, относительно безболезненное исполнение задачи. Почему же тогда она вдруг шагнула назад и резким движением выставила перед собой сестру? Почему? Потом, многократно вспоминая, обдумывая и заново переживая этот момент, Рейна могла поклясться, что ничего не планировала, не замышляла, не взвешивала. Это словно вышло само собой, на уровне инстинкта: не быть с краю, раствориться в толпе, спрятаться за чьей-то спиной. Пускай выберут не меня, а другого – единственно верная формула выживания, которая вот уже полтора года хранила Рейну, вела ее мимо бесчисленных могильных ям. И Рейна чисто инстинктивно шагнула назад. Просто получилось так, что в ту минуту она могла прикрыться только Рухлей, Рухеле, своей младшей любимой сестренкой.

Рухля обернулась. Она не произнесла ни слова, просто стояла и смотрела на сестру так, словно увидела ее впервые.

«Господи, что я наделала? – ужаснулась Рейна. – Скорее, скорее, надо немедленно вернуться, надо все вернуть… Скорее, скорее!»

Но ноги не слушались, будто осенняя грязь навсегда всосала их в черное земное нутро. Когда наконец Рейне удалось побудить свое тело к движению, шваб уже подошел к ним.

– Эта... – сказал он.

Рухля отвернулась от сестры и вышла из строя.

– И эта, – добавил офицер, скользнув взглядом по Рейне.

Капо схватил ее за плечо и подтолкнул к группе отобранных женщин. Что она почувствовала в это мгновение? Разочарование, отчаяние, страх? Нет – ни того, ни другого, ни третьего. В ее душе была только радость, почти счастье. Счастье оттого, что они с Рухлей снова вместе – в жизни ли, в смерти – все равно. Но сделанного, увы, было уже не вернуть. С тех пор каждый день Рейна читала во взгляде сестры то же презрительное удивление, с которым Рухля смотрела на нее тогда, на плацу. А дней таких накопилось потом много, очень много. Ведь, как оказалось, шваб отбирал женщин на работу. Расстрелять-то расстреляли, только не тех, кто отошел, а тех, кто остался.

Впрочем, в этой очередной бессмыслице обнаружилась затем некая извращенная логика, или даже завершенность, словно судьба, последовательно лишив их всех близких и родных, отняв дом, семью, детей и способность надеяться на лучшее, искать смысл и верить в Бога, решила закончить картину особо гениальным мазком, сохранив им жизнь, но сделав при этом чужими друг другу, растоптав и испоганив последний заветный уголок души, казавшийся самым неприкосновенным, недоступным для окружающего адского хаоса.

В самом деле, война будто оставила их в покое, и последние полтора года до прихода русских пролетели для сестер нечувствительно, как один длинный, неприветливый, но относительно терпимый день. Обе работали горничными в доме, где размещались квартиры немецких тыловых офицеров – не то снабженцев, не то инженеров. Апрель сорок четвертого застал их там же, где когда-то начался страшный поход по дорогам Транснистрии, два с половиной месяца смерти, насилия и могильных рвов, – в Могилеве-Подольском. Обидно погибнуть в последние часы оккупации, но Рейна и Рухля уже не боялись даже этого. Просто стояли на улице, молча наблюдая, как катятся мимо отступающие военные, полицаи, гражданские, как охваченные паникой люди дерутся за место в кузове грузовика, как швабы сбрасывают с понтонного моста румынские автомашины.

В мае Рейна вернулась в Хотин, где ее ждало письмо от Золмана. Муж выжил. Как выяснилось, его «дорожная бригада» предназначалась для работы в той же Транснистрии, то есть в местах, хорошо знакомых Золману еще по Гражданской. Ему удалось добраться до партизан; мобилизованный затем в армию, он закончил войну в Вене. Рухля тоже ушла с наступающей армией, переводчицей. С сестрой распрощалась холодно, как чужая. Больше они не встречались.

– Никогда. Больше мы не встречались никогда... – старушка на экране монитора слегка склонила голову набок, будто вслушиваясь в эхо последнего слова. – Никогда. Но я до сих пор чувствую на себе ее взгляд. Тот самый, который был на плацу. Вот сейчас я говорю с вами, а она смотрит. Все это время смотрит, не отворачиваясь. И мне тоже не отвернуться. Это как незаживающий шрам на сердце, который все время болит. Иногда мне кажется, что только он и делает меня живой. Что я прожила так долго только потому, что Рухля всё никак не отвернется, не отведет глаз, не отпустит...

Рейна Сирота, в девичестве Лазари, подавила вздох. Теперь она снова смотрела в объектив видеокамеры.

– Сразу после войны я родила дочь, потому что на этом настаивал Золман. Он думал, что это вернет нас к жизни. Но как можно вернуть к жизни мертвый камень? Мы были еще мертвее тех, кого оставили в могильных ямах. Да, мы выталкивали их вперед, а когда они падали, обходили их тела и шли дальше. Но... но оказалось, что мы умерли вместе с ними. Я знаю, моя дочь всегда чувствовала этот могильный холод. В нас было так много смерти, что она дотянулась и до следующего поколения, не знавшего войны. Получается, они тоже искалечены смертью... Впрочем, это уже другая история. История... История...

Старушка вдруг усмехнулась и доверительно наклонилась вперед:

– Знаете, я была уверена, что никогда не расскажу об этом. Моя дочь до сих пор обрывает меня, едва лишь я заговариваю на эту тему. Но есть еще и внучка. Раньше ее звали Мириам, а теперь она Рейна, как и я. Это она привезла меня сюда. Тут вообще замечательные дети. Если кто и сможет что-нибудь изменить, так это они. Ведь история – это не то, что было. История – это то, что стало. Вот и все. Выключайте свою камеру.

VII

Возвращаясь в мансарду, они не проронили ни слова. Не потому, что не о чем было говорить, а просто кончились силы: их едва хватило на то, чтобы добраться до постели. Проснулись поздно, уже после полудня и снова долго молчали, на сей раз оттого, что не знали, с чего начать, пока наконец Рейна, устав от бесплодного поиска нужных слов, не заплакала, спрятав лицо в ладонях. Нир подошел, обнял, и правильное слово тут же нашлось само собой.

– Прости, – прошептала она. – Прости меня, пожалуйста.

– За что, любимая?

– За то, что я тебя втянула во все это. Посмотри, что с нами стало...

Нир погладил ее по волосам.

– Глупости. Ты ведь была права. Я не верил, а ты была права. Права на сто процентов. А значит, и жалеть не о чем. Мы хотели как лучше.

– Нас скоро арестуют?

Он вздохнул. Надо полагать, полиция уже побывала у него дома и, возможно, даже в Учреждении, по последнему месту работы. А там достаточно будет одного разговора с Эстер, чтобы установить личность девушки, которая была с ним на откосах: наблюдательная начальница давно уже насмешничала по поводу знаков внимания, которые Нир оказывал Рейне. Если детективы до сих пор не нагрянули сюда, то лишь потому, что никому не известен этот адрес. Ведь, уезжая из Хайфы, Рейна намеренно порвала все связи со своим прошлым окружением. Но и это, увы, ненадолго. Рано или поздно выяснится, что девушка живет неподалеку, и тогда до них доберутся путем простого опроса в близлежащих кварталах.

– Скоро. Если повезет им, то прямо сейчас. Если повезет нам, то через пару дней.

– Это тюрьма, да?

Нир подавил очередной вздох.

– Не бойся, – проговорил он с наигранной бодростью. – И не забывай: мы всего-навсего защищались. На нас напали. Нас чуть не убили. Не может быть, чтобы суд не принял это во внимание…

Рейна высвободилась из его рук и прошлась по комнате.

– Знаешь, что самое обидное? – сказала она, с досадой ударяя кулаком по раскрытой ладони. – Мы ничего не добились. Или даже сделали хуже. К примеру, Фейга погибла не в июле, а в сентябре, но два этих месяца были сплошным мучением. Она голодала, болела, на ее глазах насиловали мать и убивали старшего брата. А смерть? Разве утонуть не страшнее, чем умереть сразу, от одного удара лопаткой по голове? Представь себе, как она тонула, маленькая девочка… как страшно ей было в эти несколько минут… Это то, чего мы добились, Нир! И со всеми остальными то же самое. Помнишь, что моя бабушка сказала о шраме на сердце? Мы избавили ее от шрама на лице, но что она получила взамен? Еще большую жуть! А ты говоришь, что жалеть не о чем…

Нир взял ее за руки, заглянул в полные слез глаза.

– Послушай меня. Ты говоришь, что наше вмешательство изменило ситуацию к худшему. Допустим, так…

– Допустим? – горько повторила Рейна. – Допустим?.. Допустим, что полтора года непрерывных изнасилований и издевательств выглядят немного хуже, чем сидение в подполе на хуторе у деда Косты? Ничего себе допущение…

– Знаешь что? – сердито проговорил Нир. – У меня из головы не выходит совсем другое. Помнишь того парикмахера, про которого рассказал ей Золман? Того, который сам, своей волей, лег в яму и попросил смерти. Он поступил верно? Или нет? Ну, скажи, скажи!

Рейна молчала.

– Она упоминала и о другом, – продолжал он уже спокойней. – Помнишь, о немцах и румынах? Румыны намеренно мучили, но не могли организовать массовое истребление. А вот швабы, наоборот, стремились к эффективности, не жалели средств, строили лагеря смерти, тратились на транспорт и логистику, зато убивали максимально быстро, то есть менее болезненно. Тот же вопрос: что было лучше для жертв? Оказаться в Копайгороде под румынами или в Кракове под немцами? Это тот же вопрос, который ставишь ты: умереть ли от одного удара или тонуть в мучениях? Ну, что ты молчишь? Скажи, если тебе все так ясно…

– Не знаю, – отвечала Рейна. – Не могу.

– Вот именно! – воскликнул Нир. – Не можешь! И я не могу. И никто не может, если он нормальный человек. Потому что на этот вопрос нет ответа. Потому что сам этот вопрос невозможен. Его просто не должно быть. Бывают такие вопросы, которых не должно быть. Что правильней – жук или лужа? Что справедливей – луна или кошка? Нелепо, правда? Вот и твое «что лучше?» той же породы. Нельзя задавать вопросы, на которые не бывает ответа. Нельзя!

– А что можно? – тихо спросила она. – Что мы можем сделать теперь? Наверно, ты прав, и я зря сравниваю. Потому что страшно и то, и другое. Потому что сравнивать страдание со страданием все равно, что жука с лужей. Наверно. Но даже если так, мы все равно проиграли.

Давидка все равно погибнет – от топора ли на поле, от лопатки ли в овраге или от дубья на улице этой проклятой... как ее... Новоселицы. Или сгорит от тифа. Или утонет. Или замерзнет в Транснистрии во время перехода. Он умрет так или иначе, потому что восьмилетний ребенок не мог тогда выжить в принципе. Ты же помнишь ее рассказ: к декабрю остались только молодые женщины, все остальные сгинули. В этом все дело: мы ничего не можем изменить. Ничего. Ничего.

Они помолчали. За окном голубело жаркое иерусалимское небо, шумел перегруженный автомобилями проспект, и перпендикулярная к нему кипарисная аллея уходила в тишину, к будке на въезде в Учреждение, к круглой площади, полной бесплотных душ, к зависшему над оврагом вагону и к архиву, где стояли на полках пыльные папки и мерцали экраны мониторов.

– Она-то думает иначе... – задумчиво произнес Нир.

– Кто?

– Твоя бабушка. Ее последние слова остались почти теми же. Если кто-то и может что-либо изменить...

– ...так это я? – подхватила Рейна. – Ага, как же. Слышали, пробовали.

– Я сказал «почти теми же», – улыбнулся Нир. – Почти. На этот раз она имела в виду не только тебя одну. Помнишь, это уже не просто «замечательная внучка», но «замечательные дети».

– Ну и что? – поморщилась девушка. – Какая разница? Мы действительно сделали это вдвоем с тобой. И что? Помогло?

– По-моему, ты рано сдаешься, – сказал он. – Смотри, Рейна. Ты ведь доказала, что связь есть. Это факт. Я в жизни бы не подумал, что такое возможно. Я ведь не верил тебе до самого последнего момента, до вчерашней ночи. Не верил, пока сам не увидел. Меняешь настоящее – изменяется прошлое. Ты сама-то понимаешь, что это значит? Как говорит твоя удивительная бабуля, история – это не то, что было, это то, что стало.

Рейна усмехнулась:

– Забавно, правда? Теперь ты будто уговариваешь меня в этом. Роли поменялись, а?

– Я не уговариваю, – с досадой возразил Нир. – Я обращаю твое внимание, что ты все время говорила о связи между личными судьбами. О частной связи между тобой и бабушкой, между Рейной Первой и Рейной Второй. Ты меняла свою жизнь здесь и сейчас, и это сразу влияло там и тогда. Но влияло лишь на том же самом личном уровне. А это, как ты верно подметила, не могло помочь в главном. Как ни меняй эти личные обстоятельства, Давидка в принципе не в состоянии выжить в таких условиях. Вывод?

– Вывод? – рассеянно повторила она. – Какой вывод?

– Вывод, на мой взгляд, очевиден, – пожал плечами Нир. – Меняя частное в настоящем, в прошлом ты тоже влияешь только на частное. Но если хочешь изменить в прошлом что-то глобальное...

Рейна вскочила на ноги.

– ...то требуется глобальное изменение и в настоящем! – заключила она. – Давидка будет умирать, пока не отменить... пока мы не отменим Катастрофу! Мы должны отменить всю Катастрофу! Чтобы остались живы все! Все! Нирке, милый, какой ты, оказывается, умница! Я и не думала...

– Где уж нам, ариэльским, – солидно отвечал Нир. – Мы ведь Технионов не кончали. Ну вот. Теперь, когда мы наконец разобрались в природе вопроса, осталась сущая безделица – осуществить это на практике. Что, как сказала бы уже моя бабуля, не легче, чем уговорить светлейшего пана Пилсудского отдать свою дочь за сына кладбищенского служки Зяму Хаймовича...

Они вышли из дома порознь, оставив там свои мобильные телефоны, и договорившись встретиться на большой стоянке такси возле Народного Дома. По дороге оба сняли в ближайших банкоматах столько наличных, сколько могли –пользоваться кредиткой и дальше означало бы выдать свое местонахождение. Из-за неурочного послеполуденного времени на стоянке сгрудились как минимум два десятка машин; таксисты бездельничали, сидя на каменном парапете и потягивая кофе из пластиковых стаканчиков. Нир выбрал пожилого араба, и не без умысла, а в расчете на будущее, если дойдет до того, что их физиономии будут показывать по телевидению: вряд ли в Восточном Иерусалиме смотрят ивритские каналы.

Услышав, куда нужно ехать, таксист озадаченно почесал коротко стриженный седой затылок:

– Далековато, парень.

– Двести, – сказал Нир.

– Уже ближе, – улыбнулся араб, – но все равно далеко. Назад так и так пустому ехать. Резона нет.

Сошлись на трехстах, и, судя по довольной улыбке таксиста, Нир основательно переплатил. Но ему не хотелось торговаться, привлекая излишнее внимание окружающих. Отныне он и Рейна должны были вести себя так, словно их фотографии расклеены на каждом фонарном столбе.

– Кто это тебя так угостил? – спросил водитель, кивая на перевязанную голову Нира. – Где-нибудь в баре, в Тальпиоте? Дело молодое, без хорошей драки и жизнь не в жизнь. Главное, чтоб без ножичков...

Он явно настроился на словоохотливый лад.

– Ты вот что: возьми-ка по первому шоссе, – мрачно откликнулся Нир, сразу отметая предложенную тему.

Водитель бросил на него взгляд в зеркальце заднего обзора:

– Что так? Почему не направо, через Модиин? Там короче и пробок меньше.

– Надо. Может, понадобится заскочить кое-куда по дороге.

– Я бы и так взял по первому, – сказал араб, немного помолчав. – Не люблю через блокпосты проезжать.

«Вот-вот, – подумал Нир. – Сейчас мы с тобой в этом похожи».

– Почему? – вступила в разговор Рейна. – У вас ведь израильские документы. Или нет?

– Конечно, конечно! – торопливо подтвердил таксист и привычным жестом выудил из кармана голубое удостоверение личности израильского гражданина. –Вот, можете убедиться...

– Да езжай спокойно, нам-то зачем предъявлять? – остановил его Нир. – Что я тебе, полицейский?

– Поди разбери, кому чего предъявлять, – рассудительно проговорил араб. – То полиция, то армия, то налоговая инспекция... Один

другого злее. Хотя, если разобраться, все люди, со всеми можно по-человечески.

Перед тем как сунуть назад в карман голубенькие «корочки», он гордо помахал ими в воздухе:

– Видите? Совсем новое. Не так давно получил. Я ведь раньше в деревне Дир-Низам жил, северней Рамаллы. А в Иерусалим три года назад переехал. Но блокпосты все равно не люблю. По старой памяти.

– Переехали? Как это вам удалось? – удивилась Рейна.

– Да вот, удалось! – гордо отвечал водитель. – Кто пути-дороги знает, тот куда угодно доедет. А я знаю. Таксист как-никак...

Он дробно рассмеялся, весьма довольный собой, своим новеньким удостоверением и нынешней удачной сделкой. Машина с ревом взбиралась на Кастель. Одолев подъем, араб перевел дух, словно сам принимал участие в нелегких усилиях автомобиля.

– Если уж заговорили о блокпостах, – сказал он, ослабляя хватку рук на оплетенном кожей руле, – то есть у меня история на этот счет. Одна из многих. Дело было в двухтысячном году. Я тогда еще таксистом не был. На стройке работал, подрядчиком, бригадой командовал... да... А тут двухтысячный год. Балаган. Война, стрельба, повсюду армия, блокпосты, дыхнуть не дают.

– Тогда смертники ваши в автобусах взрывались. И в кафе тоже, – сухо напомнил Нир. – И среди детей на пуримском празднике. Вот тебе и блокпосты. А ты думал...

– Дыхнуть не дают, – повторил таксист, начисто игнорируя замечание пассажира. – А тут моя племянница рожать нацелилась. Я как раз на стройке был. Сестра звонит: приезжай, мол, скорее, надо в роддом везти. Вы спросите, почему обязательно я, почему не муж сестры, не муж племянницы? Потому что надо через блокпосты ехать, просить, убеждать, а на иврите лучше меня во всей деревне никто не говорит. Ну, рванул я в деревню, посадил сестру, посадил племянницу, поехали. Первый блокпост на развилке у Наби Салех. Налево Сальфит, направо Рамалла. Вот только все перекрыто, не пропускают ни туда, ни сюда.

Он вздохнул и укоризненно посмотрел на Нира, словно именно тот перегородил ему дорогу.

– Быть такого не может, – мрачно сказал Нир. – В роддомы и больницы пропускали всегда. Надо объяснить и...

– Чтобы объяснить, надо иврит знать, – усмехнулся араб. – Я-то, хвала Аллаху, знаю, а вот другие... Ну ладно. Выхожу я, значит, из машины, прошу позвать офицера. Не сразу, но зовут. Подходит офицер, молоденький такой лейтенант, сердитый. Так, мол, и так, говорю. Везу роженицу в роддом. Пусти нас хоть куда, хоть направо, хоть налево, только пусти. Он говорит: а не врешь? Знаю я, говорит, вашего брата. Вы, говорит, даже в своих амбулансах пояса смертников возите, мать ваша шармута! Иди, говорю, сам посмотри. Ну, идет он смотреть на моих женщин, автомат наизготовку держит. А они обе, дай им Аллах здоровья, сами себя шире. Сестра моя всегда была дородной, дочка у нее тоже, а тут еще и живот на девятом месяце, едва на заднем сиденье вдвоем умещаются. А сиденье в старых мерседесах сами знаете какое, двуспальное-плюс... Лейтенант только глянул, сразу руками замахал: пропустить, мол, пропустить! Куда, спрашивает, хочешь, в Рамаллу? Езжай, говорит, в Рамаллу! Я, говорит, всем

попутным блокпостам по связи твой номер передам, чтобы проблем не делали, чтобы пропустили. Ну, мы и поехали, со свистом, как кортеж президента, только что синей мигалки на крыше не хватало.

Он снова рассмеялся.

– Я ж говорил, – сказал Нир, обращаясь к Рейне. – Беременных всегда пропускают.

– Погоди, погоди, это еще не все... – таксист покачал головой. – Дело в том, что моя собственная жена в ту пору тоже была на сносях. Проходит несколько дней. Я опять на работе, опять телефон: срочно приезжай, рожает! Прилетаю домой, сажаю жену в тот же самый мерседес, еду к тому же блокпосту, прошу позвать офицера. И выходит из ихнего джипа тот же самый лейтенантик! Увидел меня, покраснел, да как закричит! Ты, кричит, что, издеваешься? Ты меня, что, совсем за идиота держишь? Я говорю: иди, посмотри! А жена у меня тоненькая, по ней и не видно, не то что две позавчерашние бочки, сестра и племянница... Ой-ой-ой... Не верит, ни в какую. И перед солдатами своими ему тоже вроде как неудобно. Солдаты стоят, смеются. Мол, я его, дурачка, и в прошлый раз обманул, и сейчас вот опять намыливаю...

– Да, ситуация... – улыбнулась Рейна. – И что вы сделали?

Водитель пожал плечами:

– Пришлось покричать. Я ведь многим людям строил, есть кому заступиться. Ты, говорю, меня сейчас пропустишь. А если нет, если с моей женой из-за тебя что-нибудь плохое случится, то ответственность на тебя ляжет. И тогда ты из судов не выберешься. Всю жизнь будешь компенсации платить, не расплатишься. И так далее. Но это я кричал, я иврит знаю. А что бы на моем месте кто-то другой делал, кто не знает? В конце концов, пропустили.

Нир кивнул.

– Ну вот, что я говорил?

– Слушай дальше, – сказал араб. – Со всеми этими блокпостами мы были в больнице через полтора часа, а еще через час жена родила мальчика. Сейчас он уже в девятый класс перешел. А тогда я остался в Рамалле, два дня ночевал у родственников, а на третий повез жену и сына обратно домой, в Дир-Низам. Накупил полный багажник сладостей, халвы, конфет, печений, медовых баклав. Доехал до того поста. И, верь – не верь, был там опять все тот же офицер, с которым мы поругались. Уж не знаю, то ли мне так везло постоянно на его смену попадать, то ли он безвыходно этим постом командовал, двадцать четыре часа, семь дней в неделю... Вышел я из машины, взял на руки сына, открыл багажник. Вот, говорю, смотри. Это, говорю, сын мой новорожденный, в которого ты не верил. А это, говорю, подарки тебе и всему твоему блокпосту, чтобы порадовались вы вместе со мной новенькой душе человеческой, которая пришла в этот мир. Чтобы жизнь его была такой же сладкой, как эти медовые баклавы, во славу Аллаха!

– Красиво! – воскликнула Рейна. – Вы молодец!

– Ага, – согласился таксист. – Они там еще две недели стояли, встречали и провожали меня, как лучшие друзья. Я бы и в гости их позвал, но не рискнул. Мало ли кто что подумает... А потом их сменила другая бригада, и все стало как прежде. Такая вот история.

Вопреки опасениям, пробок по дороге не оказалось: всего полчаса спустя они уже свернули на север и проехали Петах-Тикву. Шо-

фер повеселел еще больше: поездка получалось – удачней не придумаешь.

– Я это все к чему... – сказал он, со значением подмигивая в зеркальце. – Человек, он всегда человек, если с ним по-человечески. Не так?

– Вот именно, «если», – отозвался Нир. – Ты мне о блокпостах не рассказывай. Я сам на них, если только чистое время сложить, месяцы отстоял. Много чего видывал. В том числе и женщину, якобы беременную, у которой взрывчатка была вокруг пояса обмотана. Она ведь тоже мимо таких лейтенантов ехала, охала, страдания изображала. Чтобы мы потом после взрыва в автобусе маму или сестренку того лейтенанта от стен отскребали. И не целиком, а по кусочкам. А вместе с ней еще десяток – полтора таких же мам и сестренок.

Водитель неопределенно крякнул – не то с досадой, не то с сомнением.

– Зачем ты так? – с упреком прошептала Рейна.

– Знаешь, парень, от чего все беды? – помолчав, проговорил араб. – От разных богов. От того, что люди разным богам молятся и в разных храмах. Вот если бы мы с тобой в один храм ходили, разве было бы о чем спорить? Кроме как о мелочах, но мелочи не в счет. От мелочей не умирают...

– Останови нам тут на автобусной станции, – сказал Нир. – Это справа от перекрестка.

– Я знаю, где это, – кивнул таксист и махнул рукой, словно отгоняя неприятные мысли, грозящие омрачить хорошее настроение. – Но это все временно.

– Что временно? – не понял Нир. – Станция или перекресток?

– Разные храмы, – отвечал араб, съезжая с автострады и заворачивая на площадь. – Скоро останется один храм и один Бог. И тогда уже...

– Один? – переспросил Нир. – Это какой же, интересно знать?

Таксист метнул на него быстрый взгляд и остановил машину.

– Ну вот, приехали.

Нир расплатился.

– Как тебе это нравится? – сказал он, глядя вслед отъехавшему автомобилю. – Один Бог ему нужен, но не какой-нибудь абы какой, а вполне конкретный, Аллахом называется. Ради всеобщего счастья на земле. И тогда уже все устаканится и не нужно будет никаких блокпостов.

Но Рейна едва слушала его. Непривычное состояние бегства тревожило ее, наполняя душу тоской и безотчетным страхом. На первом этапе, пока они добирались до такси, и потом, в дороге, это чувство еще можно было как-то подавить, заткнуть подальше, спрятать за текущей конкретной целью. Но теперь, на открытом пространстве площади она особенно остро чувствовала свою катастрофическую незащищенность, как мышь на голом бетонном полу. В этот момент больше всего на свете ей хотелось бы убежать, скрыться от чужих и, возможно, враждебных глаз. Вот только куда бежать? Где искать укрытия? И как долго они еще продержатся без крыши над головой, без машины, без телефонов, с весьма ограниченным запасом денег?

– Ну, и куда теперь? – спросила она, тоскливо озираясь вокруг.

Нир погладил ее по спине.

– Посиди пока тут, ладно? Мне нужно найти телефонную будку...

«А и в самом деле, куда теперь?» – думал он, шагая через площадь к одному из немногих уцелевших здесь автоматов.

Надо же, как все перевернулось... Еще совсем недавно Рейна высокомерно поучала его, ставила условия, диктовала, указывала, а он, дурак-дураком, лишь смотрел ей в рот, и кивал, как китайская собачка под задним стеклом автомобиля. И вот прошло всего два дня, а она уже надеется только на него, на его способность изобрести, а затем и осуществить какую-нибудь особо хитрую задумку, которая волшебным образом поможет решить все их проблемы – в прошлом, настоящем и будущем. Подобная безоговорочная вера могла бы польстить кому угодно. Если бы еще у него был хоть какой-то план, хотя бы примерный, пусть даже в форме самых первоначальных наметок... Но в том-то и дело, что никакого плана не было, вообще, ничего, ноль, *гурништ мит гурништ*, как говаривала в похожих случаях бабуля.

Обычно в такие моменты Нир действовал согласно верному армейскому принципу ориентирования в незнакомой обстановке: делай только то, в чем стопроцентно уверен, то, что пришлось бы сделать в любом случае. Продвигайся метр за метром, осторожно, расчетливо, не задумываясь о будущем и заботясь лишь о том, куда поставить ногу в следующее мгновение. Ведь все ближайшие решения обычно еще и очевидны. Если нельзя оставаться в иерусалимской мансарде, следовательно, необходимо как можно скорее покинуть ее. Если тебя могут вычислить по мобильным телефонам или кредитным картам, значит, нужно избавиться от того и от другого. И так далее – шажок, другой, третий. Сейчас им кровь из носу требовалось раздобыть машину, затем какое-нибудь укрытие, жилье. А потом... – а потом и думать будем потом...

Найдя работающий автомат, он набрал номер.

– Ну, ты даешь, братан! – выпалил Шуки, едва услышав его голос.

– Стоп, – остановил друга Нир. – Есть разговор. Ты ведь на работе? Можешь подъехать прямо сейчас? Это недалеко, минут десять.

– Нет вопросов, подъеду, – ни секунды не колеблясь, отвечал тот. – Где именно?

Нир объяснил и повесил трубку.

– Ну, ты даешь, братан! – повторил Шуки, когда они встретились.

– Скажи чего-нибудь новенькое, это я уже слышал, – невольно улыбнулся Нир. – Как дела? Все в порядке?

Разговаривали в машине с глазу на глаз; Рейна дремала на скамеечке под навесом автобусной остановки.

– В каком порядке, в каком порядке... – возбужденно проговорил Шуки. – Ты посмотри на себя, братан: голова перевязана, морда распухла. А главное – менты тебя ищут. Повсюду уже побывали – в телемаркетинге, в поселении. Слухи всякие ходят. Что, мол, это ты арабесов на шоссе пристрелил. Правда? Нет?

Нир покачал головой.

– Тебе лучше не знать.

– Значит, правда, – констатировал Шуки. – Ну, ты даешь, братан! Ну, ты даешь!

– Тебя что, заело? – поинтересовался Нир. – Шуки, мне помощь нужна. Полиция с тобой говорила?

Шуки серьезно кивнул.

– Само собой. И не только полиция. Кто только со мной ни говорил... Отец твой, например. Его вообще на допрос таскали. А что он может сказать? Ничего не может. Даже я, твой кореш ближайший, ничего не могу.

– О чем тебя спрашивали?

– О пистолете твоем. О том, куда ходишь, с кем дружишь, с кем общаешься. Будто ты террорист какой-то с целой бригадой помощников.

– Что сказал?

– А что я мог сказать? – пожал плечами Шуки. – Правду сказал, так всего проще. Что пистолет ты никогда не носил, что он у тебя под кроватью валялся, по глупости купленный. Что политикой ты не интересовался, а если бы даже и интересовался, то времени на эти глупости нет у работающего студента. Что друзей у тебя не так много, а те, что есть, сугубо положительные законопослушные граждане, как, например, я. Или Сигаль Кимхи.

Он покосился на дремлющую под навесом Рейну.

– При чем тут Сигаль? – с досадой произнес Нир.

– Может, и ни при чем, но она мне тоже звонила, – важно возразил Шуки.

– Тебе? – удивился Нир. – Это еще зачем? И как Сигаль вообще узнала обо всем этом балагане? Она ведь в Индии.

Шуки ухмыльнулся.

– А она и не узнала. Звонила мне сегодня утром, тебя искала. Мол, у Нира мобила отключена, может, случилось что?

– Ну, а ты?

– А что я? – вздохнул Шуки. – Что я мог сказать? Нет, говорю, не волнуйся, все в порядке, жив-здоров твой парень. Наверно, телефон потерял.

Нир снова покачал головой. В сердце что-то шевельнулось и кольнуло – не то заноза, не то иголка. В конце концов, Сигаль не сделала ему ничего дурного.

– Надо же... – задумчиво проговорил он. – Где я и где она, а вот ведь – почувствовала, что дело плохо. Из Индии почувствовала. Вот она, связь... А кто-то еще не верит, что такое возможно.

– Ага, как же, разбежался... – с коротким смешком отвечал Шуки. – Держи карман шире. Почувствовала она... Связь... Дурак ты, Нирке, дурак и фраер. Ей на тебя всегда наплевать было, этой телке балованной. Знаешь, зачем она тебя искала? Чтобы ты ее в аэропорту встретил. Возвращается она через неделю, а предки ее снова по заграницам разъезжают. Понял?

Нир высоко поднял брови:

– Возвращается? О чем ты? Она ведь туда уехала неделю назад! Говорила, на полгода или даже на год, пока себя не найдет. Неужели уже нашла?

– Говорила... Мало ли что она неделю назад говорила... – проворчал Шуки. Теперь вот другое говорит. Грязь, говорит, повсюду до небес, так что и не разберешь, где небо, а где лужа. Коровы срут твоей Золушке прямо на туфельки, а принцев так и вовсе не видать, поэтому на смену обуви можно не рассчитывать. Вонь, говорит, такая, что нос в задницу засунуть хочется – там и то приятней пахнет.

В одиночку и вдвоем не ходи, только группами и только рядом с полицией, потому что того гляди изнасилуют кодлой в сто пятьдесят индусов-сифилитиков. То еще удовольствие. Короче, возвращается. Передай, говорит, Ниру, что он был прав. Передай, говорит, что я дура полнейшая. Что думаю, мол, только о нем, дорогом и любимом. Ладно, говорю, передам. Вот, передаю. Хотя тебе от этого, похоже, не тепло, не холодно.

Он снова покосился в сторону Рейны. Нир усмехнулся. Видно было, что друг помирает от желания узнать и в то же время не осмеливается спросить, что это за персона дремлет там на лавке.

– Шуки, братишка, – сказал он. – У меня и в самом деле большие проблемы. Объяснил бы в деталях, да не хочу втягивать тебя в этот балаган. Потом еще обвинят в соучастии. Но кое-какая помощь мне нужна, причем, позарез. Ты как, не испугаешься?

– Ага, испугаюсь... – обиженно буркнул Шуки. – Мы же с тобой только вчера познакомились. Чужие люди. Говори, что надо.

– Тачку надо. Дня на три. Моя, как ты понимаешь, в полиции засвечена, я ее в Иерусалиме оставил.

Шуки поперхнулся. Свою старенькую тойоту он обожал, как обожают любимую женщину, нежно именовал «Ласточкой» и тратил на нее каждую свободную копейку – на кожаные чехлы для сидений, стереосистему, вычурные колпаки для колес и всевозможные электронные причиндалы.

– Тачку-у-у... – жалобно протянул он. – А как же...

– Я бы взял в прокате, но там нужна кредитка, – неумолимо продолжал Нир. – А тут можно будет потом наврать, что я у тебя ключи выкрал. Риска никакого.

– На три дня... – тоном приговоренного к казни произнес Шуки. – На три дня...

– Ну да. Пока не поймают.

Шуки вздохнул.

– Ладно, бери, – сказал он, поднимая на друга исполненный боли взгляд. – Мне все равно она в ближайшие две недели не понадобится. Завтра с утра на армейские сборы. Ты, кстати, тоже повестку получал...

– Повестку? Ах, да, верно, совсем из головы вылетело.

Нир и в самом деле начисто забыл о предстоящих армейских сборах. Они с Шуки были приписаны к одной саперной части и призывались каждый год одновременно, причем, Нир в полевой взвод, а ловкач Шуки – кладовщиком на складе.

– Смотри, не явишься, потом отвечать придется. Армия есть армия.

– Хотел бы я, чтобы это было моей самой большой проблемой... – отмахнулся Нир. – Значит, можно взять Ласточку? Клянусь беречь и холить, как свою.

– Как свою не надо, – мрачно возразил Шуки. – Береги, как мою. А я себе тачку, если понадобится, в прокате возьму. За твои бабки, потом отдашь. Думаешь, Шуки фраер?

Нир хлопнул его по плечу:

– Ну что ты, как можно?! Все знают, что Шуки Леви совсем не фраер. Шуки Леви кого угодно купит, продаст и снова купит, но уже в три раза дороже.

– Дешевле, – поправил Шуки и, помолчав, добавил с мстительной интонацией: – А в прокате я самую дорогую машину возьму. Денежки-то все равно твои, правда? Так что готовься, братан. Ласточка просто так не дается.

– Договорились! – радостно кивнул Нир. – Спасибо тебе, брат. Вовек не забуду.

Он приоткрыл дверь и тихонько позвал:

– Рейна! Рейна! Садись, поехали...

Нир высадил друга у здания, где помещалась компания телемаркетинга. Теперь, когда у них были колеса, осталось найти временное пристанище, чем, собственно говоря, пока и исчерпывался весь список немедленных необходимых действий. А дальше... Дальше по-прежнему царила полнейшая неясность, мутный горизонт, отсутствие какого бы то ни было плана. Рейна дремала на переднем сиденье и не проявляла готовности к обсуждению. Вдобавок ко всему, у Нира разболелась голова; саднила рана под повязкой, давал о себе знать полученный всего сутки тому назад сильнейший ушиб. Все это никак не помогало думать, но напоминало о необходимости прятаться. Притормозив возле уличного лотка, Нир купил себе и Рейне две широкополые панамы, чтобы прикрыть от дорожных видеокамер лица и свою забинтованную макушку, которая могла служить нежелательной приметой.

У выезда на междугороднее шоссе Нир остановил Ласточку. Куда теперь – направо, налево? На юг, на север? Красный глаз светофора торопил с решением. Легко сказать – пристанище, а где его взять? Втягивать в эти неприятности друзей и знакомых казалось совершенно неприемлемым – ведь потом людям пришлось бы отвечать за помощь беглым преступникам. Снять на несколько дней циммер, летний домик в каком-нибудь киббуце? Но ведь и там обычно просят в залог номер кредитной карты...

Сзади нетерпеливо загудели. Светофор уже секунду-другую как сиял призывной зеленью, и Нир, очнувшись от раздумий, автоматически свернул влево, на север. Почему именно туда? Только ли потому, что первой включилась стрелка левого поворота? Ну почему же – есть и другая причина: на севере больше циммеров... Или нет – скорее всего, это было просто инстинктивное движение в направлении дома. Да, наверно так. Но домой нельзя, никак нельзя.

Стиснув зубы, Нир проехал мимо поворота на Эйяль, и почти сразу на обочине мелькнул дорожный щит со знакомым названием. Мелькнул как спасительная подсказка, как внезапное откровение. Кохав Аврум! Ну конечно! Как это он раньше не подумал о такой возможности?! Ведь вилла, если судить по тому, что рассказывал Шуки, стоит пуста-пустехонька. Папаша и мамаша Кимхи разъезжают по заграницам, а Сигаль в Индии, ищет себя – вернее, обратный билет в цивилизацию – и приедет только через неделю. Лишь бы ключ оказался на обычном месте под садовой кадкой, лишь бы не сменили код охранной сигнализации...

Они оставили Ласточку на соседней улице и добрались до виллы пешком. Ключ и в самом деле лежал под кадкой, красная лампочка на щитке возле двери послушно погасла, после того как Нир набрал код – день рождения своей бывшей подруги.

– Располагайся, – сказал он, указывая на диван. – А я пока пороюсь в холодильнике.

Рейна рассеянно кивнула.

– Где мы? Это что, твой дом?

– Нет, конечно. Здесь живут знакомые. Сейчас они за границей. Ты в порядке?

– Почти. Никак не могу уснуть.

– Не можешь? – удивился Нир. – Да ты постоянно клюешь носом.

Девушка устало вздохнула.

– Это не сон. Так, не пойми что, между явью и дремотой. Выматывает еще больше. Все время думаю о бабушке, о ее рассказе. Глаза закрываю, а там дорога, дорога, дорога… И кто-то словно говорит: «Не спи, не спи, упадешь – погибнешь!» Настоящая пытка… Я и этой ночью так же спала – не спала.

– Хочешь, я поищу таблетки?

Рейна подумала и кивнула:

– Хорошо. Потом, ближе к ночи, если снова не получится заснуть…

Нир погладил ее по волосам, осторожно поцеловал в лоб.

– Ложись, Рейна. Ночь уже достаточно близка, чтобы попробовать прямо сейчас. Не зажигай света, ладно? А то еще заметят, что в доме кто-то есть.

Она снова кивнула и послушно закрыла глаза.

Нир отправился на поиски снотворного. Если Сигаль отличалась отменным здоровьем и никогда не жаловалась на бессонницу, то у ее матери вполне могли отыскаться какие-нибудь подходящие таблетки. В эту часть виллы он еще никогда не заходил, и не только потому, что не возникало такой необходимости – просто «родительская» половина дома Кимхи представляла собой не нарушаемое табу даже для самой Сигаль. Это неизбежно должно было бы породить сейчас чувство некоторой неловкости. Тем не менее, переходя из хозяйской спальни в хозяйскую ванную, выдвигая ящики чужих комодов и обшаривая интимные углы чужих прикроватных тумбочек, Нир вдруг с удивлением осознал, что ему абсолютно наплевать, как это выглядит со стороны.

Вор? Пусть будет вор. Бессовестный мошенник, обманом пробравшийся в дом, где ему оказывали безоговорочное доверие? Пусть будет мошенник. Предатель, осквернивший лучшие чувства подруги? Пусть будет предатель. Теперь он словно бы перешел в иное измерение, где действовали совсем другие законы, другая совесть и другая мораль. Каменотес и грузчик, взгромоздивший на плечи неподъемную ношу размером во всё человечество, он ощущал в себе полное право идти напролом, игнорируя парковые тропинки, декоративные изгороди и запретные знаки.

Таблетки нашлись в кабинете, в ящике папашиного стола. Возможно, бессонницей страдал как раз Кимхи, а не его жена. В меркнущем вечернем свете Нир разглядывал фотографии на стенах. Хозяин дома и премьер-министр. Хозяин дома и президент Франции. Хозяин дома и еще черт знает кто. Ну да, а как же иначе: важная шишка, важные дела…

Озарение было столь внезапным, столь ярким и мощным, что Нир с полминуты простоял неподвижно, слегка расставив по сто-

ронам руки и открыв рот – точно в том положении, в каком его застал этот удар молнии, эта ослепительная вспышка, одним разом высветившая весь мир и все его нити и связи. План! Искомый план сиял перед его мысленным взором, безупречный и стройный, как пустынный мираж. Правда, в отличие от миража, он никуда не исчезал, а, напротив, с каждым мгновением обрастал все новыми и новыми практическими деталями. Нир тряхнул головой, перевел дух и первым делом задернул тяжелые портьеры на окнах. Для дальнейшего ему обязательно требовался свет, много света.

Когда, вспомнив про таблетки, он вернулся в гостиную, Рейна спала на диване. Брови ее были сдвинуты, рот крепко сжат, ноги слегка подрагивали. Присев рядом на ковер, Нир провел губами по лицу девушки.

– Не волнуйся, счастье мое, – прошептал он. – Теперь я точно знаю, что надо делать. Все будет в порядке, вот увидишь. А пока спи, спи, спи...

Обычно роту призывали на сборы целиком, меняя при этом практически весь личный состав базы. Поэтому, Нир с полным основанием предполагал, что часовой у ворот окажется его добрым приятелем. Так оно и вышло.

– Привет, Ицик! – сказал он, подъехав вплотную, но не выходя из машины. – Давно заступил?

– Оп-па! – радостно воскликнул часовой. – Да это же Нир! Где тебя черти носят? Почему не вовремя? Теперь Мильштейн с тебя три шкуры снимет, это точно. Хотя он отходчивый, до следующей субботы забудет. Но на этой неделе об отпусках забудь.

– Ерунда, не впервой, – в тон ему откликнулся Нир. – Чего я пропустил? Инструктаж этот вшивый? Каждый раз одно и то же, надоело. Ладно, открывай ворота.

Часовой с сомнением покачал головой:

– Не, Нирке, нельзя. Ты ж не на хаммере, братан. Сам знаешь: гражданским тачкам на базу хода нет. Приказ генерала. Езжай на внешнюю стоянку. Вон там, слева от ворот. Извини, брат.

Нир изумленно присвистнул.

– Вот-те на! Ты чего, Ицик? Это ж я... – он высунул в окно руку и похлопал по крылу тойоты. – А это, если ты не узнал, Ласточка, шукина любовь. Он мне ее на сутки одолжил. Ее, да с такими колпаками, да с такой стереосистемой, да на внешнюю стоянку? Ты, по-моему, сдурел, братан. Прикинь, что будет, если этой ночью с нее колеса снимут или гвоздем поцарапают? Кто тогда перед Шуки отвечать будет? Сам подумай...

Ицик помолчал, глядя под ноги. Он пришел в роту на полтора года позже Нира и поэтому до сих пор, даже пребывая в запасе, еще не вполне изжил в себе комплексы «молодого бойца».

– Кто ее там тронет, Нирке? – неуверенно проговорил он. – Там еще двадцать машин, и моя в том числе. Никогда ничего не было.

– Ну, ты сравнил, братан... – Нир внушительно воздел вверх указательный палец. – То просто машины, а то шукина Ласточка. Ты только взгляни на нее. Нет, ты взгляни, взгляни. На колпаки эти взгляни, на сиденья... Да это же мечта любого подростка из каж-

дой окрестной деревни! Они и тронут, кто же еще. Ты бы на их месте не тронул? Я бы тронул.

Часовой оглянулся, махнул рукой и пошел открывать ворота:

– Черт с тобой, заезжай! Скажешь Шуки, с него причитается...

– Где он, кстати? – спросил Нир, трогая машину.

– Где ему быть... – дрыхнет, небось, на складе, где же еще. Давай скорей, Нир! Неровен час, дежурный офицер увидит. Тогда и мне тут без отпуска куковать. Заткни ее куда-нибудь туда, за бараки. Ласточка, блин... сидела бы у себя в гнезде, так нет ведь...

На часах было уже около полуночи; фонари скупо освещали фасады штабных бараков и жилых вагончиков. Но Нир не зря знал на этой базе каждую кочку. Сделав круг, чтобы обогнуть комендатуру, он беспрепятственно добрался до склада и припарковался рядышком в тени. Стучать пришлось долго. Наконец за стальной дверью послышался недовольный голос Шуки:

– Ну что?! Что случилось?! Война?! Кого там черт принес? Без звонка от командира не открываю!

– Шуки, братан, это я, – тихо проговорил Нир.

Заскрежетали замки, громыхнул засов, и перед Ниром предстала заспанная физиономия друга.

– Нирке? Ты?.. – Шуки крутанул нечесаной башкой и отступил назад, пропуская Нира внутрь. – Ну, ты даешь, братан...

– Где-то я уже это слышал, – улыбнулся Нир. – Причем, не далее как вчера.

В принципе, ночевать на складе не полагалось, но кладовщики, да еще и числящиеся в запасе, плевать хотели на всякие дурацкие установления. Как говорил по этому поводу Шуки: «Пусть армия скажет спасибо за то, что я уделяю ей три-четыре недели личного времени в год. Пусть скажет спасибо и не лезет со своими идиотскими правилами! В эти три-четыре недели я как минимум имею право на нормальный досуг!»

Грех сказать, досуг внутри склада и в самом деле был организован на широкую ногу. Справа от прилавка кладовщика Шуки и его сменщики выгородили небольшое, но весьма жизненное пространство с отдельной глухой дверью, на которой, дабы сбить с толку излишне любопытное начальство, красовалась табличка «Не кондиция». За дверь, однако, допускались лишь полностью кондиционные изделия, как то: компьютер, видеоплейеры, игровые видео-приставки и большой телевизор, подключенный к трем внешним спутниковым тарелкам, которые обеспечивали уверенный прием как минимум пяти сотен телеканалов.

Здесь же находился столик с микроволновкой, грилем, чайником и набором посуды, а также топчан с матрацем – односпальным, ибо, как говаривал тот же Шуки, «здесь у нас все-таки армия, а не бордель». Впрочем, последнее соображение не мешало ему время от времени делить упомянутый матрац с какой-нибудь сговорчивой солдаткой, твердо вознамерившейся любой ценой вернуть в кондицию некондиционно разыгравшиеся гормоны.

– Ты один? – на всякий случай поинтересовался Нир.

– Один, один... – недовольно отвечал Шуки, зевая и почесывая грудь. – Сегодня утром заехали, откуда взять, чтоб не один? Проходи, садись. Как там Ласточка?

Нир развел руками:

– Если процитировать одного умника: «Ну, ты даешь, братан!» Друг у тебя в проблемах тонет, некуда пойти, негде голову приклонить, полиция на хвосте сидит, и тюрьма светит. А ты о чем его спрашиваешь? О железяке своей любимой! Не стыдно?

Пристыженный Шуки поморгал длиннющими ресницами и снова почесался – на этот раз в затылке.

– Прости, брат. Это я так, спросонья. Но и ты тоже зря.

– Что зря?

– Про Ласточку. Ласточка – не железяка. Ласточка – это... это...

– Шуки, хватит, – прервал его Нир, – В полном порядке твоя Ласточка. Заправлена под завязку и довольна жизнью, стоит тут неподалеку, отдыхает. Предложил бы и мне хоть чаю, что ли...

– Ты что, ее на внешней стоянке оставил? – вскинулся Шуки.

– Обижаешь. Здесь она, за складом. Ну, что ты переминаешься? Выйди, убедись, я ведь вижу – хочешь. А я пока чайник поставлю.

Когда умиротворенный друг вернулся к столу, Нир уже разливал чай.

– Ну что?

– Действительно, в порядке, – смущенно признал Шуки, присаживаясь на топчан. – Пыльная только. Помоешь потом, ладно?

– Ладно.

Минуту-другую они молча прихлебывали из кружек. Затем Шуки хмыкнул:

– И это тоже...

– Что? – не понял Нир.

– Этому я тоже у тебя научился, кипяток пить. Мать с меня смеется: ты, говорит, со своим русским дружком и сам русским стал. Все люди как люди, ждут, пока остынет, а ты горяченное хлебаешь, как воду из ручья. Так и есть, Нирке...

– Шуки, братан...

– Погоди. Ты вот говоришь «братан». Мне говоришь, и другим говоришь, и я тоже говорю, потому что все так говорят. А когда все так говорят, то это и не стоит ничего. Но ты мне взаправду брат. Слышишь? Взаправду. Вот ты сейчас пришел. Я не спрашиваю зачем. Надо будет, сам скажешь. Скажешь и получишь. Потому что сначала братья, а потом все остальное. Так?

– Так.

– Ну вот... – Шуки широко зевнул. – Что-то меня в сон тянет... Ты зачем приехал-то? Не на сборы ведь, а? Зачем?

– Ну вот, – укорил его Нир. – Говорил «не спрашиваю», а сам спрашиваешь. Ты приляг, приляг. Дай-ка мне кружку.

– На, возьми. Вот ведь, совсем развезло. Вроде, и не от чего...

Нир поставил кружку на стол и укрыл простыней отключившегося друга.

– «Не от чего», говоришь? – прошептал он. – Это как сказать. Три таблетки, братан, и не такого лося свалят.

Нир вернулся в машину за пустым рюкзаком и прошел в глубь склада. Десять минут спустя он уже подъезжал к воротам.

– Что такое? – удивился Ицик-часовой. – Только-только приехал и уже сматываешься?

– Мильштейн спит, не хочу будить, – сказал Нир. – Со сна он злой, сам знаешь. Лучше утречком вернусь, после завтрака.

Ицик облегченно кивнул: как видно, бедняга все еще переживал из-за гражданской автомашины, которую он незаконно пропустил на территорию базы.

– Ну и правильно. Мне, кстати, тоже легче: за Ласточку вашу не вздрючат. До завтра, братан!

Нир вернулся в кимхинскую виллу, когда Рейна уже спала на диване в гостиной.

Он прилег рядом на ковер, так чтобы, засыпая, видеть ее, и, пока не задремал, все смотрел и смотрел на любимое лицо, на крепко сжатые губы, на глубокую складку между нахмуренными бровями. Что она видела там, в своем страшном сне? И кем она себя видела, какой Рейной – нынешней или прошлой? И можно ли было различить их, и нужно ли?

В эти дни они не занимались любовью – они были ею, дойдя до той крайней степени взаимопроникновения, растворения друг в друге, когда уже кажутся излишними любые телодвижения, кроме объятия, кроме дыхания, кроме взгляда. Утром, едва открыв глаза, Нир увидел, что Рейна лежит в той же позе и неотрывно смотрит на него, и ощутил счастье.

– Скоро поедем, – сказал он.

Она моргнула ресницами в знак согласия.

– Когда ты вчера вернулся?

– Около двух. Знаешь, о чем я думал на обратном пути?

– Обо мне?

– Конечно, – улыбнулся Нир. – О нас с тобой. О том, почему именно мы должны это сделать.

– В смысле?

– Почему именно мы, а не наши деды и бабушки, не наши родители и не наши дети. Ты никогда не задумывалась?

– Нет.

– А ведь это так ясно. Взять поколение твоей бабушки... и моей тоже. Они выжили в аду, но остались калеками. Помнишь, Рейна говорила о шраме? Не на лице, так на сердце, не на сердце, так на душе. Они, может, и хотели бы что-нибудь изменить, но не в состоянии пошевелить пальцем. Как тогда, когда их вели на убой. Так и бредут по тем же самым дорогам. Бредут к тем же могилам, хотя внешне эти могилы кажутся совсем другими – персональными, с надгробьями, на красивых кладбищах. Их называют «выжившими в Катастрофе», но суть-то в том, что они все равно мертвы. Погибли вместе с теми, чьи трупы закопаны в расстрельных рвах или сожжены в крематориях.

– А родители?

Нир презрительно фыркнул.

– Твоя мама? Мой отец? На что они способны? Рейна ведь ясно сказала о твоей матери: «Она не желает ничего слушать».

– Ну, в этом мы тоже недалеко ушли, – возразила она. – Я слушала? Ты слушал?

– Да, но у нас-то все иначе! Мы не слушали, потому что... как бы это... у нас просто совсем другие интересы, другая жизнь, другое

всё! Мы не слушали, потому что были заняты другим, не слушали от занятости. А наши родители не слушали от страха. Они боялись услышать. Они не хотели, чтобы их впутывали в тот ад, который изувечил поколение уцелевших. Трусы. Трусы и предатели. Чего ждать от трусов и предателей?

– Ты слишком жестоко судишь, – вздохнула Рейна. – Подумай, как тяжело родиться от полутрупа. Как это должно быть холодно лежать на руках такой матери. Как страшно быть заменой другим, погибшим детям. Неудивительно, что они не желали слушать.

Нир пожал плечами.

– Наверно, ты права. Но это не меняет дела: поколение наших родителей получилось таким же беспомощным, как и предыдущее. А те, кто придут за нами, уже не будут помнить. Наши с тобой дети уже не увидят твоей бабушки. Они уже не поймут. А даже если и поймут, для них это не будет достаточно личным. Кто остается? Только мы. Мы, и никто кроме.

– Наши с тобой дети... – она улыбнулась и спустила ноги с дивана. – Разбежался. Сначала роди, а потом...

– А потом... – продолжил Нир, – потом у нас будет минимум пятеро. И им уже не понадобится менять свое прошлое, потому что его изменим мы с тобой. Помнишь, как сказала твоя бабушка: история – это не то, что было, история – это то, что стало.

Рейна подошла, обняла его и крепко прижалась, набираясь сил и надежды от объятия, от слов, от улыбки.

– Конечно, милый, конечно... то, что стало. Кофе?

Выехали около девяти утра. Нир не стал наводить в доме порядок, заметая следы вторжения. Какая разница? Сегодня к вечеру так или иначе мир будет кардинально иным. В принципе, связку ключей тоже можно было бы закинуть куда-нибудь в кусты, как в море, но какое-то не вполне осознанное чувство заставило Нира включить сигнализацию, запереть дверь и вернуть ключи на место под цветочную кадку. Потом он с полминуты постоял во дворе, глядя на крыльцо, на площадку террасы, на окно комнаты Сигаль, глядя на свою прошлую жизнь, такую далекую сейчас.

Рейна, ждавшая в машине, насмешливо скосила на него голубой глаз:

– Что так долго? Ты такой торжественный, прямо, как в кино. Прощание с призраками прошлого, а? Как ее зовут?

– Кого?

– Твою подругу, которая там живет. Только не ври мне больше про «виллу знакомых»: я видела фотографии в ее комнате. Вы там как два голубка, хоть плачь от умиления.

Нир улыбнулся.

– Сигаль. Ее звали Сигаль, и у нее был парень из Эйяля, который еще две недели назад всерьез собирался на ней жениться. А какую-то другую девушку звали Мириам, и она тоже всерьез планировала выйти замуж за своего бойфренда, гениального выпускника Технион а и будущего миллионера. Ну и что? Это все было. Было столетия назад и не с нами. Теперь тебя зовут Рейна, а меня... а черт его знает, как меня зовут. Ты не помнишь?

– Нир. Тебя зовут Нир.

– Да. Пусть будет Нир. Меня зовут Нир, и я люблю тебя. Последнее – единственное, в чем я совершенно уверен.

Рейна не ответила. По дороге они заехали в торговый центр, где Нир купил массивный стальной замок – самый внушительный из всех, какие были в продаже.

– Зачем тебе столько железа? – удивилась Рейна, когда он вернулся в машину.

– От незваных гостей, – подмигнул Нир. – Хороший план красив деталями.

Дальше ехали молча, и лишь на въезде в Иерусалим она сказала, словно продолжая только что прерванный разговор:

– Ты так уверен в своем плане...

– На девяносто девять процентов, – мгновенно ответил он. – Совершенно уверен я только в том, что...

– ...любишь меня, – закончила за него Рейна. – А если серьезно?

– Если серьезно? – задумчиво повторил Нир. – Если серьезно, то посмотри направо. Узнаешь это место?

Они стояли на светофоре у Народного Дома; неподалеку, ожидая клиентов, покуривали таксисты.

– Конечно. Отсюда мы уезжали из города. С этим забавным таксистом-арабом. Он еще байки рассказывал про беременных и блокпосты... – Рейна взглянула на Нира. – Только не говори, что это он тебя надоумил...

Нир пожал плечами:

– Он? Нет, не он. Да, и он тоже. Пойми, тут все завязано в один огромный клубок. На первый взгляд он кажется колтуном, путаницей, хаосом... Помнишь, твоя бабушка говорила о хаосе? Говорила, что в том аду все было лишено смысла, начисто, полностью. Помнишь? И из-за этого нельзя было ни на что положиться – ни на людей, ни на законы, ни на логику. И это – именно это оказалось для нее самым страшным, самым разрушительным... Хаос был причиной ада.

– Помню, – кивнула Рейна. – Она еще говорила, что если нет смысла, то и жить незачем.

– Да! Так она и чувствовала: жить незачем. Хаос убил смысл и убил жизнь. А потом появилась ты со своей связью. Ты убедила ее, что связь есть – прямая, логичная, неразрывная, не подверженная случайности. Она и ты – накрепко, сквозь время и пространство. А связь – это...

– ...смысл, – подхватила она. – Связь это смысл. Связь это причина. Связь это закон. Связь это отрицание хаоса. Ты прав, так и есть.

Нир с таким воодушевлением хлопнул ладонями по рулю, что Ласточка неодобрительно дернулась.

– Вот видишь! На самом деле никакой это не клубок, и уж точно не колтун. Нужно только внимательно всмотреться, сосредоточиться, и вдруг – оп! Вдруг – оп! Точно то, что случилось со мной в генеральском кабинете. Оп! – и я вдруг прозрел. Я увидел их, понимаешь?

– Увидел кого?

– Увидел связи! Увидел одну стройную картину. Увидел механизм. Увидел план. Потому что все было неспроста – каждая деталь, каждая мелочь. Эта папка с подробной программой действия,

которую Кимхи хранил на полке в качестве сувенира. И то, что он время от времени хвастался этой своей победой. И то, что я когда-то, годы тому назад, услышал это хвастовство, и то, что запомнил. И то, что сейчас нам некуда было податься, и то, что вилла стояла пустой, и то, что Шуки кстати, к слову, рассказал мне об этом. И еще много, много чего... Это не случайности, Рейна, не совпадения – это связи, нити, канаты. Мы не могли не оказаться там, понимаешь?

– По-моему, ты увлекаешься... – сказала она с сомнением.

– Увлекаюсь? А таксист? А его речи о храмах? А история с беременной жене и блокпостами? Взгляни теперь на себя, Рейна! Все это, по-твоему, случайности, совпадения?

Рейна усмехнулась.

– Ладно. Допустим. И что из этого следует?

– Следует, что мы попросту обречены на успех, – твердо проговорил он. – Не может быть, чтобы все эти связи вели в никуда. Не может. Если есть смысл, то он есть во всем, от начала до конца...

Нир подогнал тойоту максимально близко к Храмовой горе. Оставляя Ласточку на месте, откуда ее непременно должны были увезти на штрафную стоянку, он одним выстрелом убивал двух зайцев: обеспечивал безопасное убежище для шукиной машины и сокращал расстояние пешего перехода для Рейны. Девушка и впрямь едва передвигала ноги под тяжестью тридцати килограммов пластида, спрятанных под длинным просторным платьем, какие носят беременные на последних неделях.

Едва завидев ее, пыхтящую и истекающую потом, охранник-эфиоп на входе сердобольно махнул рукой: «Проходи, сестренка!» Зато долго разглядывал содержимое рюкзака, взвешивая на руке замок и захваченную из машины монтировку. При этом он с таким подозрением поглядывал на Нира, что тот не выдержал:

– В чем дело, братан? Замок как замок. Купил сарай запирать. Тут на рынке дешевле. Отпусти уже, не томи – жена вон ждет.

– А, так это твоя? – неодобрительно сказал эфиоп, покосившись на переминающуюся с ноги на ногу Рейну. – Она же вот-вот родит. Таскаешь беременную по такой жаре...

– Потому и таскаю, что вот-вот родит, – объяснил Нир. – Чтобы все хорошо прошло. Где еще и просить, если не здесь?

Вход в туннели Горы производился лишь по предварительной записи, но Ниру без труда убедил кассира сделать исключение для женщины на сносях. Они спустились вниз вместе с группой посетителей. Дальше по программе предполагалась лекция экскурсовода, но у Нира с Рейной был свой план визита. Когда группа столпилась вокруг стола с макетом Горы, они двинулись дальше одни, без сопровождения. Возле бокового ответвления с надписью «Вход запрещен» Нир кивнул Рейне:

– Нам сюда.

В этом месте туннель не освещался, и Нир включил фонарик. За первым же поворотом обнаружилась металлическая решетка, запертая на простой навесной замок. Он поддался первому же нажиму монтировки.

– Вот что получается, когда гонятся за дешевизною, – весело заметил Нир. – Мой-то без автогена не сковырнуть. Давай, Рейна,

заходи. И начинай рожать, дальше я понесу. Кончилась твоя беременность.

Пока Рейна перекладывала пластид в рюкзак, он запер решетку изнутри. По замыслу Нира, новый мощный замок должен был на какое-то время задержать возможных преследователей.

– Фу-у... – вздохнула девушка, избавившись от последнего брикета. – Полегчало-то как... Будто и впрямь родила. Пятерых ты хочешь? Вот сам и таскай такую тяжесть.

– Ничего, дети втрое легче, – успокоил ее Нир. – Считай это тренировкой с отягощением. Ну, вперед?

Они шли, ориентируясь по плану подземного лабиринта, который Нир обнаружил в «сувенирной папке» Кимхи-старшего. Кем бы ни были «безумцы-фанатики», некогда пойманные доблестным генералом, подготовились они весьма основательно – план был подробен и точен. Туннель забирал то вверх, то вниз, сужался и расширялся снова. Тут и там справа и слева темнели черные провалы боковых ходов; как видно, Гора была вся изрезана подземными улицами, переулками, площадями. На перекрестках приходилось сверяться с картой. Где-то рядом слышалось журчание проточной воды и звук падающих капель, как звук чьих-то шагов.

Наконец они вышли на просторную площадку, прорезанную сверху вниз несколькими мощными пилонами. Нир глубоко вздохнул и со всей осторожностью опустил на пол рюкзак

– Мы у цели, – сказал он, пробуя рукой каменный бок колонны. – Судя по карте, это пилоны мечети. Если они действительно поддерживают фундамент, то все здание сложится, как карточный домик... Посвети мне.

Установка зарядов и детонаторов заняла не больше нескольких минут.

– Ловко ты управляешься... – прошептала Рейна.

– Как же иначе... Я ведь по военной специальности сапер, – напомнил Нир, сосредоточенно скручивая в жгут два провода. – Все один к одному, как части паззла. Все связано... проводок к проводку...

– Это все со склада?

– Почти, – кивнул Нир. – Все, кроме таймера. Таймер пришлось мастерить из будильника моей бывшей подруги. Так что она тоже поучаствует...

Рейна усмехнулась:

– А не подведет? Из ревности...

– По-моему, это ты ревнуешь, – ответил он. – Не волнуйся, не подведет. От нее всего-то и требуется замкнуть два этих проводка... Все. Готово. Ну, запускаем? Что скажешь? Осталось нажать на эту кнопочку. Хочешь сделать это сама? А? Пятнадцать минут – и все поменяется...

– Пятнадцать минут... – тихо повторила Рейна. – Всего пятнадцать минут. Нажимай ты.

Обратный путь показался им намного короче. У металлической решетки Нир в очередной раз взглянул на часы: до взрыва оставалось две с половиной минуты. В принципе, они уже отошли на такое значительное расстояние, что могли не торопиться. Но, конечно, разумней всего было бы смешаться сейчас с толпой в главном тунеле. Нир достал из кармана ключ и открыл замок.

– Выходим... – сказал он, поворачиваясь к девушке, и осекся, прерванный внезапным ревом сирены.

Скорее всего, звук шел со стороны входа. Но что он означал? Был ли он связан с ними? Сирена отзвучала и смолкла.

– Что это? – едва слышно спросила Рейна.

– Подожди меня здесь! – скомандовал Нир. – Я проверю, что там...

Он быстро преодолел три десятка метров, отделявшие решетку от выхода в главный туннель, и осторожно выглянул наружу. С обеих сторон коридора доносился гул многих голосов и характерный шум беспорядочной беготни, паники. Это выглядело естественно – внезапная сирена не могла не испугать обычных посетителей – но никак не объясняло причину тревоги. Пожар? Срочная эвакуация? Или запоздалая реакция операторов полицейских видеокамер, которые засекли разыскиваемых террористов Нира и Рейну на входе в туннели?

Так или иначе, ответ на эти вопросы должен был найтись в самое ближайшее время. Постояв с минуту-другую у выхода в коридор, Нир повернулся и шепотом позвал Рейну. Она не откликнулась.

– Рейна! – крикнул Нир немного спустя, уже существенно громче. – Рейна, выходим!

Нет, тьма туннеля все так же отказывалась сгуститься в фигуру спешащей на его зов девушки. Нир чертыхнулся.

– Что она, оглохла?! Рейна! Рейна!! – теперь он кричал во весь голос.

Так и не дождавшись ответа, он бросился назад. Фонарик остался у девушки, поэтому до поворота Ниру пришлось двигаться наощупь, по стенке.

– Рейна, что за дела? Почему ты не отвечаешь? – сердито начал выговаривать он, едва завернув за угол, к тонкому лучику фонаря.

– Посмотри на часы, – спокойно отвечала Рейна.

– Что? Зачем... – слова замерли у него в горле.

Решетка была заперта на замок, и Рейна сидела на полу по другую ее сторону. В руках она держала фонарик и карту.

– Посмотри на часы, – повторила она. – Прошло восемнадцать минут, и ничего не случилось. Подвела твоя Сигаль. Можешь считать это мое замечание ревностью.

Нир дернул на себя прутья решетки.

– Открой! Открой сейчас же!

Он скорее почувствовал, чем увидел ее улыбку.

– Зря стараешься, Нирке. Ты ведь сам хвастался: разве что автогеном.

– Не делай глупостей! – умоляюще проговорил он. – Давай вернемся вместе и починим таймер. Отопри решетку! Ну, пожалуйста!

Рейна вздохнула и поднялась на ноги.

– Перестань. Ты прекрасно знаешь, что на это нет времени. А замкнуть два проводка я смогу и без таймера. Все-таки, Технион кончала. Вторая степень по аэронавтике.

– Рейна, любимая... – вцепившись в решетку, прошептал он. – Как же так...

Она подошла поближе.

– Нирке, милый, не надо. Все идет правильно, согласно плану – в точности, как ты описывал. Нет колтуна, есть система. Иначе и быть

не может. И потом, смотри: если у нас ничего не получится, я просто не смогу с этим жить.

– У нас получится! Обязательно! Я уверен...

– ...на девяносто девять процентов?

– На сто!

– Ладно, пусть будет на сто. Но тогда тем более. Если мы изменим прошлое, если в нем не будет Катастрофы, то не будет и меня. Об этом ты не подумал, правда?

– Почему? При чем тут...

– При том, что бабушка родила мою мать только потому, что погибли те трое. Родила взамен. Нет Катастрофы – нет и моей мамы. Нет моей мамы – нет и меня. Очень просто.

– Очень просто... – повторил Нир, опускаясь на землю возле решетки.

– Я не прощаюсь, милый, – сказала Рейна и сделала шаг назад, в темноту. – Для того чтобы прощаться, нужно сначала встретиться. А мы с тобой не встречались. Потому что меня никогда не было.

Нир не смотрел на часы: ведь новому времени будет безразлично, который час был во времени старом. Он просто сидел, прислонившись спиной к решетке, плечом к скале, сидел и ждал. Ждал, не думая ни о чем: ведь воспоминания и надежды старого времени не будут иметь никакого значения во времени новом. И когда мощная взрывная волна, вихрем пролетев по лабиринту туннелей, отшвырнула его к противоположной стене, последней мыслью отключившегося сознания было: «Мы сделали это! Мы!.. Сделали!.. Это!..»

– Парень! Парень! Ты жив? Эй! Скажи что-нибудь!

Нир открыл глаза и обвел вокруг себя затуманенным взором. Он сидел в машине, уткнувшейся капотом в скальную стенку. По ветровому стеклу ветвилась паутинка трещин. Сильно болела голова; Нир поднял руку и нащупал на лбу здоровенную шишку.

– О, рукой двигаешь, уже хорошо...

На него, склонившись к открытому боковому окну, смотрела молодая круглолицая женщина в черных кудряшках. Ее серебристый ситроен стоял впереди на обочине.

– Что случилось? – с трудом выговорил Нир.

– Да ну, глупость какая-то. Камень сверху скатился. Откос новый, только-только шоссе расширили... – бойко затараторила женщина. – Ты как? Ходить можешь? Скорую вызвать? Тебе в больницу надо. Хочешь, отвезу? Я как раз с дочкой в поликлинику еду... – она повернулась в сторону ситроена и пронзительно крикнула: – Май, я сейчас! Подожди еще немножко! Уже иду!

Нир поморщился.

– Спасибо, не надо, – сказал он. – Я в порядке. Головой ударился, а так ничего. Езжайте дальше, у меня телефон есть. В крайнем случае, сам вызову.

И тут же, будто в подтверждение его слов, зазвонил телефон.

«Сигаль, – подумал Нир. – Надо ответить».

Бейт Арье, май 2013 – апрель 2014

Рита Бальмина

ГОЛЕМА

1

«...И увидел, что это хорошо...»

Так подумал старый каббалист Кирилл Иванов, ставя последнюю точку над последним і своего творения, созданного из букв, цифр, знаков препинания и интервалов между ними. Нет, не был похож он на праотца, праведника или пророка, этот старый каббалист, постигший мудрость Книги. Скорее можно было принять этого сутулого гера за сильно постаревшего клоуна, ибо вздернутый нос его был красен, а бороду свою седую он брил, но субботу соблюдал свято с того самого дня, как июльским утром 1951 года сделал ему обрезание специально заточенной для этого случая алюминиевой ложкой духовный наставник, первый и единственный учитель его, узник совести Эзра Леви, в трудовом лагере строгого режима за Иртышом.

И отодвинул рав Кирилл глаза свои и руки свои, скомканные временем, от желтого обожженного листа, измятого все тем же временем неумолимо, и увидел, как прекрасна его голема. Нет, не зря он три десятилетия одинокой жизни своей в пространствах безбожных, колючих, как проволока его юности, сотворял ее тело желанное и душу, чистую, как лист. И вложил он меж пухлых нежных губ ее записку с непроизносимым именем, и порвал рукав своего выходного пиджака, и опорожнил на поседевшую лысину консервную банку, полную окурков.

Сделал он так, ибо должен был навсегда потерять ее – свое детище, свою навязчивую идею, которую воплотил он в жизнь наконец, несмотря на строгое предупреждение покойного рава Эзры, мир праху его, повторявшему неоднократно: ищи себе жену среди живых женщин.

Вспомнил он сейчас тот день и час, когда его, совсем еще ничего не сведущего в Каббале мечтателя, потряс старый рав Эзра рассказом своим о големе, о том, как в истертом, как старые сапоги, году в центре Европы создал и оживил своего голема раввин Махараль из Праги.

И сказал тогда Эзра: «Незачем из красной глины лепить фигуру, грех ведь это, ибо сказано – не лепи. Урод может получиться, чудовище. Намечтать нужно. Представить себе идеальное. Тогда получится». Спросил его тогда Кирилл: «А можно ли женщину создать так же? Выучить ее всему, что сам знаешь, жениться, детей родить?» Ничего не ответил ему тогда рав Эзра, лишь взглянул с укоризной и продолжал: «Не пытайся спорить со Всевышним. Проиграешь».

Не исполнил завета Эзры Кирилл Иванов. Много дней и ночей провел он, мечтая об идеальной женщине, и стала являться она

ему во снах его грешных, прекрасная и недостижимая, как Тот, чье имя нельзя произносить.

Но сейчас, когда его идеал собрался, наконец, из букв, из цифр, из отточий, налился плотью и кровью, не нужна уже была ему подруга жизни и даже дочь была не нужна.

«Негоже бабе Каббалой голову мутить, а чему еще я могу научить ее? Что могу оставить ей в наследство? Эту койку в семейном общежитии работников городского транспорта?»

Он знал, что непременно умрет теперь, ибо дело жизни его нелепой было завершено сегодня в три пятьдесят дня, месяца швата пять тысяч семьсот сорок шестого года от сотворения мира, когда за окном лежали сугробы.

Голая голема сидела на письменном столе, и краешек записки виднелся в уголке рта ее, а длинные рыжие волосы укрывали Талмуд и выписки из финансовых документов Серогорского транспортного треста, где трудился Кирилл Степанович бухгалтером в свободное от Каббалы время.

Но что-то не ладилось и не стыковалось, и не было жизни в чертах прекрасного изваяния, и понял ребе Кирилл, что вдохнуть жизнь в это существо может он только ценой собственной жизни.

Он выволок, предварительно оглядев коридор – нет ли там кого-либо, рыжеволосую девушку на лестничную клетку и надел ей на прелестную нежную шею единственную свою реликвию – выкованную еще в лагере из гайки шестиконечную звезду на вылинявшем от времени шнурке, которую сначала носил старый рав Эзра, а потом и он сам, названный при обрезании Шимоном. Никто кроме рава Эзры никогда не называл его так.

Потом Кирилл Степанович вернулся в убогую комнатенку свою, привязал к трубе отопительной системы скомканную простыню, сделал на ней узел, продел плешивую седую голову в петлю и, прочитав «Шма Исраэль», оттолкнул казенную табуретку, на которую перед тем с таким трудом взобрался.

2

Молодой сержант милиции Загруйченко никогда еще не сталкивался ни с чем подобным в своей практике. День был тихий, мороз всего пять градусов по Цельсию, а потому и пьяниц замерзших на улицах не было. Но рыжеволосая голая девушка исключительной красоты, судя по всему, иностранка, не понимающая по-русски ни слова, без документов, без каких бы то ни было следов насилия на соблазнительном теле, лишила сержанта на несколько секунд способности принимать решения. Неизвестно откуда взялась она на территории, подведомственной третьему городскому отделению милиции, и спокойно стояла сейчас посреди сугроба у доски почета транспортников, равнодушно глядя на фотографии передовиков, когда сержант подкатил к месту вызова на своем верном мотоцикле. Она сразу вызвала у него вместе с легким сексуальным волнением еще и тягостное предвкушение неприятностей в связи с нетривиальной ситуацией. Вокруг голой рыжей девицы толпились зеваки, отпускавшие нецензурные реплики. Кто-то из

них, по всей видимости, нахальная старуха со скрипучим простуженным голосом, стоявшая в пуховом платке и валенках ближе всех к обнаженной нарушительнице норм социалистического общежития, и позвонил в милицию.

«Эй, голуба, ты че, свои подштанники в карты проиграла али так на спор по морозу голышом шастаешь? – не унималась скрипучая старуха. – Али, может, грабанул тебя кто, так ты скажи, сердешная».

Подвыпившие шофера ржали: «Ее небось трахнули хорошенько, вот она и потеряла дар речи от удовольствия».

Загруйченко решительно не понимал, что делать дальше, после того как, не получив ответа ни на один из вопросов ни устно, ни, написав их на бумажке, накинул ей на плечи свой форменный полушубок. Делать этого по инструкции, естественно, не полагалось.

«Мать твою с горы, – думал сержант, – как ехать с этой фифой, в какое посольство слать запрос? Привезу в отделение, пусть Андреич сам разбирается. Может, гэбэшников придется подключать. А я человек маленький. Как везти-то ее, босую?»

Он жестами показал девушке на коляску своего мотоцикла, но она не поняла его жеста, продолжая стоять по колени в снегу и совершенно не испытывая при этом дискомфорта ни от холода, ни от собственной наготы, которую милицейский короткий тулупчик только отчасти прикрыл.

Когда у сержанта иссяк запас всех его «ду ю спик» и «шпрехн зи», он решительно подтолкнул «глухонемую иностранку», как окрестил ее для протокола, к коляске, усадил и помчался в отделение, совершенно не представляя, что делать с ней дальше. «А, не мое это собачье дело, пусть Андреич сам разбирается», – успокаивал он себя, искоса поглядывая на красотку, на нездешнем личике которой не отражалось никаких эмоций. Сержанта же, напротив, эмоции одолевали и были связаны в основном с наготой прелестницы. Чего только он уже не вообразил себе за время пути до отделения, да простит его молодая жена.

Мотоцикл с грохотом затормозил у третьего отделения милиции, когда было почти пять часов вечера, Загруйченко повел задержанную прямо в кабинет капитана милиции Николая Андреевича Крутых, который читал документы, разложенные на столе, одновременно разговаривая по двум телефонам и жуя бутерброд. Длинные стройные босые ноги лишь на долю секунды отвлекли седобрового служаку от перманентной занятости, и жест руки с бутербродом приказал сержанту ждать. «Немая иностранка» безразлично разглядывала стенд с фотографиями находящихся в розыске преступников и пропавших без вести женщин и детей. Ее длинные рыжие волосы блестящими волнами струились по милицейскому полушубку.

Капитан Крутых выяснял у кого-то на другом конце провода, уверен ли собеседник в том, что это самоубийство, и не нужно ли прислать эксперта, потом положил одну трубку на рычаг, а в другую сказал:

– Книги там у него какие-то странные на неизвестном языке, но никаких сомнений, что суицид. Мотивы не выяснены. На всякий

случай свяжись с ОБХСС – пусть ревизнут, этот Иванов ведь бухгалтером был. Мало ли что может всплыть.

– Проститутка? Ограбление? – не меняя тона, спросил он, обращаясь уже не в трубку, а к Загруйченко.

– Никак нет. Иностранка, товарищ капитан, – чеканно отрапортовал сержант. – Глухонемая, кажись, – добавил он уже менее уверенным голосом.

Крутых встал из-за стола, подошел к девушке почти вплотную, заглянул с высоты своего небольшого роста, строго сдвинув густые седые брови, в ее большие, миндалевидные, не выражающие никаких эмоций зеленые глаза и тоже очень быстро исчерпал свой словарный запас на всех неизвестных ему иностранных языках.

– Однако же она слышит, только не понимает. А что это у нее на груди за мулька болтается?

– Не могу знать, товарищ капитан, – четко ответил сержант.

– Не можешь, а должен! Это же еврейский символ. Звезда шестиконечная. Стало быть, иностранка твоя наверняка еврейка. Ты бы на себя эту самую ихнюю символику цеплять стал? И я бы не стал, – уверенно подытожил Николай Андреич, и седые кусты над его глазами насупленно замерли. Так происходило всякий раз, когда ему нужно было принять решение.

Ох и не любил капитан все эти истории, в которых внешние дела приходилось кантовать. У него было уже взыскание за то, что он немца одного русскоговорящего продержал в камере до выяснения, а ребята его переусердствовали и фонарей этому немчуре наставили за сопротивление при задержании. Так ведь тот для прикола не признался сразу, что у родни гостит, под соотечественника канал, мозги пудрил. А потом гордо так на свободу вышел, а Крутых очередного звания не получил.

Но здесь, похоже, другая история. Девчонка и вправду какая-то полоумная, еще и не понимает ни хрена.

– Вот что, посади-ка ты эту кралю в отдельную камеру до выяснения личности, а я прикажу Шестакову заняться этим вопросом. Он английский знает. Пусть делает запросы через внешников. Может, конечно, оказаться, что она наша соотечественница, из психушки сбежавшая. Но тогда бы нам уже наверняка позвонили. Ты проверь на всякий пожарный, не сбегал ли у них кто сегодня днем. Вряд ли она бы дольше по морозцу нагишом бегала. Еще дай объявление по местному радио и телевидению. Может, она псих, но не буйная и спокойненько дома с родней жила. А потом взяла и ушла зачем-то. Кто их, психов, разберет. Евреев в нашем городе раз-два и обчелся. Может, ее уже обыскались за эти два часа, что ты с ней возишься. Но, кто бы ни была, обращаться приказываю нежно, без всяких глупостей, которые вы со шлюхами вытворяете. И кормите хорошо. Одно странно. Если девочка эта из Израиля, то каким образом на такой периферии оказалась? Чай не Москва. У нас ведь, кажется, даже нет дипломатических отношений с ихним, с позволения сказать, государством.

А потом крикнул уже вслед Загруйченко, осторожно вытолкнувшему иностранку из кабинета в коридор:

– И найди ей чем срам-то прикрыть, прости господи!

Оставшись наедине со своими перепутанными мыслями, капитан быстро забыл и про малоинтересного бухгалтера-самоубийцу, изучавшего не то хинди, не то арабский, и про неизвестно с какой летающей тарелки свалившуюся на их отделение жидовскую красотку.

Ее внешники заберут, как только выяснится, кто из иностранцев не зарегистрировался сегодня по месту пребывания. А если на голову слаба, то еще быстрее сдыхаемся от нее...

Увязать как-то эти два дела старому опытному сыщику и в голову не пришло. Надо было думать о непроходимых висяках: двух убийствах, пяти изнасилованиях, семи ограблениях, никаких концов к которым не велось ни из таинственных книг бухгалтера Иванова, ни от единственной вещицы, надетой на нежную шейку юной еврейки.

«Все же крепко хороша девчонка. Как бы мои орлы не набедокурили чего. Может, в женскую тюрьму перевести до выяснения?» – это была последняя мысль, которую Николай Андреевич отмел, и больше уже ни разу не вспомнил ни про странную иностранку, ни про сведшего счеты с жизнью чернокнижника.

3

Рапорт Шестакова, из которого следовало, что никаких немых иностранок, сумасшедших евреек и просто красивых рыжеволосых девушек с кустарной железной звездой Давида на шее нигде не пропадало и никто не разыскивает, лежал перед капитаном Крутых.

Что теперь делать с задержанной, в голову не приходило. Выяснить ее личность не представлялось возможным, и Крутых, сведя свои кустистые седые брови, обратился к начальству с просьбой сделать что-нибудь с человеческой единицей, которую в отделении между собой называли чокнутой Сарочкой, но никаких данных о том, кто она, как ее фамилия, отчество, где и когда родилась, не было.

Молодежь сильно возбудилась, узнав, что прекрасную пленницу не защищает больше мифическое иностранное посольство. Сальности и намеки, алчно поблескивающие глаза подчиненных, которые ждали наступления ночного дежурства, заставили старого капитана поторопиться с решением участи чокнутой Сарочки. Капитан Крутых своих ребят знал хорошо. Жаль девчонку. Но как избавиться от нее? И Николай Андреевич отправил рапорт выше.

Оторванное от непроходимых кровавых дел начальство, плюнув в трубку и грязно выругавшись, приказало передать неизвестную в психушку. Раз не иностранка, значит, наша, своя. Вот пусть врачи и разбираются с ее немотой. Может, у нее шок был и она все забыла, вплоть до речи. Нет за ней никакой уголовщины – не наш контингент, вот и пусть катится к ним, на их казенные харчи, а наши переводить нечего.

Уже через полчаса одетая в списанные милицейские обноски и старую с оборванным ухом шапку-ушанку, которые тем не менее не смогли ее обезобразить, чокнутая Сарочка была доставлена

истекающим соплями и непрерывно кашляющим сержантом Загруйченко в Серогорскую психиатрическую больницу.

Пока простуженный сержант занимался оформлением документов и объяснял ситуацию дежурному психиатру, девушка равнодушно разглядывала черно-белые фотографии врачей, медсестер и санитарок, висевших под надписью «Лучшие люди», которую чокнутая Сарочка, естественно, не могла ни прочесть, ни оценить.

– Имейте в виду: все, что мы предполагаем, это то, что она еврейка. Но и это только из-за медальончика, в котором она к нам попала. Больше ничего, к сожалению, нам о ней неизвестно, – отдавая честь доктору, прогундосил истекающий насморком сержант.

На следующее утро светило местной психиатрической науки Антонина Георгиевна Кане, дама пожилая во всех отношениях, с пристрастием осмотрела новую пациентку сквозь две пары надетых друг на друга очков в старомодных оправах. Она колотила девушку по коленям маленьким молоточком, показывала ей пятна Роршаха, требовала высунуть язык, вывешивая лопату собственного языка, но никаких человеческих реакций не последовало.

– Случай сложный, но жить будет. Плохо жить! – прокуренным от вечного «Беломора» голосом резюмировала орденоносная фронтовичка Кане, Герой Социалистического Труда, депутат местного Совета, мать, бабушка и т. д., и неразборчивым, как у всех врачей, почерком написала в личном деле Сарры Абрамовны Неизвестной: «Амнезия».

– Придется все начинать с нуля, – сказала она многострадальной санитарке Даше, тоже фронтовичке, но без регалий. – Начни с ней разговаривать потихоньку, когда кормить будешь. Корми, как ребенка малого, из ложечки и приговаривай. Чай вспомнит чего...

Константин Кравцов
В ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ

Наталья Гончарова – имя знаковое. Образ пушкинской «мадонны, чистейшей прелести чистейший образец», соединяется в нем с образом одной из значительных фигур русского художественного авангарда, что само по себе тема для исследования, некий символ. И об этих двух женщинах невозможно не вспомнить, говоря о самобытном художнике Наталье Гончаровой-Кантор, чья фамилия уже иная, двойная, соединившая в себе Россию, русскую культуру с Израилем и Иерусалимом. Кантор, как мы знаем, певец в синагоге, что привносит дополнительный оттенок в палитру имени, превращая его в музыкальную фразу. В судьбу, без которой художника не бывает. Но на сей раз речь пойдет о графике художницы. Графике яркой и выразительной, поводом для которой стало одно не слишком известное стихотворение раннего Бродского: «Под вечер он видит, застывши в дверях...»[1]

Стихи от такого соседства, на мой взгляд, только выигрывают, ведь, как писал Мандельштам, поэтическая материя существует лишь в исполнении. Эту-то летучую и летящую, стремительную, ранимую материю и выявляет (а выявляя, заставляет жить в сознании читателя-зрителя) графика художницы. Превращает из хрестоматийного документа в событие, добавив им живой крови.

Поэт и художница здесь вступают в сотворчество, если не в поединок. Задается тема, но кем? Раньше говорили об Аполлоне и Музах, Бродский считал, что поэт пишет, повинуясь диктату Языка. Как бы то ни было, поэт (художник) транслирует, пропуская через себя и тем самым видоизменяя, некий сигнал. О чем сигнализирует Бродский? О двух наблюдаемых неким созерцателем всадниках, мчащихся «в окрестных полях», вовлекает нас в перипетии их кругового обоюдного движения. Их имена – Тоска и Покой, но здесь они не так уж и важны, как не важны и сменяющие друг друга детали ландшафта, обрывки мыслей.

Два всадника скачут в пространстве ночном,
кустарник распался в тумане речном.

В этом сыром эскизе важен только ритм – сердец, циклов... Но это не то стройное круговращение светил, которое мог бы наблюдать, к примеру, Вергилий или тот же Данте: при всей тяге Бродского к «нормальному классицизму» катастрофичность века дает знать о себе и в этих стихах. И потому кажется закономерным и неизбежным, что на одном из рисунков возникает стрелка, преследуемая опрокинутым

[1] http://magazines.russ.ru:81/novyi_mi/redkol/butov/br.html

знаком Марса. Это мужчина и женщина, вдруг появляющиеся в последней строке:

Два всадника скачут, их тени парят.
Над сельской дорогой все звезды горят.
Копыта стучат по заснувшей земле.
Мужчина и женщина едут во мгле.

Скачка сменяется ездой, видны звезды – все до единой, в памяти тают обрывки воспоминаний о полете сквозь пространство и время, о некой драме, если не трагедии. Драме совместного, но наряду с этим и раздельного существования. В нем нет гармонии, и нет любви. Есть, возможно, что-то похожее на боевое товарищество. Есть увлекающий его и ее ритм. Есть путь, но куда? Но так ли уж это важно?

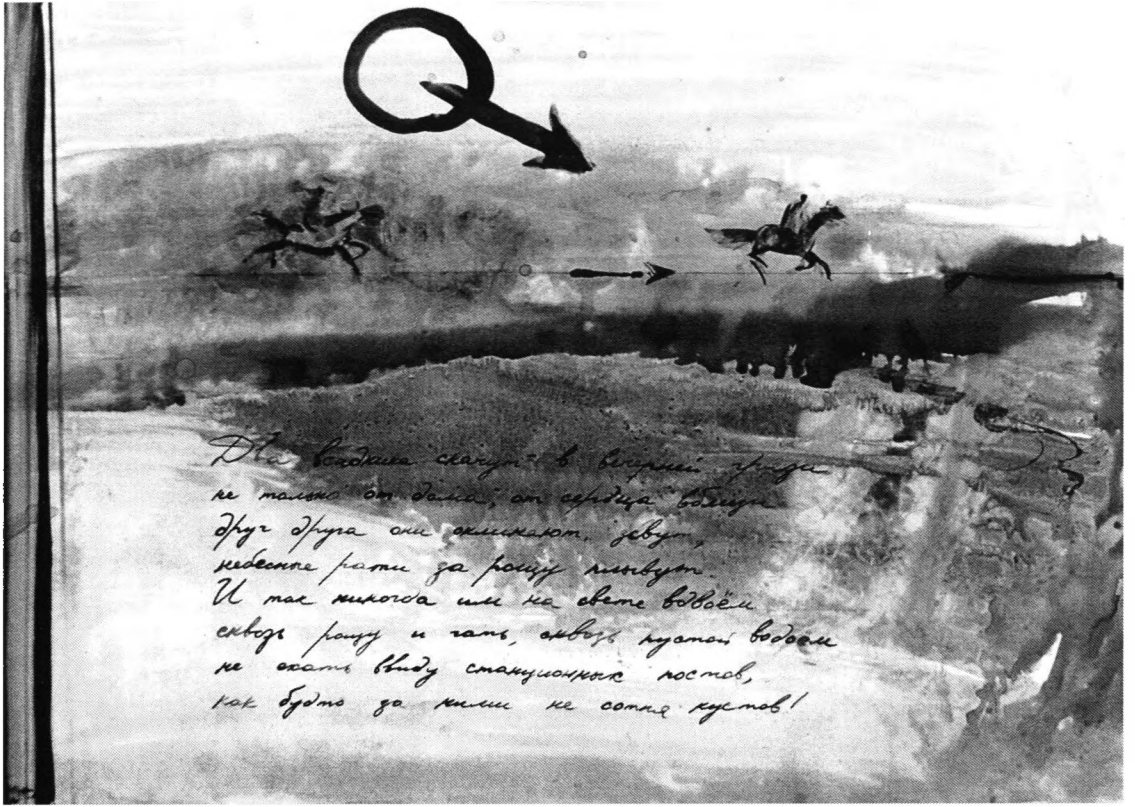
Черное и белое, рваные лепестки, бешеная скачка сквозь ночь к рассвету – северному, с холодной зарей. И – бегущие по странице строки как воспоминание о гармонии, присутствующей, напоминающей о себе и венчающей собой всю разорванность, сумятицу, организованный хаос линий и лиловых, чернильных, темных и белых пятен.

Бродский ли это? Безусловно. Тот – ранний. Но Наталья Гончарова-Кантор не проиллюстрировала одно из его стихотворений в том смысле, в каком понималось это благородное занятие раньше. Она рассказала о своем. Рассказала с той откровенностью, без которой вообще не следует заниматься искусством, и настолько драматично, настолько ярко, что в моем сознании эти стихи и эти «иллюстрации» соединились раз и навсегда.

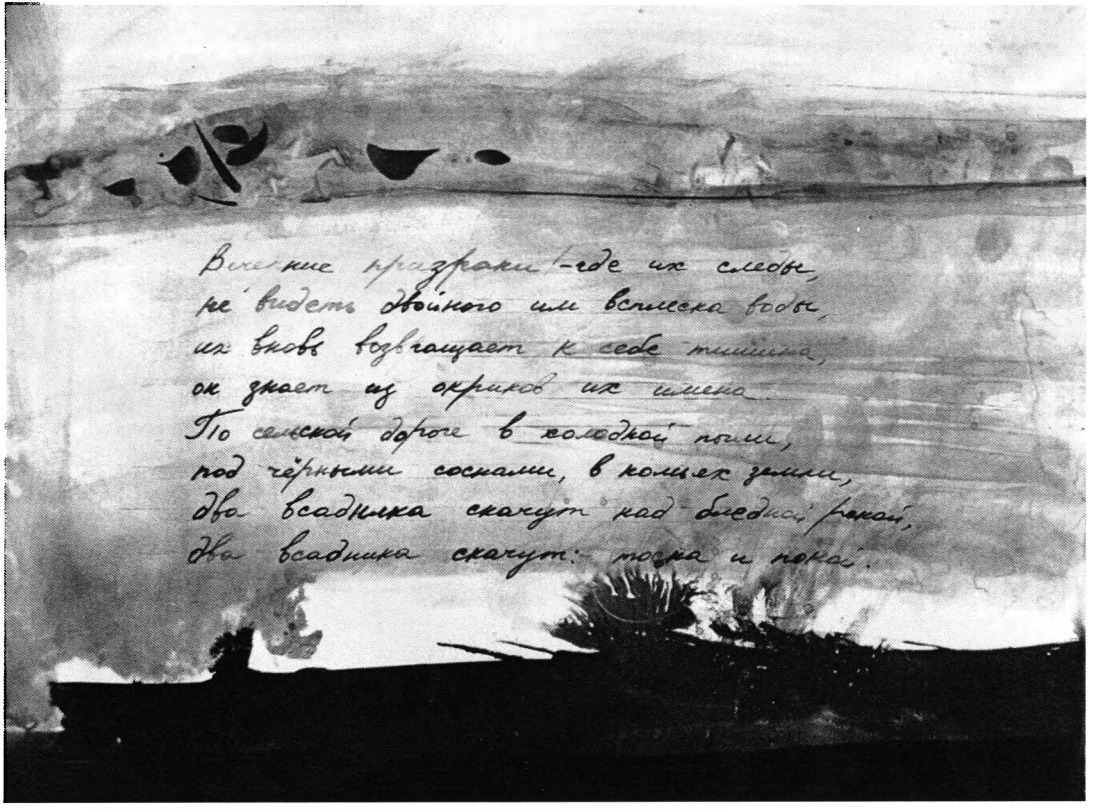
Два всадника мчатся в полночную мглу,
один за другим, пригибаясь к седлу,
по рощам и рекам, по черным лесам,
туда, где удастся им взмыть к небесам.

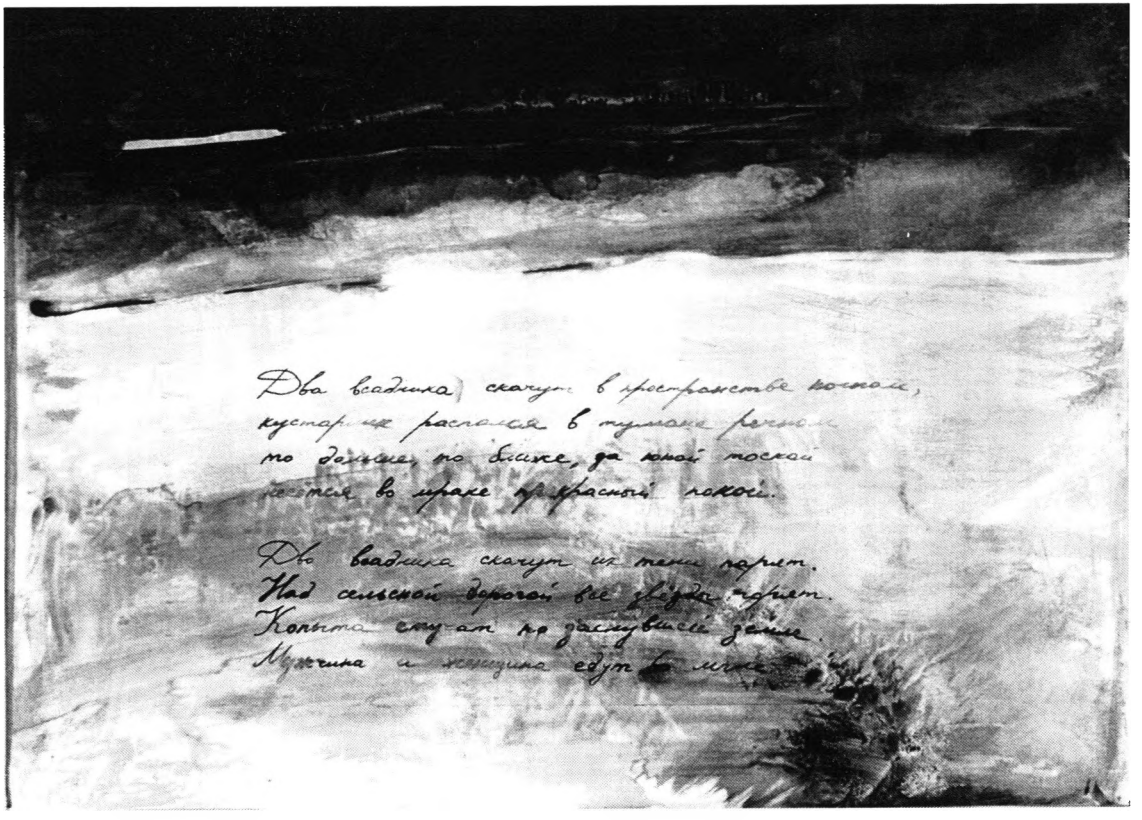

Под вечер он видит, застывши в дверях:
два всадника скачут в окрестностях поля,
как будто по кругу, сквозь рощу и гать,
и быстро не могут друг друга догнать.
По взмыле поводья, испытан, устав,
то снова в седле возбужденно привстав,
и быстро по светлому снегу ложатся,
то в рощу опять, где сгущается тьма...




Два сокола скачут в вечерней тиши
не только от дома, от сердца бойцы
друг друга они окликают, зовут,
небесные реки до рощи лежут.
И так никогда им на свете вовек
сквозь рощу и гать, сквозь кусты водоем
не скрыть видну станционных костров,
как будто до них не сотня кустов!




Вечные странники – где их следы,
не видать двойного или вспышка воды,
их вновь подхватает к себе тишина,
он знает из окрика их имена.
По снежной дороге в холодной поле,
под чёрными соснами, в конце земли,
два всадника скачут над бледной рекой,
два всадника скачут: тоска и покой.


Два всадника скачут в пространстве ночном,
кустарник распался в туманную реку,
то дальше, то ближе, да юной тоской
гостья во мраке прекрасной тоской.
Два всадника скачут на темном пороге.
Над сельской дорогой все ухает филин.
Копыта стучат по рассыпчатой земле.
Мужчина и женщина едут в седле.

Дмитрий Сухарев

ВСТАНЬТЕ, КТО ПОМНИТ!

Лучше ничего не говорить, чем сказать, что у Марины Бородицкой круглая дата. Круглые даты – это не её, Марина Яковлевна не из таких. Поговорим о русском языке, это – её, даже очень её.

Что язык для поэта? В общем случае – то же, что для прозаика: техническое средство, способ передачи (предпочтительно изящной передачи) смысловой информации. В частном случае всё иначе. Есть поэты (их может быть совсем немного, единицы), которым наш язык служит ещё и источником наслаждения (ключевые слова – нега, сладкая дрожь). Более того, язык для них – объект поклонения (ключевое слово – государь). Марина Бородицкая – частный случай.

Мёд и млеко в тебе, государь мой Язык!
Твой языческий жар до нутра мне проник,
Твой распаренный дух, твой малиновый звук
Так по-женски податлив, но дивно упруг.

Помню первый учебник и сладкую дрожь:
На лазурной обложке волнистую рожь.
Поцелуй на морозе иль Жучкин укус –
Твой калёный глагол, совершенный на вкус?

Так спрягай же, склоняй! Средь изменчивых нег
В тёплой толще твоей дай остаться навек
Малой оспинкой рода, лица и числа...
И слипаются губы на слове: п ч е л а.

Прочитайте стихотворение вслух – вы сразу почуете, что в нём присутствуют эрос и пафос. Об эросе чуть позже, а про пафос можно сразу сказать, что духоподъёмность упорядоченного звука Марина Бородицкая унаследовала от великих предшественников. В квадриге Серебряного века номер один для неё – Цветаева, самая звучная, самая чувственная. Звук, уверена Марина Яковлевна, первооснова русской поэзии. В английской, профессионально утверждает она, ничего такого нет. Или, скажем, французы. «У нас звук, понимаешь, а у них картинка». И другое: «Когда я слышу, как читает молодой французский поэт свои стихи, для него чувство выразить неприлично, как снять штаны».[1] А нынче, сетует Бородицкая, эту бесстрастную манеру переняли молодые русские поэты. Не стихи пишут, а подстрочники – чтобы их поскорее перевели на другие языки. Ни звука, ни страсти... А как читает стихи сама Марина? Звучно! Смачно! Сочно!

[1] Интервью Леониду Костюкову. http://www.polit.ru/fiction/2010/10/25/borodits.html

«В прочтении вслух – в чей-то слух! – и заключается весь глубокий смысл, вся суть и сладость стихотворения», – объяснила Марина в том же интервью, где про француза без штанов. Там же: «А ведь только понимаешь суть стиха и качество, произнеся его вслух». И другое место: «Стихи, которые ты знаешь наизусть, – это аптечка первой помощи. Оно выскакивает и может спасти от многих вещей, включая самоубийство».

У нас с Мариной Яковлевной общая слабость – обожаем вкладывать в чей-нибудь слух чужие стихи. Имел даже место вечер на двоих в музее Маяковского, где мы с ней читали вдвоём – делились аптечками. Как раз сейчас стала доступной запись этих животворных чтений.[2] Слушателей было немного, но внимали благосклонно. Любимые поэты, кроме безусловных, были в тот вечер у каждого свои. Меня всегда тянет читать фронтовиков, это поколенческое. Марина моложе меня на четверть века и с генерацией свой выбор не связывает, при всём почтении к творчеству великих лейтенантов. «Я предпочитаю таких поэтов < … > которых можно связать с понятиями света и тепла. Свет и тепло. Там, где излучаются свет и тепло, туда меня, в общем, тянет. Там, где темновато и холодновато, это, может быть, блеск сплошной, но мне там неуютно, и я туда не иду».

Здесь уместно вернуться к эросу. В моём литературном поколении эротических стихов практически не писали, едва ли ни единственным исключением был Юрий Ряшенцев. Илья Фаликов очень точно отметил причинно-следственную связь: у Ряшенцева «поэзия плотская, исполненная греха и соблазна, поскольку такова его работа со словом: чувственная лепка, страсть к пластике, словно слово – это тело, требующее обожания и физических усилий для его завоевания».[3] Эти слова замечательно приложимы к поэзии Марины Бородицкой! Мы с вами уже заметили, что её стихотворение о поклонении поэтической речи щедро согрето энергией эроса. А ведь тема, казалось бы, совсем к тому не располагает…

Отдельным списком чтутся Мариной Бородицкой поэты, к которым ходила учиться. Все они вели студии, где она вместе с ровесниками постигала премудрости поэтического и переводческого ремесла. Валентин Дмитриевич Берестов и Вильгельм Вениаминович Левик. Олег Григорьевич Чухонцев и Андрей Яковлевич Сергеев. (Непременно с отчеством, только так – неандертальцы мы, что ли!) «За учителей своих заздравный кубок подымаем, да?» Ой, забыла – Яков Лазаревич Аким… «Потом сама я вела ещё. Уже поняла, что *надо отдавать долги*».

Вот! Незаметно, как нечто совершенно естественное, прозвучала принципиальная нота: у поэта Марины Бородицкой уникальное ощущение необходимости отдавать долги. Оно у неё не головное, но, подобно эротизму, органическое и растворено в стихах. Всем должна! Чувство долга такая же редкость в поэзии, как чувство звука. И такая же в нём нужда. А может, и сильнее.

---

[2] «Апрельские гадания», канал Ирины Хвостовой, YouTube (www.youtube.com/playlist?list=PLROtX2azkQkY76o32nPU4EoGf4HS1OXzW).

[3] Илья Фаликов. Фактор фонаря. Владивосток: «Рубеж», 2013. С. 227.

Запомнился профессор в очках из каких-то теледебатов. Перебивая других участников, он то и дело визгливо вскрикивал: «Человек рождён свободным!» Было видно, что профессор не имеет ни малейшего представления о том, каким на самом деле родится человек. Человек родится беспомощным! Абсолютно зависимым! Человеческий детёныш сможет выжить и стать собственно человеком (возможно, даже профессором) при одном непременном условии: множество людей, начиная с родной матери и штатных сотрудников роддома, выполнят свой долг – вырастят его здоровым, поделятся родной речью, передадут семейные предания и отечественную культуру. Потому в момент рождения человек уже в долгу как в шелку, дальше долги только растут.

В каморке за шкафом, исконно моей, –
Сестрёнка грудная и мама при ней.

Сестрёнка кряхтит и мяучит во сне.
С отцом на диване постелено мне.

Опять среди ночи вопьётся в мой сон
Тот сдавленный вой, тот мучительный стон.

«Огонь!» – он кричит, он кричит на меня –
Боится огня или просит огня?

«Огонь!» – он кричит, я его тормошу,
Зову и реву и проснуться прошу.

А утром он чайник снимает с огня,
В колготки и платье вдевает меня,

Доводит во мраке до школьных ворот
И дальше, сутулясь, со скрипкой идёт.

Стихотворение называется «Первый класс». Девочка-первоклашка сознаёт необходимость освободить своё «исконное» место для младшей сестрёнки. И этот нелёгкий детский долг патетично приравнен к солдатскому долгу их отца, защитника отечества. Круговая порука: родители, род, родина.

Марине Бородицкой и её ровесникам, по счастью, не досталось испытания голодом. Но они, как и мы, которые постарше («дети войны»), прошли испытание коммуналкой. Отсюда апология братства.

Встаньте, кто помнит чернильницу-непроливайку!..

И заключительная строфа:

Разные нити людей сочленяют: богатство,
Пьянство, дворянство... порука у всех круговая,
Пусть же пребудет и наше случайное братство:
Встаньте, кто помнит, – и чокнемся, не проливая!

Быть может, из всех замечательных стихотворений юбиляра это – самое патетичное. Пафос со слезой.

Пройдут ли нынешние дети испытание социальным неравенством? Совместима ли апология рынка с верностью родине и друзьям – или же новый уклад убедит в преимуществах индивидуализма, ловкачества, предательства?

Иного вырастят, научат, а он вильнул хвостом – и ку-ку за границу. Дескать, в «этой стране» нет условий для реализации моих потенций. Добро бы к евреям на историческую родину – там так же нужны работники и ратники, как на собственно родине, и такая же ненависть кипит по периметру. А то срам сказать куда – на халявную жрачку.

Тьфу! Всё прахом станет, если прервём круговую поруку долженствований.

Бабушка, видишь, я мою в передней пол.
У меня беспорядок, но, в общем, довольно чисто.
Глажу бельё, постелив одеяльце на стол,
И дети мои читают Оливер Твиста.

Бабушка, видишь, я разбиваю яйцо,
Не перегрев сковородку, совсем как надо.
В мире, где Хаос дышит сивухой в лицо,
Я надуваю пузырь тишины и уклада.

Бабушка, видишь, я отгоняю безумье и страх,
Я потери несу, отступаю к самому краю:
Рис ещё промываю в семи водах,
А вот гречку уже почти не перебираю.

Бабушка, видишь, я в карауле стою
Над молоком, и мерцает непрочная сфера...
Вот отобьёмся – приду наконец на могилу твою,
Как к неизвестному воину, бабушка Вера!

Хорошо, что Марина Бородицкая такая молодая. Мой небольшой личный опыт свидетельствует, что стихи пишутся как минимум до семидесяти, то есть у Марины в запасе куча времени. Не успеешь вздохнуть и сложить крылья, как начинает тянуть на прозу. После восьмидесяти недурно идут поздравлялки к юбилейным датам друзей, они тоже греют, да-да.

Мы сидим, как птицы на ветке
возле гнезда,
обалдевшие от внезапного
окончанья труда:
все рожденные выкормлены,
поставлены на крыло –
вроде нормы выполнены,
и ещё тепло.

Марина Меламед

РАПСОДИЯ

Давным-давно два нехороших человека грабили на улице прохожего. Прохожий, невысокий человек еврейской внешности, стоял спокойно, безропотно отдал грабителям часы и деньги и вдруг спросил:

– А вы знаете песню «Мы с тобой случайно в жизни встретились»?

– Да, конечно! – ответили те.

– Это моя песня, я её написал… – сказал прохожий и улыбнулся.

Нехорошие люди отчего-то поверили. Стали хорошими на минутку…

– Да ты что! – сказали они. – Такая песня! Извини, друг… – и отдали ему всё, что успели отнять.

Музыка композитора Евгения Львовича Рохлина в те годы звучала часто. В 67-м каждое утро по радио крутили его «Спортивный марш», и дочка Рохлина, Юля, похвасталась приятелю в Херсоне: папину музыку, мол, играют; тот ответил: «Не может быть!» Так и не поверил – в отличие от давешних грабителей.

«Человек у рояля» – так можно было бы назвать фильм о Рохлине, если бы ходил за ним оператор и снимал… Евгений Львович почти не отпускал клавиш, даже беседовал, продолжая перебирать звуки, – рояль был его продолжением, ещё одной рукой или крылом.

Руки его играли сами собой. Компактный, подтянутый, сияющий, лёгкий – словно вот-вот ему играть «Брызги шампанского» в сопровождении саксофона при свете софитов…

Дядя Женя Рохлин... Хотя дядей он был моему отцу, но ни за что не соглашался считаться дедом.

Кстати, в примечаниях к музыкальным записям о нём иногда пишут «инструментал: Е. Рохлин». Инструментовать – значит расписать мотив для разных инструментов, раскрасить звуками, есть такая уважаемая профессия – аранжировщик, по сути – соавтор.

Известные московские композиторы ходили к нему с нотными страничками, на которых были записаны мелодии, а уносили большие пачки листов – «разработки» мелодии, партитуры для оркестров. Писал щедро, никому не мог отказать – была бы музыка…

В 1974 году по телевизору прозвучала его «Фантазия» на темы песен года, а в самом начале голос диктора Кириллова объявил: «Композитор Евгений Рохлин».

– Хорошо звучит, – сказал дядя Женя, – слушал бы и слушал.

– Фантазию? – спросил приятель.

– Да нет, вступление. «Композитор…» ну и так далее по тексту…

Лёгкий человек, всё умел обратить в шутку.

Сейчас он уже совсем далеко, на седьмом небе, пишет «инструментал» для планет и звёздных туманностей... но бывает, что нужно поговорить – когда пытаешься сыграть джаз одновременно на гитаре и белых камнях Иерусалима, вслушиваясь в музыкальные россыпи гортанных голосов и автобусных синкоп...

Придумывал песенки-перевёртыши. Например, «Орлёнок, орлёнок, Каховка, Каховка, матрос Железняк партизан»! Попутно выяснялось, как и чем похожи мотивы «исходников»... Особенно порадовал «Союз нерушимый» на музыку «На стрелке далёкой».

Попробуйте спеть сами, я вам гарантирую счастье, хотя бы на некоторое время...

Большое спасибо эпохе, не сломала – и по фронтам ездил с бригадой артистов, и борьбу с космополитами пережил, и уцелел, и играл, играл... Хотя снаряды ложились близко...

Сочинял, дирижировал, аккомпанировал роскошной Изабелле Юрьевой, Майя Кристалинская пела его песни... С ним рядом всегда было уютно. А как импровизировал! У него любое раздолбанное пианино начинало звучать, как небольшой эстрадный оркестр.

Если мелодия не нравилась, а надо было оркестровать, жутко нервничал, мучился, в итоге что-то менял – композиторы этого, бывало, и не замечали, говорили: «Ух, как здорово звучит!»...

А одну песню оставил в подарок людям, сам того не зная, хотя написал её совсем другой композитор[1]... Как-то пришла Майя Кристалинская, он сел к роялю и стал наигрывать песенку из тогдашнего репертуара певицы, только чуть-чуть иначе... припев перевёл из мажора в минор, слегка изменил ритм...

«Докрутил», довёл, досочинил... Кристалинской понравилось ужасно. «Что ты наделал? – сказала она расстроенно. – Как я теперь её петь буду?» Петь со сцены ей надо было «как положено», как автор написал.

Хотя такое обаяние было у «незаконного» варианта...

В рохлинской версии со сцены её не пели. А по Харькову гулял дворовой вариант: *Здравствуй, ах, здравствуй, / И больше нет слов! / Вижу, ты держишь букетик цветов... / Значит, спешил и не забыл, / Значит – меня не разлюбил...*

То ли в «Ветерке», то ли в «Родничке» – удивительные, кстати, называния, подбитые бесшабашной беспечностью, – я училась вокалу на живых людях в свободное от школы время.

Когда в заведение приехал дядя Женя, собрались все, включая кухню и швейцара. Сам Рохлин приехал! И именно к ним, все остальные ресторанные ансамбли могли отдохнуть в буфете...

Он сел к роялю... Все, включая официанток, встали навытяжку и замерли, как при команде «смирно». Но при этом улыбались так неж-

---

[1] «Здравствуй!». Музыка Андрея Петрова, слова Соломона Фогельсона. *Примечание редактора.*

но, по-детски. Это как же надо играть, чтобы всё вокруг изменилось и у людей проступали такие хорошие лица...

Когда я показала ему свои песенки, он тут же подыграл на фортепиано моей разболтанной гитаре, но как-то нерадостно.

– Ну почему ты не на клавишах, – сказал он расстроенно, – ты же образованный музыкант...

И легко разыграл мою песенку звучным каскадом, она увеличилась до размеров номера для ансамбля, оркестра, ещё бы саксофон...

Надо признаться, он недолюбливал бардов. Их гитарам, на его взгляд, не хватало оркестровки. А самим бардам – страсти к музыке.

Вот у него эта страсть была! Играть научился сам. Ребёнком приходил в дом культуры посмотреть, как люди играют на рояле, вечерами прятался в шкафу, дожидался, когда все уйдут и по ночам играл... А потом сразу – музучилище.

Ни разу он не был в партии, так и не вступил в Союз композиторов... Зато писал песни к еврейским спектаклям «Заколдованный портной» и «Гершеле Остропольер», и у нас об этом говорили уважительно, почему-то понижая голос. Словно говорить об этом вслух было боязно, а вдруг услышат и что-то ему за это будет... В Харькове 70-х еврейские песни казалось запредельной смелостью...

С женой Лидой они вырастили двух дочерей и двух внучек. Часто девочки просили сыграть то, что звучало по телевидению, радио – он подбирал моментально, даже классическую музыку...

В Большую алию девяностых они перебрались в Израиль, поселились в маленьком городке Мигдаль-а-Эмек, и он продолжал играть. Здесь случился ещё и приятель, с которым можно было поговорить на идише, к тому же тот и стихи писал...

Золотая израильская осень, за пять лет – пятнадцать песен на стихи Семёна Меркина, не считая других; ученики, которые безо всяких вербальных объяснений играли слаженно и чисто...

В последний раз я видела дядю Женю в хайфской квартире беседующим за роялем. Из-за рояля... Он молчал и улыбался, а руки взлетали, прикасались к клавишам, разговаривали, шутили...

Рядом стоял мальчик, подающий надежды пианист – он что-то говорил, Рохлин отвечал фортепианными звуками, и они прекрасно понимали друг друга, хотя на иврите дядя Женя не знал ни слова, а мальчик по-русски – ни бельмеса...

Константин Кикоин

ЗНАТЬ БЫ, ИЗ КАКОГО СОРА

Когда б вы знали, из какой житейской прозы рождаются еврейские стихи, записанные автором по-русски... Вот книжка[1], в которую Ирина Рувинская собрала свои стихи последних лет. А вот я, пожилой литератор мужеска пола, читаю и перечитываю эти полувольные переменностопные стихи. Ну что поэт женского пола может мне рассказать про женщин? Ведь я всё знаю про женщин! Нет, – говорят женщины из книжки, – всё, да не всё. Всё про нас не знает и Басё. *Ему / самому доброму из своих мужчин // сказав со смехом что другого нашла // врала / и родила от него полсотни строк...*

Щель между прозой жизни и поэзией жизни была неуловима и в старые времена. Вот романтически настроенный юноша Вильгельм Мейстер путешествует с театральной труппой по германским городам и весям и вместе с собратьями актерами то погружается в закулисную прозу, то выступает на сцене, преобразуя эту прозу в поэзию. А вот петербургский мещанин и мечтатель, проживающий в утлой квартирке под присмотром кухарки Матрёны, встречает свою любовь в магическом полусвете петербургских белых ночей, романтически её теряет и возвращается в свою каморку пить скверный утренний Матрёнин кофей. С романтически разбитым сердцем.

В поэзии эта дистанция держалась довольно долго, хотя отдельные смы́чки и имели место. Трехстопная рифмованная социология Некрасова на Руси и всё, что за ней последовало. Честная перепись верлибром жителей городка Спун Ривер, предпринятая американцем Эдгаром Ли Мастерсом... Но всё-таки подавляющее большинство поэтов не покидало Парнас вплоть до катастрофы 1914 года. Однако, выпроставшись из военно-революционных руин, европейско-американская поэзия не стала реставрировать заветы Буало и Сэмюэля Джонсона, а пустилась по разбитым послевоенным дорогам пешком вослед за прозой. Следующая, ещё более ужасающая мировая война окончательно упразднила классические рецептуры.

В России естественное развитие изящной словесности было прервано неотвязным партийно-советским руководством. Несогласных с генеральной линией извели, уцелевшие ушли в подполье, прихватив с собой наследие Серебряного века, а казённый соцреализм продолжал пользоваться разрешенной к употреблению силлабо-тонической метрикой, перекладывая социальный заказ на ученические размеры. Было ли всё это поэзией, рождённой из прозы, – пусть судит «Краткая литературная энциклопедия», выходившая в пристойно-застойные 60-е – 70-е.

Ирина Рувинская всерьёз взялась за стило в новые времена, когда застоявшийся дух соцреалистической поэтики был уже несколько

[1] Ирина Рувинская. Может, поможет. Иерусалим: «Достояние», 2014.

проветрен чужеземным, главным образом, англо-американским влиянием. Огден Нэш, активно переводившийся на русский, научил нас вмещать свои лирические интенции в длинные строки с переменным числом слогов и мерцающими парными рифмами. Подпольные смогисты, полузапрещённый Соснора, разрешённый Мартынов... А там и Бродский подоспел, вернее, подоспели его тамиздатовские томики, передававшиеся из рук в руки в крупных городах. А Харьков, откуда Ирина прибыла в Израиль, безусловно, к таковым принадлежал.

«Может, поможет» – четвертый сборник Рувинской и второй изданный в Израиле... Её стихи определенно выделаны из прозы жизни, а не расшиты по серебряной канве старых мастеров. Первый раздел соткан из воспоминаний об оставшейся за горами-долами-морями неисторической родине. Вначале «всё как в жизни»: *её Алик учился у нашей мамы в шестнадцатой школе // он на мотоцикле разбился потом // а муж её татарин играл на баяне...* В следующем стихотворении: *в восемьдесят девятом году прошлого века // это были деньги // на них раза три поесть можно было в столовой...* Это все о жалких реалиях той жизни, кое-что о тогдашних харьковчанах. Но предпоследнее стихотворение раздела с зачином *какая звезда // гляжу на нее из окна / и не знаю названия...* кончается вот как: *и горит горит / будто сплошную тьму // нáсквозь прожгло в этой точке // вселенское пламя.* Прожгло? Меня – прожгло. Да и последнее замирает на пронзительно-ностальгической ноте: *...всё стоят и стоят в июньской пыли // те которые / нами были.*

Следующие шестнадцать страниц – не про любовь. Они так и озаглавлены: *и никакая не любовь.* И действительно не про любовь. А про стёжки-дорожки из старинного романса, по которым когда-то гуляли милого ножки. Стёжки, как водится, позарастали, зато память о них не потускнела, несмотря на увеличивающуюся толщу лет и напластования быта. *Я встану в без десьти встану в без десьти // мне в школу не будить и в садик не вести // ... но ты доснись, доснись // я встану / в без пяти.* Как заклинал длинноволосый путаник и балабол Бальмонт, поэзия есть волшебство, и вот отчетливые бытовые подробности воспоминаний претворяются в безупречно-романсовые строки: *знаю в горьком настое живом есть и смертельные травы // но всё равно моя моя это чаша / не отведу // лишь бы звучал и звучал твой голос глухой и картавый // как тогда на мосту / в тёмном саду.*

Далее следует галерея мгновенных фоток знакомых всем персонажей – пациентов больниц, стариков, доживающих свой век в слишком просторных для их усыхающей плоти жилищах, записи мимолетных уличных разговоров, жанровых сценок. Но фотографии сделаны не холодным объективом, птичка, вылетающая из аппарата, несёт в клювике оливковую веточку сострадания и понимания. На одной из этих фотографий я с некоторой оторопью вижу самого себя через некоторое количество лет: *свое имя помнит // имена сыновей не помнит // как застегнуть брюки знает // как попадает ток в розетку не знает //... лицо его вдруг улыбку припоминает // которая была тонкой и чудесной // когда он беседовал с дамами // в кулуарах симпозиумов // по ядерной физике.* А вот добрались мы и

до строчек, давших название всему сборнику: *я тебя включаю в свои молитвы // Борька-сапожник балагур выпивоха // ...я тебя в молитвы свои включаю // может поможет.* Женское сострадание и женское милосердие – это выше и стихов, и прозы.

Лейтмотивы сборника – ускользающее прошлое во всех его прекрасных, печальных, но главное, неповторимых подробностях, и приближающееся неумолимое будущее, где все эти подробности, которыми только и жива поэзия, постепенно лишаются смысла. Пройдемся по нему еще раз. *Нет какая душа идиотка // ей кого-то опять подавай // уж не девица / тощая тетка // хочет снова играть в «каравай»...* Тело и душа движутся по дороге жизни с разной скоростью, это рассогласование переживается и мужчинами, и женщинами, но женщинами – особенно остро, ибо их потери отчетливее отражаются в зеркалах. И женщина, оборачиваясь назад и заглядывая вперед, видит себя одновременно во всех своих возрастах: *молодое худое тело / с загорелыми руками и ногами //...и я еду к другу... потом молодое худое тело / с загорелыми ногами и руками //... и я еду к мужу // да нет вообще-то я пожилая тетка // глаза у меня цвета пыли //... а еду я в больницу к старичку-соседу // у него никого больше нету.* А вот как надо утешать старуху с невесомыми руками, которая спрашивает шёпотом: «Что со мной будет?»: *Ты просто на миг окажешься в Бессарабии // четырнадцатилетняя / с черными косами // снова немцу плюнешь в лицо // и крикнешь «ну стреляй / стреляй» // и на этот раз он выстрелит.* Стихотворцу тоже положено заглядывать смерти в лицо. Множество прозо-поэтических, иронико-трагических кратких историй длинных жизней – *и только мы с тобой Ленка // всё худеем и молодеем.*

А вот и старый знакомый – вышеупомянутый Огден Нэш. Не будем спрашивать у Ирины, помнит ли она старика Нэша, но нэшевские интонации и его фирменную систему рифмовки мы в этом стихотворении легко узнаём. *Надо же / так любить и цветы и деревья ну любое растение // и вот на́ тебе / аллергия на цветение // а что это значит вы знаете и сами // люди ходят с опухшими глазами // шмыгают носами / говорят охрипшими голосами...* Впрочем, концовка стиха – это уже не типичный О. Н., а доподлинная И. Р.: *...жаль нам что не Голландия у нас и не Дания // но вы цветите цветите милые растения // и ради бога на нас / не обращайте внимания!*

У Нэша наряду с многострочными стихами встречаются и кратчайшие: *God in his wisdom made the fly // And then forgot to tell us why.* А вот из Рувинской: *Пруста читать не просто // просто читать не Пруста // а Д. Д. к примеру или Д. Б. // но там ведь и мыслей не густо.* Возможно, эту перекличку можно объяснить избирательным сродством. А может, Ирина Рувинская и есть женская аватара ехидного нью-йоркера, Божьим попустительством занесенная в Иерусалим, во всех отношениях Нью-Йорку противоположный? Ведь если бы нашелся простак, подошедший к Нэшу с вопросом, можно ли сотворять стихи из прозы, то О.Н., скорее всего, удивился бы: а из чего же ещё их сотворять?

Светлана Марковская

ВДОХ И ВЫДОХ

Бывает – идет человек. Он, может, тебя не заметит, своими мыслями полон. А ты смотришь и думаешь: «Ишь какой! Словно бы я!»

А уж если удастся поговорить, то родство это и проявится, и закрепится.

И станет у вас дружба – естественная, легкая, как вдох и выдох, у близких иначе не бывает.

И будете вы смотреть на звездное небо, на детей, на зверей, на воду и на траву.

И запишете своё в свой блокнот, не боясь поделиться.

И заговорите про важное и ерунду, про веселье и горесть, про необходимое и про лишнее в кругу дорогого родства.

И поняты будете, и прощены – так прорастете, перепутаетесь, так взахлеб растворитесь, что никакая сила вас-двух не расцепит.

...Но бывает, и расцепишься – жизнь равнодушна, а смерть беспощадна.

И боль твою, пустоту твою, тоску твою и ужас какое-то время нечем будет снять, заглушить, успокоить.

И вот тогда.

Вот тогда ты возьмешь эти блокноты, эти строчки, эти буквы, эти запятые – каждую перелистаешь, покрутишь в руках, оплачешь, прочтешь и перечтешь.

И поймёшь, что никуда не пропадает близость, никуда не утекает кровь, никуда не уходит мысль.

Поймёшь, что антитеза жизни не смерть, а забвение.

Но пока есть в твоих жилах вот эти вот родственные токи, пока звучат в тебе вот эти слова – как свои! – пока отзывается твоя память, никто не ушел. Все с тобой, каждый рядом.

Я перечитываю стихи Полины.

Я плачу, я злюсь, я страдаю.

Я вдохновляюсь, радуюсь и любуюсь.

И все эти чувства только про то, что она по-прежнему здесь.

Полина Витман

НЕ ПЛАЧЬТЕ

* * *

хочется думать про жизнь а выходит про смерть
не разгребёшь это горе как море лопатой
глаза закрыть уши заткнуть ватой
замереть застыть остекленеть
рассыпаться на осколки зеркалом злого тролля
лежать затаиться тихо пока не придут
в дверь постучат позвонят позовут
скажут пора да не знаю пароля
нету слов таких в моем словаре
которых сидела зубрила на первой парте
чтобы сказать тебе и себе
не плачьте

* * *

из дому дверь запереть на ключ
нырнуть в улицу как в мутную воду
по-собачьи мимо мусорных куч
грести увидать цветы племени роду
разного позабыть зачем и откуда
толстый лист сорвать растереть в горсти
и лизнуть ладонь и вдохнуть как чудо
жизнь хоть её тяжело нести

ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ И ГЕРОИЗМА

две минуты со всей страной постоишь
помолчишь пока сирена своё отвоет
в отсутствие кладбища скажешь кадиш
на кухне подумаешь чья это кисть левая
ноет не дает по ночам спать
пять лет было даже памяти не досталось
может это мамина у тебя стать
говорят она была королева
горят поминальные свечи упаковка по пять
глядишь две сгорят три осталось

Публикацию подготовила Светлана Марковская.

* * *

отпусти Господи успокой
не держи более отведи
силы дай вот этой самой рукой
не сжимать до боли «не уходи»
поздно Боже хватит ему уже
кто устал пускай себе отдохнёт
запах крови тусклый на этаже
а другого всё равно не вдохнёт
разве что до этого до утра
йитгадаль вэ-йиткадаш шмэй ра...

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПАВШИХ В ВОЙНАХ ИЗРАИЛЯ СОЛДАТ И ЖЕРТВ ТЕРРОРА

как на войне солдат на войне или
в жизни пот на глаза миллилитры пыли
липкой шагать ни тени хочется спать
жарко молитва три раза кебенемать
в жизни как на войне подошёл автобус
пять остановок тесно знакомый глобус
сел у окна доехал *барух а-шем*
прямо до места вот повезло не всем

БЫРЭЙШИТ, 4

и было двое вышли в поле
и Авель Каину сказал
и Каин Авеля до боли
до смерти то есть наказал
всё остальное толкованья
кому зачем и почему
чистосердечное признанье
не сторож брату своему

грех распластался у порога
печать не выход а предел
и меченый боялся Бога
и жертва ждёт и Лемех пел
и стадо ищет пастуха
идёт на голос где ты что ты
земля кровавая суха
и мама с папою сироты

БАБУШКА

бабушка бабушка тёплым комком
слово в бедной моей голове
где же ты ходишь нигде и везде
вроде как вышла за молоком
вот и одежда моя как жизнь
сложенная поближе
внученька внученька сверху вниз
гляжу на тебя да вижу

* * *

а уйду пойду возьму себя в руки
вот обую ноги в ботинки на каучуке
чтоб болтаться в любую погоду долго
не заморачиваясь на чувство долга
родниковую пить не из бутылки воду
не считаться племени или роду
имя только играет какие-то роли
типа в поле воин и ветер в поле

* * *

да наверное есть цена или альтернатива теплу
я читала Андерсена я не открываю америк
для начала сцена дом женщина стоит на углу
некрасиво плачет если кто в такое поверит
я в лицо её помню она вообще тут живёт давно
у неё походка с утра любой обратит вниманье
а теперь одна темно и рот как в немом кино
и я со своим мешком полным мусора в целлофане

КНИГА ЗАПИСИ

Бог скрипит воробьиным пером
книга записей мелкие строчки
так скрепиться печатью потом
что уже не поправишь ни точки
можно думать но лучше не знать
только ждать чтобы синяя осень
облаков не забыла пригнать
и дождя за которого просим

милосердия нету на грош
а тем паче на сто миллионов
и не жалко а просто живёшь
во дворе полуспелых лимонов
и тебе ни сестра и ни мать
и как есть ничего не понятно
сколько станет буквально считать
девять шесть семь и пять и обратно

ИСХОД

еврейских месяцев весной
нисан записан посредине
нам светит сорок лет пустыни
через промытое окно
там шар беременной луны
собой положенного срока
перевернёт на бок и с боку
без объявления цены
кто был начальник по уставу
или простой как идиот
поднимет всех и поведёт
минуя притолок кровавый
туда где встретит налегке
пришедшего любого рода
акации цветущей крона
зажата в каменной руке
где не положена тоска
по прошлому или надежда
пространство делится на между
сухой зрачок и облака
и слабости нацелен глаз
на утекающие силы
не помню чтобы я просила
о чём-нибудь не в этот раз

* * *

мне пятьдесят один скоро настанет два
я не люблю слова но говорю слова
пришла вот живу в стране где места едва-едва
хватит махнуть рукой вправо и влево край
трещин земной коры да лебединых стай
неправильный гражданин даже себе самой
близкая форма шар трудное время зной

* * *

в жизни все постепенно по степени разных наук
из которых практической пользы извлечь не всегда удаётся
понимание вроде нечеткий но замкнутый круг
или эллипс кому как придётся
самый сложный экзамен логично ответить *зачем*
и неважно читаешь абзац или сочную кушаешь дыню
если *помни о смерти* нарочно и сказано всем
на понятной и турку латыни
просыпаться под утро вообще титанический труд
возвращённую душу обнять безусловною бренностью тела
до поры и задёшево кровное здесь отдают
без любви или прочего дела

* * *

поэта хоронить простое дело
живой ли мёртвый всё одно слова
как на стене написанное мелом
стирать из памяти легко как два
на два в уме умноженное бегло
в кармане щёлкать мелочью пустой
читать и думать про себя постой-ка
серым столбиком на белом

* * *

мне загодя слово забвение
начислил сухой календарь
я начисто более-менее
его записала в словарь
какого-то года особого
не жду когда время придёт
мой ангел захочешь попробовать
поставить меня у ворот
мне сложно иметь соразмерное
величию горних идей
ну разве что мало наверное
я в жизни рожала детей
и что без особого чаянья
покамест на свете жила
я часто бывала печальная
и может чего-то ждала

* * *

скучает церковь одиноко
меж иудейского жилья
куда-то улица пророка
ведёт по имени Илья
дрожит направленно на юг
тугая муэдзина нота
и умножая обороты
машина замыкает круг

* * *

и даже если мы не будем
нас будет двое
и я тебя каким-то чудом
побеспокою
ты мне посредством телепатий
расскажешь как ты
и я избавлюсь от апатий
сверяя факты
мы хоть не правильные эти
но тоже пара
как на картинке школьной дети
земного шара

* * *

всё стало понятно в общем
от редкой на первый взгляд
средиземноморской рощи
до вывески детский сад
до времени мелкой клеткой
расчерченного по дням
беспечная до рассвета
пернатая болтовня
до той полосы продольной
которой сто лет и зим
поделено небо с морем
на синее с голубым
кивает трава сухая
на влажные облака
от радости что живая
до грусти пока пока

ИМЕНА

Рита БАЛЬМИНА родилась в 1958 году в Одессе. По образованию и профессии художник-дизайнер. Репатриировалась в 1990 году.
Стихи и прозу **Р. Б.** публикуют литературные журналы Израиля, США, России и других стран. Автор поэтических сборников «Закрытие Америки» (1993), «Флорентин, или Послесловие к оргазму» (1996), «Стань Раком» (1998), «Гончарный круг» (1998), «Из бранного» (2004), «Лишняя жизнь» (2006), «Недоуменье жить» (2008), «Бал мин» (2008). Стихотворения вошли в антологии «Вольный город» (1991), «Поэты Большого Тель-Авива» (1996), «Левантийская корона» (1998), «Освобожденный Улисс» (2004), «Антология одного стихотворения» (2010), «Глаголы настоящего времени» (2013) и др. С 2000 года живет в Нью-Йорке.
В «ИЖ» (№№ 3, 11, 46) опубликованы подборки стихов **Р. Б.**

Марина БОРОДИЦАЯ родилась и живет в Москве. Окончила МГПИИЯ им. Тореза. Переводчик английской, американской и французской классической поэзии. Автор многочисленных детских книжек – оригинальных и переводных – и нескольких сборников стихов. В «ИЖ» опубликованы стихи **М. Б.** (№№ 13, 19, 23, 33, 39); драма «Поэт и спонсор» (№ 28); эссе о Д. Сухареве и А. Эппеле (№№ 35, 44).

Ася ВЕКСЛЕР родилась в Глазове. С детства жила в Ленинграде. Окончила Институт им. Репина по специальности «книжная графика». Репатриировалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме. Ее работы вошли в антологию «Гравёры земного шара. Всемирная гравюра на дереве в XXI веке» (Лондон, 2002). Автор книг стихов «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» (1980), «Зеркальная галерея» (1989), «Под знаком Стрельца» (1997), «Ближний Свет» (2005), «Певческий мост» (2013).
В «ИЖ» стихи **А. В.** опубликованы в №№ 3, 14–15, 31, 42; переводы из У. Ц. Гринберга – в № 36. В «*Библиотеке ИЖ*» вышла книга стихов «Ещё не вечер» (2012).

Юлия ВИНЕР родилась в 1935 году в Москве. Окончила сценарное отделение ВГИКа. Работала в документальном кино. Репатриировалась в 1971 году. Переводила с иврита. Автор книги стихов «О Деньгах, о Старости, о Смерти и пр.» (1998, 2007), романа «Красный Адамант» (2006), сборника рассказов «Место для жизни» (2011). Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы повести **Ю. В.** «Смерть в доме творчества» (№ 29), «Пушкин написал начало» (№ 48) и главы из книги «Былое и выдумки» (№№ 40, 44, 46, 47).

Полина ВИТМАН (1957, Мариуполь – 2014, Хайфа). Жила также в Калуге и в Гомеле. Репатриировалась в 1990 году. Окончила Хайфский университет (библеистика, еврейская история периода Второго Храма и литература Эпохи мудрецов), а также Курсы экскурсоводов по Израилю. Стихи печатались в литературной периодике.
В «ИЖ» № 38 опубликована подборка стихотворений **П. В.** «Но здесь».

Наталия ГОНЧАРОВА-КАНТОР родилась в 1966 году в Харькове. Окончила Харьковское художественное училище. В 1986 году переехала в Одессу, принимала участие в выставках Второго одесского авангарда. Репатриировалась в 1992 году. Персональные и групповые выставки в стране и за рубежом. Работы находятся в галереях и частных коллекциях Израиля, России, стран Европы, Канады и США. Живёт в Иерусалиме. Преподаёт изобразительное искусство.

Семён ГРИНБЕРГ родился в 1938 году в Одессе. Жил в Москве. Репатриировался в 1991 году. Один из основателей «Иерусалимского журнала». Автор книг стихотворений «Разговоры и сонеты» (1992), «Иеруса-

лимский автобус» (1996), «За столом и на улице» (1996), «Разные вещи» (1998), «Стихотворения из двенадцати книжек» (2003), «Дни творения» (2012). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов и переводы **С. Г.** (№№ 2, 7, 18, 24–25, 26, 32, 35, 38, 39, 43).

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), великий израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Госпремии Израиля (1957). Дом наследия **У. Ц. Гринберга** в Иерусалиме (ул. Яффо, 34) проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь проходят семинары переводчиков, презентации «Иерусалимского журнала», творческие вечера и заседания литклуба «ИЖ».
В «ИЖ» опубликованы стихи **У. Ц. Г.** (№№ 13, 16, 19, 20–21, 22, 23, 36, 47, 48), а также его «Манифест» (№19).

Анатолий ДОБРОВИЧ родился в 1933 году в Одессе. С начала 60-х годов жил в Москве. Репатриировался в 1988 году. Автор тринадцати популярных книг по психологии и психотерапии и поэтических сборников «Монолог» (2000), «Линия прибоя» (2003), «Остров Явь» (2005). Живет в Бат-Яме. Работает врачом.
В «ИЖ» опубликованы подборки стихов **А. Д.** (№№ 22, 34, 43) и рецензии на книги В. Чернина, А. Воронеля, Е. Игнатовой (№№ 23, 30, 32).

Константин КИКОИН родился в Калинине (ныне Тверь) в 1945 году. Окончил физмат Уральского университета. Работал в Институте атомной энергии (Москва). Репатриировался в 1997 году. Стихи и статьи публиковались в литературной периодике. Автор четырех сборников стихов и книги прозы «По обе стороны свободы». Живет в Ришон ле-Ционе. Профессор Тель-Авивского университета.
В «ИЖ» опубликованы эссе **К. К.** «В мире Владимира Френкеля» (№ 44), «Каталоги Никольского» (№ 47) и подборка стихотворений «Житьё во временном пространстве» (№ 47).

Константин КРАВЦОВ родился в 1963 году в Салехарде. Окончил Нижнетагильское художественное училище и Литинститут им. Горького. Автор четырех книг стихов. Лауреат премии журнала «Новый мир» (за высшие достижение в современной поэзии, 2013), Волошинской премии (за сохранение традиций русской поэзии, 2014). Живёт в Москве.

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ родился в 1945 году в Ленинграде. Окончил ВГИК (1969), сценарист и режиссер трех десятков фильмов. Гран-при ММКФ (2007). Репатриировался в 1996 году. Работал журналистом в концерне «Новости недели». Автор книг прозы «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999), «Рассказы в дорогу» (2000), «Навстречу судьбе» (2003). Живет в Ган-Явне.
В «ИЖ» опубликованы эссе **А. К.** о В. Клецеле (№ 11), И. Мастбаум (№ 13); очерк «Кибуц Эстер Файн» (№ 16), заметки о книгах Г. Кановича (№№ 14–15, 39), В. Фромера (№ 17), Ю. Норштейна (№ 46); литературный монтаж «Камера пыток» (№ 27); фрагменты книги «За обрывом многоточий» (№ 36), рассказ «Нюма умер» (№ 43).

Светлана МАРКОВСКАЯ родилась в 1965 году в Новосибирске. Много лет прожила на Крайнем Севере. Работала на телевидении и радио. Публиковалась в литературных альманахах. Лауреат поэтического конкурса им. Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай», автор песенных текстов, телесценариев, телесериалов, сценариев массовых зрелищ и концертов. Репатриировалось в 2011 году. Живет в Кацрине.
В «ИЖ» подборки стихов **С. М.** опубликованы в №№ 32 и 48.

Марина МЕЛАМЕД родилась в Харькове. Окончила музучилище и три курса филфака Харьковского университета. Основатель детского клуба авторской песни «Товарищ Гитара» (1985). Репатриировалась в 1990 году. В Иерусалиме окончила «Школу визуального театра». Лауреат многих фестивалей авторской песни, поэтического турнира «Пушкин в Британии» (2005), премии «Олива Иерусалима» (2007). Автор более десяти дисков. Живет в Маале-Адумим.
В «ИЖ» проза **М. М**. опубликована в №№ 6, 13, 20–21, 29, 36, 41, 47. В *«Библиотеке ИЖ»* вышли ее книги «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки», «Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду».

Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров) родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких сборников стихов. Один из основоположников жанра авторской песни. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. А. Синявского (2000), Государственной премии им. Б. Окуджавы (2001), премии «Венец» (2005).
В «ИЖ» опубликованы его эссе (№№ 3, 11, 13, 19, 26, 30, 46, 48), стихи (№ 7); беседы с Т. Бек (№ 11), С. Трухановым (№ 23), Ю. Ряшенцевым (№ 24–25); проза «Венок сонетов» (№14–15); статьи «Экспертиза» (№ 35), «Влажным взором» (№ 39); посвящения А. Городницкому, С. Никитину, А. Дулову, Ю. Киму, В. Клецелю (№№ 23, 40, 41). В 2001 году в *«Библиотеке ИЖ»* вышла книга стихов и песен **Д. С.** «Холмы».

Алекс ТАРН (Алексей Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991) и восьми книг прозы, вышедших в Москве. Финалист «Русского Букера» (2007), лауреат премии им. Марка Алданова (2009). Живет в поселении Бейт-Арье.
В «ИЖ» опубликованы эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» (№ 14–15), «Пятая звезда» (№ 33), «Делай, что должно...» (№ 36); глава из романа «Гиршуни» (№ 29); романы «Протоколы сионских мудрецов», «Иона», «Пепел», «Записки кукловода», «Летит, летит ракета», «Дор», «В поисках утраченного героя», «О-О» (№№ 16, 19, 22, 23, 27, 30, 31, 36, 41); повести «Дом» (№ 24–25), «Последний Каин» (№ 34); переводы стихов Натана Альтермана, Рахели, Цви Прейгерзона (№ 28, 33, 36, 40).

Владимир ФРОМЕР родился в 1940 году в Куйбышеве. Репатриировался в 1965 году. Окончил истфак Иерусалимского университета. Участник войны Судного дня. В 1972–73 гг. – соредактор (вместе с М. Левиным) «АМИ» – первого израильского литературного журнала на русском языке. Автор двухтомника «Хроники Израиля» и книги «Реальность мифов» (2003). Живет в Иерусалиме.
В «ИЖ» опубликованы его эссе «Иерусалим–Москва–Петушки» (№ 1), «Солдат в Мосаде» (№ 3), «Поэзия как форма жизни» (№№ 7, 11), «Он между нами жил» (№ 8), «Сатанинские игры» (№ 27), «Черновицкая весна» (№ 42) «Петербургские хроники» (№ 46); главы из романа «Чаша полыни» (№ 30, 35, 41); рецензия на книгу А. Красильщикова (№ 6).

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА
СЕМЁН ГРИНБЕРГ. Из новых картинок. *Стихи* 3
ЮЛИЯ ВИНЕР. Для спины полезно. *Рассказ* 11
АСЯ ВЕКСЛЕР. Почти припев. *Стихи* 20
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Путь воина. *Первая часть книги* 27
ЯФФСКИЕ ВОРОТА
АНАТОЛИЙ ДОБРОВИЧ. Два верлибра 91
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ. Сеанс стриптиза. *Рассказ* 95
УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Расскажу лишь ребёнку. *Стихи. Перевел с иврита Игорь Бяльский* 98
ШХЕМСКИЕ ВОРОТА
АЛЕКС ТАРН. Рейна, королева судьбы. *Роман* 101
АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ
РИТА БАЛЬМИНА. Голема. *Рассказ* 264
УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ
КОНСТАНТИН КРАВЦОВ. В воздушном потоке. *Эссе* 270
НАТАЛИЯ ГОНЧАРОВА-КАНТОР. *Графика* 272
ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Встаньте, кто помнит! *К шестидесятилетию Марины Бородицкой* 280
МАРИНА МЕЛАМЕД. Рапсодия. *К столетию Евгения Рохлина* 284
ПОДЗОРНАЯ ГОРА
КОНСТАНТИН КИКОИН. Знать бы, из какого сора. *О стихах Ирины Рувинской* 287
ХОЛМ ПАМЯТИ
СВЕТЛАНА МАРКОВСКАЯ. Вдох и выдох. *Памяти Полины Витман* 290
ПОЛИНА ВИТМАН. Не плачьте. *Стихи* 291
ИМЕНА
Авторы и персонажи 297

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net
Музей современных израильских художников
Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Моше Гимейна, Леи Заремба, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Коэлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Ильи Рубина, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

Подписку на журнал можно оформить,
прислав обычным (*не заказным*) письмом свои координаты
и чек на имя ***Jerusalem Anthologia***
по адресу: ***P. 0. Box 32297, Jerusalem 91322***

или

перевести деньги на счет 215502, отделение 585, банк Апоалим
(Account 215502, Bank Hapoalim, Branch 585 (Gilo), SWIFT: POALILIT),

уведомив редакцию о переводе по электронной почте:
jerusalemreview@gmail.com

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 180 шекелей, включая пересылку
В других странах – $70 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:
в Израиле – 50 шекелей;
в других странах – $20 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва), Ольгу Аксютину (Иерусалим), Елену Аксельрод (Маале-Адумим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Сару Воробейчик (Хайфа), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Ханоха Дашевского (Иерусалим), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Леонида Кациса (Москва), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Станислава Минакова (Харьков), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Юрия Моор-Мурадова (Тель-Авив), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Иерусалим), Александра Туркота (Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Маале-Адумим)
за поддержку журнала.

Любые советы, предложения, а также пожертвования будут приняты с благодарностью

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
в 1999 – 2014 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;
Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;
Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;
Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);
Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;
Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной», «Авангардист на крышу вышел»;
Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;
Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарики предпоследние», «Гарики из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник», «Седьмой дневник», «Восьмой Дневник»;
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»
(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);
Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;
Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;
Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;
Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки», «Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;
Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»;
Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;
Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;
Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая), «Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;
Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;
Эли БАР-ЯАЛОМ «Горизонтальная луна»;
Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;
Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»;
Вильям БАТКИН «Талисман души»;
Илан РИСС «У разбитого горячего камня»;
Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»; Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»;
Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;
Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;
НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин», «Постоянное присутствие женщины»;
Лена ШТЕРН «Спустя три года»;
Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»,
Ася ВЕКСЛЕР «Еще не вечер», Ицхокас МЕРАС «На полпути»;
Леонид СОРОКА «СТИХЛЯШКИ»; Лорина Дымова «Вальс в полночь»;
CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». *Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА, Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ
новые книги Аллы БОССАРТ, Михаила ЗИВА, Владимира ДРУКА, Лорины ДЫМОВОЙ и Леонида ВЕТШТЕЙНА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Феликса КРИВИНА, Семёна КРАЙТМАНА, Семёна СУШАНСКОГО, Михаила ФЕЛЬДМАНА

CONTENTS

LION GATE
SEMEN GREENBERG. Some of new pictures. *Poems*
JULIA WINER. It's good for my spine. *Short story*
ASYA WEKSLER. Almost a refrain. *Poems*
VLADIMIR FROMER. The way of the warrior (Bushido).
The first part of the book

JAFFA GATE
ANATOLY DOBROVICH. Two *vers libres*
ARKADY KRASILSHCHIKOV. Striptease performance. *Short story*

DESIRED LAND STREET
URI TZVI GREENBERG. And you are free again. *Poem.*
Translated from Hebrew by Igor Byalsky

SHKHEM GATE
ALEX TARN. Rheina, the queen of destiny. *Novel*

AMERICAN COLONY
RITA BALMINA. Golema. *Short story*

BETZALEL STREET
KONSTANTIN KRAVTZOV. In the air flow. *Essay*
NATALIA GONCHAROVA-KANTOR. *Drawings*

JUBILEE QUARTER
DMITRY SUKHAREV. Rise, those who remember!
To the sixtieth anniversary of Marina Boroditzkaya
MARINA MELAMED. Rhapsody.
To the centenary of Evgeny Rokhlin

MOUNT SCOPUS
KONSTANTIN KIKOIN. If one knew, what kind of rubbish...
On the poetry of Irina Ruvinskaya

MEMORY HILL
SVETLANA MARKOVSKAYA. Inhalation and exhalation
In commemoration of Polina Vitman
POLINA VITMAN. Do not cry. *Poems*

NAMES
Authors and Characters

10805

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 49, 2014 ISSN 1565-1347
MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN
Jerusalem Anthologia Association
© 2014 Copyrights for publications belong to the Authors

תוכן העניינים

שער האריות
סמיון גרינברג. מהתמונות החדשות – *שירים*
יוליה ווינר. בריא בשביל הגב – *סיפור*
אסיה ווקסלר. כמעט פזמון חוזר – *שירים*
וולדימיר פרומר. דרכו של לוחם – *חלק ראשון מהספר*
שער יפו
אנטולי דוברוביץ'. שני וורליברים
ארקדי קרסילשציקוב. מופע חשפנות – *סיפור*
רחוב ארץ חפץ
אורי צבי גרינברג. באזני ילד אספר – *פואמה*
מעברית – איגור ביאלסקי
שער שכם
אלכס טארן. ריינה, מלכת הגורל – *רומן*
מושבה אמריקאית
ריטה בלמינה. גולמה – *סיפור*
רחוב בצלאל
קונסטנטין קרבצוב. בזרם האוויר – *מסה*
נטליה גונצ'רובה-קנטור – *גרפיקה*
קריית היובל
דמיטרי סוחרב. יקום מי שזוכר!
ליום הולדתה השישים של מרינה בורודיצקאיה
מרינה מלמד. רפסודיה
מאה שנים להולדתו של יבגני רוכלין
הר הצופים
קונסטנטין קיקואין. לו רק לדעת מאיזו אשפה
על שיריה מאת אירינה רובינסקי
הר הזיכרון
סבטלנה מרקובסקאיה. נשימה ונשיפה – *לזכרה של פולינה וויטמן*
פולינה וויטמן. אל תבכו– *שירים*
שמות
הדמויות והיוצרים

כתב-עת ירושלמי **2014. 49**

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

עמותת "**אנתולוגיה ירושלמית**"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, זאב גייזל, רומן טימנצ'יק, וולוול טשרנין, יולי קים,
זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, ויקטוריה רייכר, סבטלנה שנברון
מזכיר – יבגני מינין
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה
תמיכה לוגיסטית וטכנית: דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, וולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "**צור-אות**"

בתמיכת

משרד התרבות והספורט

מנהל התרבות, המחלקה לספרות

קרן רוסקי מיר

עיריית ירושלים

בית מורשת אורי צבי גרינברג

2014 © כל הזכויות שמורות למחברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 02-9960302, 0544-745322, 02-5370087
E-mail: jerusalemreview.gmail.com

